

Семь искусств 7/2015



Журнал

Редактор Евгений Беркович

СЕМЬ ИСКУССТВ

Наука

Культура

Словесность

7/2015

Журнал

**«Семь искусств»
№ 7 (64) 2015**

Редактор и составитель
Евгений Беркович

Художник
Дорота Белас



Семь искусств
Ганновер 2015

Журнал «Семь искусств» № 7 (64) /2015 — Ганновер:
Семь искусств. 2015. — 350 с., 21,4 а.л.

«Семь свободных искусств – основа воспитания, которое надлежит
давать не для практической пользы, но потому, что оно достойно
свободнорожденного человека и само по себе прекрасно».
Аристотель. "Политика".



Семь искусств
Ганновер 2015

Оглавление

<i>Евгений Беркович</i> Томас Манн глазами математика. Часть первая. «Королевское высочество» и ранние новеллы	5
<i>Василий Демидович</i> Интервью с Максимилианом Дрыей	30
<i>Павел Нерлер</i> Осип Мандельштам и его солагерники	49
<i>Розалия Степанова</i> Ах, матушка, невместна ваша роль! Неординарные обстоятельства рождения А.С. Грибоедова и их вынужденно дружное замалчивание	57
<i>Леонид Комиссаренко</i> Последние из Ламбарене	70
<i>Александр Бархавин</i> Когда бы исчезло рабство в Америке, если б не было Гражданской войны?	87
<i>Виктор Гопман</i> История моей библиотеки	92
<i>Борис Тененбаум</i> Колена Израилевы. Глава из новой книги "Израильские войны"	102
<i>Катя Компанеиц</i> Гамлет Тарковского	107
<i>Злата Зарецкая</i> Испытание. Чехов на израильской сцене 2014-2015	112
<i>Эрнст Зальцберг</i> Легендарная Розина Левина	121
<i>Генрих Иоффе</i> Подъем и падение Керенского	139
<i>Ася Лapidус</i> Продолжение следует — понемногу обо всем	157
<i>Елена Кушнерова</i> Сказка про Золушку, или «Зови меня просто Кеша»	195
<i>Дмитрий Бобышев</i> Человекотекст. Трилогия. Книга первая: "Я здесь"	199
<i>Лариса Миллер</i> Новые стихи	232
<i>Вячеслав Вербин</i> Автопортрет в интервью	239
<i>Яков Каплан</i> Пусть ничего не будет больше. Стихи	252
<i>Владимир Порудоминский</i> Военные игры. Маленькая трилогия	255

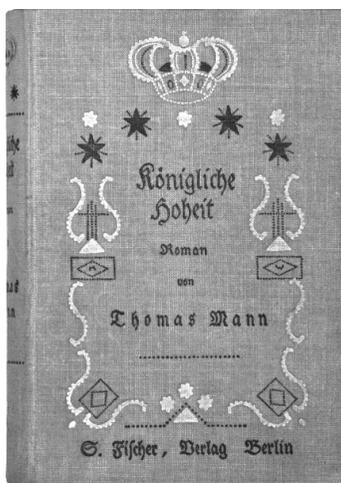
<i>Илья Криштул</i> Миниатюры	267
<i>Игорь Гельбах</i> Разыскания Браунли	276
<i>Джеймс Кейтс</i> Голоса Ветхого Завета. Перевод Григория Беневича	300
<i>Ромен Гари</i> Два рассказа. Перевод Эдуарда Шехтмана	312
<i>Илья Корман</i> Именем Розы	318
<i>Юрий Моор-Мурадов</i> Апология детектива	328
<i>Игорь Ефимов</i> Закат Америки. Саркома благих намерений	343

Евгений Беркович
ТОМАС МАНН
ГЛАЗАМИ МАТЕМАТИКА

Часть первая. «Королевское
высочество» и ранние новеллы

«Ирония, исполненная любви»

Роман Томаса Манна *«Королевское высочество»* [1] вышел в свет в 1909 году, через четыре года после свадьбы автора и Кати Прингсхайм. Сюжет произведения во многом автобиографичен, в главных героях — принце Клаусе-Генрихе и студентке Имме Шпёльман, изучающей математику, — легко угадываются Томас и Катя. История знакомства и женитьбы наследника престола небольшой страны с миллионом жителей и дочери заокеанского миллиардера написана с легкой иронией, которой Манн в литературной мастерской считал одним из важнейших инструментов.



Первое издание романа, 1909 г.

В лекции *«Искусство романа»*, прочитанной в 1939 году студентам Принстонского университета, писатель привел афоризм Гёте, удачно совпавший с его собственным мнением: *«Ирония — та щепотка соли, без которой всякое блюдо вообще несъедобно»* (X, 277 — перевод Ефима Эткинда). Развивая эту мысль, То-

мас Манн пришел к смелому обобщению: «Объективность — это ирония, и дух эпического искусства — дух иронии» (X, 277).

Впервые Томас Манн упомянул афоризм Гёте в дневниковой записи от 24 сентября 1934 года. Она начинается с таких слов: «Гёте называет иронию „незаменимой солью, которая только и делает кушание съедобным“»^[2].

Через пять лет это выражение Гёте, которое Томас Манн назвал «удивительным, незабываемым суждением» (X, 277), появилось в романе «Лотта в Вей-маре», законченном в том же 1939 году, в котором была прочитана лекция в Принстоне. Доктор Фридрих Вильгельм Риммер, секретарь и доверенное лицо Гёте, передает героине романа слова великого поэта, которые в переводе Наталии Ман звучат так: «Ирония это та крупинка соли, которая и делает кушание съедобным» (II, 432).

Острым инструментом нужно пользоваться осторожно, помня предостережение Фридриха Ницше: «Ирония уместна лишь как педагогическое средство в устах учителя в общении с учениками всякого рода; цель ее состоит в том, чтобы укротить и пристыдить, но тем целительным способом, который пробуждает добрые намерения и влечет нас отплатить почитанием и благодарностью»^[3].

К такому пониманию иронии призывает и Томас Манн: «...не следует думать, что ей сопутствует холодность и равнодушие, насмешка и издевка. Эпическая ирония — это скорее ирония сердца, ирония, исполненная любви; это величие, питающее нежность к малому» (X, 278).

Об иронии в арсенале писателя Томаса Манна можно было бы говорить долго, но нам пора перейти к теме этих заметок: какую роль при этом играет в его творчестве математика? Хороший пример иронии с математическим подтекстом дает следующий эпизод из романа: во время знакомства с принцем Имма рассказывает, что прибыла из Америки на пароходе-гиганте с концертными залами и спортивными площадками.

«У него было пять этажей, сказала фрейлейн Шпёльман.

— Считая снизу? — спросил Клаус-Генрих.

— Разумеется. Сверху их было бы шесть, — ответила она, не задумываясь» (II, 229).

Принц был сбит с толку и долго не мог понять, что над ним смеются.

«Алгебраическая дочь»

То, что предметом иронии здесь стали математические рассуждения, не случайно. Имма Шпёльман изучает в университете математику, что автор неоднократно подчеркивает, ибо это важная характеристика героини романа. Уже при первом упоминании о дочери «великого Шпёльмана» фрейлина фон Изеншниббе сообщает сестре принца Дитлинде: «Как я слышала, она очень образованная, занимается не хуже мужчины, изучает алгебру и такие трудные предметы...» (II, 151). В последовавшем разговоре Дитлинда называет Имму «алгебраической дочерью» (II, 152). Даже дежурный офицер кордегардии лейтенант фон Штурмхан знает, что Имма идет по королевскому двору «с алгеброй под мышкой» (II, 197).

Имма — студентка университета, и это многое говорит об исключительности ее судьбы. Она «присутствовала в университете на лекциях по теоретической математике тайного советника Клингхаммера, сидела вместе с прочими студен-

тами на деревянной скамье и прилежно писала своим вечным пером, ибо известно, что она девушка образованная и занимается алгеброй» (II, 186).

Эта информация столь важна для автора, что почти дословно повторяется в другом месте романа: Имма «с начала второго учебного полугодия регулярно присутствовала в университете на лекциях тайного советника Клингхаммера — ежедневно сидела в аудитории вместе со студенческой молодежью, одетая в простое черное платье с белыми манжетами и отложным воротником и, согнув крючком указательный палец, — это была ее манера держать ручку, — записывала лекцию вечным пером» (II, 197).

До начала двадцатого века в Германии девушек в студентки не принимали, даже вольнослушательницы были большой редкостью. Земля Баден первой среди немецких земель разрешила представительницам «слабого пола» учиться в университетах на правах студенток — соответствующий указ был подписан 28 февраля 1900 года. В Баварии аналогичное решение было принято через два с половиной года — 21 сентября 1903 года^[4].

Прототип Иммы Шпёльман — профессорская дочка Катя Прингсхайм — подала в ректорат мюнхенского королевского университета имени Людвиг-Максимилиана прошение о допуске ее к занятиям в качестве слушательницы. Бумага отправлена 31 октября 1901 года, когда речи о полноценном студенчестве для девушки и быть не могло. Только после сентября 1903 года, когда Катя уже отучилась четыре семестра, она и еще 31 девушка на весь университет получили студенческие удостоверения.



Катя Прингсхайм, начало 1900-х годов

Но и вольнослушательницей стать было непросто. Для этого, как минимум, нужно было получить свидетельство об окончании гимназии, сдав выпускные экзамены. Сейчас такие экзамены называют «абитур», а успешно их выдержавших — «абитуриентами» [5]. В то время в ходу был термин «абсолюториум» (Absolutorium). Женских гимназий тогда не существовало, тем более не было и смешанных школ, как сейчас. Девушка, желавшая получить высшее образование, должна была сдавать выпускные экзамены за весь курс гимназии экстерном. Такой барьер могла преодолеть

далеконе каждая. В областишкольного образования равноправие юношей и девушек было достигнуто только в Веймарской республике в 1927 году (Jüngling, 348).

Катя Прингсхайм готовилась к выпускным экзаменам с домашними учителями. Вначале это был студент, помогавший старшим братьям выполнять школьные задания, потом с девочкой занимались преподаватели гимназии. Уже в зрелом возрасте Катя вспоминала, что каждый преподаватель *«приходилна два часа в неделю; один занимался со мной древнимязыками, другой — математикой, третий — немецким и историей... В последние годы к ним добавился гимназический профессор по религии, некий доктор Энгельгардт. С ним я читала Новый Завет по-гречески. Религия же была обязательным предметом в гимназии»*^[6].

Училась Катя легко, все предметы ей давались без большого труда. Позднее она отмечала: *«Если человек один, то он учитсямного быстрее»* (Katia, 12). Весной 1901 года Катя получила разрешение сдавать экзамены вместе с полусотней выпускников мюнхенской гимназии имени Вильгельма. Среди них был и брат-близнец Кати — Клаус Прингсхайм. Мать Кати и Клауса Хедвиг Прингсхайм сообщала 28 июня 1901 года своему другу публицисту Максимилиану Хардеру: *«У близнецов все в порядке, в понедельник предстоят устные экзамены, которые Клаус надеется избежать»*^[7].

Одноклассник Клауса и в последующем друг семьи Томаса и Кати Манн писатель Лион Фейхтвангер вспоминал тот день, когда неожиданно увидел Катю:

«Она поднималась среди толпы девятнадцатилетних парней по низким, стертым ступеням гимназии Вильгельма в актовом зале, где проходили экзамены абитуриентов. Раньше на такие экзамены девушкам не пускали; она была первая, кто прошел суровую предварительную проверку и был допущен к испытаниям. Для нас, юношей, это была неслыханная новость, делиться нашими бедами и страхами с этой странной, необычно привлекательной девушкой» (Jüngling, 44).

Пожалуй, Лион Фейхтвангер немного преувеличил: Катя была не первая, но одна из первых девушек, прошедших абсолюториум. Кроме нее среди выпускников гимназии успешно сдала экзамены экстерном еще одна представительница «слабого пола» — дочь почтмейстера Бабетта Штайнингер (Babette Steiningер)^[8]. Среди абитуриентов был и молодой человек, который тоже не учился в гимназии. Но причина у него была иной — принцу Генриху фон Виттельсбаху высокое положение не позволяло садиться за парту с простыми гимназистами. Поэтому он тоже сдавал экзамены экстерном.

По шести из семи экзаменационных предметов Катя получила «хорошо» или «очень хорошо»: по латыни, греческому языку, французскому языку, математике и физике, истории и закону Божьему. И только по немецкому языку будущая жена нобелевского лауреата по литературе получила «удовлетворительно». Кстати, Клаус сдал экзамены хуже: он получил три удовлетворительных оценки.

Катя стала слушательницей осенью 1901 года, ее заявление от 31 октября было подписано ректором университета, профессором Бренгано уже 2 ноября. В *«Ненаписанных воспоминаниях»*, которые мы уже цитировали, она говорит: *«Я пошла в университет и слушала там, прежде всего, лекции по естествознанию. У Рентгена — экспериментальную физику и у моего отца — математику: исчисление бесконечно малых, интегральное и дифференциальное исчисление и теорию функций»* (Katia, 13).

По-видимому, память изменила Кате, потому что согласно документам, сохранившимся в университетском архиве, в зимнем семестре 1901/02 годов лекции профессора Прингсхайма она не слушала. Вместо них она выбрала курс русского языка для начинающих, который читал известный византолог профессор Крумбахер.

Преподаватели у Кати были первоклассные. Профессор Рентген находился тогда в зените славы — как раз осенью 1901 года он получил самую первую Нобелевскую премию по физике, всего год назад учрежденной по завещанию Альфреда Нобеля. Курс истории искусств, который Катя тоже слушала в первом семестре, читал приват-доцент доктор Везе (Jüngling, 47).

В следующих семестрах она тоже выбирала курсы не только по естествознанию и математике. Например, в летнем семестре 1902 года она посещала лекции профессора Липса по истории философии. В следующем семестре — курс «Спорные вопросы современной эстетики» профессора Фуртвенглера.

В университете Катя проучилась семь семестров вплоть до 1905 года, когда она, после долгих колебаний, приняла все же предложение Томаса Манна стать его женой.

«Проваливай отсюда, ты, фурия!»

Катя не считала Имму Шпёльман точной своей копией, она говорила, что *«старый Шпёльман куда больше похож на портрет моего отца, чем Имма на меня»* (Katia, 73). Тем не менее, у Кати и Иммы есть множество совпадающих черт характера и особенностей поведения. Например, описание первой встречи Иммы с Клаусом-Генрихом точно соответствует знаменитому эпизоду в трамвае, когда молодой Томас Манн впервые серьезно заинтересовался необычной девушкой. Катя так рассказывала о случившемся:

«Я всегда утром и вечером ездила в университет, если не на велосипеде, то на трамвае, и Томас Манн часто ездил тем же маршрутом. На определенной остановке, угол Шеллингштрассе и Тюркенштрассе, я должна была сойти и дальше идти пешком с портфелем под мышкой. Когда я собиралась выйти, ко мне подошел контролер и сказал:

— Ваш билет!

Я в ответ:

— Я как раз выхожу.

— Мне нужен ваш билет!

Я говорю:

— Я же вам сказала, что выхожу, а билет только что выбросила, так как я здесь выхожу.

— Предъявите билет, ваш билет, я сказал!

— Оставьте меня, наконец, в покое! — сказала я и возмущенная прыгнула на ходу с трамвая.

Тогда он крикнул мне вдогонку:

— Проваливай отсюда, ты, фурия!

Эта сцена привела моего мужа в такой восторг, что он решил немедленно со мной познакомиться, тем более что давно мечтал об этом» (Katia, 24).

Когда мог произойти этот эпизод? Ни Томас, ни Катя не приводят точных дат их первых встреч. В одном из интервью Катя упоминала, что была в тот день в зимнем пальто ^[9]. В письме Томаса Манна Хильде Дистель, подруге его сестры Юлии (Лулы), написанном осенью 1904 года, автор признается:

«Вы еще не знаете, кто „она“? Ну, пожалуйста: Катя Прингсхайм, дочка здешнего университетского профессора, доктора Прингсхайма, чудесное создание. Дело тянется долго, оно началось в конце прошлой зимы и подходит к завершению, которое станет венцом моей жизни и без которого все, чего я так или иначе достиг, для меня потеряло бы всякую ценность» ^[10].

Упомянутый здесь *«конец прошлой зимы»* позволяет отнести случай в трамвае на январь или февраль 1904 года. Анализируя знаменитое письмо Томаса брату Генриху от 27 февраля 1904 года ^[11], можно эту дату уточнить.



Томас Манн, начало 1900-х годов

В письме Томас сообщает, что его посетил брат-близнец Кати — Клаус, музыкант - *«это было 6 дней назад»*. Он *«передал мне карточку отца, который, к сожалению, слишком занят, чтобы посетить меня самому»* (Manns, 73). Возможно, Томас посчитал объяснение будущего тестя отговоркой, но мы знаем, что через несколько дней академик Баварской академии наук, профессор Прингсхайм, действительно, должен был делать важный доклад на торжественном заседании, посвященном 145-летию академии. Об этом докладе мы еще поговорим.

Итак, визит Клауса состоялся 20 или 21 февраля. Это был ответный визит вежливости, так как Томас участвовал в *«большом домашнем бале»* на улице Арси, 12. Именно тогда он официально познакомился с Катей и был просто очарован юной студенткой: *«чудо, нечто неописуемое редкое и драгоценное, существо, которое самим фактом своего бытия может заменить культурную деятельность 15 писателей и 30 живописцев»* (Manns, 73).

Через неделю он был там еще раз, «*чтобы вернуть матери книгу, которую та дала мне прочесть*». Мать воспользовалась оказией, «*позвала вниз Катю, и мы целый час болтали втроем*» (Manns, 73). А два дня спустя Клаус навестил писателя в его квартире. Таким образом, Томас «*вернул книгу*» 18 или 19 февраля, а «*большой домашний бал*» отгремел в доме Прингсхаймов 11 или 12 февраля.

Нужно помнить, что первая половина февраля — это карнавальное время, когда подобные торжества устраиваются повсеместно. А за день до балла Томас, как тогда было принято, посетил Прингсхаймов, чтобы представиться. Тогда он впервые «*оказался в итальянском салоне эпохи Возрождения с гобеленами, ленбахами, дверными косяками из giallo antico и получил приглашение на большой домашний бал*». Эти дверные косяки, облицованные giallo antico, или нумедийским мрамором, произвели на писателя особенно сильное впечатление и еще не раз встретятся в его произведениях. Во время первого визита он увидел Катю и «*мельком поздоровался с ней*». Это случилось 10 или 11 февраля.

Таким образом, сцена в трамвае, подтолкнувшая Томаса Манна искать руки Кати, произошла в конце января или в самом начале февраля.

В романе «*Королевское высочество*» похожий эпизод играет важную роль. Имма Шпёльман, как и Катя, спешила в университет «*с зажатым под мышкой курсом лекций*» (II, 197). События далее развивались так:

«Она вознамерилась пройти мимо замка через двойную шеренгу солдат. Хриплый унтер-офицер выскочил навстречу.

— Прохода нет! — рывкнул он, загородив ей путь ружейным прикладом. — Нет прохода! Назад! Обождите!

Но тут вспыхнула мисс Шпёльман.

— Это что такое! — крикнула она. — Я спешу! — Слова были ничто по сравнению с тем искренним, страстным и сокрушительным негодованием, которое прозвучало в ее выкрике. А сама какая маленькая и необыкновенная! Белокурые солдаты перед ней были на две головы выше ее. В эту минуту личико ее стало белым, как воск, а черные брови тяжелой и внушительной складкой нева сошлись над переносицей, ноздри неопределенной формы носика раздулись во всю ширь, а глаза, ставшие огромными и совсем черными от волнения, смотрели так красноречиво, так неотразимо убедительно, что никто не посмел бы перечить ей.

— Это что такое! Я спешу! — крикнула она.левой рукой она отстранила приклад вместе с огорошенным унтер-офицером и, пройдя через самую середину шеренги, пошла своей дорогой, свернула влево на Университетскую улицу и скрылась из виду» (II, 198).

В университете Имма училась так же легко, как и Катя. Когда принц завел разговор о занятиях: «*Я слышал, вы изучаете математику? Вы не устаете? Ведь это ужасно утомительно для головы?*», Имма ответила: «*Ничуть*» и продолжила: «*Самое очаровательное занятие на свете. Можно сказать, паришь в воздухе или даже в безвоздушном пространстве. Никакой пыли там нет. И ветер свежеестью...» (II, 223-224).*

Приведенные слова не только характеризуют способности Иммы, но и несут не лишнюю иронию оценку математики как игры, не имеющей большого значения для реального мира. Здесь чувствуется влияние на Томаса Манна взглядов знаменитого философа Шопенгауэра, в ряде своих работ весьма неуважительно отзывавшегося о математике. Широко известен его афоризм: «*В математике ум исключи-*

тельно занят собственными формами познания — временем и пространством, следовательно, подобен кошке, играющей собственным хвостом»^[12].

Томас Манн высоко ценил философа, считал его, наряду с Ницше, своим духовным учителем. В этой оценке писатель радикально расходился с отцом Кати, профессором математики Альфредом Прингсхаймом, который не мог простить Шопенгауэру насмешек над своей любимой наукой. На этой почве между зятем и тестем нередко возникали ссоры, которые Томас тяжело переживал. Катя вспоминала:

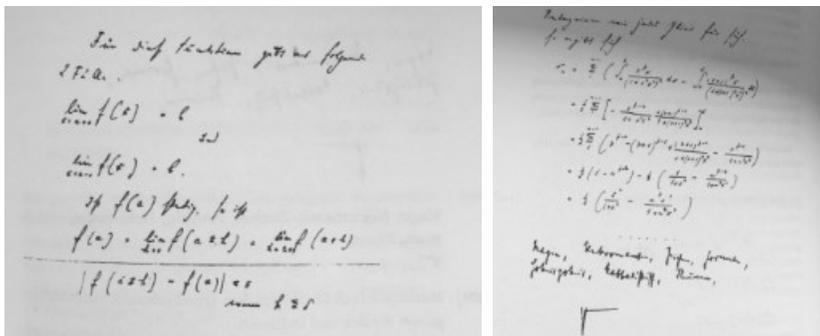
«Мой отец критически относился к Шопенгауэру, так как последний не раз пренебрежительно отзывался о математике. Как член Баварской академии наук он прочитал на одном из заседаний доклад «Шопенгауэр и математика», и убедительно показал, что Шопенгауэр, собственно, ничего не понимал в математике и его высказывания ложны. Мой муж, однако, ничего не знал об этом докладе, и я ему тоже никогда об этом не рассказывала. Мой отец сделал доклад еще до того, как мы познакомились» (Катя, 28).

В этом, в целом верном, замечании Кати есть две небольшие неточности. Во-первых, доклад назывался «О ценности математики и ее якобы ненужности», хотя по сути Катя права: он почти целиком был посвящен отношению Шопенгауэра к математике. Во-вторых, доклад состоялся 14 марта 1904 года, примерно через месяц после официального знакомства Томаса и Кати, а не «до того, как мы познакомились». Однако и эту маленькую неточность можно простить, так как по-настоящему интенсивный обмен письмами между будущими супругами развернулся в начале апреля. О самом докладе баварского академика у нас речь еще впереди.

Присутствие Альфреда Прингсхайма можно ощутить на многих страницах романа. Несомненно, что под впечатлением от его математических трудов родилось блестящее описание внешнего вида математической рукописи, одно из лучших в мировой литературе. Принц приглашает Имму на прогулку и берет в руки ее тетрадь:

«— Нет, нет, фрейлейн Имма, — запротестовал он. — На сегодня оставьте вашу алгебру или парение в безвоздушном пространстве, как вы это называете. Посмотрите, как светит солнце... Разрешите? — Он подошел к столу и взял в руки тетрадь. От того, что он увидел, голова могла пойти кругом. По-детски неровно, жирно, от своеобразной манеры Иммы держать перо, все страницы сплошь были испещрены головокругительной абракадаброй, колдовским хороводом переплетенных между собой рунических письмен. Греческие буквы перемежались латинскими и цифрами на различной высоте, среди них были вкраплены крестики и черточки, и все это было вписано над или под горизонтальной линией, наподобие дробей, перекрыто стрелками и домиками из других линий, приравнено друг к другу двойными штришками, круглыми скобками соединено в целые громады формул. Отдельные буквы, выдвинутые, точно часовые, были поставлены справа выше замкнутых в скобки групп. Каббалистические знаки, непостижимые для профана, обхватывали своими щупальцами буквы и цифры, им предшествовали числовые дроби, и цифры и буквы витали у них в головах и в ногах. Повсюду были рассеяны непонятные слогги, сокращения загадочных слов, а между столбцами магических заклинаний шли целые фразы и заметки на обыкновенном языке, однако их смысл тоже был настолько выше нормальных человеческих понятий, что уразуметь их было не легче, чем волшебные наговоры» (II, 238-239).

В рабочих материалах к роману, собранных в томе комментариев к «Королевскому высочеству», есть две странички из математических рукописей Альфреда Прингсхайма. На одной из них приведено определение непрерывности функции, на другой — вычисление двух определенных интегралов. Впечатление, которое произвели на писателя математические выкладки его будущего тестя, видно из приписанных рукой Томаса Манна слов на полях рукописей: «магия, спиритизм, формулы, фокус-покус, каббалистические знаки, руны». Эти слова вошли в процитированный фрагмент романа.



Рукописи Прингсхайма из архива Томаса Манна

Как курьез можно отметить тот факт, что составители комментариев к «Королевскому высочеству» сами не очень разобрались в содержании рукописей Альфреда Прингсхайма и перепутали подписи к ним [13].

Пора сказать несколько слов о самом Альфреде Прингсхайме, послужившем прототипом богача Самуэля Шпёльмана.

«Золотой портсигар»

У американского миллиардера и мюнхенского профессора математики много общих черт, они и внешне похожи, достаточно взглянуть на один из многочисленных портретов пожилого Альфреда Прингсхайма и сравнить с описанием внешности отца Иммы: «Со лба шла большая лысина, но на затылке и на висках росло еще много седых волос, которые господин Шпёльман носил не по-нашему, не короткими и не длинными, а пышно зачесанными вверх; только сзади они были подстрижены и выбриты вокруг ушей» (II, 225).

Как мы уже знаем, Томас Манн впервые появился во дворце Прингсхаймов на улице Арси, 12 в феврале 1904 года. Увиденное произвело на писателя сильнейшее впечатление. В письме брату Генриху от 27 февраля 1904 года Томас признавался: «Прингсхаймы — впечатление, которым я переполнен. Тургартен с высокой культурой. Отец — университетский профессор с золотым портсигаром...» [14].

Этот символ немислимого для молодого литератора богатства произвел настолько сильное впечатление, что в романе «Королевское высочество» золотой портсигар старшего Шпёльмана упоминается дважды, сначала во время первого знакомства миллиардера со своим будущим зятем: «Шпёльман вынул из золотого

портсигара плоскую сигарету, и, когда закурил, от нее пошел тонкий аромат — Угодно курить? — только после этого спросил он» (II, 228). Потом предложение сигареты вошло в привычку, и когда американец приходил к чаю, *«он неизменно говорил: — А, молодой принц? — и <...> под конец протягивал гостю золотой портсигар»* (II, 264).



Альфред Прингсхайм

О происхождении богатства Самуэля Шпёльмана в романе говорит фрейлина фон Изеншнйббе: *«Он только унаследовал богатство отца и, говорят, к делам никогда особой любви не питал. Все нажил его отец — в общих чертах я обо всем могу рассказать, я сама читала. Его отец <...> приобрел небольшое состояние - можно даже сказать, довольно большое - и пустил его в оборот, занялся нефтью, сталью, железнодорожным строительством, а потом всем, чем угодно, и все богател и богател. А когда он умер, дело уже было на полном ходу, и его сыну Самуэлю <...> оставалось только класть в карман огромные дивиденды и все богатеть и богатеть, и теперь у него столько денег, что и выговорить страшно. Вот как все было»* (II, 151).

Альфред Прингсхайм тоже унаследовал огромное состояние отца — Рудольфа Прингсхайма - и считался одним из богатейших людей Баварии. В ежегоднике *«Имущество и доход миллионеров в Баварии»* за 1914 год *«тайный придворный советник, профессор, доктор Прингсхайм, сын берлинского рантье»* стоял на двадцать втором месте. Его имущество оценивалось в 13 миллионов рейхсмарок, а годовой доход составлял 800 тысяч рейхсмарок. Для сравнения: средний доход рабочего составлял в то время 1163 рейхсмарки в год (Jüngling, 29). Оклад университетского профессора был раз в пять-шесть выше, но и он оказывался менее одного процента от дохода наследника *«берлинского рантье»*.

Первое упоминание о предках современных Прингсхаймов относится к 1753 году, когда Менахем бен Хаим Прингсхайм, известный также как Мендель Йохем (1730-1794), поселился в городе Бернштадт (ныне польский город Берутов — Więsławów — в Нижнесилезском воеводстве). Его старший брат Майер Йохем (1725-1801) жил неподалеку, в расположенном на расстоянии четырнадцати километров городе Эльс (Oels), ныне Олесница.

Начиная с девятнадцатого века еврейская фамилия Прингсхайм становится известной в разных частях Германии. Ее носили крупные промышленники, предприниматели, ученые, преподаватели, банкиры... Генеалогическое дерево Прингсхаймов, составленное Михаэлем Энгелем, охватывает десять поколений и включает почти четыре сотни представителей этой фамилии ^[15].

Все они — потомки Менделя Йохема Прингсхайма, у которого было девять детей, в то время как брак его старшего брата Майера оказался бездетным. Сыновья Менделя Йохема, дожившие до взрослого возраста, пошли по стопам отца и дяди — либо держали шинки и пивоварни, либо занимались мелкой торговлей, ибо другие занятия для бесправных евреев того времени были запрещены. По мере развития еврейской эмансипации, т. е. приобретения евреями гражданских прав, наиболее удачливые становились богатыми и открывали свои предприятия, а их внуки и правнуки поднимались в верхние слои немецкого общества. Процесс эмансипации занял в общей сложности около ста лет и растянулся на четыре поколения. Юридически равные права евреев с немцами были закреплены в конституции объединенной Германии в 1871 году.

Рудольф принадлежал к четвертому поколению Прингсхаймов, он был правнуком Менделя Йохема, внуком его второго сына — Моисея. Рудольф родился в том же городке Эльс, в котором поселился старший брат его прадеда Майер Йохем Прингсхайм, но затем семья Рудольфа переехала в городок Олау (Ohlau, ныне польский город Олава в Нижнесилезском воеводстве), где торговля, чем занимался отец семейства, должна была идти успешнее. Свой трудовой путь будущий миллионер начал с должности экспедитора, сопровождавшего телеги с железной рудой или каменным углем от шахт и рудников до ближайшей железнодорожной станции. Сеть узкоколеек тогда была еще недостаточно развита, поэтому приходилось пользоваться и гужевым транспортом. К сорока годам Рудольф стал управляющим железнодорожной компании, осуществлявшей все перевозки грузов в Верхней Силезии.



Рудольф Прингсхайм

Вне всякого сомнения, Рудольф Прингсхайм был человеком не только осмотрительным и осторожным, но и весьма дальновидным. Свои деньги он вкладывал сначала в построение сети рельсовых дорог в Верхней Силезии и только по-

том в модернизацию транспортных средств. Когда Пруссия в 1884 году национализировала верхнесилезскую сеть узкоколейных дорог, хозяин процветающего предприятия получил солидную денежную компенсацию. Часть денег он вложил в основанное им акционерное общество «Феррум», дававшее большую прибыль. Кроме того, с Прингсхаймом был заключен договор на двадцать лет, по которому он мог оставаться управляющим предприятия вплоть до 1904 года. Женижба на Пауле Дойчман (1827-1909) только увеличила богатство семьи: супруга Рудольфа была дочерью устроителя прусских королевских лотерей.

Эти факты из жизни отца Альфреда Прингсхайма Томас Манн использовал для характеристики отца Самуэля Шпёльмана, который тоже благодаря удачной женитбе *«удвоил нажитой капитал и пустил его в оборот»* (II, 184). Он, как и Рудольф Прингсхайм, *«строил сталелитейные заводы, учреждал акционерные общества, которые занимались массовым превращением железа в сталь и строительством железнодорожных мостов. Он был держателем большей части акций четырех или пяти солидных железнодорожных компаний и в пожилом возрасте сделался президентом, вице-президентом, уполномоченным или директором этих обществ. <...> Он оставил после себя капитал, который при переводе на нашу валюту составляет миллиард»* (II, 184).

Не пытаясь охватить всех представителей фамилии Прингсхайм, упомянем только двоих, имевших отношение к науке. Натан Прингсхайм (1823-1894), тоже правнук Менделя Йохема, внук его седьмого сына Йозефа, стал известным ботаником, профессором Берлинского университета, членом Прусской академии наук.

Племянник Натана — Эрнст Прингсхайм (1859-1917) — сын его брата, банкира и предпринимателя Зигмунда, — стал профессором теоретической физики университета в родном Бреслау. Мировую известность Эрнсту принес опыт Люммера-Прингсхайма (в русской литературе используется и написание Люммера-Прингсгейма), послуживший одним из толчков к созданию современной квантовой физики.

«О ценности математики и ее якобы ненужности»

Альфред Прингсхайм с детства любил и музыку, и математику, долгое время не мог выбрать между ними свою будущую профессию. Позднее к этим увлечениям добавилось собирание произведений искусства, и он стал владельцем богатейших коллекций картин, золотых и серебряных украшений, итальянской майолики. Три страсти — математика, музыка и художественное коллекционирование — жили в нем постоянно.

Про Самуэля Шпёльмана Томас Манн тоже пишет, что его *«подлинной страстью всегда была музыка»* (II, 185) и он *«предпочел бы всю жизнь только играть на органе и коллекционировать стекло»* (II, 260). Коллекция господина Шпёльмана представляла собой *«явно самое полное собрание в старом и новом свете»* (II, 232), точно так же, как собрание итальянской майолики Альфреда Прингсхайма.

Выбор между математикой и музыкой Альфред сделал в молодости, как он шутил, в пользу первой и к счастью для второй. Математика оказалась главным делом его жизни. На небосклоне науки он не стал звездой первой величины, но был, без сомнения, интересным ученым и блестящим педагогом. Его достижения высоко оценивали современники.

Почти сразу после основания осенью 1890 года Немецкого математического общества^[16] Альфред Прингсхайм был избран его членом, а в 1906 году — председателем. Среди тех, кто занимал этот пост до Прингсхайма, были великие Георг Кантор (в течение четырех лет с 1890 до 1893 гг.), Феликс Клейн (в 1897 и 1903 гг.), Давид Гильберт (в 1900 г.).

Известный математик Оскар Перрон, слушавший лекции Альфреда в мюнхенском университете имени Людвиг-Максимилиана и занявший там кафедру своего учителя после ухода того на пенсию (в 1922 году), написал в воспоминаниях о Прингсхайме, что он принадлежал к числу выдающихся и, если исключить годы нацистской диктатуры, наиболее результативных ученых своего времени^[17].

Альфред Прингсхайм учился в Гейдельбергском университете и защитил в 1872 году под руководством профессора Кёнигсбергера первую докторскую диссертацию. Через пять лет в Мюнхене он получил вторую докторскую степень и должность приват-доцента. В мюнхенском университете имени Людвиг-Максимилиана Альфред проработал до своего ухода на пенсию в солидном возрасте семьдесят два года. Но и после этого он продолжал активно заниматься математикой.

Преподавательская карьера Прингсхайма развивалась успешно, хотя и не очень быстро. Внештатным (экстраординарным) профессором он стал в 1886 году, а заведующую должность ординарного профессора и кафедру математики в университете он получил, когда ему было уже за пятьдесят — в 1901 году. Правда, за несколько лет до этого его высокую квалификацию подтвердили выборы в Баварскую академию наук, членом-корреспондентом которой он стал в 1894 году. Через четыре года Прингсхайм был избран действительным членом. В *«Докладах Баварской академии наук»* были опубликованы основные результаты его математических исследований в период с 1895 года вплоть до начала нацистской диктатуры, когда его вычеркнули из членов академии. Печатался он и в других ведущих немецких научных журналах. В 1934 году список его математических статей насчитывал 106 работ.

Причину того, что звания ординарного профессора Прингсхайму пришлось ждать так долго, многие историки видят в антисемитизме руководителей министерства и университета. Альфред не подчеркивал, но и не скрывал, что он еврей. К религии он был равнодушен, но связей с еврейской общиной не прерывал. В официальных документах он в графу о религии либо записывал «вне религии», либо писал «иудейская». Впрочем, для богатой (в прямом и переносном смысле) натуры мелкие служебные неприятности не очень омрачали жизнь.

Тем более что его профессиональные достижения не оставались незамеченными коллегами. Уже в 1884 году, за десять лет до избрания членом-корреспондентом Баварской академии наук, Прингсхайм стал членом очень уважаемой в научном мире академии естествоиспытателей Леопольдина, старейшего научного общества Центральной Европы, основанного императором Леопольдом I в 1687 году в качестве «Академии Священной Римской империи для наблюдения природы». За этим избранием последовали и другие: своим членом избрали Прингсхайма академии в Гёттингене и шведском Лунде.

Со стороны государства заслуги Прингсхайма были отмечены несколькими высокими баварскими орденами, например, Святого Михаила за заслуги третьего и четвертого класса. В 1912 году его назначили тайным придворным советником. В то время было два вида придворных советников: те, кто покупал высокий титул за деньги, и те, кого назначали за заслуги бесплатно. Прингсхайм принадлежал ко второй группе.

В краткой автобиографии, написанной в 1915 году, Прингсхайм подчеркивает свою приверженность стилю знаменитого берлинского математика Карла Вейерштрасса:

«Хотя я никогда не был учеником Вейерштрасса, я считаюсь одним из наиболее последовательных и (sit venia verbo ^[18]) наиболее успешных исследователей именно вейерштрассовской „элементарной“ теории функций» (Mendelssohn, 828).

Более всего Прингсхайма интересовали вопросы сходимости или расходимости последовательностей, рядов, цепных дробей и произведений. Он был признанный мастер создания, уточнения и обобщения критериев сходимости различных процессов.

Для Прингсхайма было принципиально важно добиться как можно более простого и элегантного доказательства теоремы при высочайших требованиях к строгости всех выводов. Этот стиль сейчас связывают с именем ученика Прингсхайма - Эдмунда Ландау, ставшего в 1909 года профессором гёттингенского университета. В то время немногие математики заботились об обоснованности всех деталей доказательства. После работ Прингсхайма и Ландау положение изменилось, и в этом немалая заслуга их обоих.

И Прингсхайм, и Ландау не знали снисхождения к логическим пробелам в любой математической работе, кто бы ни был ее автором. «Работа над ошибками» велась, как правило, публично, немудрено, что у обоих математиков было немало обиженных недоброжелателей. В то же время, критика несовершенных работ оказывалась необыкновенно полезной для студентов и начинающих ученых.

Альфред Прингсхайм был прекрасным педагогом. Он не жалел ни сил, ни времени, чтобы сделать результат понятным даже для тех, кто только начинал знакомиться с проблемой. Почти десять лет ученый занимался тем, чтобы упростить и обобщить знаменитую работу Адамара о трансцендентных функциях, опубликованную в 1892 году. Зато в изложении Прингсхайма этот раздел стал образцом математической элегантности и простоты.

Оскар Перрон вспоминал, что лекции профессора Прингсхайма слушали с напряженным вниманием от первой до последней минуты, а лектор разнообразными шутками и анекдотами не давал студентам заскучать. Кстати, мало кто из нынешних школьников и студентов знает, что обозначение «ln» для натурального логарифма придумал Прингсхайм.

Остроумие Альфреда и его склонность к шуткам, каламбурам, смешным историям были хорошо известны коллегам. Ему не раз поручали вести торжественные собрания и выступать с приветственными речами на собраниях Немецкого математического общества. Не случайно его прозвали «веселый математик».

Речь, посвященную юбилею знаменитого создателя теории множеств Георга Кантора (1845-1918), воспитавшего немало известных математиков, Прингсхайм начал такими словами: *«Уважаемый юбиляр! Мы благодарны вам не только за учение о множествах, нет, но также и за множество ученых!»*^[19].

После ухода на пенсию в 1922 году математик посвятил пять лет жизни изданию курса лекций, охватывающего весь анализ и некоторые разделы теории чисел. В этом печатном труде, ставшем настольной книгой для нескольких поколений студентов, немало остроумных разговорных примечаний, за которыми угадывается неповторимый стиль мюнхенского преподавателя, считавшего юмор обязательным инструментом лектора.

С увлечением занимался Прингсхайм историей математики. Со свойственной ему придирчивостью проверял он научные факты и вскрыл не одну ошибку в авторстве той или иной теоремы. Его исследованиям помогала уникальная библиотека старинных математических книг, которую он собрал в своем роскошном доме. В тех проблемах, чья история его интересовала, Прингсхайм всегда доходил до первоисточника. Он перечитывал огромное количество книг и журналов, замечая ошибки в утверждениях, считавшихся безукоризненными. Свои находки он публиковал в серии «Критико-исторических замечаний», которые выходили с 1928 по 1933 год в «Докладах Баварской академии наук».

Знание истории математики и отменная эрудиция пригодились Прингсхайму во время работы над отдельными разделами многотомной «Энциклопедии математической науки», издававшейся в 1898-1901 годах. Его перу принадлежат там главы о сходимости различных процессов и об основаниях общей теории функций. По признанию Оскара Перрона, тексты Прингсхайма, содержащие богатейшие обзоры первоисточников, стали настоящей находкой для всех, кто работал в этих областях.

В 1904 году отмечалось 145-летие Баварской академии наук. Альфреду Прингсхайму было доверено сделать доклад на торжественном заседании, посвященном этой дате. Профессор и действительный член академии отнесся к этому поручению чрезвычайно серьезно: как вспоминала Катя Прингсхайм, ее отец даже просил руководство университета освободить его от чтения лекций в летнем семестре 1903 года, чтобы всецело посвятить себя подготовке к докладу. Несмотря на первоначальный отказ, он смог все же добиться своего (Jüngling, 48). Тема выступления в академии должна была заинтересовать и коллег-математиков, и представителей других наук, использующих математику в своих исследованиях. Доклад назывался «О ценности математики и ее якобы ненужности»^[20].

Центром доклада, как уже было сказано, стала полемика с Шопенгауэром, кригика его взглядов на математику как бесполезную «игру в бисер», не имеющую ценности в реальном мире.

В докладе на торжественном заседании в академии Прингсхайм убедительно доказывает, что Шопенгауэр либо не понимает того, о чем берется судить, либо сознательно искажает источники, на которые ссылается, как было, например, с известным афоризмом Георга Лихтенберга^[21]: «Математика — великолепная наука, однако математики никуда к черту не годятся» (Pringsheim, 9). Шопенгауэр отбрасывает первую часть этой фразы, и у его читателей создается впечатление, что Лихтенберг - его единомышленник. В книге Лихтенберга, на которую ссылается философ, афоризмы отделены друг от друга звездочками, так что исказить начало афоризма можно было только сознательно, отмечает докладчик (Pringsheim, 39).

Один из разделов доклада посвящен арифметике. Шопенгауэр отказывает ей в праве считаться наукой, ссылаясь на то, что уже в его время в Англии изобретены машины для арифметических вычислений, которые мы бы сейчас назвали арифмометрами. По его мнению, любой арифметический расчет можно поручить машине, так что человеческий мозг в этом не участвует. В наше время такую позицию только усилила бы ссылка на существование разнообразных калькуляторов и расчетных программ для компьютеров.

Ошибка такого подхода кроется в том, что арифметика, или теория чисел, вовсе не сводится к вычислениям, это разные сферы деятельности. «Арифметика, даже элементарная, — это наука, она изучает и обосновывает различные общие

законы действий с числами», — подчеркивал Прингсхайм в докладе (Pringsheim, 8). Собственно вычисления, проводимые также с помощью технических средств, — это не наука, а ее приложение. Называть такое приложение «арифметикой» и противопоставлять ее остальной математике — недобросовестный прием, которым пользовался Шопенгауэр.

Обширный доклад мюнхенского математика, занимающий сорок с лишним страниц убористого журнального текста, содержит немало подобных разоблачений. Но он не сводится только к критике взглядов Шопенгауэра и его единомышленников. Альфред Прингсхайм напоминает о разнообразных приложениях математики в других областях человеческой деятельности: не только в физике и инженерии, но и в химии, психологии, экономике, статистике, страховом деле... Область приложений математики постоянно расширяется. Подчас невозможно предугадать, где еще возникнет необходимость в математических моделях. Чтобы показать опасность негативных предсказаний, Прингсхайм приводит случай из жизни философа Огюста Конта, основоположника позитивизма. В *«Курсе позитивной философии»*, изданном в Париже, Конт пророчествовал:

«Мы научимся постепенно определять форму, удаленность, размеры и движение небесных светил; но мы никогда не будем в состоянии никакими средствами изучить их химический состав» (Pringsheim, 33).

Этот неутешительный прогноз был сделан в 1835 году. А через 24 года Кирхгоф^[22] и Бунзен^[23] открыли спектральный анализ, сделавший невозможное возможным. По спектру солнечного света удалось определить не только химический состав светила, но и открыть новый элемент, получивший название гелий. При этом математика в исследованиях Кирхгофа играла ведущую роль.

Прингсхайм всегда много внимания уделял преподаванию математики в школах, гимназиях и университетах. В докладе он предложил учредить в университете специальную кафедру математической педагогики, или, говоря ученым языком, математической дидактики. Предложение намного опередило время. Такая кафедра в Мюнхенском университете была создана только в семидесятых годах прошлого века, через семьдесят лет после доклада Прингсхайма в Баварской академии.

Важность приложений математики в других областях науки и техники сейчас не оспаривается никем. Прингсхайм подчеркивает другую мысль, не потерявшую актуальность и в наши дни. Практическую ценность той или иной математической работы невозможно заранее предсказать. Ориентация только на исследования, имеющие прикладное значение, может погубить фундаментальную науку. Прингсхайм доводит эту мысль до крайности:

«Если всем математикам XX века специальным указом приказать изучать только такие вещи и заниматься только такими проблемами, про которые с уверенностью можно сказать, что они могут служить естествознанию и, возможно, технике, то математические исследования одновременно со свободой утратят большую часть своей результативности» (Pringsheim, 36).

Если бы Прингсхайм держал свою речь десятью годами позже, он обязательно бы привел яркий пример математической теории, далекой, казалось бы, от реальной жизни, но нашедшей со временем применение в естествознании. Это неевклидова геометрия, сыгравшая важнейшую роль в общей теории относительности Эйнштейна. Именно в этой модели пространства, в которой через точку вне

прямой проходят несколько прямых, параллельных данной, стали описывать структуру реальной Вселенной. А поначалу пространственные модели, в которых не выполняется знаменитая аксиома Эвклида о параллельных прямых, возникли чисто умозрительно, без всякой связи с физикой и астрономией.

Но и без этого примера аргументы Прингсхайма звучали убедительно. Весь опыт развития цивилизации показывает, что математические знания ценны не только тем, что служат целям других наук. Нет, математика важна сама по себе, она развивается не только по запросам внешнего мира, но следуя своей собственной логике. И эта логика неотделима от понятия красоты. Музыкант и знаток искусства, Альфред Прингсхайм называет математическую деятельность *«высшей формой чистой эстетикой понимания»* (Pringsheim, 36).

«В истинном математике всегда есть что-то от художника, архитектора и даже поэта», — полагает докладчик и продолжает:

«Вне реального мира, однако в заметной связи с ним, математики с помощью творческой умственной работы построили некий мир идеальный, который они пытаются превратить в самый совершенный из всех миров и исследуют его во всех направлениях. О богатстве этого мира имеют представление, естественно, только посвященные: лишь надменное невежество может полагать, что математик скован узкими рамками. Все, что его ограничивает, есть, ни много, ни мало, только непротиворечивость» (Pringsheim, 36).

Заканчивает свою речь Альфред Прингсхайм явно на торжественной ноте:

«Многое, ради чего богатейшая математическая продукция создавалась и создается, является преходящим, бранным. Но из множества созданного выделяется кристально чистое ядро абстрактного знания, которое во все времена выступает как блестящий памятник силе человеческого духа. Могут ли те, кто, каждый в меру своих сил, участвуют в построении этого памятника, быть сухими и односторонними рационалистами, как полагают многие? Я думаю, что здесь уместно процитировать уже упомянутого в начале Новалиса, который сказал: „истинный математик — это энтузиаст per se”^[24]. Без энтузиазма нет математики“» (Pringsheim, 37).

Эти слова, несомненно, читал или слышал Давид Гильберт, которому принадлежит ставшее широко известным высказывание об ученике, сменившем математику на филологию: *«он пошел в поэты — для математика у него не хватало фантазии»*^[25].

«Двумя ступенями ниже миллиардера»

Отношение к математике принц Клаус-Генрих высказал в романе во время приглашения Иммы Шпёльман на прогулку: *«Даю вам слово, я благоговею перед вашей наукой. Только она пугает меня, потому что, каюсь, мне она всегда была недоступна»* (II, 239).

Похожее чувство благоговения, смешанного со страхом, испытывал прототип принца — Томас Манн — к будущему тестю, профессору математики Прингсхайму.

Символична сцена из романа, когда принц приехал к Имме, чтобы взять ее на прогулку, и столкнулся на лестнице с ее отцом:

«Дело в том, что мы условились... — сказал; Клаус-Генрих. Он стоял двумя ступенями ниже миллиардера и смотрел на него снизу вверх» (II, 236).

Не будет большой натяжкой считать, что так же снизу вверх смотрел на богача-математика и начинающий литератор Томас Манн, искавший руки его дочери. Семья Томаса и Кати долгое время пользовалась материальной помощью Катиных родителей.

Сразу после скромной церемонии, состоявшейся 11 февраля 1905 года в отделе регистрации браков на Мариенплац в Мюнхене, молодые уехали в путешествие в Швейцарию. Никакой церковной процедуры венчания не было, так захотели Катя и ее отец. Альфред Прингсхайм позаботился, чтобы во время путешествия его дочь окружала такая роскошь, к которой не привык литератор, еще не ставший всемирно знаменитым. Из дорогого отеля Бор о Лак (Baur au Lac) в Цюрихе Томас писал брату Генриху 18 февраля:

«Я живу сейчас с Катей на широкую ногу, с «ланчем» и «дiner», а по вечерам смокинг и лакеи в ливреях, забегающие вперед и открывающие тебе двери... У меня вопреки уверениям отовсюду насчет гигиенической пользы брака не всегда в порядке желудок, а потому и не всегда чиста совесть при этой сказочной жизни, и я нередко мечтаю о чуть большей доле монастырской тишины и... духовности» (Manns, 79).



Отель Бор о Лак в Цюрихе

Вместо того чтобы наслаждаться радостями медового месяца, обоим супругам пришлось в Цюрихе походить по врачам. Катя обращалась к гинекологу, который посоветовал ей несколько лет воздержаться от рождения ребенка, так как ее организм еще не готов к этому. Правда, советом молодые то ли не захотели, то ли не успели воспользоваться, и ровно через девять месяцев, 9 ноября 1905 года у Кати и Томаса родилась первая дочь Эрика.

Томас в Цюрихе принимал физиотерапевтические процедуры и посещал различных врачей — в его записной книжке № 6 сохранились адреса и времена приемов трех медиков — двух неврологов и гипнотизера [26]. Самым известным из них был русский профессор Константин фон Монаков [27]. О том, кого из них выбрал Томас и помогло ли лечение, сведений нет.

В целом, свадебное путешествие оказалось непродолжительным — уже через две недели Томас и Катя вернулись в Мюнхен. Здесь их ждала новая квартира, которую Альфред Прингсхайм снял для молодых в центре города, на улице

Франца-Йозефа, 2, угол с улицей Леопольда. Квартира располагалась на третьем этаже внушительного дома, состояла из семи комнат и была обставлена дорогой мебелью из лучшего в городе антикварного магазина Бернхаймера (Bernheimer).

В передней части дома, окнами в сад дворца принца Леопольда, располагался кабинет Томаса, столовая и салон. В угловой части находилась ванная, спальня Томаса, комната Кати и две комнаты для гостей, которые использовались потом как детские. Здесь семья Маннов прожила шесть лет. Именно здесь был написан роман «Королевское высочество».

Юлия Манн в письме старшему сыну Генриху с восторгом рассказывала о новом жилище Томаса:

«Прекрасная большая квартира с — двумя туалетами! — это ли не идеал? Рабочий кабинет Томми — очень большой, к этому К. [атина] комната, потом столовая, две спальни, белая лакированная мебель... Во всех комнатах элект. [рические] люстры в форме круга; очаровательны маленькие в спальнях, зеленые листья с красными ягодами, а на них висят элект. [рические] лампочки» [28].

Электрическое освещение не было в то время широко распространено. Альфред Прингсхайм одним из первых в Мюнхене электрифицировал свою виллу, построив во дворе дома небольшую электростанцию, так как централизованного электричества в городе еще не провели [29]. Большой редкостью считался и телефон, который заботой Альфреда Прингсхайма был установлен и в его вилле, и в новой квартире дочери.

Катя вспоминала: «Мой отец отдавал предпочтение итальянскому ренессансу и обожал оборудовать квартиры» (Katia, 33). Особое внимание Альфред уделял выбору мебели. Из холостяцкой квартиры Томаса в новое жилье разрешили взять только «...три прекрасных ампирных кресла красного дерева с голубоватыми лирами по желтому полю» (II, 308).

В романе соответствующий эпизод выглядит так:

«Однажды утром, выпив целебную воду в бювете, господин Шпёльман самолично пожаловал в своем выгоревшем пальтишке в Эрмитаж, дабы выяснить, пригодится ли что-нибудь из мебели для обстановки нового дворца.

— Покажите-ка, молодой принц, свое добро, — скрипучим голосом потребовал он, и Клаус-Генрих продемонстрировал ему спартанскую обстановку своих покоев, жесткие диванчики, прямоугольные столы, белые лакированные консоли по углам.

— Хлам, — презрительно изрек господин Шпёльман, — не подойдет — Только три массивных кресла красного дерева с резными завитками на локотниках, из маленькой желтой гостиной, да желтая обивка с голубоватыми лирами снискали его одобрение. — Годятся для передней, — решил он, и Клаус-Генрих обрадовался, что эти три кресла составят вклад Гримбургов в убранство дворца; ему, естественно, было бы неприятно, если бы все шло исключительно от Шпёльманов» (II, 351).

Кабинет зятя Альфред обставлял тоже по своему вкусу, не очень интересуясь мнением его будущего хозяина. В записной книжке № 7 есть такая горькая помета:

«Я говорю о „порядке“, который наводит тесть в моей комнате. Он отвечает: „Я предельно деликатен и т.д.“ — Ничего себе, деликатен!» [30]

Впрочем, Томас, судя по всему, остался доволен результатом. За две недели до свадьбы он переехал из своей последней холостяцкой квартиры на Айнмиллерштрассе (Ainmillerstrasse), 31/III, в пансион Рау, расположенный в соседнем доме с его будущей квартирой — по улице Франца-Йозефа, 4. Так что он мог непосредственно наблюдать за переоборудованием своего будущего жилища. В уже упомянутом письме брату из шорихского отеля Бор о Лак, Томас сообщает:

«В конце месяца мы въедем в нашу мюнхенскую квартиру: (Франц-Йозефштрассе, 2 III) Она будет на диво хороша. И надо надеяться, там я вскоре опять смогу работать» (Manns, 80).

К роскошной антикварной мебели добавился новый кабинетный рояль, украшавший салон. За ним, по воспоминаниям Кати, нередко сживал Томас и фантазировал что-нибудь на темы из «Тристана». Стены украшали картины Веласкеса и других старых мастеров, щедро подаренные Альфредом Прингсхаймом, хорошо разбиравшимся в живописи. Недаром он являлся членом закупочной комиссии Баварского национального музея, решавшей вопросы приобретения дорогих экспонатов.

Катя, в отличие от свекрови, не считала новую квартиру очень большой, видела в ней и другие недостатки. В доме не было лифта, и на третий этаж вела крутая лестница, по которой она боялась одна подниматься, особенно когда была беременна (Mendelssohn, 1054). Дети в семье Кати и Томаса не заставили себя долго ждать: через год после Эрики 18 ноября 1906 года родился Клаус, через два с половиной года — Голо (27 марта 1909 года), а еще через год с небольшим — Моника (7 июня 1910 года). После этого сильно выросшая семья переехала в новую квартиру в районе Герцогпарка. Этот зеленый район города на берегу реки Изар понравился, и в январе 1914 года — Манны обосновались в своей собственной большой вилле «Поши» в том же районе на улице Пошингер, 1, где прожили вплоть до 1933 года, когда оказались в вынужденной эмиграции. Кстати, этот роскошный дом был построен не без участия Альфреда Прингсхайма, недаром по документам он был записан на Катю (Jens, 98).

С годами материальное положение писателя укреплялось, а после того, как военные займы и послевоенная инфляция обесценила состояние Прингсхаймов, Томас Манн стал значительно богаче тестя. В рождественские дни 1924 года теща писателя написала большое откровенное письмо своей подруге Дагни Ланген-Сотро^[31], дочери знаменитого норвежского поэта Бьёрнстьерне Бьёрнсона^[32], автора слов государственного гимна, человека, близкого к дому Прингсхаймов. Хедвиг высоко оценивала достижения Томаса Манна, хотя не скрывала горечи от собственного бедственного положения:

«То, что мой зять достиг вершины славы, тебе, вероятно, известно. У него успех за успехом, его положение блестящее, причем не только в литературе, но и в мире, и Катя купается в лучах его славы. Она очень часто сопровождает его в поездках и принимает участие в его чествованиях. Они сейчас „богачи“ в нашем семействе, и в то время, как мы, несмотря на наш прекрасный дом, в котором мы — к сожалению — все еще живем, стали по-настоящему бедняками, Манны обзаводятся автомобилем и строят в своем доме гараж: шикарно»^[33].

Содержать роскошный дворец на улице Арси, 12 постаревшим и обедневшим Прингсхаймам стало не по карману, и они вынуждены были сдавать некоторые комнаты студентам. Часть коллекций тоже пришлось продать, пенсии почетного про-

фессора явно не хватало. По словам Голо Манна, его дед Альфред Прингсхайм не раз повторял в годы инфляции горькую шутку: «Живем со стены в рот»^[34].



Вилла Томаса Манна на Пошингерштрассе, 1

Прежнему богатству Прингсхайма пришел конец. Однако ощущение социальной пропасти, разделявшей молодого писателя и богатого академика, долгое время не покидало Томаса. В «Записной книжке» № 7, которую он вел в 1901-1905 годах, сохранилась его признания, недвусмысленно на это указывающее:

«Для Прингсхаймов вообще не существует авторитетов, так как для них, в противоположность моему благоговеющему провинциальному взгляду, все великие персонально, по-человечески, по положению в обществе стоят рядом. Например, Вагнер, Бьёрнсон, Термина, Лен бах. „Поэтому Вагнер ошибался“ — из уст совсем юнцов!»^[35]

Но и тогда, когда Томас Манн стал намного богаче тестя, отношения между ними оставались напряженными. Одним из постоянных источников раздора оставался Шопенгауэр, которого боготворил Томас и презирал Альфред.

Катя в письме дочери Эрике от 7 января 1926 года жалуется:

«Во время встречи нового года на улице Арси произошел ужасный конфуз. Дядя Бабюшляйн [брат Кати физик Петер Прингсхайм] и Офай [отец Кати Альфред Прингсхайм]^[36] непочтительно высказались о Шопенгауэре. Отец, который всю жизнь на духне переносил Шопенгауэра за то, что тот о математике даже слышать не хотел, не знал, что наш Волшебник является горячим приверженцем философа. Ничего не подозревая, папа заметил Петеру, который стал критиковать Шопенгауэра, что, мол, стоит ли так шуметь из-за подобной ерунды. Наш Волшебник побледнел, его трясло, как в лихорадке, но он сдержался; тем не менее, вечер был испорчен. Но дома Томми разбушевался, он утверждал, что его намеренно оскорбили и унизили, и что на улице Арси это продельвается уже в течение двадцати лет... В последующие два дня он кое-как успокоился, но его ненависть к дому на улице Арси остается незыблемой» (Jens, 139-140).

Зять и тесть часто не сходились и по другим вопросам, и причинами здесь были, прежде всего, непонимание и недооценка того, что составляло суть жизни другого. К этой проблеме мы еще обратимся во второй части этой работы.

«Алгебра куда сложнее, принц...»

Вернемся к «*Королевскому высочеству*» и отметим, что математика в романе выполняет различные функции. Она используется автором не только для характеристики Иммы Шпёльман и в качестве материала для иронии, но выступает как средство, объединяющее героев романа, делающее их ближе и роднее друг другу.

После того, как Клаус-Генрих по просьбе своего старшего брата, Великого герцога Альбрехта II, взялся исполнять все функции главы государства и получил титул «королевское высочество», он узнал о бедственном финансовом положении государства. Сам первый министр, барон Кнобельсдорф ознакомил принца во всех подробностях «с цифрами урожая последних годов, перечислил все бедствия, приведшие к недороду, который в свою очередь повлек за собой недоимки, и даже упомянул об истинных лицах сельских жителей. Затем он перешел к положению на мировом денежном рынке, подробно остановился на вздорожании денег и общем экономическом застое. Клаус-Генрих узнал о падении курса нашей валюты, тревоге кредиторов, отливе денег и эпидемии банкротств; узнал, что кредит наш подорван, бумаги обесценены, и ему стало ясно, что на размещение нового займа рассчитывать не приходится» (II, 314).

Принц решил сам разобраться в запутанной государственной экономике и начал изучать книги по финансовой математике и политической экономии. Его рассказ о своих занятиях так увлек Имму, что она попросила показать ей одну-две из приобретенных принцем книг. После чего они стали изучать их вместе:

«Выпив чай, они уселись в уголке боскетной в величественные троноподобные кресла <...> и, склонившись над первой страницей учебника, озаглавленного «Наука о финансах», который лежал перед ними на золотом столике, начали свои совместные занятия» (II, 322).

Имме, профессионально изучавшей современную математику, финансовые приложения ее любимой науки показались не слишком сложными:

«— Это очень легко! — сказала она и, смеясь, взглянула на него. — Никак не ожидала, что это, в сущности, так просто. Алгебра куда сложнее, принц...» (II, 322).

Для сюжета романа важно, что в процессе совместного штудирования работ по финансовой математике, молодые люди лучше узнали друг друга, между ними окрепло доверие, и Имма смогла, наконец, ответить взаимностью на чувства влюбленного принца.

Во время одной из первых встреч принц спросил Имму, собирающуюся «мирно позаниматься» перед лекцией по математике: «*И ради этой черной магии вы готовы упустить такое прекрасное утро?*» (II, 238-239). После совместных занятий положение изменилось. Похоже, что автор романа, как и его главный герой, уже не считает математику «черной магией» и «парением в безвоздушном пространстве», а с удивлением отмечает пользу от ее приложений в практических делах.

И хотя не финансовая математика спасла, в конце концов, большую экономику королевства, а богатое приданое Иммы и капиталы ее отца, переведенные из Америки, все же чувствуется, что автор романа, он же Клаус-Генрих, стал лучше относиться к науке, которую поначалу считал бездушной, холодной, недоступной.

(продолжение следует)

Примечания

- [1] *Манн Томас*. Королевское высочество. В книге: *Манн Томас*. Собрание сочинений в десяти томах. Том второй. Государственное издательство художественной литературы, М. 1959. В дальнейшем ссылки на это собрание сочинений будут даваться в круглых скобках с указанием тома и, через запятую, номера страницы.
- [2] *Mann Thomas*. Tagebücher 1933-1934. S. Fischer Verlag, Frankfurt a. M. 1977, S. 530. Если не оговорено противное, перевод с немецкого мой — Е.Б.
- [3] *Ницше Фридрих*. Человеческое, слишком человеческое. Книга для свободных умов. В книге *Ницше Фридрих*. Сочинения в двух томах. Том I. «Мысль», М. 1990, стр. 411.
- [4] *Jüngling Kirsten, Roßbeck Brigitte*. Die Frau des Zauberers. Katia Mann. Biografie. Propyläen Verlag, München 2003, S. 49. В дальнейшем ссылки на эту книгу будут даваться в круглых скобках с указанием слова *Jüngling* и номера страницы.
- [5] В русском языке слово «абитуриент» обозначает человека, поступающего в ВУЗ, а вовсе не сдающего экзамены на аттестат зрелости. В основе слова *Abitur* лежит латинское *abiturus* - тот, кто должен уйти. Т. е. «абитур» — это выход из школы, а вовсе не поступление в институт. Но язык развивается по своим законам, не всегда совпадающим с законами житейской логики.
- [6] *Mann Katia*. Meine ungeschriebenen Memoiren. S. Fischer Verlag, Frankfurt a. M. 1974, S. 12. В дальнейшем ссылки на эту книгу будут даваться в круглых скобках с указанием слова *Katia* и номера страницы.
- [7] *Pringsheim Hedwig*. Meine Manns. Briefe an Maximilian Harden, Aufbau-Verlag, Berlin 2006, S. 305.
- [8] *Jens Inge und Walter*. Frau Thomas Mann. Das Leben der Katharina Pringsheim. Rowohlt Taschenbuch Verlag, Reinbek bei Hamburg 2006, S. 40. В дальнейшем ссылки на эту книгу будут даваться в круглых скобках с указанием слова *Jens* и номера страницы.
- [9] *Mendelssohn Peter de*. Der Zauberer. Das Leben des Schriftstellers Thomas Mann. S. Fischer, Frankfurt am Main 1975, S. 893. В дальнейшем ссылки на эту книгу будут даваться в круглых скобках с указанием слова *Mendelssohn* и номера страницы.
- [10] *Mann Thomas*. Briefe 1889-1936. S. Fischer Verlag, Frankfurt a. M. 1961, S. 58.
- [11] *Манн Г., Манн Т.* Эпоха; Жизнь; Творчество. Прогресс, М. 1988, стр. 71-75. В дальнейшем ссылки на эту книгу будут даваться в круглых скобках с указанием слова *Manns* и номера страницы.
- [12] *Шопенгауэр Артур*. Введение в философию. Новые паралипомены. Об интересном. Изд. «Попурри», М. 2001.
- [13] *Mann Thomas*. Große kommentierte Frankfurter Ausgabe. Werke — Briefe — Tagebücher. Band 4.2. S. Fischer Verlag, Frankfurt a. M. 2004, S. 465-466. Про лист 55а, на котором приведено определение непрерывности функции, сказано, что там идет речь «о двух элементарных интегралах, которые затем суммируются». А о листе 55б, где суммируются указанные интегралы, говорится, что он посвящен «определению непрерывности».
- [14] *Манн Г., Манн Т.* Эпоха; Жизнь; Творчество. Прогресс, М. 1988, стр. 73.
- [15] Данные о генеалогии семьи Прингсхайм взяты из работы *Engel Michael*. Die Pringsheims. Zur Geschichte einer schlesischen Familie (18.—20. Jahrhundert). In: *Kant Horst, Vogt Annette* (Hrsg.): *Aus Wissenschaftsgeschichte und -theorie*. Hubert Laitko zum 70. Geburtstag. Verlag für Wissenschafts- und Regionalgeschichte, Berlin 2005, S. 189-219.
- [16] Deutsche Mathematiker-Vereinigung — дословно «Немецкое общество математиков».

[17] *Perron Oskar*. Alfred Pringsheim. Jahresbericht der Deutsche Mathematiker-Vereinigung, 56 (1952/53), S. 1-6.

[18] Да позволено мне будет так сказать (*лат.*).

[19] По-немецки этот каламбур звучит еще ярче: «Mengenlehre» — учение о множествах, «Menge Lehrer» — множество педагогов, наставников, преподавателей. Цитируется по статье *Fritsch Rudolf, Rippl Daniela*. Alfred Pringsheim. In: Forschungsbeiträge der Naturwissenschaftlichen Klasse. Sudetendeutsche Akademie der Wissenschaften und Künste, München 2001, S. 97-128.

[20] *Pringsheim Alfred*. Ueber Wert und angeblichen Unwert der Mathematik. Festrede gehalten in der öffentlichen Sitzung der Königlich-Bayrischen Akademie der Wissenschaft zu München zur 145. Stiftungstages am 14. März 1904. Verlag der Königlich-Bayrischen Akademie, München 1904. В дальнейшем ссылки на эту книгу будут даваться в круглых скобках с указанием слова Pringsheim и номера страницы.

[21] Лихтенберг Георг Кристоф (Lichtenberg, Georg Christoph, 1742-1799) - немецкий физик, публицист, писатель-сатирик, литературный, театральный и художественный критик.

[22] Густав Роберт Кирхгоф (Gustav Robert Kirchhoff, 1824-1887) — немецкий физик, один из выдающихся ученых XIX века, профессор университета в Гейдельберге, потом в Берлине.

[23] Роберт Вильгельм Бунзен (Robert Wilhelm Bunsen, 1811-1899) — немецкий химик-экспериментатор, профессор университета в Гейдельберге.

[24] Per se (*лат.*) — по своей сути.

[25] *Meschkovski Herbert*. Moderne Mathematik. Ein Lesebuch. Piper, München 1991, S. 502. Существует мнение, что эта фраза принадлежит другому великому математику — Карлу Фридриху Гауссу: *Basieux Pierre*. Brücken zwischen Wirklichkeit und Fiktion. Rowohlt Taschenbuch Verlag, Reinbek bei Hamburg, 1999.

[26] *Mann Thomas*. Notizbücher: Edition in zwei Bänder, Band 1, Notizbücher 1-6, Hrsg. von Hans Wysling und Yvonne Schmidlin. S. Fischer Verlag, Frankfurt a.M. 1991, S. 302.

[27] Профессор, доктор медицины Константин фон Монаков (1853-1930) — известный невролог, нейроанатом, нейропсихолог, основатель института анатомии головного мозга и неврологической поликлиники в Цюрихе, а также швейцарского неврологического общества.

¹ [28] *Mann Julia*. Ich spreche so gern mit meinen Kindern. Erinnerungen, Skizzen, Briefwechsel mit Heinrich Mann. Aufbau Taschenbuch Verlag, Berlin 1991, S. 144.

[29] *Ebers Herrmann*. Erinnerungen. Besuche im Hause Pringsheim. In: *Krause Alexander* (Hg.). «Musische Verschmelzungen». Thomas Mann und Hermann Ebers. Anja Gärtig Verlag, München 2006, S. 11.

¹ [30] *Mann Thomas*. Notizbücher: Edition in zwei Bänder, Band 2, Notizbücher 7-14, Hrsg. von Hans Wysling und Yvonne Schmidlin. S. Fischer Verlag, Frankfurt a.M. 1992, S. 119.

[31] Дагни Ланген-Сотро (Dagny Langen-Sautreau, 1876-1974) — урожденная Бьёрнсон, в первом браке за издателем Альбертом Лангеном (Albert Langen, 1869-1909), во втором — за французским промышленником и переводчиком Джорджем Сотро (Georges Sautreau, 18??-1952). Издатель французского сатирического журнала и переводчик.

[32] Бьёрнстjerne Бьёрнсон (Bjørnstjerne Bjørnson; 1832-1910) — норвежский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе 1903 года.

[33] *Wiedemann Hans-Rudolf*. Thomas Manns Schwiegermutter erzählt. Verlag Graphische Werkstätten Lübeck, Lübeck 1985, S. 47.

[34] *Schirnding Albert von*. Thomas Mann, seine Schwiegereltern Pringsheim und Richard Wagner. In: Themengewebe. Thomas Mann und die Musik. Herausgeben von Dirk Heißerer. Thomas-Mann-Förderkreis München e.V., München 2001, S. 20. В дальнейшем ссылки на эту книгу будут даваться в круглых скобках с указанием слова Themengewebe и номера страницы. Каламбур

«жить со стены в рот» является измененной поговоркой «жить из рук в рот», т.е. без запасов, накоплений, «что наработал, то и полопал».

[35] *Mann Thomas*. Notizbücher: Edition in zwei Bänder, Band 2, Notizbücher 7-14, Hrsg. von Hans Wysling und Yvonne Schmidlin. S. Fischer Verlag, Frankfurt a.M. 1992, стр. 120.

[36] В доме Катиных родителей дети придумывали взрослым смешные прозвища, а те их охотно использовали в повседневной жизни. Так знаменитая Хедвиг Дом, бабушка Кати с материнской стороны, звалась в семье «Мимхен» (Miemchen), а родители Альфреда Прингсхайма — Рудольф и Паула — стали «Пумме» (Pumme) и «Мумме» (Mumme). Сам Альфред и его жена Хедвиг получили имена «Офай/Фай» (Ofay/Fay) и «Финк» (Fink). А Катин брат Петер звался среди родных самым непонятым и смешным именем «Бабюшляйн» (Babüschlein).



Василий Демидович

ИНТЕРВЬЮ

с

МАКСИМИЛИАНОМ ДРЫЕЙ

Интервью с польским математиком, профессором Варшавского университета Максимилианом Дрыей (Maksymilian Druja) у меня произошло следующим образом.

В мае 2012 года, во время моей командировки в Германию (точнее, в Высшую техническую школу Берлина), я позвонил из Берлина в Варшаву Максимилиану, являвшемуся моим сокурсником по Мехмату МГУ (с ним я дружен ещё со студенческих времён, и потому называю его просто «Максом»), Поскольку в Москву я улетал лишь в понедельник, и Берлинский weekend оказался у меня свободным, то я договорился «заскочить» к нему на эту пару дней, а заодно взять у него своё интервью. Так всё и произошло: экспресс-поездом «Берлин-Варшава» я за шесть часов доехал до Польской столицы, затем полчаса езды на метро и через десять минут я уже у Макса в доме на тихой Варшавской улице "Boglarczykow".

Там, в дружеской обстановке, у меня и состоялась наша беседа, за которой лукаво поглядывала младшая внучка Макса — девятилетняя Зося. Распечатка этой беседы даётся ниже.



ИНТЕРВЬЮ С МАКСИМИЛИАНОМ ДРЫЕЙ

В.Д.: Привет, Макс. Мы с тобой сокурсники и поэтому будем говорить на «ты». Прежде всего, в нашем интервью расскажи, пожалуйста, где ты родился и кто были твои родители? А также, не был ли кто-нибудь из них связан с математикой?

М.Д.: Я родился 5 августа 1941 года в деревне Радзеховица / Radziechowice/, расположенной примерно в 10 километров от Радомска / Radomsko / - городка Лодзинского воеводства. Мои родители были крестьянами, имеющими небольшое своё хозяйство. И, конечно, никто из них с математикой не был связан.

В.Д.: Школу ты окончил «обычную» или какую-нибудь «специализированную», скажем, с углублённым изучением математики?

М.Д.: Я окончил обычную среднюю школу в Радомске. Ездил туда и обратно на велосипеде.

В.Д.: Здорово!

Теперь о твоём высшем образовании. На Мехмате МГУ ты появился, если я не ошибаюсь, в 1962 году, приехав из Вроцлавского университета. Поэтому расскажи, немного, как происходило твоё поступление во Вроцлавский университет. Был ли туда конкурс?

М.Д.: Я поступил во Вроцлавский университет в... пятьдесят девятом году. И тогда в это время в Польше во всех университетах был конкурс. Я прошёл этот конкурс... и стал студентом.

В.Д.: Конкурс — сколько человек на место? Примерно: пять, два?

М.Д.: Если я помню, то это было три человека...

В.Д.: Три человека — это нормально, конкурс уже... Да... Понятно... А экзамен был письменным?

М.Д.: Вообще экзамен состоял из двух частей. Сначала была письменная часть... Мы решали какие-то задачи, потом их кто-то проверял... А потом уже был разговор...

В.Д.: Устная часть...

М.Д.: Устная, да.

В.Д.: А кроме математики были ещё другие экзамены? Скажем, сочинение было?

М.Д.: Нет, никакого сочинения, только по математике экзамен.

В.Д.: Хорошо

Насколько я знаю, во Вроцлавском университете ты слушал лекции Эдварда Марчевского и Бронислава Кнастера. Расскажи немного о них. Или о ком-нибудь одном из них...

М.Д.: Кнастер вообще читал у меня... нам, студентам... две лекции...

В.Д.: Два курса?

М.Д.: Да, два курса. Сначала читал он нам геометрию, а потом...

В.Д.: Аналитическую геометрию?

М.Д.: Да, аналитическую геометрию... Тогда в это время у нас в Польше в программе была аналитическая геометрия.

А потом он нам читал топологию...

Очень хороший преподаватель был...

Дружеский...

Очень много говорил про себя, время от времени о своих контактах. Он на самом деле был доктор... медицинский доктор...

В.Д.: Он был медиком? Не зна-а-ал.

М.Д.: Он сначала был медиком. Потом он как-то заинтересовался математикой.

В.Д.: Понятно.

М.Д.: И стал математиком.

В.Д.: Он дружил с Павлом Сергеевичем Александровым.

М.Д.: Да-да...

В.Д.: Кстати, Павел Сергеевич тоже из медицинской семьи. Его отец, брат и сестра были медиками...

М.Д.: У меня с профессором Александровым произошла одна интересная история.

Когда я переехал в Московский университет, я попал на третий курс. Мне надо было получить... отметки за отметки, как это по-русски...

В.Д.: Сдать зачеты... да?

М.Д.: Переполучить... переписать...

В.Д. А-а-а, я понял! Перезачесть польские оценки...

М.Д.: Да-да, перезачесть польские отметки первого-второго курсов.

В.Д.: Понятно-понятно.

М.Д.: Ну, в том числе, за аналитическую геометрию. Я, конечно, имел свою зачётную книжку из Польши, которую привёз в Москву с собой. Взял её и пошёл на факультет... А как раз профессор Александров читал аналитическую геометрию там в это время. Я подошёл к нему... Он задал мне вопрос: «А кто у вас читал аналитическую геометрию?» Я сказал: «Кнастер».

«О, это мой друг» - ответил он. Никаких вопросов он мне больше не задавал. И всё мне перезачёл.

В.Д. Да-а-а, Павел Сергеевич ценил Кнастера, я знаю.

М.Д.: Да-да, потому что у них были какие-то контакты. А потом ещё, если я хорошо понял, они обменивались не только по письмам, но ещё имели какое-то сотрудничество. К тому же я недавно узнал, что Кнастер просто жил в Москве во время II мировой войны...

В.Д. Ну, я не знаю... Возможно, возможно...

Скажи, а, случайно, в те годы Павел Сергеевич не приезжал во Вроцлав?

М.Д.: Нет. Как я помню, не приезжал... В то время.... Это, я уже говорил, был пятьдесят девятый год...

В.Д.: Пятьдесят девятый, да.

М.Д.: А насчёт Марчевского...

Марчевский... фамилия до войны у него по другому была...

В.Д.: Это я знаю — Шпильрайн.

М.Д.: Да. Ну, он тогда у нас имел только семинар для студентов третьего курса.

В.Д.: А-а-а, ты был младше...

М.Д.: Нет, ну, я ходил на этот семинар.

В.Д.: Ходил, всё-таки. Молодец!

М.Д.: Ходил. Вообще с ним было очень интересно. Какие-то контакты он с нами имел, ставил какие-то задачи... Ведь на третьем курсе во Вроцлавском университете я ещё учился... А потом повторил третий курс в Московском университете.

В.Д.: Да-а?

М.Д.: Потому что разница в программах была, большая разница. Так что это был очень приятный человек. Хорошие о нём воспоминания.

В.Д.: Хорошо. А как происходил отбор для твоей поездки на учёбу в Московский университет? Конкурс был? Или что было?

М.Д.: Да-а, был объявлен конкурс. И это был такой конкурс, который объявили во всех университетах.

В.Д.: По всей Польше?

М.Д.: По всей Польше...

В.Д.: И не только по математике это, так? Или ты говоришь только про математику?

М.Д.: Я говорю про математику. Но я знаю о конкурсах и по другим предметам...

В общем, студенты, которые хотели поехать на учёбу в СССР, должны были посылать заявку в министерство... Но там тогда очень важно было, чтобы обучение было связано с вычислительной техникой.

В.Д.: Понятно.

М.Д.: Ведь тогда в Польше в это время было начало...

В.Д.: ... развития ЭВМ?

М.Д.: Да... И для этого часть студентов уже поехала учиться в СССР. Но не в Москву, а в Ленинград.

В.Д.: А-а-а.

М.Д.: А на этот раз неизвестно было, куда поедет... Так вот, я послал заявку на этот конкурс. Потом меня пригласили в министерство, и там уже разговаривали со мной. Но не по математике, а по общим вопросам.

В.Д.: Ну, понятно, понятно. Естественно, с чиновниками не про математику говорить.

М.Д.: И это была лишь первая ступень... Так я прошёл первый этап...

В.Д.: Отбора?

М.Д.: Да, отбора. Потом был ещё другой этап отбора. Очень такой для меня деликатный. Который я...

В.Д.: Тоже прошёл?

М.Д.: Да, но чуть не пропал...

В.Д.: Почему?

М.Д.: Из-за политических...

В.Д.: А-а, из-за политических вопросов... Понятно. У нас это называлось «политическим собеседованием» перед поездкой за границу...

М.Д.: Ну а потом ещё всех кандидатов, которые должны поехать в СССР, пригласили на такой... вроде как лагерь... где мы три недели учили русский... И где нас инструктировали, как вести себя за границей и какие можно вести там разговоры. А там один из моих друзей по Вроцлавскому университету написал политический... ну, в общем, плохой отзыв на меня.

В.Д.: Друг?

М.Д.: Друг, друг (*смеются*)... Ну, и тогда... как мне рассказывал один из руководителей этого лагеря, преподаватель русского языка...

В.Д.: Причём, это всё в ещё Польше происходило?

М.Д.: ... Да-да, в Варшаве, после окончания лагеря.

Так вот, он рассказал мне, что они как-то сомневались...

В.Д.: ... посылать тебя в Советский Союз или нет?

М.Д.: Да, у них были колебания... потому что я политически неустойчивый...

В.Д.: Да, знакомо.

М.Д.: А этот дурак написал, ну, действительно, неправду. И написал только потому, что я часто с ним ссорился... Но в конце концов я поехал...

В.Д.: Так что всё кончилось благополучно.

М.Д.: Да к тому же, что очень хорошо, за день до отъезда мы узнали, что поедем на этот раз в Московский университет.

В.Д.: А! Ты даже не знал, куда тебя посылают... Впрочем, тебе было, наверное, всё равно.

М.Д.: В то время я вообще об этом не задумывался. Просто предыдущую группу послали на учёбу в Ленинградский университет, а на этот раз решили поменять Ленинград на Москву, и нас послали в Московский университет.

На самом деле, это было последний раз, когда студентов, официально, такой группой, послали на учёбу в СССР... По этому предмету...

В.Д.: В Польше был уже Гомулка, так?

М.Д.: Да-да.

В.Д.: У нас был Никита Сергеевич Хрущёв, а в Польше Владислав Гомулка. Да-а...

(Примеч. В.Д.: Здесь мной упоминается Владислав Гомулка /*Wladislaw Gomulka*/ (1905-1982) — польский партийный и государственный деятель со сложной судьбой.

В 1926 году он вступил в Коммунистическую партию Польши, 1932-1934 годы, осуждённый за участие в подпольной организации коммунистов, отсидел в тюрьме, в 1934-1935 годы, эмигрировав в СССР, учился в «Ленинской школе» в Москве. Вернувшись в Польшу, в годы её немецко-фашистской оккупации он участвовал в движении Сопротивления.

В 1942 году была образована Польская рабочая партия (ПРП), и в 1943 году Гомулка стал Генеральным секретарём ПРП. После вступления советских войск на территорию Польши в 1944 году, он вошёл в состав Польского комитета национального освобождения, а затем стал вице-премьером нового польского правительства.

Но в сентябре 1948 года Гомулка выдвинул идею «польского пути к социализму». Вслед за тем, обвинённый в «правонационалистическом уклоне», он был смещён с поста Генерального секретаря ПРП, а с созданием в декабре 1948 года Польской объединённой рабочей партии (ПОРП) не был избран членом Политбюро ПОРП. Более того, в январе 1949 года Гомулка был снят со всех государственных постов, а в ноябре того же года исключён из ПОРП. В июле 1951 года он был арестован и находился в тюрьме до 1954 года.

С наступлением «оттепели», в августе 1956 года Гомулка был восстановлен в партии, а в октябре 1956 года был избран Первым секретарём ЦК ПОРП. Встав у руля страны, он принялся реализовывать выдвинутые им ещё в 1948 году идеи «польского пути к социализму», предусматривавшие пересмотр аграрной политики «принудительной коллективизации», нормализацию отношений с католической церковью, развитие рабочего самоуправления.

В конце 1960-ых годов, вслед за разгромом «пражской весны», в Польше начались рабочие волнения. Гомулка потерял свой авторитет и в 1970 году он был смещён с должности Генерального Секретаря ЦК ПОРП. Доживая пенсионером свой жизненный путь, он скончался в Варшаве в 1982 году.)

Ты немножко затронул обучение русскому языку. Были ли у тебя с этим проблемы? Ты же учил русский, наверное, ещё в школе... И когда ты приехал в Москву, тебе надо было, как-то, доучиваться?

М.Д.: Вообще, мой русский язык был очень плохой.

В.Д.: Но формально в школе он преподавался?

М.Д.: Конечно, но как-то... у меня не было... способностей к иностранным языкам. Так что у меня с ним...

В. Д.: ...Были трудности...

М.Д.: Да, были трудности... Но, всё-таки, меня чуть-чуть подготовили в том лагере, о котором я тебе говорил.

В.Д.: Да-да.

М.Д.: Три года каждый день, по три или четыре часа, нас обучали русскому языку.

В.Д.: Как три года?! Три недели!

М.Д.: Да-да, три недели, но каждый день по три или четыре часа.

В.Д.: Ежедневно по три-четыре часа заниматься иностранным языком. Не плохо!

М.Д.: Да, учил русский язык. Очень было трудно.

На самом деле, когда я приехал в Москву, трудно было ещё понять, почему русский язык, который мы изучали в школе, и вообще, там был другим. Так что в начале было очень трудно. Но хорошо, что в Московском университете была кафедра русского языка для иностранцев. И я на ней учился ещё один год... Правда, не помню точно, год или полгода.

В.Д.: Походил на эту кафедру.

М.Д.: Ходил официально на занятия на эту кафедру.

В.Д.: А где она была - на Филфаке? На территории Филфака МГУ, я хочу сказать? Или на территории Мехмата МГУ?

М.Д.: Она была в Главном здании МГУ.

В.Д.: Значит, не на Филфаке - Филфак был в другом здании. Помнится, он был ещё в старом здании МГУ, на Моховой улице.

М.Д.: Я думаю, что это было какое-то особое отделение. Отдельное, только для иностранцев. Там работало несколько преподавателей, женщин, которые только иностранцами были заняты.

В.Д.: Понятно.

М.Д.: И это было не только для поляков, но и для других иностранцев.

В.Д.: Да, мне рассказывали сербские математики об этом. Причём, с тепло-той вспоминали о своих преподавательницах русского языка.

М.Д.: Я тоже помню одну свою преподавательницу, очень приятную женщину,...

В.Д.: А фамилию её помнишь?

М.Д.: Это я должен подумать... Но нет, не могу вспомнить...

В.Д.: Ладно, потом вспомнишь.

Теперь так. На третьем курсе ты уже был на кафедре вычислительной математики Мехмата МГУ. Это было твоё личное решение, или перед отправлением на учёбу в МГУ тебе велели выбрать именно эту кафедру, где происходила специализация по вычислительной математике и по программированию?

М.Д.: Но ведь я поехал в СССР как раз для того, чтобы изучать эти предметы.

В.Д.: Значит, это было целенаправленно.

М.Д.: Целенаправленность была в том, чтобы изучить вычислительную математику, программирование, компьютеры.

В.Д.: Стране нужны были вычислители и программисты... Ясно.

М.Д.: Об этом я уже и говорил... У нас в Польше этим только-только начали заниматься.

В.Д.: Да-да.

М.Д.: Вот меня и послали из Вроцлава.

В.Д.: Кстати, во Вроцлаве уже была ЭВМ?

М.Д.: Тогда ещё нет.

В.Д.: Но в Варшаве уже была?

М.Д.: Когда я уезжал - тоже нет. Первая ЭВМ в Польше появилась, когда я вернулся.

В.Д.: Да-а? И где?

М.Д.: Как раз во Вроцлавском университете. В Варшавском университете ЭВМ купили позже. Правда, до этого какую-то простую машину построили там в Академии наук.

В.Д.: Сами поляки? Свою, польскую машину?

М.Д.: Да, но это уже, так сказать, эталон... особый экземпляр...

В.Д.: Пробный экземпляр?

М.Д.: Да-да. Пробный экземпляр.

В.Д.: Понятно.

Поговорим теперь немного о Евгении Георгиевиче Дьяконове. Ты сразу выбрал его своим научным руководителем, или он только на пятом курсе у тебя им стал?

М.Д.: Он вообще-то поздно стал моим руководителем.

В.Д.: А на третьем курсе кто у тебя был руководителем?

М.Д.: На третьем курсе мне посоветовали, чтобы я занялся компьютерами... И я пошёл на семинар по программированию...

В.Д.: А, наверное, к Николаю Павловичу Трифонову.

М.Д.: Да, к Трифонову... Я помню этого человека... Он ещё с кем-то другим вёл семинар...

В.Д.: С Евгением Андреевичем Жоголевым.

М.Д.: С Жоголевым, да-да.

В.Д.: Жоголев мне читал лекции по программированию на втором курсе.

М.Д.: Так вот, они вели семинар для студентов третьего курса. И я туда пошёл. Но в конце года я осознал, что это не то, что меня интересует...

В.Д.: Ах вот как!

М.Д.: Более того, во время каникул я приехал в Польшу, пошёл во Вроцлавский университет, и мне посоветовали, что мне лучше заняться численными методами решения уравнений в частных производных. В том числе разностными методами.

В.Д.: Разностными схемами.

М.Д.: Да, разностными схемами... И когда я вернулся, после каникул, в Московский университет, то пошёл на кафедру и сказал, что вот мне рекомендовали, чтобы я занялся разностными схемами, потому что в Польше это необходимо.

В.Д.: Что это направление нужно для Польши, понимаю.

М.Д.: Нужны такие специалисты.

В.Д.: Да-да, понятно.

М.Д.: Я помню, заместитель...

В.Д.: Заместитель заведующего кафедрой.

М.Д.: Да, заместитель Тихонова... Как же его звали?...

В.Д.: Иван Семёнович Березин.

М.Д.: Да-да, Березин. Он как сейчас?

В.Д.: Он умер ещё в 1982 году. Его сын, Борис Иванович, сейчас на факультете ВМиК МГУ работает.

М.Д.: Да-а?

В.Д.: Да.

М.Д.: Ну, а тогда он мне сказал: «Я понимаю это, и тогда вы должны пойти либо к Самарскому, либо к Дьяконову. А давайте-ка идите к Дьяконову». Так я попал к Дьяконову (смеются).

В.Д.: И уже на пятом курсе был только у Дьяконова.

М.Д.: Только у Дьяконова. Тогда очень было трудно, потому что, знаешь, на четвёртом курсе я не слушал никаких спецкурсов по разностным схемам...

В.Д.: Понимаю.

М.Д.: И я взял тогда два спецкурса - Дьяконова и Самарского.

В.Д.: Понятно, так ты решил прослушать спецкурсы и Дьяконова, и Самарского.

М.Д.: Да.

В.Д.: Владимир Михайлович Тихомиров, сокурсник Дьяконова, планирует издать воспоминания о своём курсе. Он мне любезно передал небольшие воспоминания о Евгении Георгиевиче двух математиков Евгения Евгеньевича Тартышникова и Андрея Владимировича Князева. Знаешь ли ты их?

М.Д.: Я знаю только Андрея Князева, потому что мы встречались.

В. Д.: А про Тартышникова только слышал?

М. Д.: Да, только слышал. Я думаю, что он был попозже, потом... Потому я и не помню этой фамилии...

Так вот, когда я учился ещё в заочной аспирантуре Мехмата МГУ, то Андрея Князева я, как-то, тоже не знал. Встретился я с ним попозже, когда уже работал в Варшавском университете и ездил к Дьяконову по... научным... э-э-э...

В. Д.: В научные командировки.

М. Д.: Да, в командировки... Тогда я и встретился, на семинаре Дьяконова, с Андреем Князевым.

В. Д.: Но он сильно моложе нас.

М. Д.: О да! (*примеч. В. Д. : его год рождения — 1959-ый*)
Я поддерживаю контакты с Андреем, встречался с ним в Америке.

В. Д.: Да-да, он же уехал туда.

М. Д.: Уехал, да. Он, вообще, в... Colorado University... В Денвере...

В. Д.: В Денвере, ладно.

Теперь такой вопрос: ходил ли ты на семинар Вячеслава Ивановича Лебедева в Вычислительный центр РАН? Согласно воспоминаниям Владимира Михайловича Тихомирова, Дьяконов принимал в нём активное участие.

М. Д.: Нет, я даже не знал о нём...

В. Д.: Но с Лебедевым ты был знаком?

М. Д.: Тогда нет.

В. Д.: Только слышал, что есть такой вычислитель?

М. Д.: Лебедев?

В. Д.: Да.

М. Д.: Я познакомился с ним позднее... Мы встречались на конференциях, которые проходили в Советском Союзе...

В. Д.: Наш сокурсник, Серёжа Финогенов, по окончании Мехмата МГУ работал у Лебедева. У них есть известные совместные публикации.

М. Д.: Да-да, совместные публикации... Но тут важны отношения... сотрудника с руководителем...

В. Д.: Конечно (*смеются*).

Я хочу тебя ещё спросить про Александра Андреевича Самарского. Когда ты с ним познакомился, по существу, ты уже ответил: когда начал ходить на его спецкурс...

М. Д.: Да.

В. Д.: А поближе с ним тебе приходилось общаться?

М.Д.: Я с ним потом много общался... У нас установились хорошие отношения... Но попозже, когда я уже работал в Варшавском университете.

Когда в Центре Банаха происходил семестр по вычислительной математике, Самарский приезжал к нам с женой. Я думаю, что он был одним из руководителей этого семестра. Мы тогда ходили вместе в ресторан, в кино...

В.Д.: Ну, конечно, ты был вроде как его личный переводчик.

М.Д.: Скорее, как выпускник Московского университета.

Но не только тогда мы общались. Например, была такая очень интересная история. Однажды, примерно в это же время, в конце 70-ых - начале 80-ых годов, Самарский приехал читать лекции по вычислительной математике в Центре Банаха. И он попросил меня, что хотел бы встретиться с президентом Польской Академии наук.

В.Д.: Неслабо!

М.Д.: Не знаю, почему, но... я сказал, что у меня есть такие контакты.

В.Д.: Да-а?!

М.Д.: Потому что в это время президентом Польской Академии наук был тот, кто раньше был моим оппонентом по докторской диссертации. Так что я его неплохо знал... И имел с ним контакты...

В.Д.: Не помнишь, кто тогда был президентом ПАН?

М.Д.: Тогда был Вигольд Новацкий.

В.Д.: Новацкий? Он математик?

М.Д.: Он механик.

В.Д.: А, механик.

М.Д.: Но ещё и вычислительный механик.

В.Д.: Ясно, то есть он близок был к вычислителям.

М.Д.: Я помню, что сказал Самарскому, что я попробую... Но я сначала позвонил... к другу Новацкого Станиславу Турскому...

В.Д.: А! Турский! Да, знаю. Известная фамилия.

М.Д.: Известная фамилия, да. Он был ректором Варшавского университета... долгий срок.

В.Д.: Да-да.

М.Д.: И они были друзьями. А Турский был... заведующий моей...

В.Д.: Кафедры...

М.Д.: Кафедры, да. Так что я его попросил, он позвонил Новацкому, и в конце концов всё получилось...

В.Д.: И встреча Самарского с Новацким состоялась?

М.Д.: Да. И очень интересная. Когда Самарский... со мной... приехал в Палас культуры и науки...

В.Д.: Да-да, я знаю этот Дворец.

М.Д.: ...где имел кабинет президент Польской Академии наук, то Новацкий сказал мне: «Ты тоже присутствуй. У меня не больше 40 минут».

В.Д.: А Новацкий по-русски понимал?

М.Д.: Да, понимал. Они, вообще, разговаривали по-русски. Я только присутствовал (*смеются*).... Но, между нами говоря, с этой встречей был маленький скандал...

В.Д.: Во время встречи? Какой?

М.Д.: Нет, после встречи.

Потому что в Академии узнали, что Самарский пошёл к президенту, минуя Институт, который организовал у нас его лекции. И, вообще, как он попал к нему? Ведь он должен был согласовать с руководством Института свою встречу с президентом... Есть же...

В.Д.: Процедура?

М.Д.: Да, процедура...

В.Д.: А Самарский, напрямую, сам вышел на президента!

М.Д.: Да, напрямую сам вышел. И меня начали расспрашивать: «Как это случилось? Почему?» Я ответил: «Он просто попросил меня».

В.Д.: Но ведь так всё и было.

М.Д.: Да, так всё и было. А они подозревали, что он, может быть, хотел...

В.Д.: ...на что-то пожаловаться президенту...

М.Д.: Да. И к тому же, всё равно, к президенту он должен был ехать с директором Института. А он со мной... вообще-то рядовым сотрудником...

В.Д.: ...Поехал прямо к президенту Академии наук. Непорядок! (*смеются*)

М.Д.: Да-а... Но потом все успокоились, и никто к этому уже не возвращался.

В.Д.: Забавная история.

Кстати, по окончании Мехмата МГУ тебя без проблем взяли на работу в Варшавский университет?

М.Д.: Вообще-то проблем не было. Хотя, по началу, это была стажировка. У меня и ещё одного стажёра-ассистента.

В.Д.: Стажёр-ассистент?

М.Д.: Да, была такая у нас процедура... Я не вёл занятий, но присутствовал на них. Ассистентом стал после её прохождения...

В.Д.: И сейчас эта «процедура» осталась?

М.Д.: Нет, уже нет.

В.Д.: То есть сейчас уже нет такого понятия, как стажёр-ассистент?

М.Д.: Нет.

Так вот, после года моего «стажёрства», я стал уже официальным сотрудником Варшавского университета. И попал я в группу кафедры вычислительной математики, которой заведовал тогда Турский.

В.Д.: То есть Турский был заведующим кафедрой вычислительной математики

М.Д.: Да, и, к тому же, ректором Варшавского университета.

Это было моё начало работы в Варшавском университете.

В.Д.: А, вообще-то, это был приятный человек?

М.Д.: Очень приятный... Он очень хорошо относился ко мне. Правда, он уже в то время перестал заниматься математикой...

В.Д.: Понятно — ведь организационная деятельность отнимает очень много времени и энергии.

М.Д.: Конечно... Он был ректором долгое время. И ему приходилось иметь разные контакты... не только научные, но и политические,... и дипломатические... Присутствовать на заседаниях многих обществ... Часто ездить за границу и налаживать международные связи...

В.Д.: Понятно. Он был, по-моему, руководителем у Хенрика Вожьяковского, нет?

М.Д.: Нет... На самом деле «идейным» руководителем Хенрика был Пашковский.

В.Д.: А, Стефан Пашковский? Кстати, он жив-здоров?

М.Д.: Да, да, я встречал его в прошлом году.

В.Д.: Как раз я с ним и хотел бы познакомиться...

М.Д.: Да-да... Но он уже в таком...

В.Д.: ...возрасте?

М.Д.: Да, в возрасте.

В.Д.: Ну, ему под девяносто, наверное...

М.Д.: Восемьдесят семь. Кстати, он тоже прошёл хорошую стажировку в Московском университете.

В.Д.: Это я знаю, это я знаю...

М.Д.: Ты знаешь?

В.Д.: Да, знаю. Польская жизнь была более свободной, чем жизнь в СССР. Помню, как я с завистью услышал от тебя, что ты ездил в ФРГ, где познакомился с Лотаром Коллатцем. Что это была за поездка?

М.Д.: Как раз благодаря Турскому. Он имел с ним контакты...

В.Д.: С Коллатцем?

М.Д.: Да, с Коллатцем. И с другими математиками в ФРГ — тогда Западной Германии...

В.Д.: А-а, хорошо.

М.Д.:...Он организовал группу с нашей кафедры, и мы поехали в Гамбургский университет.

В.Д.: Даже только с одной кафедры! Я думал, с разных университетов... Только из Варшавского университета с кафедры вычислительной математики?

М.Д.: Да, только с нашей кафедры. И вот мы, группа в несколько человек во главе с самим Турским, поехали в ФРГ. Провели там всего пару дней. Мы говорили им, чем мы занимаемся, они нам — чем они занимаются. Так вот, после этой встречи Коллатц и пригласил Турского, меня и ещё одного участника группы к себе домой...

В.Д.: Здорово!

М.Д.: Дом у него был хороший, под Гамбургом. Мы на поезде ехали туда что-то около часа...

В.Д.: Но это не дача, это дом был?

М.Д.: Дом-дом, где он постоянно жил.

В.Д.: Хорошо!

М.Д.: Очень интересная история тогда случилась. Нас было шесть или семь человек. И мы разделились. К Коллатцу поехали трое: Турский и мы двое...

В.Д.: То есть ты с одним из членов группы.

М.Д.: Да, я с коллегой. А к другому математику - Анзорге - поехали остальные члены группы... Есть такой математик, Райнер Анзорге, специалист по вычислительной математике... И когда мы приехали к Коллатцу, и увидели, что профессор там живёт в таком шикарном доме, мы с коллегой как-то, знаешь, даже растерялись... Ведь мы приехали из Польши... И у каждого из нас тогда была только одна комната...

В.Д.: Так и профессора в Польше тогда так не жили.

М.Д.: Да, не жили... А Турский посмотрел на нас и сказал: «Что? Хороший дом? У вас в будущем тоже будет такой же дом». А ведь он был коммунистом. Но сказал так. И был прав (*смеются*).

В.Д.: Конечно. Вот я у тебя сейчас в прекрасном твоём доме... Ты много ездил по миру. Преподавал в университетах США. По твоему мнению, студенты в США чем-нибудь отличаются от студентов МГУ или вот, скажем, от студентов Варшавского университета? Скажем, в Соединённых Штатах они более усидчивые, или изначально лучше подготовлены? Какое твоё впечатление об американских студентах?

М.Д.: Подожди. Это вообще разные системы обучения: в Америке и в наших странах, в том числе и ранее в Советском Союзе. Скажем, в Америке undergraduate students математику изучают на общих курсах вместе со студентами других факультетов — отдельно они её изучают, лишь когда становятся graduate students...

В.Д.: Да, понятно.

М.Д.:... Когда они стали более подготовленными. Вообще очень трудно сравнивать. В то же время... Не знаю, как сейчас... Но раньше при сравнении студентов Америки со студентами Московского университета...

В.Д.:... и даже Варшавского университета?...

М.Д.:... но Московского сказать лучше,... в целом, проигрывали.

Я кончал Московский университет. Там был очень высокий уровень обучения. Мы все знаем об этом....

Вот я уже читал лекции в Лос-Анджелесе. И когда студенты узнавали, что я окончил Московский университет, и работаю в Варшавском университете, то про Варшавский университет они как-то быстро забывали, но всё время спрашивали меня: «Ты действительно окончил Московский университет? Как это было?» Вот! Они интересовались, как было учиться в Московском университете.

Понятно, что в то время математика в Московском университете, по моему мнению, была number one в мире, и никаких сомнений в этом у меня не было. Но понятно и то, что там были другие требования при поступлении в университет, другая в нём система обучения и, знаешь, ...там по другому изучали математику.

В.Д.: Ну, скажем проще. Вот в Москве, даже в Московском университете, были (а сейчас тем более есть) такие студенты — «халявщики». Есть ли такие в Америке?

М.Д.: Конечно, есть... Но многое зависит от того, где происходит обучение. Если студент учится в частном университете, где родители должны платить за него большие деньги, то он более добросовестно относится к своей учёбе. А если, например, он учится в state университете...

В.Д.: ...то есть в государственном университете...

М.Д. ...точнее, в университете какого-нибудь штата, где родители тоже должны за него платить, но значительно меньше, то там уже не так добросовестно относятся к учёбе. Так что Американскую и Российскую систему обучения трудно сравнивать.

В.Д.: Ясно.

М.Д.: Но Американская система приучает студента к тому, что если у тебя хорошие отметки, то ты найдёшь хорошую работу. И происходит соревнование между студентами.

В.Д.: В каком-то смысле уже конкуренция.

М.Д.: Конкуренция во время учёбы, да...

В.Д.: Ради работы потом в хорошей фирме.

М.Д. Да, так. И они вообще... как это по-русски... забыл слово, чтобы не смотреть к другому...

В.Д.: А! Не списывают друг у друга?

М.Д. Как...

В.Д.: Не списывают, не списывают.

М.Д.: Но есть ещё другое русское слово, когда ты списываешь у другого... Я просто забыл это слово (*примеч. В.Д.: при нашей беседе я не догадался, какое слово забыл Макс вместо слова «списать», но, в последствие, сообразил, что он, наверное, имел в виду студенческое сленговое слово «сдуть»*)... В общем, у Американских студентов это очень редкое явление.

В.Д.: Так что, в Американских университетах никто ни у кого не списывает?

М.Д.: Ну, «никто» — это уж слишком сильно сказано даже для Америки (*смеются*).

Но вообще там большинство студентов более честные в этом смысле. Потому что у них конкуренция...

В.Д.: Что, и шпаргалками там студенты не пользуются? (*примеч. В.Д.: по этому поводу я забыл Макс напомнить другое студенческое сленговое слово — «шпоры».*)

М.Д.: Шпаргалками?... Они, вообще, пытаются, но на этот счёт там очень жёсткие правила...

В.Д.: Если поймают?

М.Д.: Поймают, то вообще...

В.Д.: Что?

М.Д.: ...будет очень плохо. Могут сразу уволить.

В.Д.: Исключить и всё?

М.Д.: Исключить... и даже с плохими последствиями.

И вот ещё что. В Америке немногие, кто кончают среднюю школу, сразу попадают в университет. Потому что должна быть ещё к этому подготовка по тому предмету, который они хотят изучать уже в университете. Они её получают, например, в техническом колледже, где преподаются те предметы, которые потребуются им в университете...

В.Д. Понятно.

М.Д.: ...И когда они поступят в университет, то продолжают углублённо изучать лишь то, что им надо.

В.Д.: Хорошо.

Теперь вот о чём. Насколько я помню, в Москву ты последний раз приезжал в 2004 году на конференцию...

М.Д.: ...Петровского.

В.Д.: Да, Ивана Георгиевича Петровского. В частности, на этой конференции один день был посвящен семидесятилетию Николая Сергеевича Бахвалова.

М.Д.: Помнится, не один, а два или три дня.

В.Д.: Два или три дня, хорошо. А когда ты познакомился с Николаем Сергеевичем?

М.Д.: С Николаем Сергеевичем я, вообще, познакомился, когда слушал его лекции по вычислительной математике, которые он читал для нас на третьем курсе...

В.Д.: А! Ну, это мы вместе слушали.

М.Д.: Мы вместе слушали, потому что он читал лекции всему вычислительному потоку...

В.Д.: Да-да.

М.Д.: И я, ещё студентом, как-то с ним познакомился... Потом уже у нас были очень хорошие отношения, потому что Николай Сергеевич Бахвалов часто приезжал в Варшаву в этот...

В.Д.: Банахов центр!

М.Д.: ...Да, в Банахов центр. Он однажды был и руководителем семестра по вычислительной математике...

В.Д.: Да-да, я знаю!

М.Д.: Так что я часто с ним общался, приглашал его к себе домой. Мы как-то вместе ездили с ним в Краков... А когда я приезжал в Москву, то он меня тоже приглашал на свою кафедру, и тоже приглашал к себе домой... Так что он был очень... очень приятным человеком... У нас были хорошие отношения.

В.Д.: У меня о нём тоже самые лучшие воспоминания...

Теперь вот о чём. Ты с Хенриком Вожняковским ведёшь научный семинар в Варшавском университете. Какова история этого семинара, сколько ему лет?

М.Д.: Я думаю, что он ведёт своё начало с семидесятых годов... И первым его руководителем, я думаю, был Анджей Келбасиньский... Да-да. В это время я только что стал кандидатом...

В.Д.: А Хенрик?

М.Д.: Он тоже только что... защитил...

В.Д.: Защитился?

М.Д.: Да, защитился. Мы, более-менее, защитились в одно время...

В.Д.: Кстати, ты защищался в Москве, на Мехмате МГУ, я помню. А Хенрик тоже защищался в Москве? Или в Варшаве?

М.Д.: Нет, в Варшаве. И, как я уже говорил, реальным руководителем, вообще говоря, у него был Пашковский. Из Вроцлавского университета...

В.Д.: А что, Хенрик кончал Вроцлавский университет?

М.Д.: Нет-нет. Просто его официальный руководитель, Келбасинский, был оттуда. И Келбасинский решил, что по методам решения нелинейных уравнений специалистом... более известным и хорошим... был Пашковский.

В.Д.: А-а, ясно.

М.Д.: Они друзья, Келбасинский и Пашковский. Келбасинский позвонил ему и спросил: «Мог бы ты порекомендовать...»

В.Д.: Порекомендовать.

М.Д.: «...порекомендовать тему для кандидатской диссертации?»

В.Д.: Да-да, понятно.

М.Д.: Так что вот так... А потом, знаешь, когда уже Келбасинский ушёл на пенсию, Хенрик и я стали вести этот семинар вместе. Но Хенрик часто уезжал в Америку, и мне приходилось его...

В.Д.: Заменять?

М.Д.: Да, заменять. Несколько лет, когда Хенрик всё время был в Америке, я был один руководителем этого семинара. В последние же годы, когда Хенрик вернулся уже из Америки, он вновь со мной стал руководителем этого семинара.

В.Д.: Я вспоминаю, как выступал несколько раз на этом семинаре. Замечательная обстановка. Мне всегда всё очень нравилось.

М.Д.: Да-да... У нас была заведена традиция собираться за полчаса до начала семинара...

В.Д.: ...Помню-помню...

М.Д.: ...Чтобы попить кофе, чай...

В.Д.: ...Да-да...

М.Д.: ...с печеньем... А потом, после этого получаса, мы уже идём слушать...

В.Д.: Доклад.

М.Д.: Да, доклад.

В.Д. Так! В заключение немного о личном! Я давно знаю всю твою семью, твоих детей и внуков. А как ты познакомился со своей женой Анной? Ещё в Варшаве? Или в Москве, где она тоже училась на филфаке МГУ?

М.Д.: Мы познакомились в Москве, в Московском университете, который она тоже окончила.

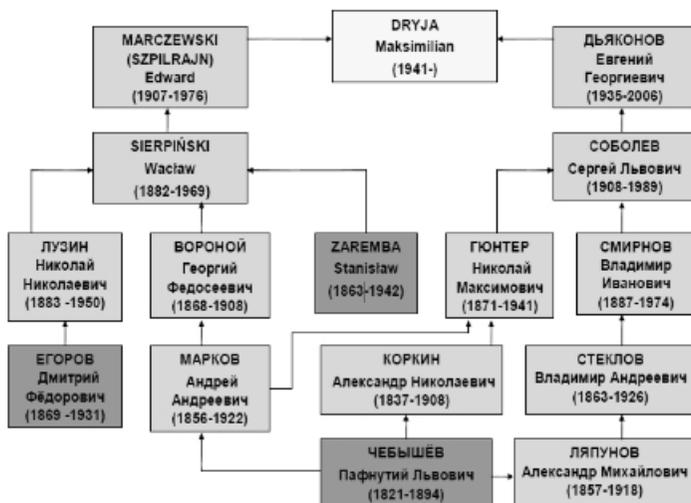
Анна, вообще говоря, в Москве была вместе с родителями, потому что её отец работал в польском посольстве. Наше же с ней знакомство произошло уже в первый год моего пребывания в Москве...

В.Д.: То есть где-то в 62-м году?

М.Д.: В 62-63-м, что-то около этого...

В.Д.: Ну вот и всё, Макс. Осталось лишь пожелать тебе, и всему твоему семейству, всего самого хорошего.

М.Д.: И тебе, Вася, и всей твоей семье, желаю всего наилучшего...



Генеалогическое дерево

Май 2012 года.



Павел Нерлер

ОСИП МАНДЕЛЬШТАМ И ЕГО СОЛАГЕРНИКИ^[1]

СЛЕДОПЫТЫ

НАДЕЖДА МАНДЕЛЬШТАМ, МОИСЕЙ ЛЕСМАН И ДРУГИЕ

Надежда Мандельштам

Самым первым — во всех смыслах слова этого слова — «историческим следопытом» была сама Надежда Яковлевна, представившая свои результаты в двух заключительных главах «Воспоминаний» - «Дата смерти» и «Еще один рассказ».

Она пишет о десятке свидетелей, которых она лично расспрашивала о последних месяцах жизни О.М. Ее собственная кочевая жизнь мало способствовала методическому поиску и вопросам, но тем не менее можно отметить что как минимум четверо — Казарновский, Меркулов, Хазин и «физик Л.» — оставили свой след в ее тексте. Еще трое — писатель Д. (Домбровский), поэт Р. (личность не установлена, но В. Марков говорил мне, что близок к решению этой загадки) и неназванный(?) Шаламов — свидетели пусть не о Мандельштаме, но о лагерях. Никак не обозначены у нее Филипп Гопф (он, правда, ничего и не рассказал) и Иван Милютин, чей текст, возможно, попал к ней уже после отправки рукописи «Воспоминаний» на Запад. Но не охвачен ею и Злобинский!

В ее усилиях следопыта просматривается несколько этапов.

Первый — это ташкентский, когда сама судьба свела Н.Я. с первым из встреченных ею посланцев с того света — с Казарновским.

Второй — ульяновский, когда ее мучил своими «новостями» об О.Э., нравственный садист-особист Тюфяков.

Третий — московско-чебоксарский — связанный с хрущевскими разоблачениями и началом всесоюзного процесса реабилитации безвинно репрессированных лиц. В записях Н.Я. находим след этого процесса: *«Реабилитация. Слухи о реабилитации начались в 54-55 гг. Во время одного из приездов в Москву из Чебоксар я услышала про героическую борьбу за реабилитацию вдовы Бабеля и внушки Мейерхольда»*^[2]

И четвертый — тарусско-московский, когда Н.Я., получив прописку и купив квартиру, «осела» в столице. Это впервые дало ей возможность относительно спокойно встречаться с интересующими ее очевидцами (впрочем, и в тарусскую свою пору она не останавливалась перед тем, чтобы выбраться к Хазину в Болшево, например).

Терпеливо собирая крупицы сведений о последних злосчастиях своего мужа, она опросила десятки свидетелей и лжесвидетелей, после чего поделилась с

читателями тем, что за долгие годы смогла узнать. В ее первой книге «Воспоминания» этому посвящены две последние главы: «Дата смерти» и «Еще один рассказ».

Илья Эренбург

Вторым — пусть и невольным — следопытом следует признать Илью Григорьевича Эренбурга. Его воспоминания «Люди, годы, жизнь...» будильником прозвенели в ушах усыпленного поколения, многие (не все, конечно) встряхнулись и, благодаря ей, начали думать и понимать. Именно Эренбургу Н.Я. обязана большинством своих свидетелей и свидетельств.

Приведенные или процитированные Эренбургом поразительные стихи были, в сущности, первыми публикациями «позднего Мандельштама» на родине, а сообщенные биографические сведения — вешками той неписаной биографии-судьбы поэта, еще только возникавшей в сознании читателя.

В январской книжке за 1961 год можно было прочесть следующее: *«Кому мог помешать этот поэт с хилым телом и с той музыкой стиха, которая засекает ночи? В начале 1952 года ко мне пришел брянский агроном В. Меркулов, рассказал о том, как в 1938 году Осип Эмильевич умер за десять тысяч километров от родного города; больной, у костра он читал сонеты Петрарки. Да, Осип Эмильевич боялся выпить стакан некипяченой воды, но в нем жило настоящее мужество, прошло через всю его жизнь — до сонетов у лагерного костра...»*^[3]

Этот абзац оказался той классической наживкой замедленного действия, — той, что вскоре привела к Эренбургу нескольких посланцев с того света, видевших Мандельштама кто в эшелоне, кто в лагере, а кое-кто — и на Колыме, где тот никогда не был.

Каждого из них Эренбург так или иначе переадресовывал ко вдове Мандельштама. Надо ли говорить, как сама она, по крупницам собиравшая и быть, и небыль о последних месяцах и смерти О.М., жадно искала такие контакты и как жаждала лично каждого расспросить! На страницах ее книг, в ее переписке и в ее архиве остались многочисленные следы таких переадресовок и встреч, а вместе с ними — иногда — и сами свидетельства.

И еще одно явление предопределил этот пассаж — романтизацию мандельштамовской смерти.

В действительности же не было не только стихов у костра, но и самих костров. Ни Меркулов, ни Злобинский ничего такого ни Эренбургу не рассказывали и не писали, так что «разжигал» их сам Эренбург, причем намеренно — для создания антуража и стиля.

Но именно на эту — фальшивую, в сущности — ноту впоследствии запали очень многие романтики-мифотворцы ^[4].

Евгений Мандельштам

Третьим по времени следопытом следовало бы назвать Евгения Эмильевича Мандельштама (1898-1979), младшего брата поэта. Это он — предположительно в 1966 году — вышел на академика Крепса, благо его старший сын Юрий работал у

Крепса в институте, и это он в январе 1967 года рассказал свояченице о Крепсе (или Гревсе, как она запомнила с голоса).

Тем самым он подтолкнул Н.Я. к автономным поискам этого самого «Гревса» (действия через свояка были для нее исключены): она «озадачила» этим своих ленинградских друзей — Александра Гладкова и Иосифа Амузина, а последний подключил к поискам Марка Ботвинника. О полученных результатах Марк Наумович «отчитался» напрямую перед Н.Я.

Как правило, она сама стремилась участвовать в такого рода беседах, но не всегда это было возможно, и тогда Н.Я. доверяла расспросы потенциальных очевидцев своим друзьям [5].

Моисей Лесман

Следует заметить, что самый интерес к подлинным событиям сталинского террора долгое время был предосудителен и небезопасен, недаром многие из очевидцев либо упорно уклонялись от разговоров на эту тему, либо оговаривали свою глубокую «конспирацию» (как, например, «физик Л.» или тот же Злобинский). Поэтому воздадим должное мужеству Надежды Яковлевны и всех тех, кто вопреки обстоятельствам времени собирал, искал, записывал, копил эти свидетельства — в твердой уверенности, что рано или поздно они понадобятся для воссоздания как можно более полной картины «жизни и судьбы» Мандельштама.

Именно таким человеком предстает и четвертый (а по сути второй) следопыт: им был Моисей Семенович Лесман (1902-1985) — ленинградский пианист-концертмейстер и известнейший коллекционер книг и рукописей. Он был не просто собирателем и хранителем древностей — он, как и вдова поэта, целенаправленно искал и находил очевидцев, тщательно записывал их бесценные свидетельства к биографии О. М. и даже подбирал материалы к их комментарию.

В 1990 году его вдова, Н.Г. Князева, опубликовала подборку таких записей в первом в СССР сборнике, посвященном поэту [6].

Марков, Шенталинский, Поляновский и другие

Собирать такие свидетельства в горбачевское или ельцинское время, несмотря на все упущения, было сравнительно просто, но те, кто вслед за Н.Я. и М. Лесманом, продолжили этот поиск приступили к нему еще до перестройки.

Это, например, владивостокский краевед Валерий Михайлович Марков. Как никто другой много сделал он для историографии местной пересылки и для выяснения «на месте» десятков локальных подробностей. Он сумел даже выдвинуть и обосновать гипотезу о наиболее вероятном месте нахождения братской могилы, где, по его выражению, «и мандельштамовские косточки лежат».

Это и писатель Виталий Александрович Шенталинский, секретарь Комиссии СП СССР по репрессированным писателям, опубликовавший в «Огоньке» — в дни мандельштамовского столетия — фрагменты обоих следственных дел Мандельштама со своими комментариями.

Но волна мандельштамовского юбилея в январе 1991 года вынесла самотеком наверх и еще одно ценнейшее свидетельство — Юрия Илларионовича Моисеенко из белорусских Осиповичей, чье письмо опубликовали «Известия» 22 февраля 1991 года. Тогда же он откликнулся и на наш призыв и прислал в Мандельштамовское общество еще одно, более подробное, письмо.

С именем Моисеенко накрепко связалось и имя Эдвина Луниковича Поляновского, журналиста-известнца, первым съездившего в Осиповичи и поместившего в «Известиях» целую серию очерков о Моисеенко и Мандельштаме, а затем и выпустившего книгу о них [7].

Это, наконец, и пишущий эти строки, интервьюировавший Поступальского, Крепса, Маторина и Моисеенко и мощно поддержанный в своих разысканиях Николаем Поболем, сходу обнаружившим список и прочую документацию «мандельштамовского эшелона» (он же вместе со мной ездил и в Осиповичи к Моисеенко). Поддержанный и Светланой Неретиной, взявшей одно из лучших интервью у Дмитрия Маторина. Еще в 1988 году я как секретарь Комиссии по литературному наследию О.Э. Мандельштама знакомился с тюремно-лагерным делом О.М., обнаруженным в магаданском архиве МВД [8].

Конечно, не надо ни недооценивать, ни переоценивать такого рода свидетельства сами по себе. В них — и это неизбежно — немало неточностей и несообразностей, ведь никакая память не способна выдержать все, что обрушивалось на советского «эзка» в те годы.

Но все новые и новые крупинцы знания, накладываясь друг на друга и совмещаясь (или, наоборот, не совмещаясь!), — в какой-то момент способны вызвать к жизни и относительно полную картину этих коротких и последних одиннадцати недель, картину — как бы освобожденную от несуразностей и хотя бы от части противоречий.

ПАМЯТНИК МАНДЕЛЬШТАМУ ВО ВЛАДИВОСТОКЕ: ЧЕРНОВИКИ И ЧИСТОВИК

Скульптору Валерию Геннадьевичу Ненаживину [9] было около 30 лет, когда в начале 1970-х он впервые прочел стихи Мандельштама и, по его же выражению, «утонул в них».

Сразу же пришло решение создать для своего города и края памятник великому поэту. К поиску пластического образа Ненаживин приступил в 1985 году, когда создал три скульптурных портрета Мандельштама — в гипсе, в бетоне и в бетоне с металлом, в том числе композицию «Тиски» (голова поэта, зажатая в металлические тиски) [10]. В качестве портретного прототипа он взял известный рисунок В. Милашевского.

В том же 1985 году Ненаживин по собственной инициативе и на свои средства впервые изваял — в гипсе — и сам памятник, а в декабре 1988 года впервые выставил его в Приморской картинной галерее во Владивостоке.

Фигура О.М. весьма выразительна: поэт стоит в своей характерной позе, с запрокинутой по-птичьей головой и с закрытыми глазами. И в нем клокочут стихи, и в то же время его мучит смертельный приступ, щемит сердце, нечем дышать — правая рука тянется к вороту, и, кажется, впереди еще лишь последний вздох. На шее — удушающая веревка, на руках и затылке — раны от гвоздей. Правая рука поднесена к шее в жесте, как если бы поэт хотел освободиться от душащих его пут.

Как отмечал Е. Мырзин в предисловии к каталогу персональной выставки Ненаживина в 2000 году, «...знаменитый памятник Мандельштаму, — имеет негибкую, мужественную, но изящную и утонченную линию. Поэт — вопреки страданиям и благодаря им — стоит на земле легко и наполнен стихами»^[11].

Однако попытки скульптора преподнести памятник в дар Владивостоку в первые 10-12 лет наталкивались на упорное нежелание городских властей и местных писателей видеть у себя памятник «этому еврею». В качестве обоснования выдвигался тезис: не один Мандельштам сложил тут, на владивостокской пересылке, по дороге на Колыму свои косточки. Другие же подчеркивали именно обобщающую силу обретенного в памятнике образа: это обо всех репрессированных писателях и политзаключенных!

13 лет памятник простоял во дворе ненаживинской мастерской (Русская улица, 27), где снималось и большинство телефильмов о нем и о его памятнике^[12].

Установка памятника в качестве официального знака стала возможной благодаря инициативе и усилиям Мандельштамовского общества, Российского и Владивостокского Пен-клубов, местных краеведов, а также поддержке мэрии Владивостока, администрации Приморского края и Приморского центра по охране памятников истории и культуры.

Первоначально памятник планировалось установить на месте братской могилы, в которой покоятся кости поэта, но для этого требовалось получить разрешение командования Тихоокеанского военно-морского флота, которому подчинялся так называемый «окипаж», то есть военно-морская часть, дислоцированная на территории бывшего лагеря, где погибал и погиб О.М. Не получив от флота добро, тогдашний мэр Владивостока В.И. Черепков предложил в качестве альтернативы небольшой сквер на улице Ильичева — внутри квартала за кинотеатром «Искра», что на проспекте имени 100-летия Владивостока.

Памятник был выполнен из специального бетона с арматурой и с внешним покрытием в технике энкаустика. Он был *впервые* установлен и открыт 1 октября 1998 года. Вместе с краевыми и городскими властями выступали председатель Пен-Центра и член Совета Мандельштамовского общества Андрей Битов и местные литераторы (Александр Колесов, Александр Егоров и др.). Собралось около 300 человек, работала съемочная группа канала «Культура».

Накануне, 29 сентября, в местном Доме Офицеров состоялся поэтический вечер, а 25 декабря 1998 во Владивостокском краеведческом музее открылась выставка «Век мой, зверь мой...», посвященная 50-летию со дня гибели О.Э. Мандельштама. На выставке, организованной Мандельштамовским обществом, Государственным объединенным музеем им. В. Арсеньева, Приморской организацией Общества книголюбов и Научной библиотекой Дальневосточного госуниверситета, были представлены книги и материалы из собрания В.М. Маркова.

27 декабря 1998 года, в день 50-летия со дня гибели О.Э. Мандельштама, по каналу «Культура» был показан пилотный вариант фильма «Конец пути», снимавшегося каналом «Культура» в том числе и в дни открытия памятника поэту во Владивостоке^[13].

Читатель, наверно, уже споткнулся о выражение — применительно к памятнику — «первые установлен и открыт». Увы, это корректное выражение.

22 апреля 1999 года, спустя полгода с небольшим после своего открытия, памятник стал жертвой вандалов, отбивших у фигуры поэта пальцы на правой руке и всю левую кисть, а также изуродовавших его лицо, в частности, глаза и нос. 26 апреля 1999 года Андрей Битов, Фазиль Искандер, Андрей Вознесенский и другие

писатели заявили свое возмущение губернатору Приморского края Е.И. Наздратенко и новому мэру Владивостока Ю.М. Копылову: Они потребовали возбуждения уголовного дела, реставрации памятника и его переноса в более публичное место, с обеспечением муниципального контроля за его состоянием.

Новую версию манделъштамовского памятника — уже третью, если брать в расчет и первоначальную гипсовую, стоявшую во дворе, — Ненаживин выполнил уже в чугуне, при этом отдельные детали незначительно видоизменились в силу специфики нового материала. От отливки в бронзе сразу же отказались, поскольку тогда возникал риск сделаться жертвами уже не вандалов, а «предпринимателей» — собирателей и скупщиков лома цветных металлов.

Летом 2000 года обновленный памятник снова хотели установить на территории бывшего пересыльного лагеря, однако не вышло и на этот раз: скульптура вновь была установлена на старом пьедестале в скверике за кинотеатром «Искра». Церемония открытия состоялась 11 декабря 2001 года: на ней выступали А.Г. Битов, А. Егоров и другие писатели, В.И. Черепков (уже как бывший мэр города), а также глава городской думы Б.И. Данчин.

Однако уже в январе и марте 2002 года памятник вновь подвергся атакам вандалов, на этот раз обливавших его — дважды! — несмываемой белой краской. В 2003 году ректор Владивостокского государственного университета экономики и сервиса Г.И. Лазарев выступил с инициативой установить памятник в уютном парке возле университета. 16 января 2004 года, после очередной реставрации, памятник был в третий раз установлен — на своем теперешнем месте^[14].

Здесь — по новому адресу: улица Гоголя, 39а-41, — в ограде университетского кампуса, памятнику, кажется, не страшны ни вандалы, ни «предприниматели». Он уже стал городской достопримечательностью, привлекая российских и зарубежных туристов.

О непростой истории памятника Манделъштаму написаны десятки статей. Каждое 15 января и каждое 27 декабря — в годовщины рождения и смерти Осипа Манделъштама — у памятника собираются писатели и студенты, возлагаются цветы и венки, читаются стихи. Университетской традицией стали и неперIODические «Манделъштамовские дни» (или, по официальной версии, «Манделъштамовские чтения»), в которых принимают участие писатели, лигатуроведы и переводчики из разных городов и стран. Впервые они прошли 18-20 сентября 2006 года, вобрав в себя выставку «Осип Манделъштам: личность, творчество, эпоха», подготовленную Приморской государственной публичной библиотекой им. А.М. Горького, поэтический вечер и однодневную конференцию^[15].

Сегодня, когда в Варшаве — городе, где Осип Манделъштам родился, — есть уже улица Манделъштама, остается только недоумевать, почему такой же улицы нет во Владивостоке — городе, в котором закончились его дни?

POSTSCRIPTUM

ВДОГОНКУ РУКОПИСИ

Пока шла работа над версткой этой книги, в моем распоряжении оказались некоторые новые материалы. В частности, два следственных дела Злобинского — №№ П-10035 и П-21320 — и (спасибо С. Соловьеву!) даты прибытия некоторых из наших персонажей в Магадан или в Сиблаг, то есть в Маринск.

...Давид Исаакович Злобинский родился в 1907 году в Миргороде, что под Полтавой, в торговой семье. В 1924 году уехал оттуда в Харьков, где в 1925-1926 гг. работал в газете «Молодой ленинец». В 1926-1927 гг. следователь шил ему поддержку «троцкистской оппозиции». В 1927 году комсомол командирует его в Вышний Волочок, а оттуда в Ногинск. С осени 1927 и по лето 1937 гг. он проработал в органах печати Ногинского района.

В 1931 году Злобинского принимают в кандидаты в члены ВКП(б), но в 1935 году исключают из партии, затем восстанавливают еще раз как кандидата, а 20 сентября 1936 года еще раз исключают из кандидатов как неустойчивый и невыдержанный элемент.

Тут-то 24 июня 1937 года он был арестован НКВД — по сути за то, что, высказываясь публично о классовой борьбе, объявил себя противником тезиса о необходимости ее остроты и обострения. За это — уже как член контрреволюционной троцкистской организации — он был осужден 20 декабря 1937 года к 8 годам ИТЛ. В начале 1938 году он в Бутырской тюрьме, затем ненадолго в БАМЛАГ, оттуда на Владивостокскую пересылку, откуда — уже в 1939 году — был этапирован в Маринские лагеря. Освободившись 23 августа 1946 года, Злобинский переехал в Александров Ивановской области, откуда переехал в д. Грибово Киржачского района Владимирской области, где четыре года проработал статистиком, бухгалтером и нормировщиком Паршинского торфопредприятия.

Семью да ареста он завести не сумел, не женился и после освобождения. Так и жил — одиноко, замкнуто, очень бедно. Когда 14 апреля 1950 года его снова арестовали, то при обыске ничего, кроме облигаций, у него не оказалось. Никаких новых обвинений ему не предъявили — достаточно и старых, в частности, показаний бывшего секретаря Ногинского горкома Гурина от 28 июня 1937 года, «руководителя их группы», давным-давно уже расстрелянного.

Вот только здоровье после первого ареста лучше не стало: но и туберкулез легкого, и деформация остатков поясничной области — не преграда к признанию годности к труду, правда, к легкому. Обвинительное заключение было состряпано всего за неделю — уже к 21 апреля 1950 года (статьи стандартные: 58.10.1 и 58.11). Приговор же от 5 августа 1950 года оказался «мягким»: никакого тебе ГУЛАГа, а просто ссылка в Красноярский край на поселение, без указания, правда, срока, то есть на вечное поселение.

Из Сибири Злобинский вернулся только после своего освобождения Верховным судом СССР от 9 ноября 1956 года. При этом просьбу о реабилитации в 1946 году отклонили: все же нехорошо сомневаться в полезности обострения классовой борьбы.

Тягостное ощущение высосанности дела из пальца и работы на галочку в случае репрессий против Давида Злобинского достигает, кажется, своего природного максимума!

За два присеста Злобинский отдал НКВД 14 лучших лет жизни, навсегда оставшись бесконечно обиженным, одиноким и больным.

И бесконечно напуганным! Его письмо Эренбургу и последующее общение с Н.Я. и ее посланцами — самый настоящий подвиг мужества!

Что касается дат, то они принесли с собой и сюрпризы, требующие определенных корректив. В частности, подтвердилась догадка о том, что Филипп Гопп, бывший на пересылке в 1937 году, О.М. там видеть не мог: так что из перечня очевидцев его надо изымать и переносить к мистификаторам.

Туда же «просится» и еще один «очевидец», доставленный на Колыму парохомом «Дальстрой» 24 июля 1938 года, то есть тогда, когда О.М. дождался в

тюрьме своей участи. И это не кто-нибудь, а со времен еще Н.Я. первейший свидетель — Юрий Казарновский! ^[16]

Он и здесь оказался верен себе! Хорошо запомнив рассказы того или тех з/к, кто действительно был с О.М. в лагере, он талантливо и правдоподобно изложил этот роман Н.Я., бесконечно взволнованной и не заподозрившей плагиата. Поэтому он ни разу не назвал ей никакое другое, кроме манделъштамовского, имя, а остальные солагерники ни разу не припомнили его самого.

Примечания

[1] Три фрагмента из завершающей части книги П. Нерлера «Осип Манделъштам и его солагерники» (М.: АСТ, 2015) - «Следопыты», «Памятник Манделъштаму во Владивостоке: черновики и чистовик» и «Postscriptum. Вдогонку рукописи». Первые две публикации см. в №№ 5 и 6/2015 — Ред.

[2] *РГАЛИ. Ф. 1893. Оп. 3. Д. 108. Л.39.*

[3] Новый Мир. 1961. № 1. С.144.

[4] См. ниже.

[5] В частности, к Д. Злюбинскому ее посланцами были: в 1963 г. — А. Морозов и в 1974 — Ю. Фрейдин.

[6] Новые свидетельства о последних днях О.Э. Манделъштама / Публ. Н.Г. Князевой. Предисловие П.М. Нерлера // *Жизнь и творчество*. С.47-52.

[7] *Поляновский*, 1993. В книге, основанной на интервью с Ю.И. Моисеенко, вкостую проигнорирован весь остальной материал.

[8] При активном содействии сотрудников ЦА МВД В.П. Коротеева и Н.Н. Соловьева.

[9] Он родился 25 октября 1940 г. в Уссурийске. Член Союза художников СССР (1974), заслуженный художник России (2006).

[10] Вот ненаживинская «манделъшамана»: О.Э. Манделъштам. 1985, бетон; О.Э. Манделъштам. Красные тиски. 1985, бетон, металл (Приморская картинная галерея); Портрет О.Э. Манделъштама. 1985, гипс; Памятник О.Э. Манделъштаму. 1985, бетон, энкаустика; Памятник О.Э. Манделъштаму. 2001, чугун.

[11] Скульптор Валерий Ненаживин. [Каталог]. Владивосток: Галерея современного искусства Артэтаж, 2000.

[12] Мой Манделъштам (Владивосток, 1985, реж. Б.В. Кучумов); Скульптор Ненаживин (Владивосток, 1986, реж. Б.В. Кучумов); Конец пути (1998, Москва, канал «Культура», реж. Г.А. Самойлова); О скульпторе Ненаживине (Владивосток, 2000, канал «Лица»); Настоящие приморцы (Владивосток, 2000, реж. В. Подлесная); Битов у Ненаживина (Владивосток, 2001, канал ПТР); Шум времени [Об установке памятника в 2001] (Владивосток: Home pictures, 2002, реж. Г.Г. Телешов).

[13] 29 декабря 1998 г. он был повторен на Манделъштамовских чтениях в РГГУ.

[14] В церемонии открытия участвовал начальник управления культуры Владивостока В. Коркишко.

[15] Вошла составную частью в масштабный международный форум «Информационные технологии и телекоммуникации в образовании и науке».

[16] См. о нем: Нерлер П. Осип Манделъштам и его солагерники. Colta.ru публикует фрагмент новой книги Павла Нерлера // Colta.ru. 2015. 19 мая. В сети: <http://www.colta.ru/articles/literature/7319>



Розалия Степанова

АХ, МАТУШКА, НЕВМЕСТНА ВАША РОЛЬ!

Неординарные обстоятельства рождения А.С. Грибоедова и их вынужденно дружное замалчивание

Расхожей истиной стал пересказ гегелевского утверждения о том, что события повторяются дважды — сначала в виде трагедии, потом в виде фарса. Но жизнь показывает — иногда, прежде чем выродится в фарс, пережить приходится повтор трагедии и даже не один. Это особенно больно, когда посол могущественной державы вновь подвергается растерзанию бесчинствующими мусульманскими фанатиками, и это им сходит с рук.

Для России варварское убийство её полномочного посла в Персии толпой разнузданной черни, умело натравленной своими муллами, было особенно горькой потерей. Помимо болезненного политического урона невозполнимую утрату понесла русская культура, потому что это был Александр Сергеевич Грибоедов — её тогда ещё не всеми осознанная надежда, её гордость.

Задумываемся ли мы над тем, как совершилась трансформация литературного языка времён Петра и русских императриц в практически тот, которым пользуемся по сегодняшний день? А ведь произошло это не само собой, у этой перемены были создатели, они же авторы большинства до сих пор широко используемых крылатых выражений. Один из них — Иван Андреевич Крылов, другие — два блистательных тётки, оба Александры Сергеевичи — Пушкин и Грибоедов. Их насильственную гибель мы до сих пор оплакиваем, не признаём неотвратимой.

Дуэль Пушкина можно было отвести. А смерть Грибоедова? — Горько сознавать, горше всего в Филадельфии, что столь злой судьбы автор «Горя от ума» вполне мог избежать, не склонись он на увещевания своей матушки, неизменно уверенной, что лучше других знает, как ему поступать надобно.

Добиваться своего, не останавливаясь перед использованием запрещённых приёмов, Настасья Фёдоровна умела с молодых ногтей. Начать хотя бы с недопустимого для незамужней девицы, да ещё в России конца XVIII века, некоего «приключения», после которого на свет появился её Сашенька, будущий знаменитый драматург. С тех пор за его спиной постоянно маячило нечто бесформенное, гнетущее, неразличимое. Развеять эту тень безуспешно пытались многие.

Девица Грибоедова была не первой, попавшей в столь затруднительную ситуацию — дело житейское, выходы находили. На такой случай существовала своя практика. Когда отцом ребёнка был дворянин или человек с положением в обществе, из щекотливых обстоятельств выбирались — либо, записав чадо на подставных родителей (вспомним детей графа Разумовского Перовских, не говоря уже об аналогичных случаях с Жуковским, Полежаевым, Бородиным) и редко оставляя в семье, либо же, навсегда отдав в чужие руки. Но когда устроить надо было плод

любви дамы, пуще того — незамужней девицы, держать его дома было невозможно. Такое не могла себе позволить даже Екатерина Великая — собственного сына от Григория Орлова она доверила растить своему камер-лакею. А Настасья Фёдоровна себе позволила. Она не только рискнула оставить мальчика в семье, не пожелав прибегнуть к услугам подставных родителей, но, каким-то образом, дала ему свою фамилию незамужней девицы и пару лет прятала, пока не найден был хитроумный выход.

Среди захудалых отпрысков фамильного древа дворян Грибоедовых, входящего к концу XVI века, обнаружен был проживавший с родителями по причине отсутствия какого-либо имения отставной секунд-майор, в послужном списке которого отмечено было лишь одно скромное достоинство — «читать и писать по-русски умеет». Отличился он тем, что, имея «одну, но пламенную страсть» к карточной игре, вместе с такими же дружками ухитрился обыграть до полного разорения некоего несовершеннолетнего дворянина. Сходство с сюжетом Гоголевских «Игроков» было бы полным, если бы не концовка. Дело было подвергнуто разбирательству и виновных обязали вернуть потерпевшему «недорослю» все 14 000 рублей. Так что для родовитой и привлекательной Настасьи Фёдоровны, имевшей к тому же недурное приданое и большие связи в свете, жених он был незавидный, к тому же сильно пьющий. Однако у него было одно достоинство, и оно перевешивало всё — он был Грибоедов.

Задумать и осуществить эту уникальную сделку в построенном на патриархате сословно-бюрократическом Российском государстве тех времён без чьей-то могущественной и активной поддержки девице в положении Настасьи Фёдоровны было невозможно; отец её уже четыре года как умер. Кто бы ни был её спаситель и действовал ли он в одиночку, можно гадать, но кровно заинтересованным лицом был её единственный брат. В осуществлении казавшегося невыполнимым желания, оставить ребёнка в доме, дав родовую фамилию и дворянский статус, заслуга Алексея Фёдоровича Грибоедова несомненна. А никчемный отставной секунд-майор на отведённую ему роль мужа и фиктивного отца, естественно, согласился — брак был для него престижным и со всех сторон выгодным. Заметим — считать его настоящим отцом будущего государственно мыслящего светила российской дипломатии и уникального поэта не приходится. И не по скудости талантов Сергея Ивановича («Но чтоб иметь детей, кому ума недоставало?»). Будь он виновником беременности Настасьи Фёдоровны, он бы поторопился «грех венцом прикрыть», не дожидаясь внебрачного рождения собственного ребёнка. И это, не беря в расчёт всех преимуществ столь удачной женитьбы.

По понятным соображениям дату венчания молодые не афишировали. Мальчика, наконец, «пристроили», и его уже не надо было прятать, тем более что в соответствии с 1790 годом рождения, который, став высокопоставленным дипломатом, всегда указывал сам Александр Сергеевич Грибоедов, ему к моменту этой свадьбы должно было исполниться два года. Но почему-то его законные родители всегда, а до определённого возраста и он сам, придерживались другой даты, вернее других дат, указывая — то 1793-й, то 1794-й, а потом утвердились на 1795-м годе. Как видим, дат в семье не уважали (фамусовское: «Всё врут календари!») и относились к ним творчески.

Казалось бы, теперь обвенчавшаяся пара могла, не откладывая, объявить, что сын родился в 1792-м году — через год после того, как они, по их утверждению, поженились, либо в 1793-м — законных сомнений это бы не вызвало. Но — вот

незадача! — в 1792-м году на свет появилась их дочь Мария и «назначить» рождение Александра, не возбудив пересудов и досужих сличений и подсчётов, можно было лишь на конец 1793-го — середину 1794-го года. Однако это плохо совмещалось с семейными обстоятельствами, главным из которых было рождение в январе 1795 года (единственная сохранившаяся метрическая запись) младенца Павла Сергеевича Грибоедова, так что от двух намеченных дат пришлось отказаться. Проблематично выглядел и 1795 год, тем не менее, на нём остановились и этого уже не меняли, передав Александру Сергеевичу дату рождения, по-видимому, умершего младенца Павла — январь 1795 года. (Уж коли врать, так врать!) Оттягивать дальше было опасно — и так разница в 5 лет между внешним видом мальчика и его заявленным возрастом была велика. Не говоря уже о необъяснимой для детского ума и крайне обидной необходимости считать старшей сестричку Машу, которая была младше него на два с половиной года. Присовокупив также и то, что в раннем возрасте подобная разница весьма значима, более того — невооружённым глазом заметна, можно представить себе, в каком кипятке варился бедный мальчик.

В студенческие времена (до этого юноша учился у прекрасных домашних учителей) к минам, которые приходилось ему постоянно обходить, прибавилась та, которую не слишком осведомлённые литераторы поторопились объявить достоинством, произведя Грибоедова в вундеркинды. Исходили они, вероятно, из документов, в которых значится, что в Московский университет он был зачислен одиннадцати лет от роду и учился блестяще. Невдомёк им было, что выглядел он на те же 16, что и другие студенты, что было очевидно его однокашникам, без затруднений отличавшим сверстников от безусых юнцов.

К тому же, каждую минуту ему приходилось быть готовым к отражению болезненных насмешек и обидных намёков («Ах, злые языки страшнее пистолета!»), за спиной постоянно чудились пересуды и шушуканье. Опасней всего было то, перед чем при всей напряжённой готовности к отпору он был безоружен — донос в консисторию, разоблачение и неминуемая катастрофа. Именно по такому сценарию обрушилась впоследствии судьба юного Афанасия Фета.

Неудивительно, что вырос он ранимым, вспыльчивым, болезненно самолюбивым, задиристым. Накопленное раздражение выплёскивалось в откровенный вызов. Довелось ему однажды в театре вынужденно наблюдать бурные аплодисменты сидящего перед ним в креслах плешивого старичка, не по возрасту жарко восторгавшегося смазливой актрисой. Не убоившись его генеральского чина, Грибоедов взял, да и щёлкнул его по лысине. А в околотке, куда он был препровождён со скандалом, спокойно пояснил: «Ненавижу лысых». И, взглянув на курносого полицмейстера, добавил: «Курносых — тоже».

Так что знавших его поражали в нём не одни разносторонние таланты и редкая эрудиция. Как пронизательно отмечали самые близкие его сердцу люди — сестра Мария и задушевный друг Степан Бегичев — был он каким-то «неопределённо соседоточенным». Приняв в расчёт интригу с его рождением, поверить в достоверность которой, повзрослев, будущий драматург никак не мог, нетрудно догадаться, на чём вынужден был он сосредотачиваться. Неестественные отношения в кругу близких (опасаясь плохого влияния на детей сильно пьющего картёжника мужа, Настасья Фёдоровна давно с ним разъехалась) отражала также ситуация с его личным слугой. С детства приставленный к молодому барину, он, в каком-то смысле, являл собой его кривое отражение — был непозволительно дерзок, скло-

нен к вызывающим поступкам и по странному совпадению приходился хозяину почти полным тёзкой — Александром Сергеевичем Грибовым. Лично знавших Грибоедова поражала его терпимость к наглым выходкам своего слуги.

Степан Бегичев вспоминал, как, вернувшись однажды домой во втором часу ночи и с раздражением убедившись, что впустить его в собственное жилище некому, вынужден был Александр Сергеевич уехать ночевать к жившему неподалеку другу, Андрею Жандру. На другой день Сашка дверь ему открыл, но вёл себя, как ни в чём не бывало:

«— Сашка! куда ты вчера уходил? — спрашивает Грибоедов.

— В гости ходил... — отвечает Сашка.

— Но я во втором часу воротился, и тебя здесь не было.

— А почему же я знал, что вы так рано вернётесь? — возражает он таким тоном, как будто вся вина была на стороне барина.

— А ты в котором часу пришел домой?

— Ровно в три часа.

— Да, — сказал Грибоедов, — ты прав, в таком случае ты точно не мог мне отворить дверей...»

Наказание всё же последовало, но не то, которого можно было ожидать.

«Несколько дней спустя Грибоедов сидел вечером в своем кабинете и что-то писал... Александр пришел к нему и спрашивает:

— А что, Александр Сергеевич, вы не уйдете сегодня со двора?

— А тебе зачем?

— Да мне бы нужно было сходить часа на два или на три в гости.

— Ну, ступай, я останусь дома.

Грибов расфрантился, надел новый фрак и отправился... Только что он за ворота, Грибоедов снял халат, оделся, запер квартиру, взял ключ с собою и ушел опять ночевать к Жандру. Время было летнее; Грибов воротился часу в первом..., звонит, стучит, двери не отворяются... Грибов видит, что дело плохо, стало быть, барин надул его... Уйти ночевать куда-нибудь нельзя, неравно барин вернется ночью. Нечего было делать; ложится он на полу, около самых дверей, и засыпает богатырским сном. Рано поутру Грибоедов воротился домой и видит, что его тезка, как верный пес, растянулся у дверей своего господина. Он разбудил его и, потирая руки, самодовольно говорит ему:

— А? что, франт-собака, каково я тебя пришколил,... славно отомстил тебе! Вот если б у меня не было поблизости знакомого, и мне бы пришлось на прошлой неделе так же ночевать, по твоей милости!

Грибов вскочил, как встрепанный, и, потягиваясь, сказал ему:

— Куда как остроумно придумали! — Есть чем хвастать».

Как видим, это ответ равного, признание того, что они теперь квиты.

Причина столь необычных отношений состояла не в известном осуждении Грибоедовым крепостных нравов, а в том, что с определённого возраста он знал — не одна только матушка его Настасья Фёдоровна вступила в брак, имея его самого в качестве приложения к приданому. Аналогичный вклад — сына от крепостной прислуги — внёс в семью и Сергей Иванович. Так что в довершение сложностей с сестрой обслуживавший его Сашка был ему не то слугой, не то братом. Однако с этим как-то можно было жить, тягостнее было другое.

Чем старше становился Александр Сергеевич, тем ясней понимал, что дамоклов меч разоблачения грозит ему не одной только потерей лица в обществе но, что значительно хуже, — лишением дворянства и прав наследования. Правда, последнее, менее всего должно было напугать его. Жёсткая к крепостным и вздорно предприимчивая Настасья Фёдоровна почти вконец разорила своё состояние, а от унаследованного скромного имения, которое оставил детям скончавшийся в 1815 году Сергей Иванович, Александр официально отказался в пользу сестры. Кроме этого имущества в отцовском наследстве числились два заёмных письма на внушительные 8 и 50 тысяч рублей. Однако взыскивать их было практически не с кого, выписаны они были на матушку Настасью Фёдоровну. За какие услуги обязалась она выплатить Сергею Ивановичу эти немалые деньги, остаётся догадываться.

Спасение от нищеты обещала только успешная государственная карьера. А сердце лежало к литературе, поэзии, с молодых лет он с увлечением играл на арфе и скрипке, импровизировал на фортепиано, занимался даже теорией музыки, что было в Москве крайней редкостью.

Окончив факультеты словесности и права со степенью кандидата, успев учиться и на естественно-математическом факультете, Грибоедов стал готовиться к экзамену на звание доктора, которое помимо прочего сулило право на потомственное дворянство. Блестящее воспитание, владение древними и новыми языками позволяли надеяться на успешную статскую карьеру. Карты смешала разразившаяся война 1812 года. Ни серьёзная близорукость, ни возражения матушки не помешали ему записаться в ополчение, но принять участия в военных действиях он не успел. Кстати, именно тогда, в нарушение принятого светского этикета, Грибоедов отверг лорнет и стал носить очки. После окончания войны он вернулся к намеченным планам, но с тех пор никогда уже не жил под материнским кровом с его «скелетами в шкафу». Ни в московском доме, который дядюшка Алексей Фёдорович отсудил у наследников своей тётки, прокурорши Вольнской, и передал сестре Настасье, ни в его же родовом смоленском имении Хмелита, где часто собиралась вся большая семья.

Александр Сергеевич давно уже повзрослел и не мог не заинтересоваться личностью своего настоящего отца. Как ни возмущала его жестокость Настасьи Фёдоровны, доведшей своих крепостных до бунта, подавленного с помощью войск, как ни сердили его расточаемые ею письменные поучения о служебной карьере («прямою и честною не выслужишься, а лучше делай, как твой родственник, который подлец, как ты знаешь, и все вперед идёт»), он всегда был почтительным сыном, и вряд ли посмел задать ей прямой вопрос. А если решился, то вполне мог выслушать признание в реальном отцовстве отставного секунд-майора. Но думать и сопоставлять он мог и сам. Понимал он и то, что этим непременно займутся родные невесты, задумай он жениться, так что в кругу, которому принадлежал, отказ ему был обеспечен. Неясность ситуации усугубляла и так постоянно ощущаемую угрозу.

Зная, что, в действительности, родился в 1790 году (с 1818 года он уже признавал это официально), нетрудно было догадаться, что за два года до брака родителей фальшивую метрическую запись его как Грибоедова мог осуществить единственный мужчина в семье — брат матушки Алексей Фёдорович.

Невозможно было не задуматься и над тем, почему так важно было сделать его именно Грибоедовым, сильно осложнив этим поиск законного выхода из положения. Что ему в этих раздумьях открылось, или было кем-то открыто, мы знать не можем, недаром же о браке сказано «тайна сия велика есть». Ни в одном из остав-

ленных многочисленных воспоминаний современников нет ни версий, ни слухов, ни даже слухов, что весьма необычно и наводит на размышления.

Над загадкой рождения того, кто вместе с Крыловым и Пушкиным считается создателем языка, на котором мы до сих пор говорим (те, что используют новояз — не в счёт!), не один год ломают голову литературоведы. Внесём свою лепту и мы, но не раньше, чем с сочувствием всмотримся в глубины страдальческой личности Грибоедова, в неизбежное отражение её борений в творческой деятельности замечательного драматурга.

Вынужденно выбрав служебную карьеру и со временем блистательно осуществив её на дипломатическом поприще, Александр Сергеевич не отказался от занятий, к которым его влекло неудержимо. — «Поэзия! — признавался он, — Люблю ее без памяти, страстно». Рассеянную жизнь молодого повесы он совмещал с первыми поначалу скромными литературными опытами. Это были созданные в соавторстве с более искусными литераторами небольшие комедии, в том числе стихотворные переводы. Стоит ли удивляться, что в одной из них — "Своя семья, или Замужняя невеста" (весьма близкое попадание) — он допустил оговорку по Фрейду?

«Наш опыт удался с секунд-майором!»

Именно такими словами в «своей семье» Грибоедовых мог выразить удовлетворение тот, кто сконструировал брак отставного секунд-майора с незамужней, но, подобно героине этой комедии, уже имевшей тайну невестой.

Другой пример не нуждается в комментариях — название сочинённой также в соавторстве оперы-водевиля точно именовало мучившую Грибоедова проблему: «Кто брат, кто сестра, или Обман за обманом». Когда же написан был его неустаревающий шедевр «Горе от ума», — пьеса поразила читателей не одними несравненными достоинствами. Сегодня трудно в это поверить, но вместе с испытываемым искренним восхищением читателей шокировало не принятое в те времена для показа на сцене поведение Софьи, позволившей себе любовную связь в родительском доме. Даже не замеченный в ханжестве Пушкин отреагировал на героиню убийственным замечанием: «Не то б..дь, не то московская кузина». Спасибо его матушке Надежде Осиповне Ганнибал, подсознание не подбрасывало ему таких сюжетов. А Грибоедову почему-то важно было наделить подобной способностью приличную девушку.

В русской литературе влияние «Горя от ума» не только заложило основу реформы драматургии, но создало первый прецедент самиздата. Как верно предсказал Иван Андреевич Крылов (ему первому, причём в один присест, прочитал Грибоедов всю пьесу), — «Этого цензоры не пропустят. Они над моими баснями куражатся. А это куда похлеще! В наше время государыня за сию пьесу по первопутку в Сибирь бы препроводила». Так что ждать публикации пришлось долго. Автор до этого не дожил. Впервые комедия была издана по-немецки в 1833 году, а на родном языке только в 1864-м году, т. е. через 40 лет после её написания. Так что изучение образов Фамусова, Чацкого, Молчалина и, конечно, Софьи не всегда было непременной частью школьной программы. Прочтёшь «Горе от ума» по-русски современники могли только в переписанном виде. Препятствие это не мешало тому, что по всей России пьеса разошлась в тысячах экземпляров! Один из таких списков Пушкин привёз в 1825 году в Михайловское ссылкой на Пушкину.

Со своим тѣзкой поэт знаком был с 1817 года и высоко ценил его редкий ум, теперь же признал в нём и «истинный талант». Тонкие замечания, которые просил он передать автору, в том числе и о «приличиях», «пришли ему в голову после». Среди них было и пророческое: «О стихах я не говорю, половина должны войти в поговорку». Общее же впечатление: «Слушая его комедию, я не критиковал, а наслаждался».

Перу Пушкина принадлежит и поражающая глубиной проникновения попытка объяснить не ставшие для него секретом странности духовного облика автора «Горя от ума», на то он и гений. Мысли эти навеяны были случившейся на пути его в Арзрум горестной встречей с телом Грибоедова, полномочного посла в Тегеране, убитого толпой натравленных мусульманских фанатиков.

Сквозь горечь потери светит ясный, лишённый излишней комплементарности взгляд собрата и провидца: «Его меланхолический характер, его озлобленный ум, его добродушие, самые слабости и пороки, неизбежные спутники человечества, — всё в нём было необыкновенно привлекательно. Рожденный с честолюбием, равным его дарованиям, долго был он опутан сетями мелких нужд и неизвестности. Способности человека государственного оставались без употребления; талант поэта был не признан; даже его холодная и блестящая храбрость оставалась некоторое время в подозрении. (...) Жизнь Грибоедова была затемнена некоторыми облаками: следствие пылких страстей и могучих обстоятельств. Он почувствовал необходимость расчесться единожды навсегда со своею молодостию и круто поворотить свою жизнь. Он простился с Петербургом и с праздной рассеянностью, уехал в Грузию, где пробыл семь лет в уединенных, неусыпных занятиях. Возвращение его в Москву в 1824 году было переворотом в его судьбе и началом непрерывных успехов. Его рукописная комедия «Горе от ума» произвела неописанное действие и вдруг поставила его наряду с первыми нашими поэтами». Эта поразительная по глубине и лаконичности характеристика свидетельствует о том, что завершающий её беспощадный диагноз русскому обществу: «Мы ленивы и нелюбопытны...» к нему самому не относится.

О том, что имел в виду Пушкин под «некоторыми облаками», «пылкими страстями и могучими обстоятельствами», мы можем только догадываться. Но сами эти слова явно свидетельствуют о неординарности ситуации. Что же до «затемнения», то укрывало оно не всю «жизнь» Грибоедова, а обстоятельства его рождения, за которыми маячит всё та же проблема родителей. Разрешить её значит понять — что разъедало душу поэта.

Об очевидности материнства Настасьи Фёдоровны, напомним, у неё было только двое детей, недвусмысленно свидетельствует её реакция на известие о гибели сына, описанная в письме Василия Львовича Пушкина: «На этих днях объявляли матери Грибоедова о кончине ее сына. Она в отчаянии рвет на себе волосы и кричит, что гораздо бы лучше было, если бы умерла у неё дочь». Относительно же реального отцовства исследователи творчества Грибоедова предпочитают отмалчиваться, если не считать предположения В.П. Мещерякова. Неупоминание современниками этого щекотливого момента он попытался объяснить тем, что виновник был Настасьи Фёдоровне «неровня», причём настолько, что это позорило всё дворянское сословие. Догадка эта приведена была без обоснования и уж очень отдаёт угодным советскому официозу возвышением простого человека из народа. Не вяжется она и с образом крайне заносчивой особы и жѣсткой крепостницы, какой была мать Александра Сергеевича, судя по документам и описаниям.

Однако в узком кругу грибоеведы тему эту обсуждают и предположения выдвигают. Некоторая картина сложилась и у меня. Для начала сравним её с двумя версиями, с которыми мне доверили ознакомиться. К сожалению, ни одна из них не разрешает всех обозначенных выше проблем. Тем не менее, упомяну их, прежде чем перейти к своей гипотезе, приближающей к пониманию травмы происхождения Грибоедова.

Первую намёками высказал ныне покойный основоположник владимирской генеалогической школы Георгий Дмитриевич Овчинников. Исходя из, к сожалению, не опубликованных фактов, он предположил, что отцом Грибоедова мог быть вяземский заурядный помещик Квашнин-Самарин, чьё имение располагалось недалеко от родовой грибоедовской Хмелиты. Согласившись с исследователем, мы имели бы дело с достаточно тривиальной ситуацией. Кроме, вероятно, женатого виновника, никакие особые, тем более «могучие обстоятельства» здесь не просматриваются. Непонятным остаётся также настоятельное желание приобщить ребёнка к роду Грибоедовых. Мнение же Овчинникова о том, что поэт родился не в Москве, как считается, а в Хмелите, хорошо согласуется с сопутствующими обстоятельствами и представляется убедительным.

Вторая версия выдвинута Аллой Александровной Филипповой, научным сотрудником Музея-усадыбы поэта «Хмелита». В соответствии с логикой ситуации она предложила считать биологическим отцом Грибоедова его дядю Алексея Фёдоровича, что объясняет желание и возможность дать мальчику их родовую фамилию. Следующим шагом было предположение о том, что матерью младенца Настасья Фёдоровна была лишь по семейному уговору, согласившись выступить в этой роли после своего замужества, а жениха ей как раз в это время подбирали. При этом исследовательница исходит из сложившейся практики, в соответствии с которой внебрачного ребёнка забирала семья любовника, нередко записывая сыном его замужней сестры. В пользу версии А.А. Филипповой говорит также особая любовь и постоянное внимание дядюшки к племяннику, проживание Настасьи Фёдоровны с детьми в его имении Хмелита почти каждым летом и, конечно, передача ей братом московского дома в Большом Десятинском переулке.

В своей гипотезе я независимо исхожу из той же догадки об отцовстве, что и Алла Александровна. Вариант же материнства некоей дамы, ребёнок которой от Алексея Фёдоровича был фиктивно записан на имя сестры Настасьи, представляется мне неприемлемым в силу того, что к нужному моменту она была незамужней женщиной. Репутация её в этом случае могла быть погублена, а дать мальчику свою девичью фамилию она всё равно не могла. Единственной замужней дамой, на которую можно было записать ребёнка как Грибоедова, могла быть жена самого Алексея Фёдоровича, если бы к тому времени он был женат.

Думаю, на семейном совете решено было дожидаться готовящегося венчания Алексея Фёдоровича с княжной Александрой Сергеевной Одоевской. Оно состоялось 6 марта 1790-го года, того самого, рождение в котором со свойственной ему по словам Пушкина «холодной и блестящей храбростью» признал впоследствии сам Грибоедов. После свадьбы приписать жене своего внебрачного ребёнка с её согласия либо за её спиной Алексей Фёдорович уже мог, но не раньше, чем через как минимум 9 месяцев после свадьбы, т.е. в феврале следующего года. До этого времени мальчика надо было прятать, что и было предпринято. Когда же вскоре после замужества молодая Александра Сергеевна забеременела, сроки пришлось передвинуть. Но тут свои коррективы внесла сама жизнь, точнее — смерть — 28

июля 1791 года юная жена Алексея Фёдоровича скончалась, родив дочь Елизавету. Метрическая запись маленькой Элизы (так принято было её именовать), как водится в этой семье, не сохранилась.

Учтём также следующее. Обычно в усадьбах существовали доверительные отношения между помещиками и священниками. Не были исключением и Грибоедовы. В 1794 году в дополнение к уже имевшимся в Хмелите двум храмам не вылезающий из долгов Алексей Фёдорович добавил третий — каменную Алексеевскую церковь. Собственной утвари она не имела, служили в ней лишь в дни престольных праздников и по необходимости. Когда задумал он её построить, можно приблизительно прикинуть, но в 1790 году потребность в ней он должен был ощущать остро. Расширенные возможности обеспечивало то, что к этой домовой церкви приписаны были, т. е. находились в определённой зависимости от владельца усадьбы, оба состава хмелитских священнослужителей: четыре батюшки плюс другие члены причта — всего 10 человек. В такой ситуации подстроить, что требовалось, было сподручней, но версия должна была быть правдоподобной.

Как известно, лучшая ложь это полуправда. Чтобы организовать фальшивую метрическую запись о рождении маленького Александра Алексеевича Грибоедова, удобно было воспользоваться действительно имевшими местом в семье Алексея Фёдоровича родами, сообщив, что Александра Сергеевна разрешилась мальчиком, а девочку оформить задним и более поздним числом. На этом, по-видимому, и остановились, поскольку Элиза была объявлена родившейся в 1795 году, несмотря даже на то, что законно произвести её на свет было уже некому. В довершение путаницы дата сия была впоследствии исправлена на 1800 год и, как мне представляется, вот почему.

В 1796 году Алексей Фёдорович женился вторым браком на Анастасии Семёновне Нарышкиной. В этих обстоятельствах продолжать утверждать, что маленькая Элиза, «освободившая» место своей метрической записи сыну Настасьи Фёдоровны, родилась в 1795 году, стало по-новому опасно. Казалось бы, женитьба Алексея Фёдоровича позволяла отбросить рискованную версию появления девочки на свет через 4 года после смерти матери. Теперь рождение Элизы можно было «приписать» молодой мачехе. Однако при этом получалось, что девочка появилась на свет за год до брака, что не избавляло от напрашивающегося подозрения в законности её происхождения, а на молодую жену бросало тень родов до свадьбы. Неслучайно, к всеобщему удивлению, новая хозяйка Хмелиты, где почти каждое лето гостила с детьми Настасья Фёдоровна, за всю свою жизнь там так и не побывала.

Окончательно подчистили дату рождения Элизы, отступив на положенный срок от появления на свет её умерших в младенчестве братьев: Фёдора в 1797-м и Семёна в 1799-м году. То, что это был 1800 год, и ей было уже 9 лет, потом даже пригodiлось. В 1817 году, когда она выдана была замуж за восходящую звезду империи, будущего генерал-фельдмаршала, графа Паскевича Эриванского, светлейшего князя Варшавского, ей было уже 26 лет, а жених был уверен, что ей всего 17.

Но вернёмся к маленькому Александру. Казалось бы, после того как в 1791 году «наш опыт удался с секунд-майором», мальчика можно было, наконец, опять же поддельно (опыт уже накопился), записать на Настасью Фёдоровну и Сергея Ивановича, облегчённо вздохнуть и уничтожить сфабрикованную метрическую запись на Александра Алексеевича Грибоедова. На свет наконец-то мог официально появиться Александр Сергеевич Грибоедов, что освобождало бы Алексея Фёдоровича от наследника с его неотъемлемыми имущественными правами. Однако и это

решение пришлось отодвигать сначала до 1793-го года, потом до 1794-го и, наконец, остановиться на 1795-м. Предпринять эти шаги вынудило рождение Настасьей Фёдоровной в 1792 году дочери Марии Сергеевны, а затем младенца Павла Сергеевича, о чём было сказано ранее. Справедливости ради надо ещё раз отметить, что и после того, как схему откорректированного родства и его официально выражение удалось завершить, сестру с детьми Алексеей Фёдоровича заботами не оставил. Тут и переданный ей дом в Москве, и постоянное проживание её семьи (исключая секунд-майора!) в его роскошной Хмелите, и неизменное родственное попечение.

Итак, если остановиться на том, что настоящим отцом Александра Сергеевича был его дядя, а в материнстве Настасьи Фёдоровны с учётом всех обстоятельств сомневаться не приходится, о чём мы уже говорили, понятно становится, почему об этом из ряда вон выходящем случае ни единым словом не упомянуто ни в письмах, ни в мемуарах, ни даже в слетнях, которые обычно распространяются как лесной пожар. Подобная редкая сплочённость современников сама по себе значима. Объяснить её можно тем, что ситуация, на самом деле, была весьма и весьма деликатной, затронуть её значило действительно бросить тень на всё дворянское сословие.

Теперь можно, наконец, понять смысл непреклонного желания семьи сделать мальчика именно Грибоедовым. У бабушки его, Марии Ивановны, в девичестве Аргамаковой, и дедушки Фёдора Алексеевича Грибоедовых было пятеро детей. Четверо из них были девочки, и лишь предпоследним на свет появился долгожданный сын, продолжатель рода. До рождения будущего автора «Горя от ума» дедушка не дожил, так что решать судьбу новорожденного должны были двое («виновников» и их мать. В такой ситуации попытка скрыть опасную тайну, способную навсегда опозорить семью, и любой ценой официально сохранить в своих рядах фактического потомка по прямой приобретает логику и обоснованность. Кстати, опасение оставить семью без продолжателя рода всё-таки оправдалось - и во втором браке у Алексея Фёдоровича выросла только ещё одна дочь.

В пользу версии о его отцовстве говорит также то, что, гордясь красотой четырёх своих сестёр, он украсил Хмелиту их портретами, но только тремя. Отсутствовало изображение именно той из них, открытого восхищения которой он избегал.

Когда после многолетнего хождения по минному полю календарных дат официальное положение проблемных членов семьи как-то выровнялось, Алексей Фёдорович смог наконец больше не опасаться за сестру Настасью и её сына. Трудясь на Кавказе, Александр успешно продвигался на избранном им дипломатическом поприще. Казалось, меч немилосердной судьбы удалось отвести — по делу декабристов он был полностью оправдан, по карьерной лестнице поднимался всё выше. Своей бессмертной комедией «Горе от ума» он единым махом достиг вершины русской драматургии и поэзии, и рукописное творение его, выполняя предвидение Пушкина, «начало расходиться на цитаты».

До поры, до времени ввиду отсутствия состояния, а главное, из-за неясного происхождения, Грибоедов не мог позволить себе завести семью в среде, к которой принадлежал. И хотя сам по себе отказ не должен был повлечь за собой потери лица, в его случае он грозил бесчестьем - законно озбоченные будущностью ожидаемого потомства родные невесты навели бы соответствующие справки.

Тем не менее, постоянно терзавшие душу страхи («миллион терзаний») постепенно отступали. К женьи́тбе на юной княжне Чавчавадзе он уже имел немалый капитал, хранившийся в Опекунском совете; лишение потомственного дворянства

ему больше не угрожало — эту привилегию он уже заслужил и мог не опасаться потерять, если бы опасные слухи преодолели Кавказский хребет. Подписание на выгодных для России условиях Туркманчайского мирного договора с Персией вознесло его на уровень высокого государственного мужа. Всё складывалось благоприятно. Но это была лишь видимость, потому что в самом начале службы по линии иностранных дел Грибоедов не распознал улыбку Фортуны, пренебрёг ею и теперь шаг за шагом приближался к ужасной своей гибели. Об этом горестном отказе от предоставленного судьбой счастливого шанса ценное свидетельство оставил некий А.С. Стурдза. На склоне лет он вспоминал:

«Я знал Грибоедова при самом начале деятельности его на поприще словесности и службы. Подобно Батюшкову, он домогался должности дипломатической, и с этой целью искал моего знакомства. Светлый ум, крутой нрав и сметливая физиономия Грибоедова полюбились мне. Пользуясь тогдашним положением моим при министерстве иностранных дел, я вступился, сколько мог, за благородного искателя и предложил ему на выбор должности канцелярского чиновника в Филадельфии и Тегеране. Грибоедов колебался; я указывал ему беспристрастно на относительную важность этих посольств, измеряемую связью каждого из них с прямыми выгодами России. Мне хотелось, чтобы он предпочёл Америку Персии, потому только, что более надеялся на правила и образ мыслей нового начальника этой отдалённой миссии, барона Тейли, с которым я подружился на зимних бивуаках 1812 года, при Березине. Грибоедов сам решил участь свою и отправился в Персию. По заключении Туркманчайского мирного договора (...) осыпанный царскими милостями, он уехал обратно в Тегеран поверенным в делах, по-видимому, стремясь к новым заслугам и почестям; а в самом деле ожидала поэта жестокая насильственная смерть!

Никогда в жизни не случалось со мною быть столь близким очевидцем при выборе самим страдальцем собственного таинственного жребия».

Ошибка этого судьбоносного выбора он, вероятно, смутно ощущал, когда, будучи оправдан по делу декабристов и освобождён из-под ареста, не хотел больше ехать на Кавказ, несмотря даже на то, что продолжать службу пришлось бы под опекающим началом мужа своей кузины, той самой Элизы, Ивана Фёдоровича Паскевича. Не об этом ли одно из его крылатых выражений: «Когда ж постраствуешь, воротиться домой, И дым отечества нам сладок и приятен».

По рассказу горячо любимой сестры Грибоедова Марии Сергеевны: «Матушка никогда не понимала глубокого, сосредоточенного характера Александра, а всегда желала для него только блеска и внешности. Вот что она раз с ним сделала: брат решительно не хотел ехать служить к Паскевичу. Матушка как-то пригласила его с собой помолиться к Иверской божией матери. Приехали, отслужили молебен, (...) вдруг матушка упала перед братом на колени и стала требовать, чтобы он согласился на то, о чем она будет просить (...). Растроганный, взволнованный, он дал слово (...). Тогда она объявила ему, чтобы он ехал служить к Паскевичу. Делать было нечего, он поехал».

В очередной раз проявив умение любой ценой настаивать на своём, и так, и эдак поворачивать судьбу горячо любимого сына, собственной рукой направила его Настасья Фёдоровна туда, где ожидала его ужасная гибель.

Прошли без малого два столетия, добавив человечеству немалый исторический опыт, распались не только российская и персидская империи, но и оттоман-

ская и даже британская. Однако и в наше время не утихающий гнев и ищущее излиться возмущение вызывает то, что растерзание Грибоедова толпой мусульманских фанатиков, горькая эта потеря ничему не научила человечество. В Тегеране и других центрах исламского мира дипломатические посланники цивилизованных стран вновь и вновь подвергаются остающимся практически безнаказанным убийствам и надругательствам. На подобное зверство зомбированную мусульманскую чернь исподтишка натравливают прячущиеся в тени религиозной терпимости проповедники исламских ценностей, неважно — муллы или аятоллы, которым всё это сходит с рук. Политиканство на крови, переходящее в фактическое попустительство, развращает сторонников джихада, возбуждая их наглые аппетиты.

За примерами далеко ходить не приходится. Недавно прозвучавшие из Тегерана открытые призывания на территорию республики Азербайджан есть не что иное, как призыв денонсировать Туркманчайский трактат — главное достижение полномочного посланника Грибоедова, сделав тем самым его смерть ещё и напрасной.

Гибель этого выдающегося государственного мужа, чей единственный всенародно любимый шедевр послужил преобразованию русского языка, до сих пор оплакивает не одна лишь Россия. Таинственным образом, уготованное ему судьбой место в Филадельфии осталось незанятым. То, что предназначено было Фортуной, не развеялось и продолжает излучать энергию. Не по этой ли причине именно здесь, в Городе Братской любви, по зову сердца переехала «Горе от ума» на английский и издала за собственный счёт скромная Беатрис Юсим? Не потому ли и я, когда-то в юном восхищении выучившая наизусть все грибоедовские перлы, теперь, прожив целую жизнь и обосновавшись в Филадельфии, взялась вглядеться в его судьбу любящим взором и попытаться разгадать — какую именно травму творчески изживал автор «Горя от ума». И ещё — пронизательны ли были те, кто отмечал его «скверный характер»? Почему даже знавший истинную цену Грибоедову Пушкин противоречиво отмечал, ставя их в ряд, «его озлобленный ум» и «его добродушие», а почитатель его таланта поэт и лихой гусар Денис Давыдов, дружески пародируя название пьесы, назвал его «уродом ума»?

Верна ли моя догадка, позволяет ли найти ответы на эти и другие вопросы — судить не мне. Своё понимание я высказала. В нём нашла отражение особая — зловещая роль, которую сыграла в жизни Грибоедова его мать. Она принесла сыну несчастье не только его подозрительным рождением, но наклала ему и ужасную смерть. Вот почему именно такими словами попыталась я выразить свои чувства, их глубину и безутешность, невольно впадая в неподражаемый грибоедовский слог:

*Ах, матушка, невместна ваша роль,
А Филадельфия слез осушить не может...*

Библиография

А.С. Грибоедов в воспоминаниях современников. Ред. и предисл. Н.К. Пиксанова. Комментар. И.С. Зильберштейна. М., "Федерация", 1929. 324, [2] с; 1 вкл. л. портр.

Генеалогия знаменитостей Хомяков и Грибоедов forum.vgd.ru/39/11743/23k

Каратыгин П.А. Мои встречи с Александром Сергеевичем Грибоедовым feb/web.ru/feb/griboedov/critics/vos80/voc104/htm

Литературное наследство (ЛН. Т. 58. С. 491)

Мецгеряков В.П. А.С. Грибоедов. 1988.

- Мецгеряков В.П.* "Жизнь и деяния А. Грибоедова".
Москвитянин (журн.) 1856. № 12. Октябрь. С. 310; Моск. некрополь. Т. I. С. 330
- Николаев Б.П., Овчинников Г.Д., Цымбал Е.В.* Из истории семьи Грибоедовых (по архивным материалам).
- Пиксанов Н.К.* Грибоедов. Л., 1934. С. 85-139.)
- Публикации ИРЛИ РАН (Пушкинский дом) Беседы в ОЛРС. с. 25
- Пушкин А.С.* Путешествие в Арзрум, во время похода 1829 года.
- Пушкин о литературе. М., 1962.
- Ревякин А.И.* Новое о Грибоедове (по архивным материалам). Учен. зап. МГПИ им. Потёмкина. Т.11
- Русская старина (журн.). СПб., 1872, К 8, с. 194-195
- Стрельникова Ирина.* Грибоедов: Заложник тайны рождения. Интернет-портал Newsland. 7.10.2011
- Стурдза А.С.* Беседа любителей русского слова и Арзамас в царствование Александра I. — «Москвитянин», 1851 г., № 21, стр. 19.
- Тайна Грибоедова. Клуб Арион, С-Пб 2005 21 Ноября.
- Тархова Н.А.* Грибоедовская усадьба Хмелита.
www.pushkinskiydom.ru/Default.aspx?tabid=7146
- Фомичёв С.* Грибоедов. Энциклопедия. — СПб: 2007

Внимание!

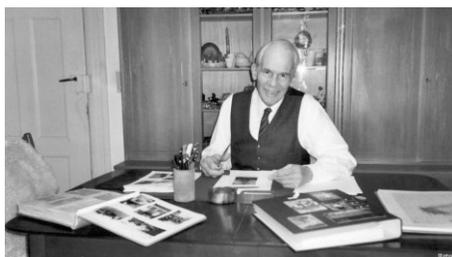
Те, кому понравилась авторская позиция **Розалии Степановой**, могут приобрести её книгу «**Ещё одна горсть**», в которой помимо большого числа острых литературно-публицистических эссе представлены повесть «Как это бывает...», а также статьи, излагающие основы Каббалы, суть открытия кодов Торы и оригинальные решения интереснейших эзотерических и астрологических проблем. Объём книги 500 стр. Книгу можно приобрести на Амазоне, ключевое слово — **Розалия Степанова**, линк <http://www.amazon.com/Eshchee-Odna-Gorst-Rozalia-Stepanova/dp/1427653488> Тираж заканчивается.



Леонид Комиссаренко

ПОСЛЕДНИЕ ИЗ ЛАМБАРЕНЕ

Весной 2007 года дочь познакомила меня с высоким сухошавым пожилым человеком, Зигфридом Нойкирхом. Он рассказал, что в течение семи лет, с начала 1959 по конец 1965 года работал в больнице Альберта Швейцера в Ламбарене, написал книгу «Мой путь к Альберту Швейцеру». Книга издана на немецком и английском. Есть желание издать книгу на русском. Есть и переводчики, но заламывают неподъёмную цену. Не смог бы я взяться за перевод?



Зигфрид Нойкирх

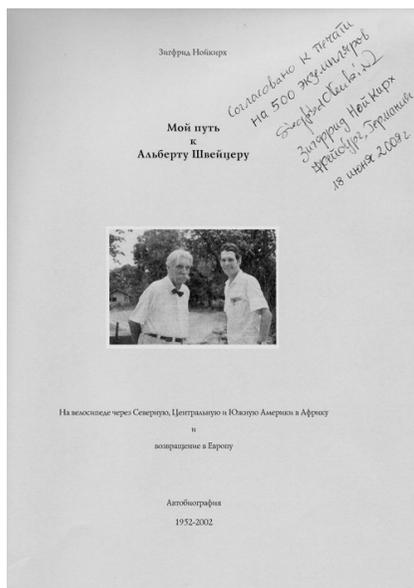
Я к тому времени был уже на пенсии — время было, уверенности в себе только не было вследствие отсутствия опыта, о чём я заказчику и поведал. Посмотрел книгу — текст довольно простой, почему не попробовать. Цена? Какую он назвал, такую я и принял.



Работаем над переводом

Так как книга автобиографическая, то многое о заказчике я узнал из неё, остальное — в процессе общения. В результате стали мы с Зигфридом друзьями.

О том как удалось книгу издать — несколько позже. Главное — удалось!



Обложка сигнального экземпляра книги

Родился Зигфрид Нойкирх 10 мая 1930 года во Фрайбурге, Германия. В возрасте 14 лет на уроках немецкого языка он впервые услышал от своего учителя об Альберте Швейцере, и тогда же желание работать у него, помогать ему стало его юношеской мечтой. Зигфриду повезло родиться 1930 году и не быть поэтому призванным в гитлеровский фольксштурм. Родись он на год раньше, этого бы не миновать. Он пишет: «Я был рад тому, что не попал на войну. Не из страха, но одна только мысль, что нужно было бы стрелять в людей, была для меня невыносимой».

В 1950 году получает аттестат зрелости. Вопрос о выборе профессии определялся конечной целью — к Швейцеру в Ламбарене. Но были ещё мечты о Северном и Южном полюсе, об эскимосах с нартами и ездовыми собаками, об Огненной Земле. «Хотел я также познакомиться с людьми из тех стран, с которыми мы вели войну. Я ведь знал о них только из нашей военной пропаганды, а теперь я хотел знать правду». Решено ехать в Канаду, чтобы изучать там филологию, и Канада должна была стать трамплином для осуществления мечты его жизни.

Но сначала нужно было заработать деньги, чтобы добраться до Канады. Стенография, машинопись, репетиторство по английскому и французскому языкам, работа на радио — и к 1952 году нужная сумма собрана.

По прибытии в Канаду весь его капитал составлял 15 долларов. Мойщик посуды, мойщик машин, помощник садовника — и к началу семестра в кармане уже 240 долларов — сумма, необходимая для платы за обучение в Торонтском университете за два семестра. Но зато ни цента на еду, жильё, одежду, книги и пр.

И здесь ему по-настоящему повезло: на бирже труда в течение длительного времени не могли удовлетворить одну заявку. Требовалась студентка для присмотра за тремя детьми, 11, 9 и пяти лет, с проживанием в семье. Не нашлось студентки — взялся студент. И не пожалел. Судя по тому, что связь с бывшими подопечными и их потомками не прерывается до сих пор, не пожалела и семья Дэвида Ахтерлони, органиста самого большого собора Торонто, впоследствии директора Консерватории Торонто. По признанию самого Зигфрида: «То, что я нашёл эту семью в начале своего обучения, стало самой большой удачей, которой судьба одарила меня в Канаде». Пять лет обучения, включая семестр в Сорбоне и семестр в Университете Мадрида, знание немецкого, французского, английского и испанского языков, старые навыки в стенографии и машинописи, и новые — в ведении домашнего хозяйства, бухгалтерии, делопроизводстве, квалификация спасателя на водах, спортивная закалка (велосипед, теннис, плавание, фехтование, джуджитсу), непритворность в быту, искренняя, глубокая религиозность. Чем не полный набор для будущей работы в Африке, у Альберта Швейцера? И ещё черты характера, о которых он не говорит, считая их совершенно естественными: дружелюбие и редчайшая коммуникабельность.



Официант вагон-ресторана

К концу 1957 года принимает канадское гражданство. Всё готово к исполнению главной жизненной цели — Ламбарене. Но есть ещё и детские мечты: Север, Американский материк, Огненная Земля. План вызрел давно. Начало 1958 года он проводит на Аляске, в Фербенксе, добирается до самой северной точки штата — Пойнт Барроу. Здесь и иглу, и нарты с собаками, и медведи, и вообще весь северный набор, в том числе и приключения.

В апреле 1958 года Нойкирх уже в Ванкувере, откуда берёт старт предприятие, которое иначе чем авантюрным не назовёшь — на велосипеде, с багажом,

вместившимся в две сумки, с сотней долларов в кармане, без транзитных виз он отправляется вдоль западного побережья Северной, Центральной и Южной Америки в сторону Огненной Земли.



В Андах, на высоте 4000 м



Прибытие в Сантьяго де Чили, сентябрь 1957 г.



Исполнение мечты детства — прибыл в Ламбарене

Как ему это удалось с такой экипировкой и практически без средств? Даже прочтя (переведя) книгу, ответить на этот вопрос я не в состоянии. Ведь он к тому же не просто ехал к цели, а отклонялся в сторону достопримечательностей, Мачу-Пикчу, например. Если и есть ответ на этот вопрос, то он — в личности путешественника. Его на всём пути радушно принимали самые разные люди. В диапазоне от «Соляного короля» Америки Моргана до простого индейца в перуанской горной деревушке. Поэтому, когда он слишком эмоционально благодарит меня за какие-нибудь мелкие услуги, я отшучиваюсь: «Зигфрид, в своей жизни ты встречал только хороших людей, а я просто не хочу быть исключением».

Так или иначе, но с множеством приключений добрался он до Огненной Земли и продолжил путь на север вдоль восточного побережья Южной Америки, до Буэнос-Айреса (всего 21 тысяча км), где нанялся помощником матроса на пароход. Добрался до Канарских островов, оттуда пароходом до Дакара, дальше пароходом до Порт-Жантиль на Берегу слоновой кости в заключение — катером по реке Огове до Ламбарене.

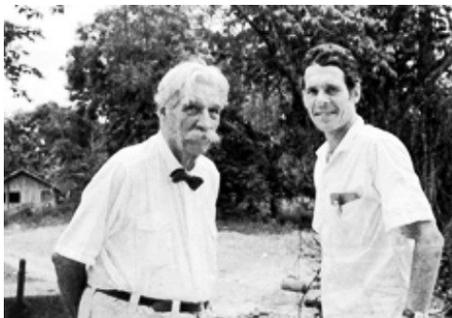
27 января 1959 года он ступил на территорию госпиталя и сразу же увидел Швейцера. Увидел его и Швейцер. Подошёл, начал задавать вопросы. Услышав, что прибывший, прочтя в его книгах, что в госпитале найдётся дело для каждого, 15 лет готовился к тому, чтобы быть полезным, прежде всего, в работе с иностранной корреспонденцией, заметил, что это женское дело, но готовность помогать в практических работах принял охотно. А мог бы и не принять: европейский персонал перед выездом в Ламбарене проходил на родине несколько предварительных собеседований и проверок на пригодность, подавал заявление на визу, делал множество прививок.

И в заключение, самое сложное — нужно было ещё найти для служащего жильё. Повезло Нойкирху и здесь — 84-летний Швейцер уже сам не оперировал, а занимался строительством и нуждался в помощнике, кроме того, нашлась — единственная свободная — комната.



Водитель Мерседеса

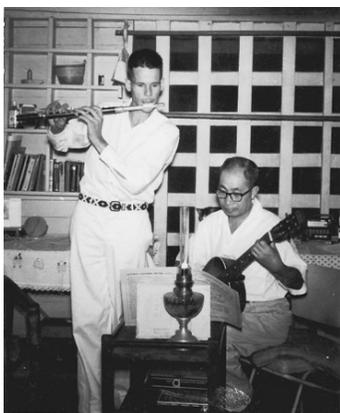
Уже на следующий день после приезда Нойкирх под пристальным наблюдением А. Швейцера приступил к обязанностям бригадира строителей. Вскоре поле деятельности расширилось — на него была возложена задача обеспечения госпиталя основным продуктом питания пациентов — столовыми бананами. А их требовалось 5-6 тонн в неделю, что в условиях отсутствия собственного транспорта было очень непростым делом. Но через короткое время доктор Швейцер получил в подарок от фирмы «Даймлер-Бенц» полноприводной пятитонный грузовик «Мерседес», поступивший в распоряжение Нойкирха.



С Альбертом Швейцером



На стройке. Справа — Аббат Пьер



С доктором Такахашаи

За время работы в Ламбарене Нойкирх встречался с очень многими известными людьми, посещавшими А. Швейцера. Можно назвать хотя бы лауреата Нобелевских премий (по химии и мира) Лайнуса Полинга, аббата Пьера... Судя по всему, он легко находил с ними общий язык. Играя на флейте, участвовал вместе с гостями в концертах.

5 сентября 1965 года скончался Альберт Швейцер. Через 10 недель, дождавшись замены, в середине ноября Нойкирх покинул Ламбарене и, опять на велосипеде, направляясь домой, взял курс на Камерун.

Он пишет в своей книге: «Оглядываясь на прожитые в Ламбарене годы — почти семь лет — я благодарю судьбу за то, что мне выпало счастье жить именно так, как я мечтал в пятнадцатилетнем возрасте, за радость следовать своему призванию. Мне было даровано многому научиться и многое пережить».

Проехав через несколько стран Экваториальной Африки, Нойкирх к своему огорчению пришёл к выводу, что выбраться живым из «поднимающегося с колен» континента шансов у него нет. И, прервав путь к южному побережью Средиземного моря, развернулся на запад, к Атлантическому океану. Воспользовавшись знакомством с одним из друзей А. Швейцера и покровителей госпитала, крупным судовладельцем Хуго Стиннесом, Нойкирх сел в Лагосе на пароход его компании и отплыл в Европу.

Нелегко ему пришлось здесь начинать всё сначала. Но справился. Любовь жизни — книги. Остался им верен, проработав до пенсии в библиотеке Макс-Планк-Института иностранного и международного права. И здесь помогает людям: когда стали появляться практиканты и стажёры из СССР, некоторые даже подолгу жили у него. Связь с ними потом никогда уже не прерывалась. Один из таких бывших стажёров — Председатель законодательного собрания Красноярского края профессор Александр Викторович Усс. Он-то и помог издать книгу воспоминаний на русском языке.



Семья профессора Накамура

Ещё одно увлечение — языки. Изучил японский и русский. Поставил в своё время своеобразный рекорд: вопреки многовековой традиции, стажирясь в Японии, жил в семьях, а не в гостиницах. В частности, в семье профессора Накамура.

И всю жизнь, где бы ни находился, пропагандирует идеи Альберта Швейцера. Одно из самых любимых Зигфридом изречений Швейцера: «Личный пример — не просто лучший метод убеждения, а единственный». Ему он и следует всю жизнь.

Много путешествует, побывал даже в Южной Африке. В последние годы часто бывает в России, где нашёл множество друзей среди молодёжи, выступает

перед школьниками и студентами, и ничего удивительного, если, зайдя к нему, встретишь гостей оттуда.



С учениками школы № 27 г. Москвы



Интервью телеканалу bibel.tv



Встреча в Красноярске со студентами Сибирского федерального университета

Поддерживает связь с бывшими работниками госпиталя Ламбарене, с потомками Альберта Швейцера, неизменный участник многих международных и национальных конференций и чтений, посвящённых Швейцеру, где выступает с докладами.

Воскресенье, 10 мая 2015 года. Сегодня Зигфриду Нойкирху исполняется 85 лет. Приглашение я получил давно, но спрашивать о том, кто придет, не стал. У входа в зал церковной общины, где проводится торжество, гостей встречает сам юбиляр.



В зале человек 150, да больше бы и не поместилось. Зигфрид встретил последнего гостя и занимает место в первом ряду. Жена Зигфрида, Ингеборг, даёт мне пояснения, кто есть кто.



Слева направо: сотрудница Всегерманского центра Альберта Швейцера (DASZ) Мириам Бёнерт, правнучка Альберта Швейцера Каролин, юбиляр З. Нойкирх, Йо Мунц (во 2-ом ряду), жена преемника Швейцера доктора Вальтера Мунца, Первый председатель DASZ др. Айнхард Вебер, др. Вальтер Мунц (во 2-ом ряду)

На переднем плане — ноты и стул, здесь займёт позже место за роялем аккомпаниатор дающего сегодня бенефис-концерт «Звёздного квартета Праги» Христиана Энгель, она же внучка Альберта Швейцера. Имена супругов Мунц и Христианы мне знакомы — они есть в книге Нойкирха. Есть в ней и их фото, но.... Ведь 50 лет прошло.

Давайте познакомимся с ними поближе.

В 1961 году — тогда 27-летний — швейцарский врач Вальтер Мунц прибыл в Ламбарене. Еще в юности, прочтя книгу А. Швейцера «Между водой и джунглями», он был впечатлен его трудами. То, что будет работать вместе с самим Швейцером, он не мог представить себе в самых смелых мечтах. Мечта стала реальностью.



Врачи госпиталя, Вальтер Мунц — первый справа



Доктор Вальтер Мунц с пациенткой

После почти трёх лет работы в Ламбарене он вернулся в Швейцарию. И практически тотчас же получил письмо от Швейцера с просьбой приехать и взять на себя обязанности главного врача. Но он считал себя слишком неопытным для такой гигантской задачи и отказался. Получил просьбу вторично. И вновь отказался. Но Швейцер не сдавался и в январе 1964 года в третьем письме совершенно неожиданно выразил благодарность за согласие: «В тебе есть что-то человеческое. В тебе есть дух Ламбарене. Я рассчитываю на тебя и во имя сохранения этого духа человечности». После таких слов отказаться было уже невозможно, и Мунц вернулся, а в 1965 году после смерти Швейцера взял на себя и медицинское руководство госпиталем. Проработал в госпитале до 1969 года, вернулся в Швейцарию. За время работы сделал более восьми тысяч операций, в том числе таких, с которыми ранее знаком не был, глазами, например.

Йо Боддингус, голландка из реформистской семьи, покинула в 23 года родительский дом и приехала в Южную Африку, где работала в Йоханесбурге меди-

цинской сестрой в больнице для сирот. Горький опыт апартеида заставил её искать альтернативу. В 1962 году она прибыла в Ламбарене.



Йо с врачами госпиталя

Когда Вальтер Мунц во второй раз приехал в Ламбарене, Йо всё ещё работала там акушеркой, принимая по 400 родов ежегодно. Хотя Йо работала и раньше под непосредственным руководством Вальтера, искра между ними проскочила не сразу. Но однажды во время сложной операции она непроизвольно обратилась к нему на ты. С этого и началось. В январе 1969 года они поженились.



Слово «ДА» в Ламбарене

Затем переехали в Швейцарию, где вырастили и воспитали трёх дочерей.

Когда в 1981 году госпиталь попал в трудное положение, Международный фонд А. Швейцера обратился к семье Мунц с просьбой вернуться. Йо опять приступила к работе акушеркой. К счастью, детей взяла под свою опеку учительница в Ст. Галлене.

Философия Швейцера «Благоговение перед жизнью» и поныне определяет мысли и действия Вальтера и Йо Мунц. Оба они далеки от идеализации или возвешения Альберта Швейцера, для них важно донести, прежде всего до юного поколения, мысли великого гуманиста. Об этом — написанная ими книга. Супруги Мунц убеждены: «У мыслей Швейцера обязательно есть будущее, и даже в наше время». Каждый может найти Ламбарене рядом с собой.



Супруги Мунц и Зигфрид Нойкирх

За 8 лет до выхода на пенсию Вальтер Мунц — это Ламбарене нашёл — взялся за новое дело: с 1991 года он работал ведущим врачом социально-медицинского учреждения в Цюрихе. Пастор Эрнст Зибер основал этот госпиталь для лечения наркозависимых и больных СПИДом пациентов. На этом поприще Вальтер снискал признание по всей стране. Йо в течение семи последних лет профессиональной деятельности работала в контактной и приёмной группе Социального управления Городского совета Цюриха. Поле её деятельности — всеобъемлющая забота о той же, часто впавшей в бедность, маргинальной группе.



Супруги Мунц, жена Нойкирха Ингеборг и сын Бенедикт

Последний раз супруги Мунц были в Ламбарене в 2013 году на торжествах по случаю 100-летия со дня основания госпиталя. Сейчас он выглядит так:



Но вот заняла своё место за роялем любимая внучка Альберта Швейцера Христиана Энгель.



В великолепном исполнении виртуозов из Праги концерт из произведений Моцарта в двух отделениях.



Концерт завершён

Христиана Энгель, дочь Рены Швейцера-Миллер. Родилась в Цюрихе, пианистка и врач. Отвечая в одном интервью на вопрос о том, не дедали это влияние, такого рода двойная профессия, она ответила: «У истоков этого решения стоял дед. Когда я, 16-летняя, впервые приехала в Ламбарене, чтобы поработать в госпитале во время школьных каникул, то была так воодушевлена его делом, что в конце пребывания в Африке решила изучать медицину, чтобы иметь возможность потом работать вместе с дедом. В Ламбарене зародились чудесные, очень тесные с ним отношения. Моё прежнее решение стать пианисткой отошло на второй план».



С дедом в первый приезд
в Ламбарене

Во время каникул у Швейцера, конечно, не было времени заниматься с ней у рояля, но иногда, когда она упражнялась, он к ней подсаживался и давал советы. Очень много ей давала и его игра поздно ночью, когда упражнялся он сам.



С дедом за роялем



Христиана в госпитале



Один из более поздних приездов с матерью Реной и сестрой.
Христиана в центре

Стала Христиана и практикующим врачом, и пианисткой, одной из признанных во всём мире интерпретаторов Моцарта. Почему именно Моцарт? «Моцарт — мой любимый композитор. В 6 лет я впервые услышала «Маленькую ночную серенаду», мелодию, которая удивительным образом тронула меня и долго ещё не отпускала. Позже я поняла причину этого восторга. Музыка Моцарта отражает мои собственные идеалы гармонии, любви, мира, сочувствия людям и понимания их, веру во власть высших сил».

Христиана выступает по всему миру как с большими оркестрами, так и с маленькими ансамблями, и это приносит ей радость. Очень часто даются благотворительные концерты в пользу фонда Альберта Швейцера «Детская деревня».

Живёт она сейчас в Лос-Анджелесе, у неё три дочери, две из которых приехали вместе с ней на юбилей.



Христиана с дочерьми Каролин (слева) и Рахель

И, в заключение знакомства с Христианой, ещё из интервью: «Духовное и практическое наследие деда я принимаю очень близко к сердцу. Философия Альберта Швейцера «Благоговение перед жизнью» имеет и в сегодняшнем мире решающее значение».

Теперь, когда читатель познакомился с основными действующими лицами, несколько фото без комментариев, чтобы почувствовать атмосферу этого вечера среди людей, живущих в согласии с самими собой. Истинный подарок судьбы.





Гости из Японии, вдова и дочь профессора Накамура



Гости из Москвы





И в завершение — автопортрет с гостями



Александр Бархавин

КОГДА БЫ ИСЧЕЗЛО РАБСТВО В АМЕРИКЕ, ЕСЛИ Б НЕ БЫЛО ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ?

1. Истоки вопроса

В литературе и дискуссиях об американской Гражданской войне часто высказывается мнение, что и без этой войны рабство в Америке исчезло бы само по себе довольно скоро, лет через десять-двадцать, через поколение-два, просто потому, что стало бы невыгодным. Как правило, это мнение не оспаривается — но и серьезных доводов в его пользу не приводится.

За примерами недалеко ходить - в пятнадцатом номере этого журнала (Семь Искусств) опубликована статья Ильи Гирина "Война, которая изменила страну: к столетиядесятилетию Гражданской войны в США" [1]. В одном из первых комментариев был задан вопрос (Инной): *"А как автор относится к мнению, что и без этой войны рабство в Америке упразднилось бы само по себе лет за десять в связи с изобретением хлопкоочистительной машины (cotton gin)?"*

Несколько человек на этот комментарий отозвались. Однако дискуссия свелась к уточнению деталей (что cotton gin не сократил, а продлил существование рабства), и рассуждениям о причинах войны в целом.

В англоязычной литературе мне тоже не встречалось убедительного обоснования этого мнения. До недавнего времени я сам это мнение разделял, не особенно задумываясь — в конце концов, к началу Гражданской войны рабство было отменено официально во всех развитых странах, а через двадцать с небольшим лет после ее окончания закончило свое существование в Западном полушарии (Куба - 1886, Бразилия — 1888).

И все-таки оставались некоторые сомнения. Во-первых, страны друг другу не указ — та же рабовладельческая Конфедерация, став на ноги, могла (и рассчитывала) сохранять рабство неопределенно долго, пока оно было выгодным. Во-вторых, рассуждение "лет через десять-двадцать, через поколение-два" сначала подсознательно — а постепенно все более осознанно — стало ассоциироваться с аналогичными рассуждениями по поводу того же рабства во времена основания страны.

Отцам-основателям тоже верилось, что рабство скоро отомрет естественным путем, просто надо немного переждать [2]. Однако если в 1787 г. Конгресс Конфедерации (название конгресса страны до принятия Конституции) без особых затруднений принял (а в 1789г Конгресс США подтвердил) закон, запрещающий рабство на только что созданной Северо-Западной Территории (первой территории [3] нового государства) [4], то через 70 лет Верховный Суд постановил, что ни Конгресс, ни жители территорий не имеют права запрещать рабство на этих территориях [5].

То есть, к началу войны явно наблюдалось не отмирание рабства в США, а процесс усиления его официальных позиций, причем в последние годы довольно

агрессивный — достаточно вспомнить резкое ужесточение законов о беглых рабах в 1850 г. [6], навязывающее жителям северных штатов обязанность ловить рабов, сбежавших из южных.

Я решил провести анализ причин, которые могли бы привести к отмене рабства естественным путем - вследствие его экономической неэффективности в конкретных условиях американского Юга тех времен. Сразу оговорюсь - я не предлагаю альтернативную историю, и не анализирую все возможные причины отмены рабства. Я всего лишь выделяю основные факторы, сделавшие рабство столь выгодным к середине 19 века, и прослеживаю динамику их изменения за последующее столетие. Предлагаю вниманию читателей этот краткий анализ и его результаты.

2. Анализ и выводы

Что сделало рабство фантастически выгодным для плантаторов Юга? Общеизвестно, что это — изобретение и внедрение cotton gin (хлопкоочистительной машины) [7], которая позволила быстро и качественно перерабатывать большие количества хлопка. До этого ручной процесс очистки хлопка был низкопроизводительным; один cotton gin заменил десятки рабов. На первый взгляд, потребность в рабах должна стать резко меньше. Но тут следует вспомнить, что этап процесса производства хлопка, предшествующий очистке, (сбор хлопка) оставался ручным, сравнительно низкопроизводительным, и не требовал от работников высокой квалификации — только физической выносливости в жарком климате Юга. Механизация очистки хлопка сделала весь процесс (сбор плюс очистка) достаточно рентабельным. Но чтобы обеспечить возросшую потребность растущей промышленности (как английской, так и северных штатов), требовалось большое количество рабов, занятых сбором хлопка. Именно эта комбинация ручного сбора и механизированной очистки хлопка делала рабство на Юге столь выгодным [8].

Исходя из этого, при наличии достаточного количества плодородной земли, рабство могло оставаться выгодным до тех пор, пока не произойдет одно из двух:

- а) упадет спрос на хлопок;
- б) будет налажено производство эффективных хлопкоуборочных машин.

Итак, все что нам нужно, чтобы оценить естественную "продолжительность жизни" рабства — проверить когда было выполнено хотя бы одно из этих условий.

Что касается плодородной земли - именно неограниченный доступ к новым землям (распространение рабства на территории) лидеры южных штатов выдвигали как условие, при котором эти штаты не выйдут из США.

Данных по спросу на хлопок мне найти не удалось, но есть данные его производства, что в среднем достаточно близко отражает спрос. В бюллетене "Cotton production in the United States"[9] приведены данные производства хлопка начиная с 1839 г. (таблица 3, начиная снизу стр. 8 и далее вверх). Вот цифры через каждые 10 лет, производство в 500-600 фунтовых тюках:

1839 — 1.65млн
1849 — 1.98
1859 — 4.31
1869 — 2.41
1879 — 5.76

1889 — 7.42
1899 — 9.39
1909 — 10.72
1919 — 11.33
1929 — 14.55
1939 — 11.48
1949 — 15.91
1959 — 14.52

На производство хлопка, кроме спроса, влияли и другие причины, среди них — войны, депрессия, климатические факторы, жуки-вредители (хлопковые долгоносики). Однако спады производства были кратковременными, и вряд ли привели бы к отмене рабства. Таким образом, судя по приведенным цифрам, до середины 20 века спрос на хлопок оставался достаточно высоким, чтобы обеспечить рентабельность рабства.

Теперь обратимся к хлопкоуборочной технике. Данные разбросаны по разным источникам; я выбрал короткую статью, где с достаточной степенью подробности приведена история вопроса [10]. Второй абзац сообщает, что в 1914 г. (через полвека после Гражданской войны) США производили две трети используемого в мире хлопка — что подтверждает вывод, сделанный на основании приведенных выше цифр динамики производства хлопка.

В пятом абзаце написано, что производство хлопкоуборочных комбайнов в значительных количествах началось в 1948 г. В конце статьи упоминается, что с 1948 г. по конец 1960 гг. доля механически собранного хлопка возросла с практического нуля до 96%.

Словом, та же середина 20 века — честно говоря, результат для меня несколько неожиданный. Не лет за десять-двадцать, или поколение-два, а почти целый век — дольше, чем существовал Советский Союз.

3. Послесловие

Хочу подчеркнуть — я вовсе не утверждаю, что без Гражданской войны рабство в США просуществовало бы до середины 20 века. Я всего лишь показываю, что оно оставалось бы рентабельным куда дольше, чем принято считать. Возможно, оно бы исчезло по другим причинам, но этого мы не знаем — поскольку не знаем этих причин.

Следует отметить, что вопрос, вынесенный в название этой статьи, несколько сужает тему. Статья скорее рассматривает рентабельность рабства, если бы оно не было отменено в ходе Гражданской войны — т.е. более общую ситуацию, не обязательно отсутствие Гражданской войны. Да, в том виде, в каком она состоялась (длительная война с поражением Конфедерации), Гражданская война привела к отмене рабства. Но любой другой сценарий войны вполне мог оставить рабство узаконенным.

Поскольку заявленной целью выхода южных штатов из США и создания Конфедерации было сохранение рабства, маловероятна скорая отмена рабства Конфедерацией, если бы ей удалось отстоять свою независимость. Быстрое поражение Конфедерации также, скорее всего, оставило бы рабство нетронутым — первые

полтора года северяне вели войну за сохранение единой страны, а не за отмену рабства. Собственно, война началась на фоне ратификации северными штатами уже принятой Конгрессом поправки к конституции, укрепляющей позиции рабства [11]. Голосование в Конгрессе по этой поправке происходило после того, как представители всех семи южных рабовладельческих штатов, вышедших из страны до начала войны, покинули Конгресс. Это была попытка вернуть южные штаты без военного конфликта и предотвратить дальнейший распад страны. Могла ли она оказаться успешной, что этому помешало, и как могла сложиться судьба рабства, если б эта попытка оказалась успешной — интересные вопросы, но об этом в другой раз, если удастся.

Примечания

Автор выражает искреннюю благодарность Игорю Юдовичу, замечания которого были учтены в окончательной версии статьи.

1. Илья Гирич. Война, которая изменила страну: к столетию Гражданской войны в США. Журнал "Семь искусств", Номер 2(15) — февраль 2011 года.

2. Вот слова одного из ведущих политиков Юга, вице-президента Конфедерации Александра Стивенса:

"The prevailing ideas entertained by him and most of the leading statesmen at the time of the formation of the old constitution, were that the enslavement of the African was in violation of the laws of nature; that it was wrong in principle, socially, morally, and politically. It was an evil they knew not well how to deal with, but the general opinion of the men of that day was that, somehow or other in the order of Providence, the institution would be evanescent and pass away. This idea, though not incorporated in the constitution, was the prevailing idea at that time."

"Он (Томас Джефферсон), как и большинство ведущих государственных деятелей во время формирования старой Конституции, считал что рабство — это нарушение законов природы, что оно ошибочно принципиально, социально, морально и политически. Это было зло с которым они не знали что делать, но всеобщим мнением в те дни было, что так или иначе, по воле Провидения рабство исчезнет и умрет. Эта идея, хотя и не отраженная в Конституции, была преобладающей идеей того времени."

Alexander H. Stephens, "Corner Stone" Speech
Savannah, Georgia
March 21, 1861

3. Территории США — земли, не входящие в состав отдельных штатов, и находящиеся под управлением федерального правительства США (могут иметь ограниченное самоуправление и представительство в Конгрессе). По мере роста населения территории могут ходатайствовать перед Конгрессом о предоставлении статуса штата.
https://en.wikipedia.org/wiki/Territories_of_the_United_States

4. Northwest Ordinance - An Ordinance for the Government of the Territory of the United States, North-West of the River Ohio of 1787 и Northwest Ordinance of 1789

5. Dred Scott decision — Решение Верховного Суда США по делу Dred Scott v. Sandford, 6 Марта 1857 г.

6. http://en.wikipedia.org/wiki/Fugitive_slave_laws

7. http://en.wikipedia.org/wiki/Cotton_gin

8. Вот второй абзац из Декларации штата Миссисипи, в которой законодатели объясняют свое решение о выходе из США (Миссисипи — второй южный штат, решивший покинуть страну, и давший Конфедерации ее первого и единственного президента Джефферсона Девиса):

"Our position is thoroughly identified with the institution of slavery — the greatest material interest of the world. Its labor supplies the product which constitutes by far the largest and most important portions of commerce of the earth. These products are peculiar to the climate verging on the tropical regions, and by an imperious law of nature, none but the black race can bear exposure to the tropical sun. These products have become necessities of the world, and a blow at slavery is a blow at commerce and civilization."

“Наша позиция неразрывно связана с рабством — величайшей материальной ценностью мира. Его труд производит продукт, который является крупнейшей и важнейшей частью мировой торговли. Этот продукт привязан к тропическому климату, и по властному закону природы, никто кроме черной расы не может выдержать тропического солнца. Этот продукт является необходимостью для всего мира, и удар по рабству — это удар по торговле и цивилизации.”

http://avalon.law.yale.edu/19th_century/csa_missec.asp

9. <http://www2.census.gov/prod2/decennial/documents/17862820-1969ch01.pdf>

10. http://www.livinghistoryfarm.org/farminginthe50s/machines_15.html

11. http://en.wikipedia.org/wiki/Corwin_Amendment



Виктор Гопман

ИСТОРИЯ МОЕЙ БИБЛИОТЕКИ

Фамильная библиотека у нас в семье, разумеется, существовала. Кое-какие книги пережили и революцию, и войну. Почетное место в шкафу занимал брокгаузковский Пушкин — пять огромных таинственных томов. О существовании шестого я узнал в более зрелом возрасте, но в свои шесть лет вполне довольствовался обладаемым. Тем более что дальше первого тома я не забирался, да и там ограничивался иллюстрациями к "Руслану и Людмиле" — роскошными, заботливо переложеными папиросной бумагой, которые можно было разглядывать долго-долго. В возрасте постарше шести меня стали интересовать и иные картинки — всякие там заставки и вишетки, довольно изображавшие обнаженных дам; собственно, первое серьезное знакомство с противоположной половиной человеческого рода свершилось у меня — как и у многих соотечественников — именно благодаря поэзии Александра Сергеевича, а также соответствующим иллюстрациям к его сочинениям. И еще один неоценимый урок дал мне Брокгауз — знакомство, хотя бы и только зрительное, со старой орфографией; всякие яти и фиты во время перелистывания страниц стали привычными глазу, и потом меня уже не отпугивал старинный набор, не страшили ни "и с точкой", ни твердый знак в конце слова.

В этой — собственно, дедовской еще — библиотеке был и брокгаузковский трехтомник Байрона, но туда я заглядывал реже — возможно, потому, что инстинктивно осознавал неудовлетворительность тогдашних переводов (один только пример: потребовался век с четвертью, на протяжении которого было сработано не менее шести различных русских версий — пока, наконец, не возник из стихотворного хаоса гениальный оригиналу пастернаковский вариант "Стансов к Августе").

Книжный шкаф был небольшой, но, как и полагается, красного дерева, резной по периметру фасада, с завитками по верхней кромке; он покоился на резных лапах (уж во всяком случае, не на ножках); дверцы — а их было всего две — составлены из трех узких стеклянных полосок каждая, толстого граненого стекла, в тонких деревянных рамках, и под каждой дверцей было по два выдвигаемых ящика. За лишь частично остекленными дверцами корешки почти не были видны, да к тому же книги на полках стояли в два ряда, так что в смысле удобства, как я сейчас понимаю, шкаф здорово уступал своему внешнему виду. Мне же он очень нравился в первую очередь потому, что напоминал шкаф, описанный Андерсеном в "Пастушке и трубачисте". Впрочем, до эстетики открытых полок и даже незастекленных стеллажей, где все книжные сокровища видны с первого взгляда и тем самым легко доступны, оставалось еще долгохонько — не менее четверти века.

Брокгаузовские фолланты демократично соседствовали с классиками, прилагавшимися к "Ниве" — в более чем скромных, а то и просто бумажных обложках: Лев Толстой, Гоголь, Гончаров, Мельников—Печерский, Островский, Тургенев, Оскар Уайльд... Был там и нежно—голубой Лермонтов, четырехтомный, по две книжки в картонных футлярах. И Ульянов—Ленин, партийного краснокирпичного цвета, четвертое издание, кто бы мог тогда подумать, что предпоследнее (а ведь

казалось, конца и сносу не будет ни автору, ни учению). Были и отдельные томики самых разных авторов — от Боборыкина до Алексея Толстого (Николаевича) и от запретного (для детей), а потому хранимого во втором ряду Мопассана до стоящих там же, то есть не на виду, полузапрещенных (для народа) Ильфа и Петрова.

В ящиках же лежала россыпью всякая мелочь, включая детскую литературу: и тошненькие брошюрки серии "Моя первая книжка", и моя в буквальном смысле первая книга, то есть, книга, которую я прочел самостоятельно — "Что я видел" Бориса Житкова, толстый желтый том ин-кварто, "с большими буквами и занимательными картинками", по две-три картинки на полях каждой страницы. И на первой странице обложки — поезд (с паровозом), пароход, самолеты и парашют (с парашютистом), а на последней — заводной танк, переползающий через школьный пенал. Были там, в числе прочего, и десятка три тоненьких книжечек "Библиотеки сатиры и юмора", выходящей в двадцатые годы в издательстве "ЗиФ" — то есть, "Земля и Фабрика". Разноцветные такие книжоночки, и на обложке, как серийный знак, рисунок Константина Елисеева — бука, выскакивающий из табакерки. Страшноватого вида, надо признаться: волосы дыбом, в разинутой пасти торчат два зуба, и при этом он еще и улыбается — как же, юмор. Ну, и сатира. Салтыков—Щедрин, Горбунов, сатириконовцы, Дорошевич, Зоценко, Марк Твен, Артемус Уорд, Стивен Ликок, Джекобс...



Одна из тоненьких книжечек "Библиотеки сатиры и юмора" — Аркадий Аверченко



Тэффи, «И стало так»,
Изд-во Корнфельда, Спб, 1912

Лет тридцать спустя, в букинистических я набрал себе — по шутке — десяток таких книжек: Аверченко, Тэффи, Д'ор, Марк Твен, а еще разные юмористы первой трети 20 века. Менее известные авторы (равно как и широко известные, а именно — Твен) шли по 20 копеек, а вот каждый сатириконовец — по рубль двадцать пять. Дороговато, если учесть, что на Арбате я ухитрился ухватить большой том Тэффи ("И стало так"), настоящее корнфельдовское издание 1912 года, в твер-

дом переплете, пусть и потертое, всего за 4 рубля (цены, разумеется, одного периода — 70-е годы, когда приличного объема свежизданная книга в твердом переплете стоила в районе рубля).

Каждый из нас помнит свою первую женщину, почти каждый помнит свою первую любовь, многие рыбаки помнят свою первую пойманную рыбку. А вот как насчет книжки — кто помнит первую книжку, купленную самостоятельно, по своему желанию, пусть даже и не на свои деньги? Спросите меня — и я отвечу. Это была "Аэлита" Алексея Толстого. Она и сейчас стоит на полке в моей иерусалимской квартире: 1955 год издания (а, следовательно, и покупки), мягкая обложка, на которой изображены Лось с Гусевым, выходящие из своего яйцеобразного космического аппарата в чашу ярко-алых марсианских кактусов, угрожающе ошетилившихся длинными шипами... Стоила она два рубля двадцать копеек, то есть на двадцать копеек дороже большого (кило и сто двадцать пять грамм) батона серого хлеба; а почти такого же размера килограммовый белый батон стоил два восемьдесят (после реформа 1961 года — 20 и 28 копеек, соответственно). Деньги дал дед, явно обрадованный, что старший внук впервые обратился с такой разумной просьбой — ведь не на мороженое кланчил (кстати, брикет молочного мороженого в расползающейся бумажной обертке стоил девяносто копеек).



Алексей Толстой, «Аэлита»

Возможно, фантазии красного графа и определили дальнейшую мою склонность к научной фантастике. Во всяком случае, когда я регулярно стал покупать книги "на свои" (гонорары на радио), сначала это была в основном фантастика, и только потом я приступил к реальному, то есть, многожанровому и многофильному, формированию "личной" библиотеки. Впрочем, поэгические сборники я покупал еще раньше, и тоже "на свои" (заработная плата электрослесаря на заводе,

где пришлось отрубить положенные два года до университета, поскольку без трудового стажа просто-напросто не брали документы).

Сборник Артюра Рембо — мрачноватого вида книжечка в сине—черных тонах, тисненая серебром, 1960 года издания — стала, пожалуй, моим первым стихотворным приобретением. В первую десятку вошла "Гроза" Павла Когана (первые официально изданный текст "Бригантины"!), и "Грибы на кочке" Луиса Карлоса Лопеса (1961 г.) — помните такого колумбийского поэта?

Сатана, подари ты мне душу простую и сложную,
чтоб страданьем своим упивалась она, как твоя.
Ты ведь рад (и люблю я издевку твою осторожную),
если тигр, например, мимоходом сожрет соловья.



Павел Коган



Луис Карлос Лопес

А латиноамериканские поэты тогда были очень популярны (всенародная любовь к прозе этого континента пришла позже), и одним из тех, кто обеспечивал эту популярность, был чтец Вячеслав Сомов, на выступления которого народ ломился не хуже, чем на авторские вечера. Вообще начало шестидесятых — это царство и пиршество поэзии. Буквально каждую неделю что-то происходит, в масштабах от районной библиотеки до Политехнического музея. Впрочем, про вечера поэзии в Политехническом писать не буду — про них и так много сказано. Расскажу я лучше про чтение стихов у памятника Маяковскому, куда обычно народ сходится по воскресеньям, где-то после семи. И я принимал в этих сходках достаточно активное участие. Нет-нет, стихов я вовсе и никогда не писал, и потому читал чужие, главным образом Вознесенского, что воспринималось положительно как аудиторией, так и соседями по пьедесталу (то есть, для памятника это был пьедестал, а для нас — площадка, с которой читались стихи). Как, несомненно, помнит читатель, тыльная часть пьедестала несколько возвышалась над уровнем площади — вот туда чтецы и забирались: и видно их хорошо, и слышно лучше, с высоты-то.

Таких, как я, доброхотных пропагандистов современной поэзии, было немного; выступавшие в основном читали свои вещи — причем сильно разнившиеся по качественному уровню. Кое-кто из них впоследствии приобрел имя, хотя по-настоящему знаменитыми стали, пожалуй, двое. Или трое. Но о них — как-нибудь в другой раз, поскольку это уже другой разговор, другая история.

Что же касается бесконтрольного чтения стихов в самом центре Москвы, то, разумеется, такое безобразие не могло продолжаться вечно. Незамедлительно появилась статья, озаглавленная "За спиной Маяковского" (а ведь мы действительно влезали на тыльную часть пьедестала и тем самым — с формальной точки зрения, чисто технически, так сказать — оказывались позади фигуры поэта. Ну, это и было обыграно автором статьи — это и многое другое. Не заставили себя ждать и практические санкции, в стиле, традиционном для тех времен. Пришли дружинники и разогнали толпу слушателей — а активистов ненавязчиво (в смысле, не связывая по рукам и ногам) пригласили в отделение милиции, расположенное в подвалах станции метро "Маяковская". Там нас всех переписали и настоятельно предложили завязывать с этими делами. Но вообще гуманизм в те денечки еще шествовал с гордо поднятой головой: даже по месту учебы никому не сообщили, не говоря уж о лишениях и выгоняниях, если воспользоваться (впрочем, еще и не существовавшей тогда) формулой, вложенной Эдуардом Успенским в пасть Шарикю. Речь идет, поясним молодому читательскому поколению, возвращенному на историях села Простоквашино, о лишении комсомольского билета и, соответственно, о выгнании из института.

Там, на Маяковке, мы встретились (после не столь уж, собственно, долгой разлуки) с одноклассницей, и я познакомил Тамару (по ее настоящей просьбе) с одним из тех, кто впоследствии действительно стал известным поэтом (да и в те дни был выше других — в том числе и выше ростом). А она мне в знак благодарности подарила первый сборник Вознесенского "Мозаика" (Владимирское издательство, тираж 5 тысяч экземпляров, год издания 1960 и потому цена 1 рубль — то есть, дело было до денежной реформы 1961 г., после которой цифра, стоящая в левом верхнем углу последней страницы обложки, стала выглядеть привычно для поэтических сборников такой размерности: 10 копеек. Ну, вот мы и вернулись на книжные полки моей библиотеки.



Первая книга Андрея Вознесенского

А кстати о тиражах — пять тысяч по тем временам был небольшой тираж. Ну, сравним (это я навскидку снимаю с полки сборники начала 60-х, привезенные сюда из Москвы — то есть, прошедшие жесточайший отбор, связанный с ограниченным весом багажа): тот же Рембо, например — 25 тысяч, "Кораблик" Новеллы Матвеевой — 20 тысяч, "Прощание со снегом" Александра Межирова — 20 тысяч, "Дань" Дмитрия Сухарева — 10 тысяч; разве что "Гроза" Павла Когана вышла меньшим тиражом — 3 тысячи. Цены этих книжечек скромного объема (3-4 печатных листа) были столь

же скромными — в пределах 30 копеек (10 трамвайных билетов или 6 автобусных, или 4 городских булки, они же бывшие "французские" — причем в последнем случае еще оставались 2 копейки — разок позвонить по телефону-автомату).

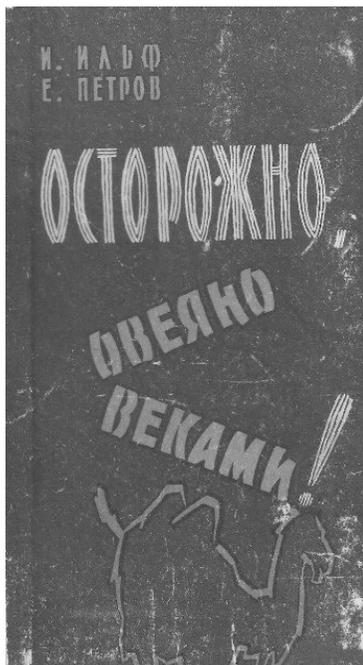
Шестидесятые — время не только поэзии, но и фантастики. То есть, Немцов с Охотниковым печатались и до того, но конец 50-х — это уже время появления на книжных прилавках настоящих имен: "Астронавты" Станислава Лема — 1957 г., "Страна багровых туч" братьев Стругацких — 1959 г. С 1965 г. издательство "Мир" начало серию "Зарубежной фантастики": выпустив для разгона и для отмазки сомнительную (в качественном отношении) книжечку некоего венгерского автора, затем они выступили по полной: "Марсианские хроники" Бредбери и два сборника англо-американских авторов "Экспедиция на Землю" и "Туннель под миром", а на следующий год нас порадовали сборником Шекли и познакомили со своего рода классическим романом "Штамм "Андромеда". Нынешний изнеженный владелец серий типа "Весь Гаррисон" или "Весь Саймак" вряд ли в состоянии себе представить, с каким трудом добывались те маленькие книжечки — или, если уж на то пошло, всякие прочие книжки, достойные читательского внимания. Оставив временно за скобками пути не вполне этичные (раз покупали у книжных барыг втридорога — значит, поощряли спекуляцию, и нечего тут смущенно потуплять глазки!), обратимся к рассмотрению путей хлопотливых, требовавших массы времени и сил, но все же вполне законных и вместе с тем относительно эффективных.

Самый простой и очевидный путь был — прогулка по книжным магазинам. Рассмотрим, для примера, мой стандартный маршрут. Разобравшись со своими делами на радио, первым делом я шел в магазин тут же, на Пятницкой. Дальше — на 25 троллейбус, до Богдана Хмельницкого — там небольшой магазинчик, но он на отшибе, и поэтому иногда удавалось что-то ухватить. Потом — вниз, в "Книжный мир" на Кирова, но прежде, не доходя, ныряешь в маленький закуток, где торговали книгами, изданными в Союзных Республиках. Дальше, мимо КГБ, на Кузнецкий мост — там две точки (правда, в "Лавке писателей" мало что могло обломиться простому человеку, но мимо все равно не проходил). Потом — в Столешников, в двухэтажный букинистический. Потом — по настроению: или еще ниже, на Горького и на ту сторону, в "Книги стран народной демократии", или налево, в букинистический в Камергерском. Но в любом случае потом переходишь улицу Горького, на троллейбус (1 или 8) и до Серпуховки. Там зайдешь в вестибюль метро — отличный был букинистический развал, а потом перейти Люсиновскую — и в маленький магазинчик, тоже на отшибе и потому таящий неожиданности. А дальше — как складывается. Жил я в пяти троллейбусных остановках от Серпуховки, у Даниловского рынка. Значит — или сразу домой, или снова на троллейбус, и еще в два больших магазина — у Котлов и у развилки Варшавки и Каширки, и только потом уже домой. Такой маршрут требовал массу времени. К тому же надо было иметь и кое-какие денежки — даже при всей тогдашней дешевизне книжного прилавка. Но поездка, безусловно, приносила свои плоды — достаточно сказать, что именно так я купил, например, синего Булгакова (1966 г.). А сборник его пьес (1962 г.) вообще какое-то время лежал повсюду, включая киоски "Союзпечати".

Вообще существовал некоторый странный период (примерно конец шестидесятых — самое начало семидесятых), когда книги, уже сделавшись редкостью, еще не стали предметом профессиональной спекуляции. Вот в эти годы проход по букинистическим был захватывающей игрой, потому что не все подряд запрятавали под прилавок продавщицы, и достаточное количество выставлялось в откры-

тую продажу. "Выставлялось" — в буквальном смысле слова, потому что книги ставились на прилавок или на уличный столик, в единый ряд, корешок к корешку. Причем обычно без какой бы то ни было системы (ну, кто же будет тратить время и усилия на сортировку!). И вот здесь в выгодном положении оказывались те, кто мог с первого взгляда опознать свои "дезидераты", предметы своего интеллектуального вождления, свои искомые издания. В смысле, мог мгновенно высмотреть знакомый корешок. Ну, с этим у меня было все в порядке — нужную книгу я засекал уже на подходе к прилавку и кидался на нее как коршун.

И только не надо мне говорить, будто бы в открытую продажу выставлялись исключительно малоефективные издания. Вот хотя бы один пример — но зато сколь убедительный. В вестибюле станции метро "Добрынинская" в летнюю пору обычно стояли два букинистических столика. Подхожу это я к правому и, порывшись, нахожу что-то полезное. Но у продавца нет сдачи с десяти (серьезные деньги по тем временам). Я иду к соседнему столику, разменять — и не верю своим глазам. То есть, глаза самим себе не верят, а руки действуют, и я выхватываю из строя — как бы вы думали, что? Томик Шварца, издание 1962 года, в супер работы Акимова. Если у кого эта книга стоит на полке (тираж всего 30 тысяч) — не поленитесь посмотреть: корешок-то действительно не очень заметный, даже без надписи, просто кораблик на желто-голубом фоне. В самом деле, надо было знать его "в лицо".



Ташкентский Ильф-Петров

города Колоколамска". Всех названных вещей нет в оранжевом пятитомнике 1961 года, что делает эту случайную находку особо значительной — несмотря на тираж 105 000 экземпляров. Потому что такое у меня ощущение, что этот огромный тираж

Умение узнать книгу, причем с первого взгляда — по цвету обложки или супер, стилю художника-оформителя, элементам серийного дизайна, шрифту названия — в значительной степени способствовало успеху книжной охоты. Особенно в центральных магазинах, где всегда было полно конкурентов, так и норовящих выхватить находку у тебя из-под носа. Но не менее важным был и постоянный охотничий настрой: не пропускать ни одного магазина, а в самом магазине буквально ни одного заутка. В книжных, особенно тех, что подальше от центра, вдали от основных охотничьих троп, существовали такие картонные ящики, стоявшие в углу прилавка, куда складывались книжки уцененные и вообще, по мнению администрации, сомнительные — с коммерческой точки зрения. Вот в одном из таких ящиков я выкопал маленькую книжицу, изданную в 1963 году в Ташкенте. На невзрачного вида буроватой обложке значились имена авторов: Ильф и Петров, а под этой самой обложкой — главы из "Двенадцати стульев" и "Золотого тельца", не вошедшие в канон, а также "Необыкновенные истории из жизни

в массе своей затерялся в районных узбекских библиотеках, и книжка через сравнительно короткий промежуток времени была списана как не пользующаяся спросом читающей публики.

Кстати о пятитомнике. Мы его купили в букинистическом. Здесь, разумеется, необходимо развернутое уточнение. Жили мы тогда на Ленинском, напротив "Даров природы", а рядом был большой букинистический магазин. И вот мы познакомились с милой такой девичей наших лет, которая на момент знакомства была рядовой продавщицей, но буквально через пару месяцев выросла до старшего товароведа и уже сидела непосредственно на приемке. То есть, у нее было безусловное право откладывать в сторонку практически все, что приносили сдатчики. Тогда-то мы убедились в том, что не переводятся на свете невинные души, которые по-прежнему волокут в букинистический печатную продукцию без разбора, не принимая во внимание тот очевидный факт, что за сданную официальным образом книгу они получают номинал, да к тому же с некоторой, пусть и чисто формальной, скидкой, тогда как на черном рынке эта книжка стоит три, а то и пять номиналов.

Короче говоря — благодаря Надежде (так вполне символично звалась наша букинистическая подруга) мы смогли не просто заложить фундамент своей библиотеки, но и отполировать фасад здания, и даже украсить его некими фестончиками — вроде книг издательства "Academia". От Надежды у нас и Саша Черный с Хлебниковым в "Малой серии", и кое-какие изыски "Большой серии", и изыщные томики "Сокровищ лирической поэзии" в белых суперах с гравюрами на весь разворот, и роскошный-расписной Козьма Прутков, и в принципе недоступный для простого покупателя — в силу немислимой читательской популярности — "Наследник из Калькутты" (то самое, пресловутое издание 1958 г., с двумя фамилиями на обложке), и восьмитомный огоньковский Конан-Дойль...

А вот еще один эффективный путь пополнения библиотеки: немало книг я привозил из своих поездок по стране с иностранными делегациями. Во всех городах, посещенных мною (а их было не сосчитать) я бегал по книжным магазинам — усердно и потому успешно. Удавалось отыскать кое-что из пропущенного в Москве, в том числе и вполне редкие издания (литпамятники, Библиотека поэта, мастера зарубежной прозы — да мало ли...). Особо удачным бывал улов в Баку, где я несколько лет подряд проводил незабываемые две недели в конце октября, на ооновских семинарах. Селили нас в одной из двух центральных гостиниц этого прекрасного города (занимавшего третье место в моей системе ценностей — после родной Москвы и несравненного Питера) — таким образом, Бакинский дом книги находился буквально в двух шагах. И эти два шага вперед и два назад я проходил ежедневно, и всякий раз возвращался с уловом. Прелесть магазина была в полной его непредсказуемости. Помнится, в один из приездов я с первого же захода, порывшись в запыленном картонном ящике, выудил около десятка маленьких дрезденских альбомов серии *Maier und Werk* (то есть, "Художник и его творчество", с репродукциями высокого качества), по сорок восемь копеек каждый, которые в Москве, в магазине иностранных издательств "Дружба", по-моему, просто не доходили до прилавка. Кстати, аналогичным образом не доходили до Москвы книги местных издательств — и потому именно из Баку я вывез два огромных тома братьев Ибрагимбековых, изданные, как полагается, по старшинству: Максуд в 1984 году, Рустам — в 1985. Случались и встречные перевозки. Наиболее яркий пример — "Семейные тайны" Чингиза Гусейнова. Книга была издана Московским отделением "Советского писателя" в 1986 году (то есть, когда перестройка набирала свое

ускорение), тиражом 30 тысяч, и сюжет ее — это если не принимать во внимание то, "как" сделана эта миниатюрная семейная сага — можно свести к издательской аннотации: "на примере жизни одной семьи автор ставит острые нравственные проблемы гражданского долга и честности". Вся штука заключалась в том, что "одной семьей" (или, если по-английски, то семьей с неопределенным артиклем) эти люди были для московского читателя. Для бакинского же читателя это была семья с куда как определенным артиклем, и раскрытие "семейных тайн", с не всегда красивыми подробностями, было процессом болезненным — потому-то в Азербайджане книга была просто-напросто запрещена к продаже. И вот я привозил знакомым ребятам эти темно-зеленые томики, осуществляя в своем роде культуртрегерскую миссию — говорю безо всякой иронии, потому что книга и в самом деле хороша.

И все-таки выше речь шла о временах сравнительно мирных, когда книга, утратив статус "лучшего подарка" и "источника знаний" и уже превратившись в товарную единицу, еще не стала предметом крутых спекуляций. А уж до тех блаженных времен, когда стали грабить квартиры ради похищения книг — тем более надо ждать еще пятилеточку. Действительно, где-то в конце семидесятых мы, наслушавшись всяких жутких историй, поставили квартиру на охрану. Но книги у нас не крали — если не считать тех (числом в пределах десятка), которые оказались зачистанными. То есть, некто брал почитать и не возвращал. Так что и здесь можно говорить о везении. Два слова еще об одном виде везения, связанном с книгами — я имею в виду книжную лотерею. Существовало такое мероприятие, где-то в самой середине шестидесятых. На прилавках книжных магазинах стояли стеклянные барабаны: подходи, крути и вытаскивай билет стоимостью 25 копеек. Еще раз обозначим масштаб цен: это небольшой поэтический сборник (или два совсем маленьких и тоненьких). А 30 копеек стоил, например, первый выпуск известнейшего сборника "Физики шутят" (1966 г.). Выигрыши же были от 50 копеек до 10 рублей. И вот пару раз, будучи при деньгах (после гонорара на радио) я взял — по наущению жены, которая тогда еще не была женой — билетов на трешку. И один раз вытянул пару трехрублевых выигрышей и несколько полтинничных, а другой раз — и вовсе десятирублевый. Самое смешное, что с этим десятирублевым мы набегались — именно в силу книжной дешевизны. Ведь сдачу не давали — надо было потратить всю выигранную сумму в одном месте и за один раз (доплата, впрочем, позволялась). Наконец, в букинистическом иностранной литературы (который тогда был на Герцена, наискосок от Консерватории) нам удалось выходить полного Шекспира в одном томе, как раз за червонец.

Несомненно, читатель уже догадался, что я говорю с такими подробностями (год издания, тираж, цена, цвет обложки) о тех книгах, которые стоят на моих иерусалимских полках, то есть привезены сюда в счет немногих багажных килограмм, дарованных простому советскому еврею могущественным Сохнугом. Основной критерий отбора мы с женой сформулировали на основе консенсуса: берем то, что будем перечитывать. Ну, повторюсь: с учетом ограничений по весу — поскольку и кое-какую посуду с постельным бельем тоже следовало захватить. Увы, эти ограничения в первую очередь предопределили судьбу многотомных собраний. Собственно говоря, сюда мы привезли только Пушкина, Лермонтова, Гоголя да любимого Салтыкова-Щедрина (автора — если говорить на чистоту — враждебного любой властной структуре). И еще Мельникова-Печерского, которого всегда приятно перечитывать ("Обед был подан обильный, кушаньям счету не было. На первую перемену поставили разные пироги. Была кулебяка с пшеном и грибами, была и

другая, с осетриной, и пироги с семгой, и ватрушки с грибами, и оладьи с зернистой икрой... На вторую перемену уха из стерлядей с растегаями. Новая перемена: стерляди разварные с солеными огурцами да морковью, осетрина с хреном, шука под чесночным соусом. Потом жареная осетрина, лещи, начиненные грибами, и непочерной величины караси. Затем сладкий пирог, оладьи с сотовым медом, кисели, киевское варенье, пастила и отваренные в патоке дыни, арбузы, груши и яблоки. А наливки одна другой лучше: и вишневка, и ананасовая, и клубничная, и царица всех наливок, благовонная сибирская облепиха...")

Вынуждены мы были, однако, оставить в Москве не только большинство подписок, включая и "Всемирную литературу", и БСЭ, и "Жизнь животных". Оставили также почти все Лигпамятники, и серию "Литературные мемуары". И многое из "Сокровищ лирической поэзии" (маленькие томики в белых суперах), и из "Мастеров поэтического перевода", и из "Библиотеки поэта" (больше пришлось пожертвовать Малой серией; Большая серия пострадала в меньшей степени). Оставили практически всю серию фантастики "Мира", не говоря уж об увесистых ежегодниках "Мир приключений", "В мире фантастики и приключений", "На суше и на море", сборниках фантастики издательств "Молодая гвардия" и "Знание". И почти все детективы. И долго, тщательно собиравшийся фактически полный (без двух-трех номеров) комплект "Искателя" за все годы его существования. И книги о путешествиях и путешествиях, и книги о животных, и книги по истории и археологии. И не меньше трех четвертей поэтических сборников. При всем при этом нельзя было не взять все словари, составившие примерно седьмую часть библиотеки в ее нынешнем урезанном, обкромсанном виде.

Кое-что из невзятого с собой удалось отправить дочери в Штаты. Кое-что пришлось продать (заметим в скобках — за копейки, потому что книги уже никого не волновали). А добрую четверть библиотеки мы просто оставили на стеллажах в коридоре, причем сами полки также не удалось продать ввиду отсутствия спроса. Время было такое: те, у кого водились деньги, покупали новые вещи, а те, кто купил бы старые — не имели денег даже на это.

Перед погрузкой багажа в контейнер предстояло еще пройти российскую таможенно, а формально к вывозу были дозволены лишь книги, изданные после 1947 года. Значит, пришлось продавать и нашу гордость, двенадцатитомного Салтыкова-Щедрина в приложении к журналу "Нива" за 1906 год, купленного все у той же Надежды (с собой взяли огоньковский двенадцатитомник 1988 года), и кое-какие "Памятники мировой литературы" издания братьев Сабашниковых... И еще, и еще, как бы "по мелочи". Впрочем, кое с чем мы просто не смогли расстаться, и потому решили: как Бог даст! Ну, конфискуют — значит, такая судьба. И повезли, и — без звука — провезли две книжки Тэффи (вышеназванный сборник "И стало так", изд-во Корнфельда, 1912 г., и "Юмористические рассказы", изд-во "Шиповник", 1916 г.). И с десяток маленьких книжечек "Библиотеки сатиры и юмора" (изд-во "ЗиФ", двадцатые годы). И — как памятник эпохи — "Краткий курс истории ВКП(б)" (1938 г.). И несколько особо дорогих (для души!) книг издательства "Academia" тридцатых годов. И кое-какие книги с автографами, которые заслуживают отдельного рассказа — но об этом не сейчас.



Борис Тененбаум

КОЛЕНА ИЗРАИЛЕВЫ

Глава из новой книги "Израильские войны"

(предыдущие главы см. в №6/2015 и сл.)

I

В 1926 году достопочтенный и богобоязненный человек, которого именовали Мулла Мурад (Mullah Murad), проживавший в священном для шиитов городе Мешхеде, снялся с места и со всеми своими чадами и домочадцами двинулся в путь. Дорога была дальней, но он прошел ее до конца, хотя и трудно ему было двигаться - ибо Мулла Мурат вступил уже в восьмой десяток лет жизни, дарованной ему Аллахом.

И достиг он Иерусалима, и поселился там, и его подворье стало местом, куда приходили евреи персидские и бухарские, потому что Мулла Мурад был родом из еврейской общины, силой обращенной в Ислам в 1839 году, и прослышал он, что в Палестине теперь есть "... еврейский очаг ...", и отправился он к этому очагу, и стал там известен как рабби Мордехай бен Рафаэль Аклар, человек премудрый и справедливый.

А в том же 1926-ом в семье переселенцев из Америки, Морриса и Голды Меерсонов, родилась дочка Сарра. Она стала вторым ребенком Меерсонов - у них уже был сын, Менахем — и денег стало сильно не хватать. Голде пришлось брать на дом стирку для соседей — хотя ее муж в то время работал бухгалтером в маленькой конторе в Иерусалиме, но платили ему плохо.

Она, однако, не унывала.

Ее родители перебрались в Америку из Киева, неплохо там прижились, и Голда — в то время она носила фамилию Мабович — росла в Милуоки в относительно достатке. Но мысль о "... еврейском очаге ..." вошла ей в душу так глубоко, что она обменяла этот достаток на нелегкую жизнь в сельскохозяйственной коммуне в Изрельской долине.

Там она и работала на земле, и к тому же, будучи человеком глубоко убежденным в великой силе социалистических идей, оказалась представителем своей коммуны во Всеобщей федерации трудящихся Палестины.

Коммуну, тем не менее, пришлось оставить.

Муж Голды Меерсон свалился от тяжелой малярии. Оставаться в этих местах ему не рекомендовалось — и пришлось семье перебраться в Иерусалим. Голде Меерсон теперь надо было и тянуть на себе дом, и растить детей, но, тем не менее, у нее хватило сил продолжать заниматься общественной работой. У нее это хорошо получалось.

В 1928 Голда Меерсон возглавила женский отдел Всеобщей федерации труда ишува.

II

Слово "ишув" старое, встречается еще в Талмуде, а на русский может переводиться по-разному: и как "заселенное место", и как "заселение определенного места", и как "население". К 20-м годам XX века словом "ишув" называлось еврейское население Палестины, причем, различался "старый ишув" — еврейские общины, которые жили в Иерусалиме с незапамятных времен и существовали в основном за счет филантропии (их поддерживали взносами, собираемыми в диаспоре) — и "новый ишув", то есть люди, которых двинул в Палестину "... призыв Герция ...".

В этом смысле и Мордехай бен Рафаэль, и Голда Меерсон могли считаться представителями "нового ишува", но понятно, что молодая женщина, одержимая идеями социализма, и реб Мордехай отличались друг от друга, как день и ночь.

Новый ишув вообще был разнообразен просто до невозможности.

Он формировался иммиграционными волнами — каждая такая волна на иврите именовалась "алия" — "восхождение". Собственно, само понятие "восхождения" существовало задолго до начала движения сионистов. Жизнь в библейской "Стране Израиля" религиозными людьми рассматривалась как высокая цель, и издавна еврейские общины селились в "святых городах" — Иерусалиме, Хевроне, Цфате и Твери.

Ну, а в Иерусалиме евреи и вовсе составляли большинство населения.

Так вот, первая значительная алия из России в Палестину началась еще до Герция, в 1882, и к жизни была вызвана погромами.

К 1903 году в турецкую еще Палестину переселилось около 35 тысяч человек.

Волна еврейской эмиграции в 1904 вообще резко усилилась — случился кишиневский погром. Большая ее часть двинулась через океан, в сторону Америки — но некий ручеек отделился и пошел в Палестину.

Были это, в основном, идеалисты.

Уезжая из России навсегда, они кое-что увезли с собой — скажем, эсеровскую идею социалистических сельскохозяйственных коммун. Дгания, самый первый киббуц, был основан на полном равенстве, полной общности имущества и полном отказе от наемного труда, и все последующие в той или иной мере строились по той же модели.

Считалось, что это создает новый тип евреев — свободных тружеников и землепашцев.

Революция 1917 отрезала Россию от остального мира, и "вторая алия" потеряла самый крупный источник пополнений — но в 20-х годах пошла "третья алия" из Польши и Румынии.

Эти переселенцы и думать бы не думали о "восхождении", но жизнь заставила.

Новые государства, возникшие в Европе после Первой Мировой Войны, к своим национальным меньшинствам отнеслись без восторга, старались их выдвинуть — и в результате к 1926 году еврейское население Палестины по сравнению с 1918 почти удвоилось и превысило 100 тысяч человек.

Жизнь была трудной — многие уезжали.

В Палестине не было ни промышленности, ни торговли, ни развитого сельского хозяйства. Каждый, даже самый неудобный участок земли, приходилось сначала выкупать по сильно завышенной цене, а потом неимоверным трудом делать пригодным к обработке.

Но понемногу труд стал приносить плоды — появлялись все новые поселения, складывались городки, трудами доктора Вейцмана в Палестине был основан университет, в школах, даже в маленькой Дгании, преподавание шло на иврите. Таким образом, Голду Меерсон и рабби Мордехая бен Рафаэля объединил общий язык. Но понятия, которые они на нем выражали, совпадали очень мало.

III

В 1927 был опубликован роман Жаботинского "Самсон-Назорей". Книга была написана на русском и частями публиковалась в "Рассвете", в то время — еврейской эмигрантской газете, выходившей в Европе, сперва в Германии, а потом — во Франции. Тираж у нее был невелик, в пределах тысячи экземпляров, но Жаботинский состоял членом ее редколлегии, и, по-видимому, потому "Рассвет" и выбрал.

Вообще-то непонятно, каким образом у него нашлось время на литературную деятельность — его главным занятием была политика.

Но, как бы то ни было, роман он написал. Сюжет взят из библейской Книги Судей. В иудаизме есть понятие "назорей" — "посвященный Богу" — это человек, принявший обет, и в числе прочих наложенных на себя ограничений, он не стрижет волосы.

Действие происходит в Земле Обетованной, и живут в этой земле и иудеи, которым земля эта была обетована Господом, и все еще уцелевшие остатки туземных племен. Но правят тут филистимляне, народ, пришедший с моря, и правят они железной рукой — иудеи же, потомки Иакова, разделены на 12 колен.

И вот, родился в колене Дана мальчик, которому дали имя Шимшон (Самсон в русском переводе Библии), и обладал он с детства необыкновенной силой. И водил он дружбу с филистимлянами, и любил их строй и обычаи, и надумал жениться на филистимлянке, и так и случилось — но нарушил его тесть свое обещание, и уже после заключения брака отдал свою дочь другому.

И оскорбился Самсон, и начал великую с филистимлянами свою распря — ну, и так далее, все по Библии ...

Не нужно никаких литературоведческих исследований для того, чтобы понять "подкладку" романа — она понятна и так. Ну, конечно же, филистимляне — это англичане, и Самсон — это сам Жаботинский, и в его глазах "... нарушение обязательства по уже заключенному браку ..." просто вопиет к небесам, и требует отмщения.

Но роман не сводится к конфликту с филистимлянами — есть в нем и колена Израилевы, от единства далекие, цели свои понимающие по-разному, и меж собой нередко враждующие. Тут, конечно, тоже просматривается аналогия — ишув делился на группы и фракции, насчитывал добрую дюжину партий, и споры нередко принимали личный характер.

Скажем, к середине 20-х мнения Жаботинского и доктора Вейцмана в отношении "... брака по расчету ..." разошлись.

Вейцман стоял за сотрудничество с Англией, Жаботинский же считал, что сотрудничество с Англией себя исчерпало — но оба они оказались перед лицом нового фактора — набирающих силы рабочих профсоюзов.

В романе Жаботинского партии ишува представлены в виде колен Израилевых:

"... Иаков, отец наш, разделил свою душу между сынами и внуками: вкрадчивое очарование свое отдал Ефрему; страсть любовника, покоряющую женщин, — Вениамину; жажду скитания, создающую новые города, — Дану ...".

А дальше там говорится о самом многочисленном из них всех — колене Иуды:

"... Но свой дар сновидца и свое упорство погони за невнятными снами [Иаков] завещал Иуде; и, как он, пойдет Иуда, ради невнятного замысла, на раздор и с отцом, и с братом, и с Богом; и схитрит, и солжет — и изменит, ... и предаст лучшего и ближайшего, ради того замысла, на неслыханные муки ...".

Этот абзац — на редкость достоверный портрет Давида Бен Гуриона.

IV

В 1926 году ему исполнилось 40 лет, и к этому времени он был известной фигурой уже лет пять — в конце 1921 его ввели в состав секретариата Общей федерации рабочих Палестины.

Путь, пройденный им к этому времени, был поразительно извилист.

Давид Бен-Гурион родился в Плонске, в семье Авидора Грина, судебного писца. Мальчика в школу отправили в 5 лет. Учился Давид Грин хорошо и в 1904-ом, в возрасте 18 лет, уехал в Варшаву. Город считался третьей столицей Российской Империи, сразу после Петербурга и Москвы — там были хорошие учебные заведения, и юный Давид Грин попытался поступить в политехнику.

Толка из этого не вышло, и тогда, в 1906, он уехал в Палестину.

Там он поработал как сельскохозяйственный рабочий, как грузчик на винном заводе, как охранник, как журналист в рабочей газете в Иерусалиме.

И там-то и стал подписываться как Давид Бен-Гурион.

К концу 1911 он проникся мыслью, что "... палестинские евреи должны принять турецкое подданство и бороться за свои интересы через государственные институты Оттоманской Империи ...". И вообще, он собирался стать депутатом турецкого парламента, в связи с чем начал изучать турецкий язык, а в 1912 с блеском сдал вступительные экзамены в школу права при Стамбульском университете.

Свой пылкий турецкий патриотизм в 1914 он попытался подтвердить делом — предложил создать еврейскую военную часть, которая должна была сражаться на стороне Турции.

А когда турки эту идею отвергли и выслали его из Палестины, он пробовал уговорить Трумпельдора отказаться от присоединения к англичанам, а когда это не удалось — уехал в США и попытался там создать еврейское военное формирование.

Ну, не удалось и это ...

Тогда Давид Бен-Гурион вступил в "легион Жаботинского", который формировался в Англии, был очень быстро произведен там в капралы, за 4-х дневную самоволку разжалован в рядовые, переведён в другую роту, а еще через несколько дней "... получил месячный отпуск, из которого не вернулся ...".

Прибавим к вышесказанному еще один эпизод: в 1908 Давид Бен-Гурион — в то время все еще Давид Грин — возвращался из Палестины в Россию, потому что он числился военнообязанным, а семьи "уклонистов" штрафовались на огромную по тем временам сумму в 300 рублей.

Как и положено новобранцу, он присягнул на верность российскому царю — но очень скоро дезертировал прямо из военного лагеря, и перешел границу с Германией по фальшивым документам, явно заготовленным заранее.

В общем, картина получается такая: в период с 1908 по 1918 Давид Бен-Гурион принес три клятвы верности: Российской Империи, Османской Империи и Британской Империи. Османы его клятву не приняли, а две другие он нарушил сам.

Так что прав был Жаботинский — "... и схитрит, и солжет — и изменит ...". Но остается ведь еще и "... упорство погони за невнятными снами, и невнятный замысел ..." ради которого пойдет Бен-Гурион хоть на край света?

Да. Замысел был.

Только он не был невнятным, а очень даже отчетливым.

V

Теодор Герцль дал евреям Мечту. Ну, мечта — дело неясное, и неверное, и фантастическое, и не для практичных людей. Но нашлись и такие, которые этой мечтой — еврейское государство для еврейского народа — увлеклись просто до самозабвения, и назвали они себя сионистами.

Хаим Вейцман дал сионистам Хартию. Крупный ученый, он оказался еще и замечательным дипломатом, великим мастером по "... сглаживанию углов ..." — и умудрился подвести под Мечту некую юридическую базу в виде Декларации Бальфура.

Владимир Жаботинский создал Легион. Он был удивительно одаренным человеком, прямо-таки впору эпохе Ренессанса — сразу и писатель, и поэт, и оратор, и публицист, и переводчик, и публицистику при том писал на иврите, а художественную прозу — на русском, а для политических речей свободно использовал идиш.

А впридачу ко всему этому он был одарен исключительно трезвым умом. В новой Европе, той, что образовалась после Первой мировой войны, Жаботинский увидел новые, националистически устроенные государства, ошестившиеся оружием. И он пришел к выводу, что в этом волчьем мире еврейскому народу без меча не выжить.

Давид Бен-Гурион, конечно, не мог состязаться ни с Герцлем, ни с Вейцманом, ни с Жаботинским. Но он взял Мечту, Хартию, и Легион — и начал строить из них Аппарат.

Дом за домом — так строились поселения. Посаженное дерево следовало за деревом — и так осваивалась земля. А отделы Всеобщей федерации труда шаг за шагом брали на себя организацию и управление строительством.

Так создавалось руководство.

А во главе этого руководства, с муравьиным упорством и изворотливостью ящерицы, Давид Бен-Гурион поставил себя.

(продолжение следует)



Катя Компанец

ГАМЛЕТ ТАРКОВСКОГО

Эти воспоминания написаны в 1984 или 1985 году, отсюда настоящее время в описании Дома творчества и московских реалий.

В ноябре 1975 года я поехала в подмосковный Дом творчества Союза художников «Сенеж». Дом творчества этот оборудован для работы над литографией и офортом, поэтому собираются там графики. Там же происходит семинар дизайнеров, и их собирают множество со всех концов страны. Живописцев было всего трое: я, Тенгиз Мирзашвили (заслуженный художник Грузинской ССР) и Косаговский.

Тенгиз предложил мне делить с ним мастерскую. В первый же день он спросил, есть ли у меня музыкальный слух, я из скромности сказала, что нет. «Тогда я буду петь», - сказал Тенгиз, и запел, а я усомнилась в пользе скромности. Несмотря на пение, мы подружились, нам нравились работы друг друга, и у нас было много общего во взглядах на искусство. Тенгиз, по образованию театральный художник, был увлечен идеей, поставить в театре «Макбета», которого он все время цитировал и читал вслух. Он достал Шекспира по-английски и просил меня читать ему, что оказалось очень сложно при моем тогдашнем знании языка. Тенгиз начал делать эскизы, но с кем и где ставить «Макбета», у него не было идеи.

Тенгиз иногда уезжал на день в Москву и заходил к своему родственнику, режиссеру, Георгию Калатозову. После очередной поездки он вернулся и рассказал мне следующее. Он приехал к Калатозову и сидел один в квартире, хозяев не было дома. Раздался звонок — пришел в гости Андрей Тарковский, с которым Тенгиз был немного знаком раньше. Они начали разговаривать, и Тенгиз, который был охвачен страстью ставить в театре «Макбета», рассказал об этом Тарковскому. Оказалось, что Тарковскому предложили ставить «Гамлета» в театре Ленинского комсомола, и он ищет художника-постановщика, что он во время разговора и предложил Тенгизу делать.

Рассказывал Тенгиз со смешанным чувством: с одной стороны «Гамлет» это не «Макбет», но все же Шекспир. С другой стороны, он сомневался, что сможет работать с Тарковским. Дело в том, что у Тенгиза была особая чувствительность к манерам людей, а Тарковский, говорил он, человек нервный, и какая-то у него привычка втягивать воздух между зубов. Тенгиз боялся, что у него самого от этого начнется нервное расстройство. Он стал меня просить, чтобы я взялась за эту работу с ним, меня он выносил легко, и считал, что я буду экраном между ним и Тарковским. Кроме того, я кончила художественное отделение Текстильного института, и Тенгиз считал, что я разбираюсь в покрое костюмов. Третья причина, почему он хотел, чтобы я с ним работала, была не менее важной: Тенгиз жил в Тбилиси, у него там была семья, заказы (он оформлял еще книги), и он не мог быть все время в Москве, а работа над спектаклем могла затянуться и потребовать постоянного присутствия. Я тут же согласилась работать с Тенгизом над костюмами.

Перед Новым Годом я вернулась в Москву, а в начале января Тенгиз повез меня знакомиться с Тарковским. Было утро, но не раннее, мы приехали на Мосфильмовскую, позвонили, нам открыл мальчик в трусах, который извинился и исчез в недрах квартиры. Мы прошли в кабинет, вскоре мальчик вошел уже одетый и

оказался Андреем Тарковским. Он начал читать вслух «Гамлета» в переводах Пастернака и Лозинского и сравнивать их с имеющимся у него подстрочным переводом. При этом и он, и Тенгиз недовольно отмечали неточности пастернаковского перевода. Нашли даже одно место, где смысл получался обратным. Обсуждали, какой же перевод использовать для спектакля, выбран был Пастернак. При этом Тарковский изобразил на лице болезненное недовольство. Означавшее, что плохо, но ничего лучше нет.



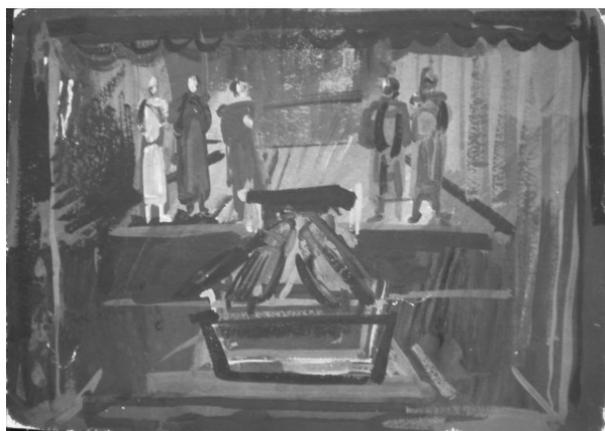
Тарковский ходил по комнате, рассказывал, что договаривается с театром, чтобы пригласить на постановку Терехову и Солоницына, но какие-то возникают сложности с администрацией. Говорил он об этом раздраженно, и по лицу пробегали нервные гримасы. Но и улыбался он легко, немного наклоняя при этом голову вбок.

Тенгиз поселился в моей пустой квартире в Тропарево, я в это время жила у своей матери, а пустая двухкомнатная квартира служила нам мастерской. Мы купили гору английской (французской?) гуаши, бумаги, обложились книгами (к счастью, в одной из комнат стоял колоссальный письменный стол — памятник стилю пятидесятых годов) и начали решать, что из известной нам живописи может служить прообразом костюмов. Прежде всего, надо было решить, какое время мы возьмем за основу стиля. Отнесем ли мы его точно к тому времени, когда исторически существовал Гамлет, сделаем ли мы костюмы в стиле шекспировских времен или условно отнесем их к предшекспировскому времени, например, Возрождению.

Возникали еще у Тенгиза идеи решить костюмы в духе персидской миниатюры, которую он очень любил, или взять мотивы буддийских молитвенных ковриков, так как одна из книг была монография, посвященная этим коврикам, с мотивами мандалы.

После многих разговоров взяли за основу Возрождение. Костюмы могильщиков и послов нашли у Босха. Офелию увидели в одном из портретов Крахаха, а для Гамлета я предложила один из автопортретов Дюрера, где он в рубашке тонкого полотна, а рукава и ворот очень тонко отделаны мелкими сборками. Тенгиз

предложил что-то другое для Гамлета, не помню что. Для короля прототипом выбрали портрет Шарля де Солье Гольбейна.



Вскоре, утром, пришли Тарковский с Солоницыным и Володей Соловьевым, молодым человеком, которого театр Ленинского комсомола дал ему в качестве помрежа. Прежде всего, Тарковский проявил большой интерес к квартире: чья, почему в ней мастерская и другие подробности, а когда я сообщила, что квартира кооперативная, и я ее собираюсь продавать, ужаснулся. «Как, зачем продавать, хорошая квартира, в ней же жить можно». Он сам пытался увеличить свою жилплощадь, поэтому вопрос квартиры его волновал.

Подойдя к столу, быстро пролистал книги и сказал: «Офелия, конечно, вот этот Кранах, Гамлет — автопортрет Дюрера (тот самый), — тут Тенгиз радостно хмыкнул, посмотрев на меня. Вообще совпадений было много, чему мы с Тенгизом очень обрадовались. Меня поразило, как Тарковский знал живопись, что-то я по этому поводу сказала. Оказалось, что он кончил Московскую городскую художественную школу, ту же, где и я училась. Школа эта находится на Кропоткинской улице, против Академии художеств и в сороковых — пятидесятых годах служила прибежищем нераскаявшимся формалистам. Мы стали вспоминать общих учителей, у одних и он, и я учились, других я уже не застала. Он учился еще у Фалька и Перуцкого. Александр Михайлович Глускин — мой учитель, бывший одессит, дружил с Арсением Тарковским.

Поговорив о костюмах, стали пить сухой вермут «Чинзано», который Тенгиз с грузинской широтой накупил с утра. Была у него такая манера, покупать всего, как на Маланьину свадьбу, а еще мешками из Грузии завозить. Манера в зимней Москве очень приятная, потому что из мешка извлекались неслыханные деликатесы и все домашнего изготовления, а не с рынка, где, как утверждал Тенгиз с присущим грузинскому интеллигенту утонченным вкусом, продаются продукты красивые, но малосъедобные.

Толя Солоницын стал рассказывать всякие всячины, были тут и случаи появления пришельцев из космоса где-то в Сибири, и истории о телепатии, и разговоры о йоге и диете (которой он был большой поклонник, что не мешало ему пить вермут). Я заметила на лице Тарковского особое выражение, которое отмечала у

него и потом: так, бывает, взрослые слушают рассказы детей. Видно было, что слушал он с удовольствием, Солоницыным любовался, но отношение к этим рассказам как к некой условности было видно в том, как он шурил глаза.

На прощание Тарковский сказал: «Не спи, не спи, художник, не предавайся сну». Я стихи знала, а Тенгиз, когда узнал, что это Пастернак, сморщился. Мне он объяснил, что Пастернак плохо перевел грузинских поэтов.

Получив одобрение Тарковского своим идеям, мы начали работать, производя тонны эскизов. Были среди них такие, которые сделала я, а Тенгиз прошелся «рукой мастера», были такие, которые сделал он, и такие, которые сделала одна я. В течение месяца мы сработались, и эскизы получились в одном стиле, сплаве московского с грузинским.



Следующий этап был — показать работы художественному совету, для того, чтобы их одобрили. Произошло это, вероятно, в феврале, мы пригнали отобранные эскизы в театр, все они уже были утверждены и подписаны Тарковским. Собралась группа администраторов и каких-то работников театра, которые должны были не только принять наши эскизы, но и выслушать Тарковского. Он излагал им свои идеи постановки. То, что говорил Тарковский, запомнилось мне скорее своим выражением, чем содержанием. Это было не просто серьезно или внушительно, но он дал понять, что здесь решается судьба искусства в масштабах культурного мира, и он сам, Тарковский, понимает лежащую на нем тяжесть. Объяснив совету сложность и важность своей задачи, он перешел к костюмам. Тут Тарковский был краток: «Ну мы все видим, что эскизы костюмов гениальные». И совет, уже ошарашенный его речью, радостно и освобожденно закивал: «Гениальные, гениальные».

Тарковский начал репетировать, и мы приходили в театр смотреть. Андрей хотел, чтобы Тенгиз как можно больше присутствовал на репетициях, хотел полу-

чать его совет и одобрение по каждому поводу. Тарковский очень ценил вкус Тенгиза, кроме того, они, кажется, все еще решали, какие будут декорации. То, что было придумано, оказалось сложно и громоздко, и надо было как-то упрощать. Роль дизайнера декораций выполнял Рашид (фамилии не помню), выбранный на Сенеже. Тенгиз же своей ролью постоянного советчика тяготился и жаловался мне.

Мы встречались для того, чтобы обсудить, как и из чего выполнять костюмы, шляпы и обувь, а также и бутафорию. Оказалось, что Тарковский хотел от костюмов большого реализма: то есть, чтобы бархат был бархатом, причем дорогим, кожа кожей и т.д. Тенгиз же был большой любитель условности. Из бутафории особенно большое внимание Тарковский оказывал бокалам в сцене отравления. Но больше всего ему хотелось принести на сцену подлинные стихии: воду, огонь, землю. Он огорчался, что не может этого сделать в той мере, в какой бы ему хотелось, и огорченно цокал языком об щеку, (нервная привычка, от которой Тенгиз боялся заболеть). Я рассказала Тарковскому, что во времена Возрождения в мастерской художников, бывало, вешали большой стеклянный шар, наполненный водой, для создания особого отраженного света, и Тарковский страшно загорелся повесить такой шар на сцене и долго эту идею с нами обсуждал, возможно ли это технически.

PS. Рукопись обрывается неожиданно, так что возможно было продолжение. Диск того старого компьютера повредился, и все исчезло, а я не сохраняла копии.



Злата Зарецкая

ИСПЫТАНИЕ

Чехов на израильской сцене 2014-2015

«Иванов» в Камерном театре
«Дядя Ваня» в театре «Хан»
«Забавные опыты любви» в театре «Зеро»

Чехов как надоевший многим классик давно стал именем нарицательным, символом тяжелого чувствительного аристократического русского искусства, над которым можно только посмеяться на почтительном расстоянии как над чем-то безнадежно устаревшим, ничтожным по сравнению с прагматичными ритмами современной жизни. В спектакле «Шестеро персонажей в поисках автора» по Пиранделло в театре Гешер маленькая собачка по имени «Чехов» выбегала на сцену обслуживать причуды избалованной старой опытной примадонны. Свобода иронических презентаций Чехова достигла предела в спектакле-комиксе «Ваня, Соня, Маша и Шпиц» по пьесе Кристофера Доранга, украшающей афишу Камерного. В ансамбле «Итим» Рины Ерушалми «Три сестры» были представлены как символы времен года, где актеры действовали в масках животных... Режиссер уравнила Чехова с театром абсурда, где вообще нет реальности, а есть одни иллюзии... В соответствии с идеей Р. Гилмана «Чехов использовал сцену для создания новых форм - предлагал... безжалостно оголенные химически чистые продукты воображения, обозначающие нашу сущность...». Однако зритель не принял абсурдного Чехова, который продолжал привлекать своим духовным масштабом. Таким сближением с космосом драматурга стала постановка «Чайки» Офиры Хениг, которой удалось выразить чеховское уважение к «величию человеческих надежд»...



Прорывом к сути чеховского творчества стал предсмертный спектакль Ханнох Левина «Реквием» — преобразивший «Скрипку Ротшильда», «Госку» и «Спать хочется» в свой поэтический сценический призыв к милосердию к еще живущим. Ханнох Левин подобно Чехову срежиссировал свою драму ухода, оставив миру прекрасное завещание. Его цветущий Дом-Дерево,двигающаяся в никуда ка-

рета, диалоги о театре и любви у проституток на фоне горя отца и вдовца, все понимающая лошадь, добрые мертвые и жестокие живые, крик матери о потерянном ребенке и последний танец несостоявшихся при жизни влюбленных — все это было рождено текстами Чехова...

Израильскому гению удалось понять и передать в нем главное: внутренний контраст как авторское видение мира. Действительность всегда предстает у Чехова сначала иронически, а затем как привидение являет трагический лик скуки, бессмысленности, жестокости. И хотя смысл жизни потерян, но продолжает звучать музыка иллюзий и греть тепло сострадания...

Кто есть Чехов как человек? Как выразить его адекватно? Как не погрешить против истины? Что есть правда театра вообще и чеховского театра в частности?

Актуален ли он здесь и сейчас?

Все эти вопросы возникли вновь на чеховском фестивале Камерного театра в феврале 2015, собравшем новые и старые премьеры почти со всего Израиля: «Два кратких рассказа и кот» Джеты Мунге, «Черный монах» Игоря Березина, «Маленькие люди Чехова» Альберта Коэна, «Хороший доктор» Ноа Шехтер, «Любим Чехова» — актерский бенефис Автору... Праздник сопровождался дискуссией о «новой поэтике Чехова» с точки зрения профессора Хари Голomba и как напоминание об израильском Чехове — об адекватном восприятии чужого, рождающем оригинальное творчество — лекция доктора Нуриг Яари «Ханок Левин читает Чехова». Фестиваль вызвал бурные споры, прежде всего, по поводу двух премьер...

Два спектакля, как два противоположных подхода в восприятии чеховской драматургии, столкнулись на сцене Камерного: «Иванов» в постановке Артура Когана и «Дядя Ваня» в режиссуре Мики Гуревича...

Оба режиссера увидели в Чехове путь к Человеку, о котором тоскует любой израильтянин, как любой живой с планеты Земля от Японии до Франции и Америки, где в репертуарах ведущих театров всегда находится место этим «старым русским текстам», вдруг оказывающимся актуальными для решения своих нравственных проблем. Однако автор предстал у двух режиссеров совершенно по-разному, спровоцировав неоднозначные оценки о том, «Чехов это или не Чехов?».

«Иванов» Камерного театра — развернутый драматический фарс о пошлости, необразованности, самодовольстве «селебретам» — избранных, достигших финансового благополучия как предела и остановившихся. Ржавые детали развалившейся усадьбы или богатый стол, за которым сидят не общаясь часами, создают атмосферу замкнутого пространства, где каждый слышит лишь сам себя и нечем дышать. Несмотря на бедность обстановки сценографу М. Краменко удалось создать атмосферу вакуума, в котором задыхается бездействующий циничный Гамлет «Иванов» в исполнении Итая Тирана.

В 1981 году во МХАТе эту роль играл Инокентий Смоктуновский. Скучная, иллюстративная постановка оживлялась великим артистом, игравшим трагедию диссидента, видящего мертвую среду и, не в силах ее изменить, протестующего за сценой своим самоубийством Его тихий уход звучал как духовный набат — призыв к прозрению. «Иванов» Смоктуновского уходил героем, несдавшимся, несломленным в своих поисках смысла... Образом, актуальным для России времен застоя...

«Иванов» Итая Тирана — не герой, а его тень. Он глух к чужой боли, сердце его закрыто, как у рыбы, которая слышит лишь сама себя. Он всего достиг и потерялся. Он духовный импотент, не способный среагировать на влюбленных в него женщин. Умный сотрудник Хайтека, в которого забыли вставить духовный чип. Он

привлекает своей честностью, молодостью. Ему всего 35 лет, а он лишь рефлектирующий наблюдатель, и будущего у него нет. Режиссер и актер создадут с одной стороны трагедию человека в расцвете без веры и воли к жизни.



Но с другой, и это главное, вся постановка — развенчивающий фарс о «депрессии» героя! Театр призывает зрителя к иронии, к суду над бывшим Гамлетом, изображая его самоубийство как дешевую игру на публику с записью прощания на экран крупным планом, с долгим примериванием пистолета к голове, с размазанными мозгами на стенке аквариума, в котором ему было так удобно страдать...

Режиссеру удалось разобраться с модной психологической патологией соглашательства, с обстоятельствами и пессимистического бездействия. Скрытая часть айсберга была вскрыта режиссером с чеховским мастерством хирурга... Истинной героиней — центром спектакля Артура Когана — неожиданно стала еврейская жена Иванова не «Анна Петровна», как в тексте, а именно как в первоисточнике — «Сара» в исполнении Елены Яраловой. Традиционное восприятие этого образа несчастной иудейки, сменившей веру ради сердечной страсти — тихая мышка в высоких кружевных воротниках, отравленная в доме, как в мышеловке, предательством мужа. (Так сыграла ее тогда во МХАТе рядом с блистательным И. Смоктуновским Екатерина Васильева, продемонстрировав чеховские штампы восприятия, навевавшие музейную скуку!)

«Сара» Елены Яраловой появляется в красно белом японском домашнем кино как факел негасимой страсти, требуя ответа от сломленного духом мужа. Ее огромные умные глаза все видят, все понимают, но не принимают отчаяния и пессимизма любимого. «Давай поговорим, как прежде!»

Ее мысли и чувства не изменились под давлением жизни. Она осталась цельным полнокровным настоящим Человеком. Однако их диалог напоминает крик в пустыне погибающего от жажды. Никакой доктор не смог переубедить, что ее муж — опасен, и не стоит видеть его истинное лицо. С королевским достоинством, напоминая о параллельных ролях шекспировской Элизабет и Софокловой Клитемнестры, взирает Сара Яраловой на картину супружеского дешевого, без чувства — по инерции, флирта. Она знает, что любовь была дана только им и ее единственный обречен. Спокойно и бесстрашно как абсолютно состоявшийся человек сбрасывает «Сара» раковый парик и с удовольствием закуривает сигарету, Жизнь несмотря ни на что удалась!



Этот демонстративный самоубийственный жест — ее бескомпромиссный выбор, за который она, как и написано у Чехова, и как неожиданно точно прочел постановщик, готова платить как настоящий Человек и цельная личность, до конца. В соответствии с автором эта героиня не изменила самой себе — даже не ассимилировалась — осталась верной всему, что дал ей Бог: и родителям, и любви, разорвавшим ее сердце... Но это того стоило!

Готовность платить всей жизнью за свои убеждения — это израильская тема, где в обществе, особенно молодежь, забывает о цене, оплаченной кровью за еврейские идеалы. Поведение школьников в Освенциме, превращающих его в игровую площадку для дешевого времяпрепровождения с наркотиками — это колокол, который звонит и по мне, и по тебе и по каждому из нас...



Спектакль Камерного театра в режиссуре Артура Когана весь выстроен как трагический фарс, высмеивающий с чеховским цинизмом духовную расслабленность, эгоистическую безответственность избалованных духом и телом... И потому вполне современны раздражающие многих общие сцены, где по-прежнему, как и 100 лет назад, только в узнаваемых уличных костюмах сидят и пьют чай лишённые сомнений почти бат-ямовские пошляки, измеряющие все и всех лишь достигнутыми благами, мешая нижегородский иврит с модным английским прононсом, не скрывая грубость и пустоту (блистательные работы Гади Ягиля, Ирит Каплан и Гиля Вайнберга!)... «Они все «Ивановы» — считает режиссер.

Суд Камерного театра над большими духом состоялся в соответствии с убеждениями самого драматурга, считавшего, что человек должен быть свободным и независимым и «по каплям выдавливать из себя раба». Созданный в непривычной ироничной поэтике, без пиетета перед мифами, в современном ритме, без пауз и белых одежд, этот спектакль — новая версия известной чеховской пьесы. Здесь не Иванов как умный головастик, безвольная рыба, попавшая в сети судьбы — центр (Итай Тиран), а его неожиданная противоположность — еврейская жена «Сара» (Л. Ярлова), своей преданностью, глубиной, верой, разорвавшимся от любви сердцем напоминающая о своей библейской праматери... Спектакль Артура Когана по-чеховски двойственно в стиле фарсовой трагедии повествует о социальной патологии сердечной глухоты, пробуждая и предупреждая... И единственным его недостатком для меня осталась пустая, незаполненная смыслово сцена, где лишь в конце прочитывался аквариум — как метафора бытия, где смерть не слышна и привычна...

Совершенно иного Чехова в стиле современной лирической драмы предложил театр «Хан», представив пьесу «Дядя Ваня» в постановке Мики Гуревича. Несколько лет назад режиссер показал «Вишневый сад» как претенциозную безликую метафору пустоты, наполненной прямыми израильскими реалиями. Постановочное своеволие потрясло полным непониманием авторского замысла, отрицанием исходных шифров культуры, заложенных в пьесах Чехова... «Это не о России!», — заявил мне тогда режиссер, отвергая какое бы то ни было знание внутреннего текста — того самого авторского «подводного течения», над осознанием которого бьются постановщики во всем мире.

На этот раз Мики Гуревич попытался приблизиться к Чехову во времени и пространстве, расшифровать авторские российские культурные коды, осознав их универсальность. И хотя снобизм подхода остался («И Чехов мог ошибаться!» — заявил мне режиссер, оправдывая свое непонимание писательских провокаций, рассчитанных на активное сотворчество, а не демонстративное игнорирование первоосновы!) Тем не менее позиция взглядывания и вслушивания в тайны пьесы на этот раз принесла театру «Хан» относительную победу.

В прологе актеры по-домашнему предупреждают, что они лишь «играют», приглашая зрителя, как здесь принято, к пониманию, что перед нами художественный опыт, а не музей. Дистанция, однако, позволяет свободно использовать подлинные детали, оттеняющие истину.

«Дядя Ваня» — драма о внезапном прозрении, которое не спасает, но озаряет будни человека... Иерусалимский спектакль повествует об этом по-чеховски кратко, по контрасту к духовному состоянию героев. Начало полно солнца и слепых надежд. Во всю сцену черное на белом дерево, мертвой красотой в духе Добужинского повторяющееся на платье Елены Серебряковой, уже всех напрасно завожжишей. От дневного света к вечерней тьме, от простора сада к рабочей каморке — пространство сжимается по мере духовного просветления господина Войничкого. Сценограф Светлана Бергер выстроила действие пунктирно минимумом — вроде стены из бревен, или резного столика для чая, бликов заходящего солнца на окнах — создавая атмосферу «сцен из деревенской жизни».

Говорящими были и редкие звуки — отдаленная игра на фортепьяно в эпицентре как скрытая музыка тоски о высоком, да мелодии гитары в конце, оттеняющие трагический стук будней... (композитор Йосеф Барданашвили)

Эволюция дяди Вани от мечты к реальности в соответствии с режиссурой автора была достигнута Мики Гуревичем новым для него способом — искать не

абсолютно неожиданное (как было в его легендарных спектаклях «Слово любви», «Счастливики», рожденных в групповой импровизации) а изначально ожидаемое, найденное каждым отдельно...

Впервые для этого театра актеры, объяснившись в прологе, пригласили зал фактически к погружению на глубины подсознания, не скрывая гримом разницы ни в возрасте, ни в мифической внешности образа. Лишь Даниэль Галь в роли «Елены» своей балетной грацией, умом и сдержанностью, в нарядах из мира искусства, напоминала о классике образа, оставаясь раскованной юной израильяночкой) Режиссерский метод медитации, «повторение роли как мантры», существование «здесь и сейчас» в «там и тогда» позволили избранным актерам выйти на уровень общечеловеческой правды, зашифрованной Чеховым.



Чем мог заинтересовать избалованную цивилизацией красавицу «Астров» Нира Рона, изначально не привлекательный и не мечтательный?

Актер обыгрывает свои недостатки — несоответствие «идеалу» роли. Его Астров завоевывает Елену грубо, как крепость, своей безаппеляционностью, отчаянием, доказывая, что она обыкновенная, а не избранная, призывая посмотреть на свое истинное лицо погибающей воочию...

Его карта разрушенных лесов — не взгляд в будущее, а констатация настоящего. Он застрял и гибнет от своей порядочности и провинциальной безысходности. В этом спектакле он — пессимистический противовес Войничскому — его контрастное зеркало. Герои Чехова написаны как контуры, приглашение к размышлению, где каждый творец может додумывать самостоятельно, и потому такой по-израильски прагматичный, без иллюзий, еле выживающий Астров возможен...

Ирит Паштан в роли «Маман» наоборот, выдает ожидаемый гротескный результат. Артистка не скрывает ни своей молодости, ни ума, ироничными штрихами подчеркивая ограниченность «прогрессистки», лишенной элементарной материнской сердечности.

Полным непониманием заданных Чеховым вопросов явились работы Оделии Мора-Матлон в ролях «няни Марины» и Натали Эльязаров — «Сони». Не помогли ни русский фольклорный костюм с чепцом для деревенской старухи, ни рабочие бриджи для осевремененной кибуцницы с ярко выраженной семитской внешностью — еврейской рабочей лошади... Произнесение монологов Чехова без проживания их духовной сути, без психологического оправдания изнутри приводит актрис к констатации пустоты, провалам

действия в момент их появления. Последний монолог Сони о преодолении отчаяния потерян из-за слабости неопытной дебютантки...

Иеоахин Фридлиндер в роли профессора также — половина ответа автору. Перед нами не самовлюбленная чеховская глыба, подавляющая своим авторитетом, а всего лишь ироническая тень лжеученого и издевающегося над ближними эгоиста.

Открытый зрителю гротеск самовлюбленной серьезности без внутреннего осознания героя, от фраз которого у автора, как от камня, брошенного в воду, расходятся ассоциативные круги, да еще в потертом антиэстетичном полупальто («по моде») не соответствует решению искать истину, а не сиюминутную реакцию. Подмена русского культурного кода на привычный диалогичный израильский разрушает структуру пьесы. При таком подходе непонятно, чем такой «профессор» смог увлечь столичную студентку? Актер нарушает жанровую природу спектакля, ибо перед нами не смеховой суд, а лирическая драма о величии человеческих надежд, и привычный «домашний» тип игры неуместен...

Однако несмотря на отдельные «непопадания в цель», иерусалимский спектакль по Чехову в целом состоялся, прежде всего, благодаря гармонии режиссера с актером Арье Чернером в роли «Дяди Вани»....

На фоне потерянного страдальца «Вани» Сасона Габая в постановке Дэди Барон в «Бейт Лесине» в 2009, у которого отнято право на личность окружающими дешевыми комедиантами, превратившими его в духовную развалину, в «тренд» безнадежного пессимиста, разбитое зеркало «испорченной современности», господин Войницкий Мики Гуревича — Арье Чернера — мощная цельная земная натура, напоминающая о тружениках и защитниках — «мелах ха Арец» — «соли Эрец Израэль». Он цветет любовью, как дуб весной, излучает доброту, как солнце в полдень, живет не умом, но сердцем, хранит верность близким и мертвым и живым, проницаем и не защищен перед взрывом чувств, нахлынувших на него, как шторм, с которым невозможно бороться...



Дуэт «Вани» Чернера и «Елены» Галь — одна из лучших сцен спектакля, по-чеховски повествующая о высших целях бытия, складывающихся из обыкновенных моментов...

Чем выше заданная актером планка образа как «романтика без границ», тем сильнее далее его разочарование... Глаза Войницкого-Чернера полны невыразимой боли, когда он видит, как его Даму из Петербурга зажимает провинциальный мачо, и она не сопротивляется!....

А предательство родственника, на которого ради памяти сестры он безвозмездно работал «лучшие годы», окончательно освобождает его от страхов перед авторитетами. Артист вместе с режиссером нашел свой ответ на вопрос, «погиб ли в Дяде Ване Шопенгауэр» или нет? Да, этот сильный, умный, проснувшийся «Ваня» мог им стать!... Он так и представлен здесь, как настоящий человек, Гулливер, из чувства чести и совести обреченный жить по законам лилипутов. Актер вложил в авторский вопрос «кто есть Войничский?» по Станиславскому весь свой эмоциональный опыт и как солдата Цахала, раненного в войнах, терявшего на глазах друзей; и как годами не признанного театрального муравья, которому надо было по кашлям доказывать свое право быть в эпицентре! Его «Дядя Ваня» — узнаваемый чеховский человек, в котором «прекрасно: и лицо, и одежда, и душа...» Тем трагичнее в этом спектакле итог, когда огромный лоб мыслителя деревенского «Достоевского» сосредоточен на подсчете банок масла. Актер заставляя своего Ваню унять сотрясающую его дрожь и продолжать мужественно, как атлант, своими руками поддерживать мир, который он понял и принял... И потому не звучит здесь наивный лепет Сони Эльязаровой об отдыхе и «небе в алмазах»...



Иерусалимский «Дядя Ваня» сделал свой еврейский выбор в пользу реальности, какой бы разочаровывающей, ничтожной и трудной она ни была!... «Меня привлекает исследование человеческой природы, ибо «Дядя Ваня» — это я, ты, мой друг, все мы», — заявил М. Гуревич, создав свой вариант «бедного театра» в духе Питера Брука, где почти каждая историческая микродеталь создает макромир правды нашей ежедневности, где выживание вопреки уже достоинство.

Поэтика Чехова продолжает привлекать своей неразгаданностью, провокативной простотой, приглашением к сотворчеству, в котором выигрывает лишь тот, кто вступает в диалог с автором, исследует его намерения, предлагая их современные решения. Два режиссера ведущих израильских театров, стоящие на диаметрально противоположных позициях, представили одного и того же автора, с одной стороны как смехача и циника, а с другой — сочувствующего человеческой боли философа. И тот и другой подход был крайним и неоднозначным для зрителей...

Жаль, что в стороне от этого спора остался спектакль театра «Зеро» «Забавные опыты любви» Олега Родовильского по рассказам Чехова («Супруга», «Следователь», «Враги»), созданный в Израиле в 2014, не приглашенный в Камерный и получивший премии на российских фестивалях.



Режиссер вместе с двумя актерами, Борисом Шифом и Мариной Белявцевой, создал жизнеутверждающий диалогический текст о Враче, сочувствующем своим безнадежным пациентам и лечащем публику простыми театральными средствами: историей болезни, высокой музыкой — задушевной беседой с прямым перевоплощением — нескрываемой реинкарнацией и в больного, и в доктора, и в исполнителя, не отрывающегося ни на секунду от людей, которые в данный момент тоже нуждаются в театре как в исцелении. Зал взрывается ибо видит гармоническое единое действие, где актеры понимают друг друга, автора и публику, к которой они обращаются. Где супербедный театр богат творческой фантазией так, что у зрителей перехватывает дыхание!... И где все жанровые противоположности — авторские полюсы — уравновешены умным артистическим трио, осознающим свою творческую миссию.

А в театре «Микро» в Иерусалиме зреет новый чеховский спектакль по никогда не поставленным рассказам...

Вопрос «Что есть Чехов?» остается открытым...



Эрнст Зальцберг

ЛЕГЕНДАРНАЯ РОЗИНА ЛЕВИНА

Трудно найти преподавателя, оказавшего большее влияние на становление и развитие американской фортепианной школы, чем Розина Левина. Из её класса вышли победители и призеры самых престижных американских и международных конкурсов пианистов. Её воспитанники работают в ведущих американских и зарубежных университетах и консерваториях. Прижизненная слава Левиной далеко перешагнула границы США, её имя было хорошо известно любителям фортепианной музыки во многих странах мира. Помимо этого, она являла пример поразительного творческого долголетия и продолжала преподавательскую деятельность, далеко перешагнув 90-летний рубеж.

Розина Левина (урожденная Бесси) родилась 29 марта 1880 г. в Киеве в семье Марии (в девичестве Кац) и Жака (Якова) Бесси, голландского ювелира, эмигрировавшего в Россию. В начале 1880-х годов семья переехала в Москву. Оба родителя были пианистами-любителями. Когда старшая сестра София стала заниматься дома игрой на фортепиано с выпускником Московской Консерватории Антонином Галли, Розина всегда с интересом наблюдала за их занятиями. Сама она начала учиться игре на фортепиано в возрасте шести лет. Уже через три года была принята в Московскую Консерваторию, где её учителями были сначала С.М.Ремезов, а потом - Василий Сафонов [1]. Здесь Розина познакомилась с другим учеником Сафонова, Иосифом Левиным, который закончил Консерваторию с золотой медалью в 1892 году. В 1889 году Иосиф в течение шести недель замещал заболевшего Ремезова и был домашним учителем Розины. С тех пор он время от времени бывал в их доме в качестве гостя, но не обращал большого внимания на свою бывшую ученицу.

В пятнадцать лет Розина публично исполнила Концерт Шопена №1 с консерваторским оркестром под управлением В.Сафонова. Через три года она закончила Консерваторию с золотой медалью, будучи пятой и самой молодой девушкой, удостоенной этой награды. Неделю спустя после выпускного экзамена Розина Бесси вышла замуж за Иосифа Левина, за плечами которого к тому времени была уже солидная концертная практика в России и за её пределами и победа на Конкурсе А. Рубинштейна в Берлине в 1895 г.

В 1898 году Розина и Иосиф по просьбе Ц. Кюи впервые исполнили в зале Дворянского собрания в Москве Вторую Сюиту для двух фортепиано Аренского. Фортепианный дуэт был в то время редкостью в Москве, их исполнение вызвало большой интерес и самые благожелательные отзывы критики. Перед Розиной открывались блестящие возможности стать концертнующей пианисткой, но она решила посвятить себя целиком карьере мужа.

В 1899 году супруги Левины уехали в Тифлис, где Иосиф стал профессором местного музыкального училища, а в 1901 году — в Берлин. В январе 1902 года

Левин выступал в Варшаве и Париже. Во французской столице после сольной программы, исполненной Иосифом, супруги сыграли Вторую Сюиту Аренского.

Журнал *Monde Musicale* назвал игру Розины «элегантной, грациозной и чарующей»^[2] и выразил желание услышать пианистку в сольном концерте, но её решение всячески содействовать карьере мужа оставалось неизменным.

22 марта 1902 года Иосиф Левин выступил с Берлинским Филармоническим оркестром, исполнив 5 Концерт Бетховена и 5 Концерт А. Рубинштейна. Вскоре он получил приглашение занять пост профессора Московской Консерватории, и семья вернулась в Москву.

В 1906 году состоялся американский дебют Иосифа. 27 января он исполнил в Карнеги-холл 5 Концерт Рубинштейна с оркестром под управлением В. Сафоновна. Успех выступления был столь велик, что пианист получил от фирмы *Steinway and Sons* контракт на концертный тур по США в 1906-1907 годах с более чем щедрым вознаграждением в 10 000 долларов. До него такой чести удостоивались только А. Рубинштейн и И. Падеревский.

21 июля 1906 г. у Розины родился сын Константин (Дон). Это произошло в Париже, на пути Левиных на гастроли в США. После выступлений во многих американских городах супруги в конце января 1907 года были приняты в Белом доме президентом Т. Рузвельтом, по просьбе которого Иосиф исполнил аранжировку вальса Штрауса «Голубой Дунай».

17 февраля 1907 г. в Чикаго состоялся американский дебют фортепианного дуэта супругов Левиных. В заключение сольного концерта Иосифа они исполнили Сюиту Аренского для двух фортепиано. Вскоре в Мендельсон-холле в Нью-Йорке состоялся сольный концерт Розины, включавший произведения Шопена, Шумана и её соотечественников Скрябина и де Шлёцера.

С 1907 года по 1919 год семья жила в пригороде Берлина Ванзее. Иосиф, часто в сопровождении жены, совершал отсюда концертные поездки по многим европейским странам, включая Россию.

Первая мировая война застала супругов в Берлине, они были интернированы, но продолжали жить на своей вилле в Ванзее. Им было запрещено выступать в Германии, однако власти закрывали глаза на ежегодные концертные поездки Иосифа в Будапешт. Левиным пришлось пережить все трудности военного времени: нехватку продуктов питания и предметов первой необходимости, инфляцию. В довершение, после Октябрьского переворота в России были конфискованы все их счета в московских банках.

В июле 1918 года Розина родила в Берлине дочь Марианну, а в сентябре следующего года семья эмигрировала в США. Через два дня после приезда в страну Иосиф дал концерт в Коннектикуте, через четыре — в Нью-Йорке, который стал их домом.

В начале 1920-х годов Левин много гастролировал по США, а летом преподавал в Чикагской Консерватории. Иногда Розина сопровождала мужа, и тогда они выступали дуэтом, что было большим новшеством для американской аудитории.

В сентябре 1924 года на деньги, завещанные миллионером А.Д. Джульярдом, в Нью-Йорке была основана музыкальная школа, названная его именем. Иосиф Левин, наряду с Ольгой Самарофф^[3] и Эрнестом Хатчисоном^[4], был приглашен преподавать фортепиано во вновь открытом учебном заведении. Поскольку пианист продолжал активную концертную деятельность, Розина часто заменяла его в классе. Иногда они давали уроки вдвоем, обмениваясь замечаниями, нередко

весьма критическими, на русском языке, который студенты, по счастью, не знали. Розина предпочитала методы словесного убеждения, используя для достижения цели объяснения, образы, сравнения, тогда как Иосиф предпочитал показ и, быстро исчерпав запас слов, садился за инструмент и показывал, чего он хочет добиться от студента. Оба подхода имели достоинства и недостатки, но в сочетании приносили отличные результаты.

Время от времени супруги продолжали выступать дуэтом. Так, в сезоне 1925-26-х годов они исполнили в Карнеги-холл Анданте и Вариации Шумана и ми бемоль мажорный Концерт Моцарта (К.365) для двух фортепиано.

В 1930 году Розина получила приглашение преподавать в летние месяцы в Австро-Американской Консерватории в Мондзее, Австрия, и она приезжала сюда в течение трех летних сезонов.

В 1931 году Джульярдская школа переехала из старого здания на *East 52nd Street* в новое здание на *122 Street and Claremont Avenue*. Левины обосновались в студии №412, которая выходила на небольшую веранду с видом на Гудзон. В этой студии Розина (сначала — вместе мужем, а после его смерти — одна) проработала 38 лет, до тех пор, пока школа не переехала в 1969 году в Линкольн центр.

Важным событием в жизни супругов явился большой концерт в ознаменование 40-летия их первого выступления в качестве фортепианного дуэта. Он состоялся в Карнеги-холл 14 января 1939 года и включал Концерты Шопена №1 (солистка — Р. Левина), Чайковского №1 (солист — И. Левин) и Моцарта для двух фортепиано (солисты — Розалия и Иосиф Левины). После концерта в честь юбилеев состоялся большой прием в доме пианистки Самарофф, на котором им, в числе прочих подарков, были преподнесены рукопись забытого вальса Ф. Листа и его письмо матери в бытность студентом.

Среди многочисленных поздравлений одно было особенно важным для Левиных. Оно принадлежало их соотечественнику, пианисту А. Зилоти^[5], ныне работавшему в Джульярде и известному в качестве нелюбимого и порой язвительного критика. Встретив Розину в Школе, он сказал, что услышать столь совершенное, от первой до последней ноты, исполнение каждого из Концертов можно лишь раз в жизни.

В следующем за юбилеем сезоне супруги выступали вдвоем более 30 раз, исполняя, наряду со старым репертуаром, Концерт Моцарта для трех фортепиано, аранжированный автором для двух инструментов. В 1939-40 годах Левины удостоились почетных докторских степеней: Розина — от школы Ламонт (ныне — часть университета Денвера), Иосиф — от университета Болдер в Колорадо.

Со вступлением США во Вторую мировую войну многие студенты Левиных и их сын были призваны в армию. Сами они продолжали интенсивную концертную деятельность, часто выступая в пользу благотворительных и военных организаций и займов.

В августе 1944 года Иосиф гостил у дочери в Лос-Анджелесе. Здесь у него случился обширный инфаркт, и следующие месяцы он провел в Калифорнии, восстанавливая силы. Пианист вернулся в Нью-Йорк 1 декабря и на следующий день скоропостижно скончался от повторного сердечного приступа.

Вскоре Розина получила приглашение занять место мужа в Джульярде и, после некоторых колебаний, приняла его. В это же время начинается её сотрудничество с Консерваторией в Лос-Анджелесе, где она преподавала в летние месяцы, а с 1956 года — в летней школе в Аспене (Колорадо). Помимо педагогической де-

тельности, Розина возобновила концертное выступление. 17 ноября 1947 года она исполнила в Таун-холл в Нью-Йорке Тройной Концерт Моцарта с Вронски и Бабиным [6] и оркестром Малого оркестрового общества, повторив его на следующий день в Бруклинской Академии музыки.

Розина продолжала концертную деятельность вплоть до 1964 года, однако в центре её интересов оставалась педагогика, которой она занималась почти до последних дней жизни, несмотря на две перенесенные операции по поводу рака груди и инсульт. На учеников Левиной сильнейшее влияние оказывало её неувядающее пианистическое мастерство, уникальный педагогический талант и неповторимая индивидуальность. Из её класса вышли музыканты, составившие гордость американского исполнительского искусства, среди них Ван Клиберн [7], Джеймс Левайн [8], Джон Вильямс [9], Джон Браунинг [10], Вальтер Бучиньски [11], Тонг-Ил-Хан [12], Даниэл Поллак [13], Миша Дихтер [14], Эдвард Ауэр [15], Гаррик Олссон [16], Марек Яблонски [17], Мартин Канин [18], Джозеф Феннимор [19], Нил Ларраби [20], Джинин Довис [21] и многие другие.

Пианистка умерла 9 ноября 1976 года в г. Глендейл, Калифорния, и с её кончиной завершилась целая эпоха американского пианизма. Питер Меннин, тогдашний президент Джульярдской школы, сказал: «В этом столетии она была одним из величайших педагогов фортепиано, и цельная концепция преподавания и исполнительства ушла вместе с ней».

В 2003 году ученица и ассистентка Левиной Саломея Артаков [22] сняла документальный фильм «Наследие Розины Левиной». В нем использовались редкие архивные кадры, на которых пианистка запечатлена в своей студии и на концертной эстраде, а также многочисленные интервью с её бывшими студентами.

Сохранились записи Левиной Концертов №1 Шопена и №21 Моцарта [23].

ПРИЛОЖЕНИЕ [24]

Концертная жизнь начинается в 75

Мак Харрел, известный певец, преподавал на вокальном отделении в Джульярде, а в летние месяцы — в музыкальной школе в Аспене. Однажды он зашел в мой класс № 412 и спросил, не хотела бы я поработать следующим летом в Аспене. Затем он добавил, что это не обязательно, но вошло в традицию, что преподаватели Джульярда, работающие в летней школе, дают концерт либо камерной музыки, либо с фестивальным оркестром, и от меня ожидают того же.

Сначала это показалось мне невозможным, особенно выступление с оркестром. Мне было уже 75 лет и, начиная с 22-х летнего возраста, я играла с оркестром только в дуэте с Иосифом. После его смерти я всего один раз выступала с оркестром вместе с Вронски и Бабиным. Но Харрел знал, что сказать мне, и стал уверять, что такое выступление станет для меня своеобразным вызовом. Я люблю преодолевать трудности и быстро согласилась на его предложение, сказав, что буду играть Концерт Моцарта, который не играла сама и не проходила с учениками — мне хотелось сделать что-то новое.

В это время я увлеклась Моцартом и должна была решить, какой его Концерт хочу исполнить. В 1950-е годы они не часто появлялись в концертных программах, и я выбрала до-мажорный Концерт № 21 (К. 467), который, по-видимому,

никогда не был записан. Я начала разучивать его, с волнением ожидая предстоящие выступления.

Р. Левина впервые побывала в Аспене летом 1953 года, когда В. Бабин пригласил её остановиться здесь на пути в Калифорнию, где она давала мастер-классы в Консерватории Лос-Анджелеса. Аспен показался ей американским Зальцбургом.

Розина продолжала вести летние мастер-классы в Калифорнии в течение следующих двух лет, но в 1956 году приняла приглашение Харрела.

Аспен расположен в Кордильерах на высоте примерно 2400 метров над уровнем моря. В 1890-е годы это был процветающий горняцкий поселок. К концу 1890-х годов «серебряный» бум кончился, Аспен стал заброшенным городком и оставался таковым до конца Второй мировой войны, когда на него обратил внимание предприниматель Вальтер Папске. Он построил подъемник для лыжников и стал превращать Аспен в модный зимний курорт и важный культурный центр. В 1949 году здесь прошли торжества, посвященные 200-летию со дня рождения Гете, на которых с докладом выступил Альберт Швейцер^[25]. В следующем году по инициативе Папске в Аспене были основаны музыкальная школа и фестиваль, а также Институт гуманитарных исследований. Город стал привлекать тысячи туристов, интересующихся не только зимним спортом, но и культурой.

Дебют Розины с Концертом Моцарта состоялся 25 августа 1956 года и поразил даже её преданных поклонников. Теплый поющий звук, непосредственность исполнения захватили не только аудиторию, но и оркестр. Дирижер Измер Соломон^[26] вспоминал, что «Розина обладала обаянием, свойственным лишь немногим великим артистам; оно пронизывало все, что она делала на эстраде. Её исполнение Моцарта было совершенным, в нем отразились долгий жизненный опыт и замечательный музыкальный вкус и, в то же время, чувствовалось дыхание молодости»^[27].

Левина давала концерты в Аспене в течение следующих семи летних сезонов. В одной из рецензий на её концерт в США в 1907 году критик писал: «Недостаток силы она компенсирует тем, что вкладывает в исполнение всю свою утонченную и обогащенную культурой душу. Не лишне отметить, что оно подкреплено и исключительным музыкальным образованием»^[28]. Эти же слова можно отнести и к выступлениям Р. Левиной в Аспене 50 лет спустя.

Может быть, потому, что Розина, как исполнительница, многие годы находилась в тени мужа, ей было, что сказать слушателям и в преклонном возрасте. Но она обладала достаточным здравым смыслом, чтобы знать, какую музыку и где следует исполнять. Пианистка начала карьеру солистки в 75 лет и продолжала её до 84-х, но при этом неизменно ставила на первое место преподавание, и лишь потом — исполнительство.

Тонг-Ил-Хан (Тони) начал заниматься с Левиной в Джульярде осенью 1954 года. Попав впервые в жизни на концерт, он услышал исполнение В. Клиберном Первого Концерта Чайковского с Нью-Йоркским Филармоническим оркестром. Это выступление было дебютом Вана после победы на Конкурсе Левентритта. Тони никогда прежде не слышал это произведение, но уже через полтора года сыграл его первую часть с тем же оркестром. Хотя Розина считала, что подросток еще слишком молод для Концерта, она согласилась с дирижером Вилфредом Пелетье^[29], который настаивал на том, чтобы Тони исполнил его. Последующий концерт подтвердил правоту дирижера и высокое педагогическое мастерство Левиной. Спустя несколько дней посол Южной Кореи в США пригласил Тони и Розину в известный корейский ресторан, где едят только палочками. По словам пианистки:

Я ничего не могла донести до рта, и поэтому Тони стал учить меня, как пользоваться палочками, с такой же серьезностью, с какой я учила его игре на фортепиано. Оказалось, что между тем и другим много общего, если научиться сохранять расслабленным запястье.

Говоря о Левиной, Тони вспоминал, что «она опекала меня до 1963 года и была больше, чем учителем, а скорее мамой или даже бабушкой. Розина могла сказать: “Если ты хорошо выучишь такую-то пьесу к определенной дате, то мы пойдем в кино”. Я делал это, и мы шли в кинотеатр и смотрели на большом экране все эти необычные эффекты, и я слышал её “хи-хи-хи”, как будто рядом со мной сидела маленькая девочка».

Тони Хан был исключением среди учеников Р. Левиной. Он начал занятия с ней в раннем возрасте практически с нуля, и ей не приходилось исправлять недостатки его предыдущего музыкального образования, как это было в случаях, когда в её класс поступали 19-ти-20-ти летние студенты.

Другим таким исключением был Аббот Ли Раскин, который стал учеником Левиной в еще более раннем возрасте, чем Тони. В начале 1950-х годов декан фортепианного отделения Джульярда Шубарт совершал поездки по США в поисках потенциальных студентов для школы. В Миннеаполисе он прослушал Аббота Ли и, вернувшись в Нью-Йорк, сказал Левиной: «Розина, я думаю, что этот мальчик исключительно талантлив. Пожалуйста, найди возможность послушать его».

Летом, по дороге в Калифорнию, я сделала остановку в Чикаго, и мама Аббота Ли приехала с ним сюда из Миннеаполиса. Ему еще не было шести лет, но играл он так, как ученики гораздо более старшего возраста. Я сказала маме, что у её сына — большой талант, но, мне кажется, что переезжать в Нью-Йорк и поступать в Джульярд в пять с половиной лет было бы преждевременно. В следующие два года по пути в Калифорнию я останавливалась в Чикаго и слушала мальчика. Когда ему исполнилось семь лет, я решила, что он готов к поступлению в Джульярд, где он стал моим самым молодым студентом.

Вскоре Аббот Ли выступил в нескольких телевизионных шоу и даже сыграл роль вундеркинда в бродвейском мюзикле, но серьезные занятия с Левиной оставались на первом месте. Он дал несколько концертов и в возрасте 13-ти лет исполнил Третий Концерт Д. Кабалевского в финале Конкурса Мерривезер Пост в Вашингтоне.

В 1959 году Кабалевский вместе с группой советских композиторов посетил США, и Национальный симфонический оркестр в Вашингтоне собирался дать в их честь концерт. Будучи в США, Кабалевский изъявил желание продирижировать своим Третьим фортепианным Концертом, а не быть солистом, как предполагалось ранее, добавив при этом, что в России ему не приходилось слышать молодых пианистов, исполнение которыми этого произведения полностью удовлетворяло бы его. Дирижер оркестра, Х. Митчелл^[30], вспомнил финал недавнего конкурса в Вашингтоне и сказал, что знает мальчика, который мог бы очень хорошо исполнить Концерт и, если Кабалевский хочет, то он свяжется с его преподавателем. За два дня до концерта Митчелл позвонил Левиной и спросил, сможет ли Аббот Ли сыграть послезавтра Концерт Кабалевского под управлением автора. На этот же вопрос, заданный Левиной пианисту, который со времени Конкурса не прикасался к произведению, тот ответил: «Конечно, я же уже играл его».

Исполнение Аббота Ли произвело большое впечатление на Кабалевского и его импресарио, который тут же предложил мальчику выгодное в материальном

отношении турне по Европе. «Зачем нам деньги?» — ответила миссис Раскин. «Он должен продолжать учиться для того, чтобы стать настоящим артистом».

Хотя Розина не поощряла интенсивную концертную деятельность своих юных учеников, она всячески поддерживала участие их более старших товарищей в конкурсах, так как считала их единственным в Америке способом начать профессиональную исполнительскую карьеру.

В декабре 1955 года, после того, как Джон Браунинг стал победителем Конкурса Левентритта, Левина посоветовала ему принять участие в Конкурсе королевы Елизаветы в Брюсселе и подготовила с ним конкурсную программу. Конкурс состоялся в мае 1956 года, и Розина узнала его результаты до отъезда в летнюю школу в Аспене: Браунинг завоевал второе место, уступив первое 19-летнему В. Ашкенази, и право совершить концертный тур по Европе, положивший начало международной карьере молодого американского пианиста.

В следующем сезоне талантливая студентка Розины Олейна Фуши^[31] из Калифорнии приняла участие в конкурсе в Бразилии. Она не завоевала никакого приза, но познакомилась с членом жюри профессором Павлом Серебряковым^[32], на которого игра американки произвела большое впечатление. Прощаясь, он подарил ей брошюру о Первом Конкурсе Чайковского в Москве весной следующего года. Фуши привезла её в Нью-Йорк и показала Левиной. Известие о том, что новый важный конкурс состоится в стенах её «альма матер», взволновало Розину.

Когда Олейна дала мне брошюру, я сказала, что, хотя считаю её очень талантливой, но, если кто-то из моего класса должен поехать в Москву, то это Ван. Русская музыка всегда была близка ему, так же, как и романтическая манера исполнения. И я знала, что не только его игра, но и индивидуальность произведут впечатление на русских.



Розина Левина и Ван Клиберн

Карьера Вана Клиберна после победы на Конкурсе Левентритта в 1954 году шла по нисходящей спирали, столь характерной для молодых американских исполнителей-лауреатов: много предложений в первый год после конкурса, меньше-во второй, лишь единичные - в третий. Ко времени получения Розиной известия о

Конкурсе в Москве Ван был дома, в Техасе, помогая матери в занятиях с её учениками. Карьера молодого музыканта нуждалась в толчке, и Розина считала, что он должен рискнуть и поехать в СССР. Когда её письмо с таким предложением пришло в Техас, многие там посчитали, что 77-ми летняя женщина говорит что-то не то. Сам Клиберна, его близкие и все те, к кому он обращался за советом, полагали, что американец, «капиталист» не имеет шансов выиграть конкурс в СССР. Ван в ответном письме поблагодарил Розину, но указал, что не видит смысла в поездке в Москву. В ответ Левина перечислила четыре причины, по которым он должен ехать: необходимость много заниматься, что будет полезно для пианиста независимо от исхода конкурса; необходимость расширить свой репертуар; возможность общения с лучшими пианистами своего поколения; и вероятность того, что он все же станет победителем соревнования. Эти доводы тоже не убедили Клиберна, но он обещал повидаться с Розиной.

Ван приехал в Нью-Йорк, и когда он пришел ко мне, я показала ему брошюру. Размеры премий лауреатов не произвели на него никакого впечатления, но когда он увидел изображение золотой медали, то очень оживился. Он знал, что Иосиф, я и Рахманинов получили золотые медали по окончании Московской Консерватории и почему-то подумал, что эта медаль — такая же. Затем он посмотрел список произведений, которые нужно было исполнить на конкурсе. «Простите», — сказал Ван, «но я не смогу в оставшееся время выучить их». Я повторила, что ему будет полезно расширить репертуар, даже если он не поедет в Москву, и что я помогу ему всем, что в моих силах. В то время у меня было 22 студента, и я сказала Вану, что не смогу заниматься с ним в будние дни, а только по воскресеньям, которые обычно провожу за городом, в Джонс Бич, и это дает мне силы работать всю следующую неделю. Моя готовность пожертвовать своим отдыхом ради него произвела на Вана впечатление, и он решил заниматься со мной по выходным, чтобы побыстрее пройти весь конкурсный репертуар.

Приближалась последняя дата подачи заявления для участия в конкурсе, и наша работа была столь успешной, что я посоветовала Вану не упускать эту возможность. «Если ты все же почувствуешь, что не готов к Конкурсу, то всегда сможешь забрать свою заявку». Ван согласился, и я по-прежнему ездила по воскресеньям в Джонс Бич и занималась с ним в Нью-Йорке. Мы начинали работу после полудня, потом Ван получал большой бифитекс, и занятия продолжались в вечерние часы.

В будние дни Розина звонила пианисту утром и вечером, справляясь, как идет подготовка и достаточно ли он спит.

За несколько недель до Конкурса я почувствовала, что Ван к нему полностью готов и достойно представит свою страну в Москве. Мы окончательно решили, что он должен ехать. За день до отлета он пришел ко мне, сел на диван и сказал: «Розина, мне страшно, я ведь никогда не уезжал из страны. Что, если я заболел и некому будет меня лечить?» Я ответила: «Поверь мне, что если это случится, тебя будут лечить лучшие доктора страны. Русские не позволят себе другого отношения к приезжим из Америки».

В. Шуман^[33] вспоминает, что вскоре после получения известия о победе Клиберна Розина ворвалась в его кабинет и спросила, не может ли он позвонить пианисту в Москву и попросить не подписывать никаких контрактов до возвраще-

ния домой. Он обещал исполнить просьбу, но через три минуты она вернулась и добавила: «Не забудьте передать это ему лично».

Розина, подобно многим, считала, что после Конкурса Вану необходим длительный отдых перед тем, как принимать приглашения, которые последовали за победой в Москве. Но события развивались иначе. Холодная война, запуск русскими спутника, освещение Конкурса Максом Френкелем в *Нью-Йорк Таймс* — все это вместе взятое сделало успех Вана национальным и международным событием, о котором никто и не мечтал. Парад в его честь в Манхэттене, необычный ажиотаж вокруг концерта Клиберна в Карнеги-холл по возвращении из СССР, интерес, проявляемый к пианисту водителями такси, священниками, школьниками, клерками, всеми американцами — это погрузило Клиберна в вихрь, из которого ему трудно было выбраться.

Ван пригласил Розину на торжества, посвященные его победе на Конкурсе. На одном из них, состоявшемся в зале Уолдорф Астория 20 мая 1958 года, мэр Нью-Йорка Вагнер удостоил Левину специальной награды «за выдающиеся заслуги в пропаганде музыки и её понимания молодыми слушателями и студентами».

Розина посмотрела телевизионный фильм о Конкурсе и позднее узнала от Клиберна, как её однокашник по Московской Консерватории, а теперь её директор Александр Гольденвейзер^[34] после исполнения Вана восклицал: «Это гений, гений!»

Клиберн рассказывал Левиной, что некоторые русские были разочарованы результатами Конкурса, но утешались тем, что победитель учился у выпускницы Московской Консерватории.

Достижения Левиной в Москве не ограничивались победой Клиберна. Другой её воспитанник — Даниэл Поллак, который за несколько лет до Конкурса Чайковского стал победителем Национального Конкурса фортепианной гильдии, занял в Москве 6-е место, получил предложения от нескольких фирм звукозаписи и право на концертный тур по СССР.

Успех Клиберна и Поллака в Москве в чисто музыкальном отношении не был более значительным, чем достижение Браунинга в Брюсселе в 1956 году. Нередко повторяемое утверждение, что триумф Клиберна «сделал» её как педагога, не выдерживает критики в свете достижений Левиной до 1958 года. Но победа Клиберна действительно вызвала повышенный интерес к её преподавательской деятельности. В бесчисленных интервью пианистке задавали один и тот же вопрос о секрете достижений её студентов, и Розина неизменно отвечала: «У меня нет никаких магических рецептов. Только талант и тяжелый труд приносят успех». Это в равной степени относится не только к её студентам, но и к ней самой. Она преподавала шесть дней в неделю, а иногда и все семь. Между уроками Розина была на телефоне, подстегивая, подбадривая, обхаживая своих студентов, словом, делая все, что в её силах, для того, чтобы они наиболее полно раскрыли свои дарования. «Она всегда знала, как убедить Вас сделать невозможное», — вспоминают почти все её ученики. Час за часом, урок за уроком она работала с ними в классе № 412. Если у неё был пятиминутный перерыв, она выходила на террасу для того, чтобы полюбоваться видом на Гудзон. Но лучше всего восстанавливало её силы общение с молодыми талантами.

Талант можно описать по-разному. Если после целого дня, заполненного уроками, Вы полностью выдохлись, и к Вам приходит студент и играет так, что усталости как не бывало – это и есть настоящий талант.

Летом 1957 и 1958 годов Левина исполнила в Аспене си-бемоль мажорный Концерт Моцарта (К.595) с Фестивальным оркестром под управлением Соломона, Сонату Моцарта для виолончели и фортепиано (К.454) с Э. Шапиро и Квintет Ф. Шуберта «Форель» с Джульярдским квартетом. Критик Гарольд Таубмен писал в *Нью-Йорк Таймс* об исполнении Шуберта: «Хотя Р. Левина не доминировала в ансамбле, всё внимание слушателей было обращено на неё. Вдова выдающегося пианиста Иосифа Левина не скрывает, что ей далеко за 70, и большую часть времени уделяет преподаванию. Однако её исполнение полно молодого задора и обладает особым магнетизмом. Фрагментация Левиной была поэтичной, и это качество приходит лишь с возрастом и в результате упорной работы. Её исполнение показало, как Шуберт должен быть пропет на фортепиано» [35].

Если победа Клиберна в 1958 году привлекла внимание к педагогической деятельности Левиной, то её концерт в Национальной галерее в Нью-Йорке из произведений Моцарта в октябре 1960 года, когда пианистке было 80 лет, вызвал повышенный интерес к её исполнительскому искусству. Однако главным событием сезона 1960-1961 годов стало исполнение Левиной 28 февраля 1961 года Первого Концерта Шопена с оркестром Национальной ассоциации оркестрантов под управлением Джона Барнетта [36]. По словам критика Г. Шёнберга, зал *Hunter College Assembly* «был заполнен подписчиками ассоциации, студентами, почитателями её дарования и скептиками. Возможно, что среди слушателей были один или два геронтолога. С самого начала мадам Левина показала, что она, и никто иной, будет задавать тон в Концерте. Её исполнение становилось все лучше, и финальные пассажи были сыграны с блеском молодого виртуоза, чья техника способна испепелить весь мир» [37].

Сезон 1961-1962 годов был таким же напряженным, как и предыдущий. Это был её 37-й год в Джульярде, второй — в университете Беркли и седьмой — в Аспене. Розина исполнила до-мажорный Концерт Моцарта трижды, Первый Концерт Шопена — один раз, Квintет Дворжака «Думка» — дважды; некоторые выступления были её бенефисами. Она побывала в Карнеги-холл на дебюте своего ученика Джеймса Матиса [38] и подготовила Марка Яблонски [39] и Тони Хана к победам на важных конкурсах. Талантливый канадский пианист Яблонски, который занимался с Левиной в Аспене, выиграл приз Падеревского, 17-ти летний Т. Хан завоевал 1-ю премию на Конкурсе Микаэлс в Чикаго.

1 апреля 1962 года, сразу после своего восьмидесятидвухлетия, Розина исполнила Концерт Шопена №1 с Оклендским симфоническим оркестром под управлением Герхарда Самуэля [40].

Я сохранила самые приятные воспоминания об этом концерте, так как мои дети приехали на него из Лос-Анджелеса. Я играла на Стейнвее — лучшем инструменте, на котором мне приходилось когда-либо играть. После концерта состоялся большой прием с шампанским и тортом весом в 75 фунтов, почти равным моему собственному.

В возрасте 75 лет Розина впервые полетела на самолете и с тех пор часто пользовалась воздушным транспортом. Когда появились реактивные Боинги 747, она была одним из первых их пассажиров. Когда в моду вошли длинные и свободные, наподобие туники, платья, она первой в Джульярде стала носить их. Через несколько лет, в пору увлечения халахупом, Розина «перетанцевала» дюжину соперниц в неофициальном соревновании в этом модном виде спорта. В Аспене она изумила коллег и друзей, поднявшись на подъемнике высоко в горы.

Обычно он двигался без остановок, но когда пожилой человек, как я, хотел занять место, подъемник замедлял ход. Когда он почти остановился в следующий раз, чтобы принять очередного пожилого пассажира, я взглянула вниз и обнаружила под собой зияющую пропасть.

Розина вступала в девятое десятилетие полная сил и энергии.

В преддверии 90-летия и после него

В последнюю неделю сентября 1962 года состоялось открытие Линкольн-центра, и первые пианисты, выступившие в его Филармоническом зале, были ученики Левиной. 25 сентября здесь состоялась премьера фортепианного Концерта С. Барбера в исполнении Д. Браунинга, на следующий день В. Клиберн играл Третий Концерт Рахманинова с Филадельфийским оркестром под управлением Ю. Орманди^[41]. В январе 1963 года Левина четыре раза выступила в этом же зале, исполнив «свой» Концерт Шопена №1 с Нью-Йоркским Филармоническим оркестром под управлением Л. Бернштейна.

Это случилось неожиданно. Аббот Ли Раскин проходил прослушивание для участия в концертах молодежного Филармонического оркестра, и мне захотелось послушать его. Леонард Бернштейн был рад повидаться со мной и, прощаясь, сказал: «Я знаю, что Вы снова концертируете. Почему бы Вам не сыграть с Филармоническим оркестром?» Я ответила: «Потому, что меня никто не просил об этом». Через несколько дней зазвонил телефон — это был Мосли, директор оркестра, который предложил выступить подряд в трех концертах — в четверг, пятницу и субботу, и провести генеральную репетицию в среду. Я ответила, что мне будет трудно играть так много дней подряд. «Я скажу Ленни об этом», — пообещал Мосли. Ответ Бернштейна был кратким: «Передайте Розине, что после трех концертов она не будет знать, куда деть себя в следующий вечер, и непременно захочет выступить еще раз». Так оно и случилось. Я выбрала Первый Концерт Шопена, который впервые исполнила еще в Московской Консерватории. Ленни спросил, сможет ли он прийти в Джульярд, чтобы мы сыграли его на двух фортепиано — это уяснит ему мои идеи и облегчит репетицию. Музицирование с ним доставило мне величайшее наслаждение. Когда я исполнила первую тему, он вскочил со стула, поцеловал меня и сказал, что никогда не слышал кого-то, кто бы играл это так, как я. Когда мы закончили, он спросил, не возражаю ли я, если генеральная репетиция будет открытой для публики — в этом случае мои студенты и его друзья смогут услышать исполнение, все билеты на которое уже проданы. Я, естественно, не возражала, и на репетиции зал был набит до отказа.

Воскресное исполнение 19 января транслировалось по радио, и в перерыве Розину интервьюировал Джеймс Фассет. Многие помнят её реакцию на слова Джеймса о том, насколько поразительно видеть 83-х летнюю пианистку в такой замечательной форме. «Нет, нет», — воскликнула Розина, «мне лишь 82, и следующий день рождения еще через два месяца!» Это было сказано таким молодым голосом, что слушатели не могли поверить, что исполнительнице в любом случае уже за 80.

Привлекательной чертой Левиной было то, что, обладая большим влиянием на студентов, она никогда не использовала его в ущерб их индивидуальностям. Ро-

Розина не втискивала учеников в пианистические шаблоны, умела разглядеть потенциальные возможности каждого и помогала развить их. Несмотря на то, что Розина была связана со многими студентами тесными дружескими отношениями, она знала, когда им следовало начать самостоятельный творческий путь или перейти к новому педагогу. Много раз она посылала любимых студентов к другим учителям или в другую летнюю школу, а не в Аспен, где преподавала сама. Когда Розина чувствовала, что дала студентам все, что могла, то поощряла их поехать на год или два в Европу для продолжения образования.

Поскольку Левина, помимо Джульярда, преподавала в Колорадо и Калифорнии, а её бывшие ученики работали по всей стране и за рубежом, поток талантливых молодых людей, желавших учиться у неё, не иссякал и не ограничивался только США. Тони Хан часто гастролировал в Южной Корее, её имя стало широко известно в этой стране, и в последние годы у неё было много корейских студентов. В классе Левиной занимались Бланка Урибе^[42] из Колумбии, Ева Мария Зук^[43] из Венсуэлы, Леонидас Липовецки^[44] из Уругвая, израильтяне, турки, финны, выходцы из африканских стран. Она с удивлением узнала от Джона Браунинга и Эдварда Ауэра, что её имя хорошо известно в Южной Африке и Австралии. Как-то, думая, что её никто не слышит, Розина воскликнула с удивлением: «Меня знают во всем мире!»

В середине 1960-х годов в классе Левиной в Джульярде, где ей ассистировали её бывшие ученики Довис и Канин, было от 20 до 26 студентов. Воспитанники Розины продолжали выигрывать призы на американских и международных состязаниях. Наиболее впечатляющими были победы Тони Хана на Конкурсе Левентритта (1965), Луиз Пачуки^[45] на Конкурсе Бетховена в Вене (1965) и 2-е место Миши Дихтера на Конкурсе Чайковского в Москве (1966). Миша вернулся домой с контрактом от Сола Юрока и новыми доказательствами того, как уважают Розину в России. Джон Браунинг, совершивший концертный тур по СССР с Кливлендским оркестром в 1965 году, рассказывал ей о том же. Левина покинула Россию много лет тому назад, но, благодаря своим студентам, с 1958 года снова незримо была на родине.

В 1969 году Джульярдская школа переехала из здания на *Claremont Avenue* в новый Линкольн-центр. Студия № 575, в которой занималась Левина, была больше класса № 412 в старом здании школы и выходила окнами на Бродвей, а не на террасу с видом на Гудзон. В студии стояли два Стейнвея, на стенах — портреты Иосифа Левина и Антона Рубинштейна. Левина сидит в большом зеленом кресле, привезенном из старого здания, и, слушая игру студентов, медленно разрывает упаковку пачки печенья (она, видимо, полагает, что медленные движения делают процесс менее шумным, или же хочет приучить учащихся к тем неожиданным помехам, которые могут возникнуть в концертном зале). Ассистенты Левиной Канин и Ховард Эйбел, заменивший Довис, сидят рядом с ней. Во время игры она шепотом говорит им свои замечания и делает пометки в нотах.

Осенью 1969 года один из мастер-классов Розины был показан по телевидению. Пианистка была в красном платье («потому, что все пожилые женщины в России одеты только в черное») и играла «шопеновский» эпизод «Карнавала» Шумана. Она прорепетировала его до того, как начались съемки, и было подлинным наслаждением наблюдать и слушать игру 89-ти летней пианистки, которая просто не замечала техников, снующих по студии с кабелями, лампами и рефлекторами.

Значительным событием стал грандиозный прием, организованный в честь 90-летия Левиной 31 марта 1970 года. Когда она, одетая в белое платье, миниатюр-

ная, прекрасно причесанная, появилась в вестибюле под руку с высоким, стройным и привлекательным президентом школы Меннином, толпа расступилась перед ними, как волны Красного моря перед Моисеем. Затем последовали речи и награждения, но для виновницы торжества самой важной была возможность пожать руки и обменяться приветствиями с сотнями друзей и коллег-музыкантов, которые пришли приветствовать её. Принимая поздравления, она сидела в своем любимом зеленом кресле и выглядела, как счастливая девочка, впервые участвующая в таком торжестве. Здесь же было объявлено об учреждении в Джульярде стипендии имени Р. Левиной. Фирма *Columbia Records* повторно выпустила запись Концерта Моцарта в исполнении Розины и всем, кто сделал пожертвование в фонд стипендии, была подарена это пластинка.

Летом 1970 года Левина преподавала в Аспене в последний раз — на следующий год она приняла предложение вести летние мастер-классы в университете Южной Калифорнии в Беркли. В октябре Розина узнала, что Гаррик Олссон стал первым американцем — победителем Конкурса Шопена в Варшаве. К этому времени он учился у неё два года, его предыдущими наставниками были Ольга Барабини и Саша Городницкий ^[46], в прошлом - студент Иосифа Левина, ставший одним из ведущих преподавателей Джульярда. В финале соревнования Олссон исполнил столь любимый Левиной Концерт Шопена №1. По возвращении с Конкурса он сыграл его с Филадельфийским оркестром в Филармоническом зале Линкольн центра, и Розина была на этом концерте. Даже в преклонном возрасте она оставалась частой гостьей концертных залов, не пропуская выступлений советских пианистов Гилельса, Рихтера, Ашкенази, Слободяника.

Вскоре после успеха Олссона другой её студент, Кан-Ву-Пайк ^[47] стал победителем Конкурса Наумбурга и разделил 1-е место на Конкурсе Левентригта. Он попал в класс Розины, будучи еще подростком.

Единственным учителем Кана был его отец, профессор живописи. Он научил его читать ноты и ничему более, его игра была ужасной. Несмотря на это, талант мальчика был очевиден, и я с удовольствием взялась за его обучение.

Пайк оставался с Левиной в течение нескольких лет в 1960-е годы. Незадолго до Конкурса Наумбурга он с её согласия взял несколько уроков у Илоны Кабос ^[48].

Она делала пометки в нотах красным карандашом, я — черным, и я всегда говорила Кану: «Если красные пометки нравятся тебе больше черных — следуй им».

Примеры такого «совместного» обучения весьма редки среди учителей фортепиано консерваторского уровня.

29 марта 1976 года Левина отметила 96-й день рождения. После 32 лет вдовства она приближалась к рекорду Клары Шуман, пережившей мужа на 40 лет. Розина несколько уменьшила нагрузку — теперь у неё было 22 студента в Джульярде и 6-в летней школе. Обычно она давала два урока в день (в 1970 году — три). Наиболее напряженным был конец весны, когда она прослушивала перед экзаменами всю программу каждого студента.

С годами Розина все более удивлялась тому, что она, будучи всегда столь болезненной, так намного пережила мужа, считавшегося образцом здоровья. Иногда она чувствовала, что её долголетие — это чудо, и, делая планы на будущее, непроизвольно восклицала: «С Божьей помощью», или «На все воля Божья». Судьба была милостива к ней, но и сама пианистка сделала немало для собствен-

ного физического и душевного благополучия: увлечение музыкой, постоянное общение с молодежью и погружение в её интересы, здоровый образ жизни (простая диета, исключение из употребления алкоголя, кофе, табака), увлечение физическими упражнениями (ежедневные прогулки на улице при хорошей погоде или ходьба по собственной «Пятой авеню» в квартире в плохую погоду), многочисленные знакомства с интересными людьми, отсутствие профессиональной зависти, которая отравляет жизнь многих музыкантов.

Важной чертой её характера была самоирония, которую она унаследовала от мужа. Зимним вечером 1970 года я сидел в её манхэттенской квартире и работал над этой книгой. Розина чувствовала себя не очень хорошо, и когда зазвонил телефон, я снял трубку. Кто-то с явно восточным акцентом спросил: «Дома ли миссис Левина?» Я подумал, что это, должно быть, муж-китаец пианистки-француженки, которая недавно жила у Левиной. Желая оградить её от необязательных звонков, я спросил довольно резко: «А кто Вы?». В ответ я услышал слабый извиняющийся голос: «Меня зовут Эмиль Гилельс». Я тут же передал трубку Розине и стал свидетелем оживленного 20-ти минутного разговора на русском. Повесив трубку, она обратилась ко мне:

То, что он говорил — замечательно. Эмиль получил приглашение на моё девяностолетие и хотел сказать, как он восхищен мною, какой я замечательный музыкант и т.п. Когда до меня дошло все это, я подумала: неужели я так долго дурчила всех вокруг?

Примечания

[1] Сафонов Василий Ильич (1852, станица Ищерская, Терская обл. — 1918, Кисловодск), русский дирижер, пианист, педагог, общественный деятель. Окончил Петербургскую Консерваторию в 1880 г. с малой золотой медалью, концертировал в России и Европе. В 1885 г., по приглашению Чайковского, стал профессором фортепиано в Московской Консерватории, с 1889 г. — её директором (оставил этот пост в 1906 г.). Среди его учеников были А. Скрябин, Н. Метнер, Е. Бекман-Щербина, А. Гедике. В 1906-1909 гг. руководил Нью-Йоркским оркестром, часто включал в его программы произведения русских композиторов. В 1909-1916 гг. много гастролировал в Европе и на родине. С 1917 г. жил в доме отца в Кисловодске, где подвергался преследованиям и глумлению со стороны новых властей.

[2] *Wallace, R.K. Century of Music-Making. The Lives of Joseph and Rosina Lhevinne. Indiana Univ. Press, Bloomington; London, 1976. P.72.*

[3] Самарофф Ольга (Samaroff Olga, в девичестве Hickenlooper, 1880, Сан-Антонио — 1948, Нью-Йорк), амер. пианистка, педагог и музыкальный критик. Преподавала в Филадельфийской Консерватории и Джульярдской школе. Среди её учеников: Р. Фаррел, В. Капелл, Ю. Лист, Р. Турек, А. Вейсинберг.

[4] Эрнест Хатчесон (Ernest Hutcheson, 1871, Мельбурн — 1951, Нью-Йорк), австралийско-американский пианист, композитор и педагог. Был деканом ф-ного отделения (1926-1937) и президентом (1937-1945) Джульярдской школы.

[5] Зилоти Александр (Siloti Alexander, 1863, Украина — 1945, Нью-Йорк), российский дирижер, пианист и педагог. Профессор Московской Консерватории, где его учениками были С. Рахманинов, А. Гольденвейзер и К. Игумнов. В США — с 1921 г. В 1925-42 гг. преподавал в Джульярде и продолжал концертную деятельность. О Зилоти см. также: *Barber, C. Lost in the Stars: The Forgotten Musical Life of Alexander Siloti. Scarecrow Press, Lanham, Maryland, 2002.*

[6] Вронски Витя (Вронская Виктория Михайловна, Vronsky Vitya, 1909, Евпатория — 1992, Кливленд). После окончания Киевской Консерватории продолжила обучение со Шнабелем в Берлине и Корто и Петри в Париже. В Берлине познакомилась со своим будущим мужем Виктором Бабиным (Babin Victor, 1908, Москва — 1972, Кливленд). Вдвоем они составили один из лучших ф-ных дуэтов XX века и много концертировали в Сев. и Южн. Америке и Европе. В. Бабин был также плодовитым композитором и аранжировщиком. В 1961 г. Бабин возглавил Кливлендский ин-т музыки; здесь же преподавала его жена.

[7] Клиберн Ван (Clibem Van, 1934, Шривпорт — 2013, Форт-Уэрт), амер. пианист. В 1951 г. поступил в Джульярдскую школу в класс Р. Левиной и в последующие годы получил ряд наград на престижных конкурсах, в том числе 1-ю премию на Конкурсе Чайковского в Москве (1958). Неоднократно концертировал в бывш. СССР и России. С 1962 г. в Форт-Уэрте проводится междунар. Конкурс пианистов им. В. Клиберна.

[8] Ливайн Джеймс (Levine James, род. 1943, Цинциннати), амер. дирижер и пианист. Его учителями по ф-но были Р. Серкин в Школе музыки в Мальборо и Р. Левина в летней Школе в Аспене. В 1972 г. стал главным дирижером Метрополитен опера, в 1976 г. — её муз.директором, в 1983 г. — художеств.руководителем и оставался на этом посту до 2004 г. Под его руководством Метрополитен опера стала одной из лучших в мире оперных компаний.

[9] Уильямс Джон (Williams John, род. 1932, Нью-Йорк), амер. композитор, дирижер и пианист. Автор музыки ко многим фильмам С. Спилберга и Д. Лукаса. Обладатель нескольких премий «Оскар», «Золотой глобус», «Грэмми». Автор Концертов для различных инструментов, симфонической и камерной музыки. В 1980-1993 гг. — гл. дирижер Boston Pops оркестра.

[10] Браунинг Джон (Browning John, 1933- 2003), амер.пианист. Победитель Конкурса Левентрита (1955), 2-е место на Конкурсе Королевы Елизаветы в Брюсселе (1956). С. Барбер посвятил пианисту свой фортепианный Концерт. За запись произведений Барбера удостоен двух премий «Грэмми» (1991, 1993). Среди других значительных записей Браунинга-все фортепианные Концерты С. Прокофьева с Бостонским оркестром под управлением Э. Лайнсдорфа.

[11] Бучиньски Вальтер (Buczynski Walter, род. 1933, Торонто), канадский пианист, композитор и муз. просветитель.

[12] Хан Тонг-ил (Han Tong-il, род.1941, Корея), корейско-амер. пианист. Начал играть с четырех лет. В 1954 году уехал в США и поступил в Джульярд. В 1965 г. стал победителем Конкурса Левентрита. Выступал с известными оркестрами, включая Нью-Йоркский Филармонический, Чикагский, Лос-Анджелесский, Лондонский Филармонический, Российский Национальный и др. Сделал многочисленные записи произведений Шопена, Бетховена, Шумана, Брамса и Листа. Преподавал ф-но в уи-тах Иллинойса, Сев. Техаса, Индианы и Бостона. Вернулся в Южн. Корею в 2005 г.

[13] Поллак Даниэл (Pollack Daniel, род. 1935), амер. пианист, завоевал 6-е место на Конкурсе Чайковского в Москве (1958). Неоднократно выступал и записывался в бывш. СССР, России и др. странах. Преподавал в Джульярде, в Йельском и др. амер. ун-тах.

[14] Дихтер Миша (Dichter Misha, род. 1945, Шанхай), амер. пианист. Лауреат (2-е место) Конкурса Чайковского в Москве (1966). Концертировал во многих странах, выступал с ведущими амер. и европ. оркестрами, сделал многочисленные записи. Вместе с женой Ципой Глазман Дихтер сотавил дуэт, выступавший в Сев. Америке и Европе.

[15] Ауэр Эдвард (Auer Edward, род.1941, Нью-Йорк), амер. пианист. Лауреат междунар. Конкурсов Шопена в Варшаве (1965, 5-я премия), Бетховена в Вене (1966, 2-я премия), Чайковского в Москве (1966, 5-я премия), Лонг-Тибо в Париже (1967, 1-я премия). Преподает ф-но в ун-те Индианы в Блумингтоне.

[16] Олссон Гаррик (Ohlsson Garrick, род. 1948, Нью-Йорк), амер.пианист, лауреат междунар. Конкурсов Бузони в Болцано (1966, 1-я премия), Шопена в Варшаве (1970, 1-я премия), обла-

датель премий Avery Fisher Prize (1974) и Grammy Award (2008). С фирмой *Hyperion Records* записал все фортепианные произведения Шопена.

[17] Яблонски Марек (Jablonski Marek, 1939, Краков — 1999, Эдмонтон), канадск. пианист. Победитель канадского молодежного Конкурса. Концертировал по всему миру, включая бывш. СССР. Преподавал в ун-тах Альберты, Манитобы, в также Королевской Консерватории в Торонто. Давал мастер-классы в Европе и Южн. Америке.

[18] Канин Мартин (Canin Martin, род. 1930), амер. пианист и педагог, концертировал во многих странах мира как солист и исполнитель камерной музыки. Был ассистентом Р. Левиной в 1959-1976 гг. Преподавал в Джульярдской школе, ун-тах Колумбийском и Стони Брук. Был членом жюри многих междунар. конкурсов

[19] Феннимор Джозеф (Fennimore Joseph, род. 1940, Нью-Йорк), амер. пианист, композитор и педагог, обладатель мн. наград и премий, включая the Loeb Memorial Award, Van Clibern Award, the Hour of Music Award from the Colony Club of New York (1964), 1-й приз на Конкурсе the National Federation of Music Club's Young Artist (1965), 1-й приз на Международном Конкурсе Марии Каналс в Барселоне (1969).

[20] Ларраби Нил (Larrabee Neal), амер. пианист, учился в Московской Консерватории у С. Нейгауза, у Ю. Листа в Eastman School of Music и у Р. Левиной в Джульярде. Обладатель почетных дипломов Конкурсов Чайковского в Москве (1974) и Шопена в Варшаве (1975). Удостоен золотой медали имени А.Рубинштейна за победу на Конкурсе the Young Musician's Foundation в Лос-Анджелесе.

[21] Довис Джинин (Dovis Jeanean, 1932-2013), амер. пианистка и педагог, выступала как солистка и исполнительница камерной музыки. Ассистентка Р. Левиной в Джульярде в 1958-1967 гг.

[22] Артаков Саломея (Artakow Salome Ramros), амер. пианистка и кинодокументалистка. Её первый фильм «The Legacy of Rosina Lhevinne» («Наследие Розины Левиной», 2003) был удостоен многих наград. Её второй фильм «Memories of John Browning: The Lhevinne Legacy» («Воспоминания о Джоне Браунинге: наследие Левиной», 2007) демонстрировался на многих междунар. конференциях и фестивалях.

[23] Подробная дискография Левиной и библиография публикаций о ней приведены в кн.: *Wallace, R.K. Century of Music-Making.*

[24] Фрагменты из книги *Wallace, R.K. Century of Music-Making.* Сокр. и авториз. перевод с англ. Э. Зальцберга. Далее все примечания, за исключением тех, авторство кот. указано, сделаны переводчиком.

[25] Швейцер Альберт (Schweitzer Albert, 1875, Кайзерсберг, Германия-1965, Ламборене, Габон), нем. и франц. теолог, философ, музыкант и врач. Лауреат Нобелевской премии мира (1952).

[26] Соломон Излер (Solomon Izler, 1910, Сент-Пол - 1987, Форт- Вэйн), амер. дирижер, работал с оркестрами на Среднем Западе, оставил много записей, включая Второй Концерт Бруха для скрипки с оркестром (солист Я. Хейфец, 1954).

[27] Interview with Izler Solomon. New York, April 26, 1971. *Прим. автора.*

[28] Review from *New London Telegraph* (Conn.), printed in *Musical Courier*, May 19, 1907. *Прим.автора.*

[29] Пелетье Вилфред (Pelletier Wilfred, 1886-1982), канадск. дирижер, пианист, композитор и муз. просветитель. Принимал большое участие в создании Монреальского симфонического оркестра и был его первым дирижером (1935-1941). Дирижировал французским оперным реперуаром в Метрополитен опера (1929-1950), был гл. дирижером симф. оркестра Квебека (1951-1966), одним из организаторов Консерватории драмы и музыки Квебека и дирижером её оркестра (1943-1961).

- [30] Митчелл Ховард (Mitchell Howard, 1910-1988), амер. виолончелист и дирижер, руководил Нац. симф. оркестром в 1950-1969 гг.
- [31] Фуши Олейна (Fuschi Olegna, род. 1933), амер. пианистка, концертировала во многих странах мира, преподавала в Джульярде.
- [32] Серебряков Павел Алексеевич (1909-1977), советский пианист, педагог и общ. деятель. Обладатель почетного диплома на Междунар. Конкурсе пианистов в Варшаве (1932) и 2-й премии на Первом Всесоюзн. Конкурсе музыкантов — исполнителей в Москве (1933). Нар. артист СССР, ректор Ленинградской Консерватории (1938-1951, 1961-1977).
- [33] Шуман Вильям Ховард (Schuman William Howard, 1910-1992), амер. композитор, был президентом Джульярдской школы в 1945-1961 гг.
- [34] Неточность автора — в это время Гольденвейзер не был директором Консерватории. Гольденвейзер Александр Борисович (1875-1961), российский и советский пианист, педагог, композитор. Доктор искусствоведения (1940), нар. артист СССР (1946), автор воспоминаний о Л. Толстом. Профессор Московской Консерватории (1906-1961) и её ректор (1922-1924 и 1939-1942). Среди его учеников: С. Фейнберг, Г. Гинзбург, Р. Тамаркина, Т. Николаева, Д. Башкиров, Л. Берман, Д. Благой, Д. Паперно, Л. Сосина, Д. Кабалевский.
- [35] New York Times, August 12, 1957. *Прим. автора.*
- [36] Бернетт Джон (Bennett John, род. 1917), амер. дирижер. Работал со многими коллективами, включая симф. оркестр г.Феникс (1947-1949), The Hollywood Bowl (1953-1957), оркестр Нац. ассоциации оркестрантов (1958-1972).
- [37] New York Times, March 1, 1961. *Прим. автора.*
- [38] Матис Джеймс (Mathis James, род. 1933, Даллас), амер. пианист, победитель Конкурса пианистов в Мюнхене (1956), лауреат Конкурса Бузони (1956, 1960).
- [39] Яблонски Марек (Jablonski Marek, 1939, Краков - 1999, Эдмонтон), канадск. пианист. Победитель канадского молодежного Конкурса (1961), обладатель приза Падеревского. Концертировал по всему миру, включая бывш. СССР. Преподавал в ун-тах Альберты, Манитобы, в также в Королевской Консерватории в Торонто. Давал мастер-классы в Европе и Америке.
- [40] Самуэл Герхардт (Samuel Gerhardt, 1924, Бонн-2008, Сиэтл), амер. дирижер и композитор. Худ. руководитель симф. оркестра Окленда (1959-1971) и Балета Сан-Франциско (1961-1971), основатель оклендского Камерного оркестра. Часто исполнял произведения совр. амер. и европ. композиторов.
- [41] Орманди Юджин (Ormandy Eugene, наст. Blau Jenő, 1899, Будапешт — 1985, Филадельфия), амер. дирижер. В США с 1921 г. В 1936-1980 гг. возглавлял Филадельфийский оркестр, который упрочил при нем славу одного из лучших в мире симфонических коллективов. Гастролировал с ним по всему миру, включая Китай и бывш. СССР. Оставил многочисленные записи.
- [42] Урибе Бланка (Uribe Blanca, род. 1940, Богота), колумб. пианистка и педагог, выступала как солистка в США, Южн. Америке и Европе, давала мастер-классы во многих странах. Награждена колумб. орденом Св. Чарльза (1966), медалью Альбенниса за запись его «Иберийской сюиты» (2007), удостоена почетной докторской степени ун-та Валле (Колумбия).
- [43] Зук Ева Мария (Zuk Eva Maria), род. в Польше, детство провела в Венесуэле. Много выступала в США и странах Лат. Америки. Удостоена более 40 призов, медалей и дипломов в Венесуэле, Пуэрто-Рико, Мексике и Польше.
- [44] Липовецки Леонидас (Lipovetski Leonidas), род. в Монтевидео. Победитель национальных Конкурсов в Уругвае (1958, 1961). Концертировал и давал мастер-классы во многих странах, включая Китай и бывш. СССР.

[45] Пачуки Лоис (Pachuki Lois, род.1940), амер. пианистка, завоевала почетный диплом на Конкурсе Шопена (Варшава. 1965). Её мужем был пианист Антони Сметона, внук первого президента Литвы.

[46] Городницкий Саша (Gorodnitzki Sascha, 1904, Киев — 1986, Нью-Йорк), амер. пианист и педагог, победитель Конкурса Шуберта (1930). Преподавал в Джульярде с 1932 г. почти до смерти. Среди его студентов: Ю. Истомин, Г. Олссон, Д. Дэвис, Я. Фиалковска. Концертировал в Сев. и Южн. Америке, выступал с такими дирижерами как Ф. Райнер, Л. Стоковский, П. Монте.

[47] Пайк Кан Ву (Paik Kan Woo, род.1946, Сеул), южнокор. пианист, учился у Р. Левиной, И. Кабос, Г. Агости и В. Кемпфа. лауреат Конкурсов Митропулоса (1961), Бузони (1969), Наумбурга (1971). Удостоен премии *Ho-Am* (2000) и ордена *Order of Cultural Merit* (2010).

[48] Кабос Илона (Kabos Ilona, 1893, Будапешт-1973, Лондон), венгерско-англ. пианистка и педагог. Преподавала в Будапештской академии музыки (1930-1936), после чего вместе с мужем, пианистом Л. Кентнером, переехала в Лондон. В 1942 г. они впервые исполнили Концерт для двух ф-но, ударных и оркестра Б.Бартока. Преподавала в летней школе в Дартингтоне и, с 1965 г., в Джульярде, где, по предложению президента П. Меннина, время от времени обменивалась студентами с Р. Левиной.



Генрих Иоффе

ПОДЪЕМ И ПАДЕНИЕ КЕРЕНСКОГО

Историографические облики Керенского

С самого начала Февральской революции Керенский фактически стал главным политическим противником большевиков. Уже 6 (19) марта 1917 г. в «установочном» письме из Швейцарии в Петроград Ленин писал: «Никакой поддержки новому правительству. Керенского особо подозреваем».

И конечно, по мере восхождения Керенского к вершине власти (в начале июля 1917 г. он — уже премьер-министр Временного правительства) — «особо подозрительное» отношение к нему со стороны большевистского руководства не могло не расти. Большевики во главе с Лениным буквально рвались к власти, но эта цель предполагала максимальную политическую дискредитацию Временного правительства и прежде всего его главы (Керенского) в глазах масс. Большевистская пропаганда и агитация осуществляли ее со всей присущей большевикам энергией и категоричностью. Образ Керенского в этой пропаганде и этой агитации выглядел, мало сказать, непривлекательным, но намеренно искаженным, подчас, и окарικатуренным (хотя карикатуристы фиксировали и некоторые вполне реальные черты).

Если оценивать такой «подход» с позиции яростной борьбы партий за власть в 1917 г., то вряд ли большевики заслуживают сурового осуждения. Ленин и его сторонники тоже получали «свое» от непримиримых противников.

Хуже другое. После Октябрьской революции большевистские пропагандистско-агитационные оценки Керенского главным образом как политика стали переходить и закрепляться в исторической литературе. Можно считать, что окончательно это произошло с выходом, «Краткого курса истории ВКП(б)», который схематизировал и догматизировал советскую историю. В этой схеме Керенский политик квалифицировался как «прислужник буржуазии», политический авантюрист, лишь прикрывающийся званием социалиста и демократа, а как личность — «болтун», «хвостун», «фигляр», гоголевский Хлестаков.

В ходе горбачевской «перестройки» и последующих ельцинских «реформ» краткосрочный схематизм во многом был отброшен, но на первый план вышла историческая публицистика, часто коммерческого толка. Пошел поток книг, в которых попросту менялись плюсы на минусы и соответственно менялась «раскраска» людей и событий. Что касается Керенского, то в эти времена перестроечного бума портрет его, можно сказать, раздвоился. «Прорабы перестройки» — демократы «отмывали» Керенского от темных, уничтожительных красок, превращали в одного из столпов российской демократии, погибшей под ударом большевистского тоталитаризма. Правые, националисты нередко представляли его «жидо-масоном», откравшим путь большевикам и погубившим великую Россию. (Во время революции и гражданской войны в «белом» лагере ходила легенда, согласно которой Керен-

ский еще грудным младенцем был подброшен некоей еврейкой в семью Ф.М. Керенского, а что его настоящее имя — Арон Кирбис).

А. Солженицын решительно отказывал Керенскому в проведении политики на пользу России. «Эту главную фигуру революции, — писал он, — в национальном духе не уличишь ни в какой стадии» (А. Солженицын. Двести лет вместе, т.2. М., 2002, с.64). Для него Керенский (в «Красном колесе») — актер, «блистательный удачник», «невозможный счастливчик», «празднично-измятый».

Но «перестроечная болезнь» проходила. (Впрочем, симптомы ее полностью еще отнюдь не исчезли). Стали выходить серьезные исследования биографий деятелей разных общественных течений, что весьма важно для изучения истории. Американский эссеист и философ Р. Эмерсон считал, что «истории нет, есть биографии».

Пришло время и Керенского. Старый эмигрант, давным-давно покинувший Россию и в забвении умерший на чужбине, он возвратился на Родину изданием его мемуаров и рядом публикаций о нем. Можно назвать книгу В. Федюка «Керенский» (М, 2009 г.), С. Тютюкина «Керенский. Страницы биографии» (М., 2112 г.) и др. В них Керенский не «фигляр», не «Хлестаков» и т.п. Здесь он политический деятель, воссозданный со стремлением к максимальной объективности. И пока это так. Будет жаль, если перемена политической ситуации вновь как-то изменит «вид» Керенского.

«Белоземлианская» историческая литература квалифицировала политику и деятельность Керенского как губительную для России. Известная писательница Н. Берберова, пожалуй, правильно назвала Керенского «человеком одного — 17-го — года. Это так. Действительно, этот год поднял Керенского как государственного деятеля на высоту и этот же год опустил его также как государственного деятеля и политика вниз. Известен эпизод, как будучи уже в эмиграции, в Париже, возле русской церкви на Рю Дарю Керенский вдруг услышал слова незнакомой женщины, сказанные ею своей дочери: «Смотри, Таня, вот это Керенский — человек, погубивший Россию».

До конца дней своих он так и не мог забыть этих ужасных для него слов.

Советская историография с сущности солидаризовалась с такого рода оценкой политической линии Керенского, представляя большевизм как силу, восстановившую Российское государство (хотя и на иной основе).

Его генеральная идея

Главной политической целью, как теперь говорят, «продвинутой» российской интеллигенции конца 19 — начала 20 в. было устранение самодержавия и установление вместо него конституционализма и парламентаризма. В весьма значительной степени это основывалось на примере Запада. Там давно «цветет» демократия и с нею общество, а значит стоит исчезнуть царизму (самодержавию) и утвердиться представительному строю, как и перед отсталой Россией отворятся врата свободы и ...

Борьба против самодержавия развивалась по двум руслу — либеральному и революционному. Впрочем, определенная часть либералов (левая) «косила» в сторону революционеров, рассматривала их, по крайней мере, как фактор давления на самодержавную власть. Среди революционеров тоже существовали те, кто не избегал крена в сторону либерализма.

В атмосфере, насыщенной духом отторжения царского самодержавия, юному Керенскому, росшему в интеллигентской семье, трудно было сделать иной выбор, помимо приобщения к тем, кто выступал против власти.

Уже в студенческие годы (в Петербургском университете) Керенскому стало очевидно какое направление для него — энергичного, честолюбивого, экзальтированного — путь был выбран. Он не стал путем карьеристского продвижения по бюрократическим коридорам, а приобщал к борьбе за идеалы демократии. При этом поначалу молодой Керенский избрал для себя не курс либеральной оппозиции, а гораздо более опасную революционную дорогу.

С осени 1905 г. Керенский разделял взгляды эсеров почти по всем основным вопросам теории и практики революционного движения. Даже намеревался (возможно, и по эмоциональности натуры) вступить в Боевую террористическую организацию эсеров! Через приятельницу жены - сестру члена этой организации Б. Моисеенко — ее главе Е. Азефу было сообщено о желании Керенского «работать в терроре» и даже о его готовности принять участие в теракте против самого царя. Спустя некоторое время Б. Моисеенко ответил, что Азеф сказал «нет». Возможно, в натуре Керенского этот безусловно тонкий психолог-провокатор не увидел черт, позволяющих стать еще одним Каляевым или Сазоновым.

Манифест 17 октября 1905 г. и Основные законы Российской империи (апрель 1906 г.) внесли изменения в политическое мышление сил, противостоявших царскому режиму. В либеральном лагере образовались группы, считавшие, что в той или иной степени царский Манифест выводит страну на конституционный путь развития, а это дает основание для сотрудничества с властью. В то же время в революционных и лево-либеральных кругах на Манифест смотрели как на маневр, не менявший сущности царизма и борьба с ним должна продолжаться.

В этот период Керенский приобрел известность как адвокат на больших политических процессах. Но как подчеркивает С. Тютюкин, его адвокатская деятельность «не давала угаснуть в нем чувству социальной справедливости и ненависти к царизму» (с.34-35).

Он продолжал твердо верить в новый подъем антицаристского движения. Но его честолюбивая, эмоциональная, не чуждая склонности и к театральности натура плохо уживалась с принадлежностью к партийности, ее дисциплине, обязательностью проведения определенной политической линии.

Не порывая контактов с революционными кругами (с эсерством) и поддерживая (главным образом через адвокатуру, в которой большинство было кадетским) связи с либеральными элементами, Керенский задумывался о собственной роли в предстоящей борьбе. Более или менее четкие контуры этой роли стали проявляться для Керенского скорее всего после избрания его осенью 1912 г. депутатом 4-й Государственной думы от эсеровской Труловой группы. В Думе Керенский вступил в масонство («Великий Восток народов России»), возродившееся в России в начале 20-го в.

Тема русского масонства стала обретать темпы масштаб примерно с 70-х гг. прошлого века. Подняли и «раскручивали» ее главным образом литературоведы и публицисты, группировавшиеся преимущественно вокруг журналов «Молодая гвардия», «Наш современник» и др., считавшие себя членами неформальной «Русской партии». Они руководствовались все же не столько стремлением к выяснению исторической истины, сколько политическими мотивами вполне определенного направления. В соответствии с ним в начале 20 в. в России существовала тайная (и мощная) масонская организация, некая «сверхпартия», которая по «директивам» с

масонства Запада и в его интересах и способствовала осуществлению подрыва, а затем и развала Российского государства. В своем крайнем выражении эта, «концепция» представляла события 1917 г. не революцией, а некой «спекоперацией» антироссийских сил. Несмотря на то, что в профессиональной исторической литературе «масонскую теорию» можно считать достаточно преувеличенной, она и по сей день дает о себе знать.

Российское масонство во многом отличалось от западного. Отсутствовал специфический масонский ритуал. В ложи принимались и женщины. Масонские ложи в России «были похожи, скорее, на политические клубы, в которых представители разных политических партий, объединений, групп и просто «нужных людей», выступавших против царизма, стремились согласовывать свои действия, обмениваться необходимой информацией и т.п. То, что принималось в масонских ложах (в том числе и Думской) не являлось формально обязательным для членов этих лож. Они были свободны в своих партийных и корпоративных взглядах, хотя неформальные связи иногда бывают весьма действенны.

Западные масоны не давали никаких — политических и иных — указаний своим «русским братьям», но, конечно, сочувствовали антицаристской борьбе в России.

Масонские связи Керенского, надо думать, помогли ему окончательно сформулировать генеральную идею, к которой он пришел. Впервые она прозвучала с думской трибуны и стала стержнем его политической стратегии всего 1917 г. Это была идея общенациональной революции, объединяющей три главные социальные силы России — пролетариат, крестьянство и буржуазию.

По мере обострения обстановки в стране (военные неудачи, ухудшение экономического положения, рост социального недовольства, дискредитация верховной власти и т.д.) в выступлениях Керенского все более и более решительно звучали революционные и даже ультрареволюционные мотивы. Например, в одном из выступлений он прямо заявил, что ныне Россия пребывает в состоянии такого хаоса и такой смуты, по сравнению с которыми смута 1612-1613 гг. кажется всего лишь детской сказкой. Керенский открыто предрекал, что вопрос об уничтожении царской власти скоро «будет поставлен весьма решительно». «Как, — говорил он, — можно бороться законными средствами с теми, кто сам закон превратил в оружие издевательства над народом? Есть только один путь борьбы физического их устранения». Императрица писала Николаю 2-му, что за такую речь Керенского следовало бы повесить.

Но распавшийся в революционных речах Керенский все же был «своим» и в либеральных кругах. Конечно, там видели в нем «крайнего», может быть, слишком «крайнего», но в канун Февраля либералы толкали Романовых к краю пропасти. И Керенский тоже делал их дело.

Позднее, в эмиграции, он, как и некоторые бывшие либералы, оправдывался за губительную для страны «смену лошадей» на которую он «со товарищи» решились «на переправе» — во время тяжелейшей войны. Он писал: «Во время переправы не меняют лошадей — это правильно, но и лошади должны выгребать против течения и искать броду, а не лезть в омут. В ту войну мы не хотели менять лошадей, но они сами пошли по течению своих страстей и предрассудков и попали в омут, затянув туда и Россию» («Новый журнал» Нью Йорк, 1941, с. 200). В этом, конечно, звучит самооправдание.

Да «лошади» (власть) шли по течению «своих страстей и предрассудков». Но никто не искал «омута». Он появился неожиданно, внезапно... А разве думские

либералы и те немногие революционные элементы, которые находились в городе, действовали не под влиянием «своих страстей и предрассудков, поспешив воспользоваться благоприятным для моментом, и не поколебались перепрыгнуть «лошадей» как раз на переправе? Пожалуй, прав П. Струве, считавший, что в случившемся виновны обе стороны: и штурмовавшие стены и оборонявшие их.

Миллионная, 12. Конец монархии

В судьбоносные для России дни Февраля 1917 года наибольшую активность, даже несмотря на нездоровье (незадолго до февральских событий он подвергся операции по удалению почки) проявлял именно Керенский.

Известно, что отречение Николая 2-го в пользу наследника-цесаревича Алексея в некоторых либеральных кружках замыслилось еще в канун революции. Но под давлением думских лидеров и высших генералов вечером 2 марта 1917 г. Николай отрекся не в пользу сына — законного наследника, а в пользу брата — великого князя Михаила Александровича. Однако реально встал вопрос о возможности принятия Михаилом престола. Вопрос этот в историографии оказался несколько отодвинут в сторону последовавшими драматическими событиями. Между тем он имел большое историческое значение. Именно от решения великого князя Михаила зависело быть или не быть монархии в России. Голоса думских лидеров, прибывших на Миллионную, 12, где утром 3 марта находился Михаил Александрович, разделились. П. Милоков, А. Гучков и др. убеждали великого князя ради спасения страны принять престол. Противоположную позицию занял Керенский. С. присущими ему напористостью и ораторским пылом он убеждал, просил, умолял великого князя отказаться от принятия престола, доказывая, что в стране нет никаких сил, готовых поддержать монархическую идею.

Трудно сказать каким был тот фактор, который определил решение Михаила — аргументы Керенского или его собственные соображения (по своему характеру он никогда не хотел стать царем). Так или иначе Михаил Александрович, отдельно посоветовавшись с М. Родзянко и князем Г. Львовым, заявил, что он не примет престола без одобрения Учредительным собранием, которое предполагалось созвать. Но было совершенно ясно, что если даже такое собрание и состоится, оно не выскажется за восстановление монархического строя. И Керенский ликовал. С жаром пожмая руку Михаилу, он радостно кричал: «Ваше высочество, Вы благороднейший человек!»

Пожалуй, не будет ошибкой сказать, что в тот критический момент Керенский поворачивал колесо российской истории. Это он там, на Миллионной, подтолкнул плечом уже падавшее здание монархии. И, кто знает, может быть перед его взором уже виднелись очертания Российской демократической Республики во главе с ним, Керенским. Позже, 1 сентября 1917г., именно он провозгласит Россию республикой, не дожидаясь принятия решения Учредительного собрания.

Небезынтересно все же поставить вопрос: что бы произошло, если бы великий князь Михаил отверг позицию Керенского? Известный исторический романист М. Алданов так отвечал на это: «Конечно, мы не можем сказать, что бы тогда случилось в России. Зато мы точно знаем все последствия принятия Михаилом этой позиции...»

КУЛЬТ КЕРЕНСКОГО И ЕГО КРАХ

И вот свершилась! Свершилась вековая мечта врагов самодержавия...

Примерно два месяца после падения царизма очень многие в России пребывали в состоянии эйфории, буквально упиваясь нахлынувшей свободой. Тут Керенский и многие его коллеги по сформированному Временному правительству оказались, пожалуй, западнее самого Запада. Даже В. Ленин, приехавший из Швейцарии в Петроград в начале апреля 1917 г. после многолетнего пребывания в эмиграции, назвал Россию наиболее свободной страной в мире. А в глазах народа именно он, Керенский, выглядел чуть ли не «главным дирижером» происходивших в Петрограде событий, руководителем всей революции. В этом большую роль сыграли и личные качества Керенского. Он был молод, энергичен, по воспоминаниям многих современников, обаятелен, обладал чарующим сильным баритоном. В него влюблись женщины (его заместителем по военному министерству Б. Савинков позднее саркастически называл Керенского «женпремьером»), они бросали ему букеты цветов, ожерелья, кольца, встречали и провожали громом оваций. Ему посвящали стихи, поэмы. Поэт и друг С. Есенина Л. Канегиссер (будущий убийца главы петроградской ЧК С. Урицкого) посвятил Керенскому такие строки

И у блаженного входа,
В предсмертном и радостном сне
Я вспомню — Россия, Свобода,
Керенский на белом коне.

Его называли «первой любовью революции», «гением русской свободы». Всерьез обсуждался вопрос о создании специального фонда «имени друга народа Керенского».

Можно, наверное, сказать, что Керенский стал первым «культом личности» в истории России. Но как и почему он стал рассеиваться и исчезать?

Внезапно нахлынувшая свобода быстро обернулась вольницей и вседозволенностью, а они вызывали развал в стране. В архиве канцелярии премьер-министра (Керенского, ГРФ) поныне находится масса писем российских граждан. Это не резолюции, которые писались профессиональными политиками и политиканами с учетом определенных интересов. Это непосредственный голос масс, страны, ввергнутой в революцию. Вот один из них. «У нас теперь на местах полная анархия, никто никого не слушает и делает все, что хочет: и насилие и грабежи, и издевательства, а вы, Временное правительство, все пишете и пишете воззвания, которые прямо всем осточертели...» Другое письмо. «При мерзавце Николае было скверно, а сейчас еще хуже. Армию развалили. Теперь не армия, а товарищи-дезертиры и предатели. Ценность рубля дошла до 20 коп. Железные дороги скоро остановятся... Товарищи рабочие не хотят работать и дерут цены такие, что предприятия не могут существовать».

За происходившее в стране многие напрямую винят Керенского. «Все несчастья России от Вас. Вы первый подняли голос на неповиновение Государю и первый призвал народ к восстанию... Неужели Вы, обладая умом, не знали русского народа? Я не понимаю, за кого нас принимают все, говорящие речи? За дураков или детей?... Водворите порядок и дайте нам жить так, как мы жили при императоре».

Задолго до революции, в ходе нее (да и поныне) многие политики и вообще интеллектуалы (сегодня они называют себя элитой) объясняли невосприимчивость

народа к западной государственной модели его «азиатчиной» отсталостью, некультурностью и другими негативными чертами. Вот еще отрывки из писем Керенскому. «Народ — эту темную невежественную, безграмотную массу, Вы приняли за зрелых и развитых людей... Вы приняли охлократию за сознательную демократию. Посмотрите к чему это привело». Из Киева Керенскому писали: «Приближается то время, когда Вы честно должны сказать, что справиться с Россией Вы не в состоянии... Уйдите, и чем скорее, тем лучше. Вы, дорогой Александр Федорович, живете иллюзиями... Смотрите, не опоздайте! Рисковать, не изведав брода, Вы можете только по отношению к себе, а не отечеству».

Читал ли Керенский эти письма? Скорее всего, нет. Во всяком случае, какие-либо пометки на них отсутствуют, и они просто превращались, как пел В. Высоцкий, в «подколотый, подшитый материал», пылившийся в канцелярских шкафах. Власть неотвратимо меняет человека. Не избежал этой участи и Керенский. Еще 5-6 лет назад он был адвокатом даже не первого ряда (Керенский никогда не «дотягивал» до уровня таких звезд русской адвокатуры, как Ф. Плевако, В. Маклаков, Н. Карабчиевский, А. Зарудный и др.). И вот жизнь вознесла именно его на царскую высоту. Случайность? В России нужный человек не так часто оказывается в нужное время на нужном месте. Но с Керенским произошло именно так. Неожиданное, просто сказочно быстрое крушение монархии и пришествие головокружительной свободы переполняло умы людей радужным романтизмом. Время требовало лидера, отвечавшего этому новому духу жизни. И нашло его в молодом Керенском. У И. Бабеля есть замечательный рассказ «Линия и цвет». Действие происходит незадолго до Февральской революции. Автор встречает Керенского в финском санатории «Олило» (вероятно, Керенский отдыхал там после операции) и обращает внимание на то, что тот близорук. Он советует ему носить очки, чтобы лучше видеть окружающую действительность. «Никогда! — отвечает Керенский. — Зачем мне облака на этом чухонском небе, когда я вижу мечущийся океан над моей головой! ...Зачем мне линия, когда у меня есть цвета. Весь мир для меня гигантский театр, в котором я единственный зритель без бинокля».

Да многие тогда в России уверовали в то, что серое «чухонское небо» навсегда потонуло в океане свободы, волнующемся над их головами. В Керенском они узрели своего вождя. Но так будет недолго.

А был ли путч? («Корниловщина»)

Уже летом 1917 г. стало проясняться, что генеральная идея Керенского — общенациональная революция — иллюзорна. «Слева» против Временного правительства и поддерживавших его меньшевистских и эсеровских Советов быстро концентрировались революционные и ультрареволюционные силы, авангард которых составляли большевики, руководимые В. Лениным... Они требовали дальнейшего развития и углубления революции, превращения ее в социалистическую. «Справа» крепили те силы, кто, считал, что революция зашла слишком далеко, пора ее обуздать, а в чем-то и повернуть вспять. Здесь авангардную роль играло главным образом высшее офицерство, группировавшиеся вокруг Ставки Верховного главнокомандующего генерала Л. Корнилова.

Поэтесса З. Гиппиус, у которой тогда часто бывал Керенский, записала в дневнике его «жалобу»: «Мне трудно, потому что я борюсь с большевиками левыми и большевиками правыми, а от меня требуют, чтобы я опирался на тех или других... Я же хочу идти посередине... (З. Гиппиус Петербургские дневники, 1914-1919. М. 1990, с. 162).

Политика «идти посередине» Ленину представлялось просто вздором. В революционный период (да и не только), в классово разделенном обществе «середины нет и быть не может». «О середине попусту мечтают «барчата, учившиеся по плохим книжкам».

Первыми атаку против Временного правительства и предприняли большевики. В начале июля они попытались устранить его, передав власть Советам. Но выступление практически не было подготовлено и большевикам пришлось отступить. Керенский, вероятно мог бы воспользоваться благоприятным для себя моментом и нанести большевикам весьма ощутимое поражение. Близкая тогда к нему «бабушка русской революции», эсерка Е. Брешко-Брешковская советовала «взять» Ленина и других большевистских лидеров, посадить на баржу, вывезти ее в Финский залив и потопить. Воспитанный в духе законности, Керенский не принимал такого рода советов... И все же главную роль тут, скорее всего, играл политический расчет. Керенский и правительство опасались, пожалуй, не столько левых, сколько правых... Им мерещилась даже вероятность и монархического путча. И совсем не исключено, что Керенский рассматривал меньшевистско-эсеровский центр и даже большевиков (!) в какой-то мере оборонительным заслоном против правых в случае их выступления. Подавив левых (большевиков и др.), они могли, не остановившись на этом, нанести удар и по ненавистному им режиму самого Керенского. В 20-х числах апреля 1917 г. Керенский не был даже против введения в состав правительства некоторых «умеренных» большевиков! Что ж, все они — эсеры, меньшевики, большевики — несмотря на расхождения, в конечном счете еще совсем недавно были в одном лагере и боролись с представителями царского режима, составлявшими после революции правый фланг.

Увы, «средний путь» заводил Керенского в пространство, которое называется «сидение между двумя стульями». Легко представить себе, насколько оно чревато. И хотел Керенский того или нет, но он все больше замыкался в том относительно узком кругу «верховников», в котором большую политику отодвигало политиканство. Если от сил справа Керенский готов был защититься (и в «корниловские дни» защитился!) даже большевиками, то неизбежно повторному выступлению большевиков он рассчитывал противопоставить военных, в среде которых, (он это знал) было немало правого, а то и просто монархического офицерства.

После июньского поражения русских войск на Юго-Западном фронте Керенский провел смену некоторых высших генералов. При самом активном содействии заместителя Керенского на посту военного министра Б. Савинкова стремительную карьеру сделал генерал Л. Корнилов. 19 июля 1917 г. он стал Верховным Главнокомандующим. Русской армией. Здесь мы подошли к так до конца и не проясненной проблеме «корниловского путча». Был ли этот путч действительно или нет, и если нет, то что же все-таки произошло? Кто сотворил «корниловщину» и кто ответственен за ее последствия?

Корнилов слыл генералом жесткой, «крепкой руки». Как считал Савинков и др. сочетание этой сдерживающей, сильной руки генерала Корнилова с демократическим, красным флагом Керенского могло бы стать как раз тем фактором, который способен был укрепить послефевральский режим, власть Временного прави-

тельства Часть офицеров корниловской Ставки (Могилев) склонялись к поддержке этой идеи. Другие же считали, что временно, прикрываясь эгидой Керенского, следует исподволь готовить установление в стране военной диктатуры (Корнилова). Сам Корнилов требовал от Керенского безотлагательного проведения в жизнь мер чрезвычайного характера, способных, по его убеждению, положить предел развалу государства. Фактически он ставил вопрос о милитаризации страны. Относительно установления с этой целью собственной диктатуры Корнилов, конечно, прямо не высказывался, но в узких генеральско-офицерских кругах Ставки она рассматривалась как вполне вероятная и даже необходимая.

Уже вскоре после прибытия Корнилова в Могилев там (главным образом из членов Союза офицеров армии и флота) образовалась «корниловская группа», вехшая в Корнилове будущего диктатора. Группа направляла своих членов в Петроград для установления связей с офицерами-корниловцами в самом городе и с политическими деятелями правого толка, главным образом кадетами. Однако кадетские политики осторожничали. Они опасались как возможного провала корниловцев (в случае их выступления), так и его удачи. Им было ясно, что в первом случае (провал) возможно, если не неизбежно, возрастание левых, революционных сил. Во втором случае (успех) — вероятность военной диктатуры, которая перечеркнула бы февральскую демократию...

Между тем, альянс Керенского (посредством прежде всего Савинкова и верховного правительственного комиссара М. Филоненко) с Корниловым продолжался. Договорились для укрепления обороны Петрограда (после сдачи немцам Риги) в 20-х числах августа 1917 г., перебросить к столице и в ее пригороды 3-й конный корпус генерала А. Крымова и так называемую Туземную дивизию. К этому времени Петроград и близлежащие районы следовало объявить на военном положении. Но не в укреплении обороны столицы заключалась главная задача перебрасываемых к ней войск. Перед ними ставилась другая — военно-политическая цель. На случай нового антиправительственного выступления большевиков (они готовили его к полугодовщине Февраля) эти войска должны были, как теперь говорят, «произвести зачистку» Петрограда от революционных элементов. При этом бескомпромиссный, решительный Крымов готов был «зачистить» город не только от большевиков, большевистски настроенных Советов и других связанных с ними организаций, но «разобраться» и с Временным правительством. Крымов был твердым сторонником военной диктатуры. Корнилов же, мало уступавший Крымову в решительности, проявлял осторожность. У него все-таки был некоторый политический опыт и, по крайней мере, декларативно он выражал готовность сотрудничества с Керенским, заявлял о поддержке созыва Учредительного собрания.

26 августа 1917 г. 3-й конный корпус и Туземная дивизия по приказу Корнилова были двинуты в направлении на Петроград.

Трудно сказать чем бы все это могло закончиться, если бы не совершенно неожиданное появление и вмешательство в отношения Керенского и Корнилова бывшего обер-прокурора Синода В. Львова. Об этом человеке надо сказать, ибо то, что он «сотворил», серьезно, если не круто повлияло на дальнейший ход событий, а может и изменило их ход.

Чем было вызвано появление Львова — стремлением вновь вернуться в большую политику, масонскими (как считают некоторые) связями Львова с Керенским или каким-то временным «наваждением», переживаемым Львовым — сказать трудно. У этого человека многие и раньше (и позже) замечали некоторые «откло-

нения» и странности. Между прочим, после окончания гражданской войны он эмигрировал, затем в начале 1920-х гг. объявил себя «сменовеховцем», сторонником Советской власти, и вернулся в Россию. Здесь он стал управделами Высшего управления обновленческой церкви, а позднее, по некоторым данным, отошел и от нее и даже был редактором журнала «Безбожник». Но все это будет позже. В августе же 1917 г., курсируя между Петроградом и Могилевом и представляясь Керенскому его верным сторонником, а Корнилову посланцем Керенского, В. Львов в конце концов (26 августа) сообщил Керенскому буквально потрясшую того информацию.

В соответствии с ней требования генерала Корнилова сводились к следующему.

Объявить в стране военное положение и передать всю власть Корнилову. Что касается министров Временного правительства, в том числе и премьера Керенского, то они должны уйти в отставку. От себя В. Львов добавил, что в Ставке Керенского ненавидят и потому он ни в коем случае не должен приезжать в Могилев — там его могут убить. Возникает вопрос — неужели Верховный главнокомандующий, генерал Корнилов был, мягко говоря, настолько прост, чтобы раскрывать почти неизвестному человеку замыслы (если они были) ни много, ни мало государственного переворота? Что же было на самом деле? На встрече с В. Львовым Корнилов высказался в том смысле, что необходима сильная власть, не исключаяющая и установление диктатуры — коллективной или личной. Для обсуждения этого и других вопросов Керенскому и Савинкову, полагал Корнилов, следовало бы прибыть в Ставку, в Могилев, как наиболее безопасное и спокойное место. Керенский слушал и ему казались ясным: вот они правые силы, тайно замахнувшиеся на февральскую демократию! И в мозгу билась одна мысль: остановить! Корнилов — враг!

Однако необходимы были «улики», и информации Львова была учинена немедленная проверка. Она носила чисто провокационный характер. Связавшись с Корниловым по телеграфу, Керенский, не раскрывая сказанного Львовым, спросил подтверждения. Ничего не подозревая, Корнилов подтвердил то, что в действительности сказал Львову, особо подчеркнув приглашение приехать в Ставку и попал, как рыба на крючок рыболова.

Теперь события приобрели стремительный темп. 27 августа Керенский сместил Корнилова с поста Верховного главнокомандующего и распорядился остановить движение войск к Петрограду. В ответ Корнилов заявил, что правительством Керенского совершена «великая провокация» и приказал войскам продолжать движение к столице. Противоречивые приказы главы правительства и Верховного главнокомандующего дезорганизовывали части 3-го конного корпуса и Туземной дивизии, уже на походе объединенные в Петроградскую армию. А из Петрограда в места нахождения ее частей буквально хлынули агитаторы революционно-демократических партий (большевиков, эсеров, меньшевиков и др.) На стихийных митингах они убеждали казаков и горцев в том, что Корнилов — контрреволюционер и направил их в Питер, чтобы подавить революцию и восстановить старый режим. Сам генерал Крымов, по-видимому тоже сбивый с толку, выехал в Петроград, где у него состоялся очень жесткий разговор с Керенским. Вернувшись на квартиру, в которой он остановился по приезду в Петроград, Крымов застрелился. Перед этим он написал записку Корнилову. Когда она была доставлена в Ставку, Корнилов, прочитав, уничтожил ее. Содержание этого важного документа, к сожалению, так и осталось неизвестным, хотя можно предположить, что Крымов винил Корнилова в нерешительности, если не в еще более худшем.

А Временное правительство переживало тяжелейший кризис. Корнилов был объявлен мятежником и изменником, подлежащим аресту и суду. Все министры вышли в отставку. 1 сентября, впредь до формирования нового состава Временного правительства, была создана Директория из 5 министров, но Керенский мог быть уверен в послушании своих коллег-директоров.

До сих пор ведутся дискуссии вокруг истории «корниловщины». Действительно ли Корнилов и Ставка готовили мятеж (путч) против правительства Керенского и замену его военной диктатурой? Или Керенский, намереваясь укрепить собственную власть, сначала считал нужной «связку» с Корниловым, а затем, испугавшись, предал генерала? Был ли «корниловский путч» или никакого «путча» и не было?

Находившийся в 1917 г. под следствием Корнилов решительно отрицал факт антиправительственного заговора и мятежа. Он утверждал, что «предательство» Керенского способствовало дальнейшему развалу армии и страны. Керенский же до конца жизни уверял, что «корниловский мятеж» был фактом, и он, Керенский, спас тогда демократию в России.

На основе анализа событий, вероятно, не будет ошибкой прийти к выводу, что антиправительственный заговор в частивоенной среде, несомненно, имел место, но сам Корнилов и его окружение все же проявляли колебания, полагали, что смогут договориться с Керенским. В «полнокровный» военный мятеж он не вылился.

Корнилов проиграл. Но победил ли Керенский? Его победу, вероятно, можно назвать «отложенным поражением». И оно уже было не за горами. Когда в октябре выступили большевики и левые эсеры, защищать Керенского фактически было некому. В «корниловские дни» он сам «обрубили» правое крыло. Временное правительство обороняли юнкера да «бабий батальон».

«Конфуз демократии»

Российская демократия в тех или иных степенях была «изъедена» противоречиями и разногласиями. Большевики против меньшевиков, меньшевики разных групп и фракций друг против друга, эсеры против меньшевиков, левые эсеры против правых эсеров, кадеты против всех социалистических партий и т. д. Поражение Корнилова значительно понизило политический градус кадетов. Их подозревали и обвиняли в содействии Корнилову (хотя на деле они больше сочувствовали, чем практически содействовали ему). Но зато значительно расширилось поле деятельности левах, революционно-демократических партий, сплотившихся во время борьбы с «корниловщиной». На политической авансцене теперь доминировали умеренные социалисты-эсеры и меньшевики, контролировавшие ВЦИК Советов и многие местные Советы. На эту же сцену быстро выходили большевики. Они активнее других боролись с «корниловщиной», за что и были вознаграждены — после июльского поражения они полностью восстановили свои силы. Их некоторые арестованные тогда лидеры были выпущены из тюрем. Керенский, по-видимому, намеревался теперь создать прочную демократическую базу.

Это нашло отражение в так называемом Демократическом совещании, созванном 14 сентября в Александринском театре. В зале заседаний преобладали красные цвета, что должно было подчеркнуть революционно-демократический настрой Совещания и «ожидание радикальных политический перемен. И в самом деле, по-

сле поражения «корниловского путча» настал момент, когда коалиция социалистов (эсеров и меньшевиков) с кадетами, казалось, отходила в историю революции.

Впервые появилась возможность создания новой власти — однородно-социалистического правительства. Реальность этого основывалась на составе Демократического совещания. Подавляющее большинство в нем принадлежало социалистам — эсерам, меньшевикам и большевикам.

Эсеры высказались против коалиции с кадетами. Меньшевики (незначительным большинством) — за коалицию с ними (большевики требовали передачи власти Советам). При голосовании резолюции в целом (за коалицию или против коалиции в принципе) большинство высказалось «за».

Но когда прошло голосование поправок к принятой резолюции, а затем повторное голосование резолюции в целом, оказалось, что большинство против коалиции!

Демократическое совещание оконфузилось. Действительно, возникло тупиковое положение: какую же резолюцию принимать? В этой сумятице Керенский, продолжавший лелеять свою «генеральную идею», показал характер. 20 сентября он заявил, что доверяет первой резолюции (в поддержку своей любимой идеи коалиции с кадетами) и если будет создано однородное социалистическое правительство, он в него не войдет. Это заявление прозвучало как ультиматум, и Демократическое совещание фактически приняло его. Меньшевистско-эсеровским большинством постановили вопрос о власти передать созданному Демократическим совещанием Временному совету Республики (1-го сентября Керенский объявил Россию республикой) — так называемому Предпарламенту. Решения Предпарламента какой-либо законодательной силы не имели. Могли, могли тогда демократы взять власть. Не взяли, не решились. Пошли по кругу. И Керенский получил возможность действовать по собственному усмотрению. 25 сентября он сформировал новый состав Временного (коалиционного) правительства (5 социалистов, 4 кадета и 7 беспартийных). Оно стало последним.

«Партия КВД»

Временное правительство «висело в воздухе». На кого оно могло опереться? Правые в армии (корниловцы) были рассеяны. Кадеты — политически дискредитировали себя в корниловские дни. Меньшевики и эсеры произносили речи и занимались принятием резолюций.

Лидер большевиков Ленин решил, что их час настал. Противник был слаб, нерешителен и растерян. И теперь Ленин требовал свержения Временного правительства путем вооруженного восстания и передачи всей власти быстро большевизировавшимся Советам. Лучшего момента для этого, предупреждал он, может и не быть.

Большевистскую партию долго представляли неким монолитом. Но в среде большевиков всегда были «твердые» и умеренные. И Ленину пришлось преодолеть противодействие многих членов ЦК своей партии, считавших, что вопрос о власти следует решать легально — на 2-м съезде Советов или в Учредительном собрании. Безоговорочнее других Ленина поддерживал Л. Троцкий.

Приближение большевистского выступления было очевидно, но Керенский вел себя так, как-будто не полностью отдавал себе отчет в том, что происходит и полагал, будто его власть неколебима. А между тем февральская эйфория давно

испарилась, время головокружительных романтических надежд ушло, и наступило совсем другое время — время суровых земных реальностей. Нужны были новые лидеры, иные действия и иные речи. Но Керенский не менялся, оставался прежним, «февральско-мартовским». Да и можно ли измениться? И здесь снова обратимся к И. Бабелю, его рассказу «Линия и цвет». «Трамвайные вагоны лежали на улицах плашмя, как издохнувшие лошади. Митинг был назначен в Народном доме. Александр Федорович произнес речь о России-матери и жене. Толпа удушала его овчинами своих страстей. Что увидел в ошетинившихся овчинах он — единственный зритель без бинокля? Не знаю. Но вслед за ним на трибуну взошел Троцкий, скривил губы и сказал голосом, не оставлявшим никакой надежды: «Товарищи и братья!»

Когда большевистское восстание уже шло полным ходом Керенский утром 24 октября прибыл в Предпарламент. Там он констатировал, что «часть населения Петербурга находится в состоянии восстания» и потребовал от членов Предпарламента ясного ответа на вопрос — поддержат ли они правительство «во всем, что касается исполнения его долга». Керенскому поаплодировали, но это скорее был парламентский ритуал.

Поздно вечером к Керенскому в Зимний дворец явились меньшевик Ф. Дан, эсеры Н. Авксентьев и А. Гоц. Они пришли с резолюцией Предпарламента, которая рекомендовала Керенскому немедленно начать переговоры о мире, передать всю помещичью землю крестьянским комитетам и создать Комитет общественного спасения. Короче говоря, предлагался политический маневр с расчетом на перехват большевистских лозунгов, перелом в настроениях большевизированных масс и срыв восстания. Посланцы убеждали Керенского ни в коем случае не прибегать к силе. «Желая самым решительным образом бороться с большевиками, — говорил Дан, — мы не хотим в то же время быть в руках той контрреволюции, которая на подавлении этого восстания хочет сыграть свою игру». Меньшевики и эсеры по-прежнему опасались, что вслед за разгромом большевиков последует удар и по ним. В этом был резон. На фронте еще можно было найти воинские части, доставить в столицу для борьбы с большевиками. И в этих войсках вполне могли найтись офицеры, которые готовы были «разделиться» с «проклятыми демократами» за «предательство Корнилова.

Высказывается мнение, что Керенскому следовало принять предпарламентские рекомендации и тем, может быть, спасти положение. По меньшей мере, это сомнительно. Теперь ход событий определяли даже не дни — часы. Большевики были уже в 5 шагах от власти.

Думается, что Керенский в последний момент правильно осознал: вооруженной силе может быть противопоставлена только вооруженная сила. Он полагал, что на близлежащим к Петрограду Северном фронте все-таки найдутся войска, которые можно будет двинуть на Петроград и подавить восстание. Вероятно, он рассчитывал на командующего Северным фронтом генерала В. Черемисова. Еще в июле 1917 г. только что назначенный Верховным главнокомандующим Корнилов воспротивился назначению Черемисова командующим Юго-Западным фронтом. Это вызвало настоящую вражду между генералами. Черемисов заявлял, что будет отстаивать свои права «даже с бомбой в руках». Зачисленный тогда в резерв, после провала «корниловщины» он в награду «получил» Северный фронт, командование которого подчинялся и Петроградский военный округ.

Как писал в своих мемуарах правительственный комиссар Северного фронта В. Войгинский, приказ об отправке войск в Петроград поступил в штаб

фронта (Псков) еще 23-го октября. А в ночь на 25-е он был передан в Могилев, начальнику штаба Ставки генералу Н. Духонину для соответствующего распоряжения Черемисову. Но время шло, а войска не прибывали.

25 октября на двух автомашинах (одна под американским флагом) Керенский в сопровождении адъютантов выехал в направлении на Псков.

А в Петрограде большевики планомерно захватывали один центральный пункт города за другим. Когда на 2-й съезд пришло сообщение о том, что они овладели Зимним, меньшевики, эсеры и члены других партий в знак протеста покинули съезд. Они, возможно, полагали, что утратив кворум, большевистское вооруженное выступление остановится. Ничуть не бывало. Напротив, как правильно писал меньшевик Н. Суханов в книге «Записки о революции», покинувшие съезд «только развязали большевикам руки». Фактически они, сами того не ожидая, пропускали их к власти.

А Керенский спешил в Псков. Он надеялся, что встретит карательные войска где-то по пути, но их не было. Добравшись до штаба фронта, Керенский подписал приказ о необходимости борьбы с «наступившей смутой», вызванной «безумием большевиков», однако выполнять этот приказ в штабе явно не торопились. Черемисов, ссылаясь на ненадежность войск, не отдавал приказа об их отправке в Петроград.

Его позиция в дни восстания большевиков до сих пор не вполне ясна. Некоторые мемуаристы и историки полагают, что она объяснялась некими тайными связями генерала с большевиками. Другие, напротив, утверждают, что Черемисов был связан с правыми (даже монархическими) организациями и как все правые исходил из принципа «чем хуже, тем лучше» и потому не собирався «влезать в петроградскую передрыгу». Но эти «объяснения» не слишком убедительны. Скорее, прав В. Войгинский, считавший, что Черемисов принадлежал к тем, кто предпочитал «плыть по течению». Он был «совершенно поглощен заботами о том, как использовать новую обстановку в личных целях». (В. Войгинский. 1917 г. Год побед и поражений. Нью Йорк, 1990, с. 267). Таких, как Черемисов, шутники называли членами «партии КВД» (Куда Ветер Дует). Численно это была немалая партия.

«Черемисовщина» оказалась для Керенского намного хуже «корниловщины». С той он еще мог бороться, а в «черемисовщине» просто тонул, как в болоте.

Керенский находился в состоянии, близком к прострации. Человеком, который сумел вывести его из этого состояния, оказался все тот же комиссар, меньшевик (ранее большевик) Войгинский. В г. Острове он разыскал генерала П. Краснова, командовавшего теперь 3-м конным корпусом. Но в самом Острове у Краснова имелись лишь 9 казачьих сотен. Войгинскому, однако, удалось уговорить Краснова двинуться на Петроград с имеющимися силами в расчете на подход подкреплений казаков и пехоты. Узнав обо всем этом, Керенский воспрял духом.

26 октября поход Керенского-Краснова начался. Не встречая сопротивления, казаки продвигались к столице и 28 октября заняли Царское Село. Однако после боя под Пулковым они вынуждены были отойти в Гатчину. Сюда сумел пробраться Савинков, который убеждал красновских казаков продолжать борьбу с большевиками. Но председатель казачьего комитета Ажогин заявил, что за Керенского казаки сражаться не станут. Он рекомендовал Савинкову связаться с Г. Плехановым (Плеханов тогда жил в Царском Селе) и предложить ему сформировать правительство. Савинков бросился в Царское Село, говорил с Плехановым, но тот отверг предложение. Добирались до Гатчины и некоторые другие, как говорили на

Руси, вчерашние «поплечники» Керенского (В. Чернов, В. Станкевич и др.). Они давали разные советы, но затем исчезали также неожиданно, как и появлялись.

После Пулкова Керенский решил сложить себя полномочия. На листке бумаги, вырванном из блокнота, своим невероятно неразборчивым почерком он торпливо написал: «Слагаю с себя звание министра-председателя, передаю все права и обязанности по этой должности в распоряжение Временного правительства. А. Керенский 1 ноября 17 г.». Таков был финал «керенщины».

Но в Гатчинском дворце еще разыгрался ее драматический эпилог. В Гатчину прибыли большевистские парламентарии П. Дыбенко и В. Трухин. Керенский понимал, что Дыбенко наверняка сумеет договориться с представителями казаков. Действительно, этот бывший матрос, могучий, красивый и веселый, легко завоевал симпатии казаков. В шутку он предложил их представителям во главе с есаулом Ажогиньим поменять «ухо на ухо»: «Вы нам Керенского, а мы вам Ленина». Казаки хохотали. Договорились об условиях перемирия: большевики пропускают казаков на Дон, а казаки выдают Керенского. Выдвинули они и политическое пункт: большевистское правительство остается, но без Ленина и Троцкого! Тут Дыбенко и Трухин разыграли небольшую сценку.

— Уважим? — с серьезным видом спросил Дыбенко.

— Плевое дело! О чем речь? — равнодушно ответил Трухин и соглашение было заключено.

Краснов советовал Керенскому ехать в Питер, обещал дать охрану. В противном случае он ни за что не ручался.

Много позднее, в мемуарах Керенский писал, что он и его адъютант Н. Виннер решили покончить с собой. Но трагедии не случилось. С красновскими казаками к столице шла небольшая эсеровская дружина. Вероятно, кто-то из ее состава в своих в мемуарах Керенский не рассказал об этом) в последний момент подал руку спасения «первому любимцу революции». Керенского переодели в матросскую форму, надели шоферские очки и сумели быстро провести через обширный двор Гатчинского дворца. (У Керенского была стремительная «бегающая» походка, в охранке ему присвоили кличку «Скорый»). Здесь уже ждала машина. Как только Керенский сел в нее, она помчалась. Шофер насвистывал что-то из репертуара Вертинского.

Время Керенского кончилось. Как писал историк С. Мельгунов, Россия «двинулась вперед с фонарем Ленина в руках».

Подполье

Отказавшись от власти, Керенский передал ее Временному правительству. Но этого правительства уже не существовало. Арестованные в Зимнем дворце, все его члены были препровождены в Петропавловскую крепость. Впрочем, вскоре их оттуда выпустили. Некоторые эмигрировали, другие со временем поступили на работу в различные советские учреждения и работали там вплоть до сталинских репрессий. (См. «Долой Временное правительство!» — «Отечественная история»: 2006, # 4). А что же Керенский? После Гатчины он скрылся. Жил в глухомани под Новгородом, затем неподалеку от Петрограда, в самом Петрограде, в Финляндии и в Москве. В эти месяцы он еще окончательно не терял надежды вернуться в большую политику. Писал обращение к народу в эсеровскую газету «Дело народа»,

призывая «помниться» и «оставить безумцев-большевиков». Порывался даже выступить в Учредительном собрании, позднее намеревался перебраться в Самару, где с июня 1918 г. функционировало эсеровское правительство — Комуч.

Однако «связные» сообщали ему, что эсеровское руководство считает это опасным для Керенского и излишним для партии. Увы, Керенский уже выбыл из политической игры и превратился в «битую карту».

Между прочим, правомерен вопрос — а так уж тщательно разыскивали победители-большевики своего главного политического противника? Да, 2-й съезд Советов принял декрет об аресте Керенского. Найти и арестовать его было не слишком сложно. Жена Керенского — Ольга Львовна Барановская (он, правда, расстался с ней еще в начале 1917 г., но поддерживал хорошие отношения) с сыновьями Олегом и Глебом жила в Петрограде, зарабатывая набивкой папиросных гильз табаком на продажу и работая машинисткой. Весной 1918 г. она была арестована и этапирована в московскую ЧК, однако вскоре ее освободили. Некоторое время она жила в Усть-Сысольске, где ее вновь арестовывали и вновь освобождали. Позднее Ольга Львовна с сыновьями переехала в Котлас, и, достав эстонский паспорт, выехала за границу. Разыскать и арестовать Керенского при таких условиях было нетрудно. Но имелся ли в этом политический смысл для только что установившейся Советской власти? Керенский был социалистом-революционером, причем его революционная деятельность превосходила революционную деятельность многих коллег по Временному правительству, освобожденных из-под ареста в Петропавловке. Как адвокат он защищал большевистских боевиков, туркестанских эсеров, армянских революционеров, возглавлял общественную комиссию по расследованию Ленского расстрела, активно выступал против антисемитского шабаша, учиненного в связи с «делом Бейлиса», защищал большевиков — депутатов Государственной думы и др. Кстати сказать, и в отношении Керенского (в бытность его главой Временного правительства) к Ленину тоже не все представляется таким уж ясным. После июльских событий при большом желании властей Ленин мог быть арестован без особого труда, но этого не случилось. Ленин скрылся и найти его никак не могли. Нельзя исключить того, что определенную роль тут играли политические соображения.

Конечно, для масс, наэлектризованных дооктябрьской большевистской агитацией, арест и суд над бывшим главой буржуазного Временного правительства явились бы еще одним наглядным свидетельством революционности новой (Советской) власти. Но с другой стороны, принятие репрессивных мер против широко известного борца с царизмом, главы, даже по признанию Ленина, самой демократической страны в 1917-м г., поставило бы большевиков перед нелегкой как внутривнутриполитической, так особенно и внешнеполитической проблемой.

Между тем, созданный подпольный эсеро-меньшевистский «Союз возрождения» решил направить Керенского в Европу для переговоров о предоставлении военной и иной помощи эсеровским правительствам (Комучу с центром в Самаре и Временному Сибирскому правительству с центром в Омске). Эти правительства образовались после свержения здесь Советской власти в результате восстания (в мае 1918 г.) отправляемого из России на Запад Чехословацкого корпуса. Войска этих правительств сражались на Волге и в Сибири против Красной Армии под лозунгом восстановления власти Учредительного собрания, которое ленинский Совнарком распустил 5 января 1918 г.

Керенскому достали паспорт на имя сербского военнопленного Марковича. (С помощью англичан сербы эвакуировались на Запад).

Знали ли об этом соответствующие органы? Могли знать. Но Москве было понятно, что и за границей на Керенского будут смотреть как на уже отыгранную политическую карту. Позднее Керенский вспоминал, как в сопровождении нескольких друзей в один из теплых июньских дней он вышел из дома на Патриарших прудах, в котором жил, и, группа пешком беспрепятственно дошла до Ярославского вокзала.

В сербском эшелоне Керенский доехал до Мурманска. Здесь он перешел на французский крейсер, «Адмирал Об» и 21 июня 1918 г. прибыл в Англию. А в России в антибольшевистской войне тем временем многое менялось.

Возложенная на Керенского миссия не удалась. Эсеровский период борьбы с большевиками закончился. В России поднималось «белое движение», отбросившее флаг Учредительного собрания января 1918 г. и фактически стремившееся установить военную диктатуру.

В Лондоне, а затем и Париже Керенскому давали понять, что «лузеры» здесь не в почете, и что большую политику в России отныне будут делать другие люди. Готовились внешнеполитическая переориентировка на военных лидеров «белого движения», которые для Керенского и др. являлись такими же антидемократами, как и большевики.

ЧУЖБИНА. ОТМЩЕНИЕ ЗА САМООБМАН

В эмиграции Керенскому пришлось вести нелегкую жизнь. Казачий сотник Карташев, не подавший Керенскому руки в дни красновского похода на Петроград, был лишь первой ласточкой. Теперь Керенскому приходилось испытывать оскорбления и похуже. Но он не падал духом.

В начале 20-х гг. издавал газету и еженедельник «Дни», а в 30-х гг. — еженедельник «Новая Россия». Много писал, стремясь главным образом оправдать политику Временного правительства.

Но жизнь на чужбине заставляет много понимать по-другому, многое переоценивать. Так и Керенский здесь, в Европе, осознал иллюзорность преклонения русской либеральной интеллигенции (и своей собственной) перед Западом. В статье «Союзники и Временное правительство» он писал: «Той Европы, которую носила в своем сознании русская интеллигенция, никогда вообще в природе не существовало. Мы думали, что там, за далекими, бескрайними русскими просторами, вдали от жестокой царской реакции, есть блаженные страны всяческого демократического и гуманистического совершенства! Увы, этой, я бы сказал, «русской Европы», созданной по образу и подобию наших собственных политических идеалов, мы, оказавшись в эмиграции, нигде не нашли... За наш самообман мы отомщены. («Современные записки» т.55, Париж, 1934, с.279).

Керенский воочию увидел то, о чем писал еще А. Герцен. На Западе «жизнь свелась на биржевую игру, все превратилось в меняльные лавочки и рынки-редакции журналов, избирательные собрания... Человек de facto сделался принадлежностью собственности, жизнь свелась на постоянную борьбу из-за денег» (цит. по: А. Герцен. Повести. Былое и думы. Статьи. М., 2002, с.306).

После поражения Франции в войне с Гитлером Керенский со своей второй женой Т.-Л. Триттин уехал в Португалию, где получил разрешение на въезд в США.

Когда гитлеровская Германия напала на СССР, Керенский занял твердую позицию безусловной поддержки Красной Армии. Он призывал всех россиян — «и властвующих и от власти страдающих» — «поставить крест над вчерашним днем». «Необходимо, — писал он, — содружество власти с народом, доверие народа к власти, потому что дело идет об уничтожении самой России, как имперского и сверх-национального единств, о жизни и смерти России». Керенский твердо верил в победу России, но он был также убежден в том, что после победы необходимыми и неизбежными станут перемены, и Россия «будет другой, совсем другой», «тоталитарная большевистская диктатура останется в прошлом». Он писал Сталину о своем желании приехать в Москву, но не получил ответа. В самом деле, что мог ответить ему Сталин? Как минимум — посоветовать по-прежнему размышлять о послевоенном будущем Советского Союза, находясь там, далеко за океаном.

Вскоре после войны Керенского постиг тяжелейший для него удар — смерть жены Нелль. Он, однако, не забывал политику. Холодная война создавала для этого почву. Весной 1949 г. по инициативе Керенского и В. Чернова в Нью-Йорке была создана так называемая «Лига борьбы за народную свободу», в которую входили эмигранты как первой, так и второй, послевоенной, волны. Прожектов у «Лиги» имелось много, но реальных дел почти никаких. Постоянно возникали разногласия и ссоры между старыми и молодыми эмигрантами.

К концу 50-х гг. Керенского все больше и больше стало занимать его прошлое. Надо заметить, что о Керенском писать нелегко. Он сам был себе историк. Неоднократно писал мемуары (наиболее полные — «Россия на историческом повороте», книга вышла в Лондоне в 1966 г., переведена на русский язык в 1993 г.) и совместно с историком Р. Браудером готовил трехтомную публикацию материалов «Русское Временное правительство, 1917 г.» (издана в Стэнфорде, США в 1967 г.).

В конце 60-х гг. в жизни более чем 80-летнего Керенского появилась еще одна женщина — Елена (Эллен) Ивановна Иванова-Паузрс. Она стала для него и дочерью, и опекуном и другом. Благодаря ей, Керенский еще несколько лет как-то «тянул» — дряхлый, ослепший.

Он умер в июне 1970-го г. почти в 90-летнем возрасте, намного пережив всех своих друзей и врагов незабываемого 17-го года. В одном из последних обращений он писал, что уже не увидит свободы и демократии в России, но другие поколения увидят. Мы увидели.



Ася Лapidус

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ — ПОНЕМНОГУ ОБО ВСЕМ

Памяти мамы и папы

Это было, было и прошло ...

Александр Вертинский

Москва-красавица

Никуда не денешься, по рождению и, пожалуй, по воспитанию — я из Москвы. Хоть папа и научил меня разбираться в путанице проходных дворов, а мама — вглядываться в экраны вечерних окон, за всем этим — она — моя наставница — эклектическая и провинциальная, сановная и беспутная — столичная и заштатная Москва-красавица. Проулки-переулки ее, звон трамваев и шорох троллейбусов, запах лип и тополиный пух, медлительный танец снежинок под фонарем — все это у меня в крови. Московская заплетающаяся скороговорка — это наша бесценная порода такая — до самой смерти я останусь девочкой из центра Москвы.

Тридцать лет и три года я там не была и не тянет — сама удивляюсь. А на прощание запомнила — свежий снег, уже не очень чистый — тускнеющий, и протопанные дорожки на снегу серебристой тенью под неярким зимним солнцем.

Конфетки-бараночки

Как и положено, немолодые родители баловали единственного ребенка — которому многое что позволялось — например, читать все без ограничения — ни малейшей цензуры — полная свобода слова. Мне кажется, тут они были правы — нельзя отнимать у книголюбца драгоценное лакомство. А настоящих лакомств по тем суровым, пугающе безличным временам не было. И тем не менее моя детская жизнь была исполнена необыкновенным, обещающе-сюрпризным, детскипустяковым, дразнящим счастьем, редкие случаи которого все-таки случались. И это по голодным-холодным угрюмым послевоенным годам, когда мелких радостей просто не существовало, как не существовало детских развлечений, игрушек и пестрых книг с картинками.

Папа тогда писал мало интересную мне книжку про нефтяного академика Губкина, и когда ходил консультироваться к академической вдове, неизменно брал меня с собой. Тут-то я сразу же и пропадала в недрах домашней библиотеки в антресолях — в книжном раю — трогать не очень разрешалось, но не без снисходительности. Тем временем я столбенела от лицемерия красиво переплетенных томов, благоухающих волнующим тонким запахом книжной пыли. К тому же в поощрение за примерное поведение меня жаловали угощением — ставили серебряную корзинку с печеньем на хрустящей салфетке — и каким печеньем! Хрупкое нежной фарфоровой хрупкостью, оно по диагонали было поделено на две поло-

винки — темнокричевую шоколадную и ванильную — восхитительно терракотового цвета — такого я не видала никогда. Вкус не имел значения. Какое там! Пронзительная подавляющая, летучая — дрожащая красота момента казалась да и была магическим чудом, сказочностью.

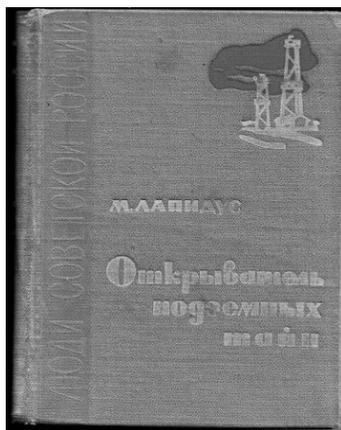
А реалии жизни были чреватые совсем другим — папину книжку приняли к печати, даже верстка пришла и аван заплачен — но ее все равно рассыпали — за политической неблагонадежностью автора.

Увидела свет она только в 63-ем — уже на закате оттепели. Кстати, на гонорар за нее, в совокупности с реабилитационными «кроватыми деньгами» была построена кооперативная квартира на Новолесной, избавившая моих родителей от коммунального быта.

Скромная книжка небольшого формата. У меня сохранилось несколько экземпляров, которые теперь стоят-дремлют на книжной полке вместе с другими папиными публикациями, но другие — маскараром под приличествующими псевдонимами, а эта почему-то без надлежащего соответствия.

Впрочем, в стародавние доисторические времена — задолго до моего рождения, в 30-ом году, еще до отсидки — папа печатался под своим собственным именем — о чем я узнала совсем недавно, можно сказать, только что — через вездесущий и всезнающий интернет.

Не могу удержаться — хочется поделиться этим неожиданным — дорогим для меня открытием. Вот она — его книжка — картинкой из всемирной паутинки. Никуда не денешься — все в духе времени — название, тематика, стиль... И дешевая бумажная обложка кажется шероховатой...



Название: Великие работы
Автор: Лapidус Мойсей Абрамович
Издательство: Молодая гвардия **Год:** 1930

Большая Полянка, дом Обезьянка, квартира Мартышка, хозяин Мишка

Замоскворечье — Большая Полянка, дом 3/9, кв 20 — вход со двора — большой на весь квартал красавец-дом, по-над крышей которого проживало дружное семейство пингвинов — любителей мороженого — каждый пингвин прилежно нес по стаканчику с пломбиром — все это загляденье разноцветно светило по вечерам и называлось рекламой. Мало того - эти баснословные края соседствовали с конфетной фабрикой Красный Октябрь, и оттуда в особо везучие дни тянуло сладостным шоколадным духом. А главное, если, войдя в подъезд, подняться на лифте — то там на шестом последнем этаже жили Соня, Сеня и Ира. И там меня не просто любили — там меня баловали наперегонки. Дома, хоть и лелеяли, но все же — так не потворствовали, а на Полянке я была привилегированно младшенькой.

Соня была маминной старшей сестрой, и были они с мамой так похожи, что я их совершенно не различала и обеих называла мамой — Ира, конечно, ревновала, но потом, когда я научилась их различать, перестала. Она была уже школьница, у нее были длинные дымчато-золотистые совершенно живые пепельные косы, которыми я невероятно гордилась — тем более, что у меня своих кос не было совсем — меня мучили в парикмахерской свиристящими ножницами — стригли в кружок, как говорила мама. Но потом все-таки вяли моим молям — мне так хотелось, как Ира — к школе кое-какие хвостики мне отрастили.



Ирочка с косичками

С Ирой мы дружили сердечно — казалось бы, разница в возрасте — но она везде брала меня с собой — и к подругам, и в театр — мы с ней слушали Богему и Севильского цирюльника, а в Художественном смотрели Марию Стюарт с Тарасовой и Степановой. Она рассказывала мне разные истории из книг и кино, и просто от себя, и ей не надоедало повторяться, когда я просила ее об этом.

А Соня и Сеня прямо-таки души во мне не чаяли. Когда мама попала в больницу с губельным брюшным тифом, Соня с Сеней забрали меня к себе — а я — я

абсолютно не чуяла беды, мне было так уютно, как дома, а в чем-то еще и облегченнее — заметно жизнерадостнее. Все-таки у нас дома явственно ощущалось разительное, хоть и тщательно скрываемое, неблагополучие — никуда не денешься — клейменный, обреченный на безработицу папа, тщетно прячущийся за словесное легкомыслие, и мама в напряженном ожидании худшего. Не любила я только сонин разварной макаронный суп, предпочитая мамин — вермишелевый с твердыми лапшичками.



Соня всячески обихаживала меня, развлекала, и как я ни сопротивлялась — кормила на убой — и это в голодное послевоенное время — родной дочери зачастую отказывали, а малому ребенку подсовывали. Сеня щедро делился со мной разными для него привычно полезными, а для меня затейно занимательными предметами — давал поиграть блестящим серебряным стаканчиком для мыльной пены и кисточкой для бритвы, и все шутил со мной, а сам смеялся во весь рот — беззвучно и весело. Он был тенор, но работал по какой-то другой части, и я не помню, чтобы он пел. А Соня была самой настоящей красавицей — не деланной, а от рождения — походка, стать, чертылица. Не в пример маме, она любила наряжаться, что называется, выглядеть. И учила меня танцевать вальс — и раз-два-три, раз-два-три...

По тундре по широкой дороге

Папа не рассказывал деталей — не любил он об этом, но кое-что я все-таки усвоила из его разрозненных упоминаний вскользь.

...Когда пробил час освобождения, они не стали дожидаться навигации — лагерный опыт подсказывал — минута промедления чревата новым сроком. Они — это папа с солагерником — пожилым профессором экономики. Итак — вперед — пешим ходом по тундре ни много, ни мало — 200 километров. Воркута — нет, не Ленинград. Конечная цель - столица нашей родины Москва. Голодные, холодные, больные — цинготные. Ночевали, где придется — местные жители охотно привечали профессора —

считая, что профессор это врач, и сколько им не объясняли, что он по другим наукам — не верили и надеялись на исцеление одним только его присутствием — осматривать больных он категорически отказывался — но они не обижались, они надеялись.

— Это было ужасно, никакой медицинской помощи там просто не существовало — разве что понаслышке. Какой это был год — точно не знаю, предвоенный был год.

Родная речь

Как-то папа, у которого, между прочим, не чета мне — безнадёжной отличнице — в таблице по русскому языку и словесности была, отнюдь не первостатейная пятерка, а неизменная скромная — никуда не денешься, все-таки второсортная четверка, заметил, что мой словарный запас не больше семисот слов.

ТАБЕЛЬ
Лидия Мясина
ученица III класса Самарской 1-й гимназии
1917 — 1917 учеб. год

Предметы учеб.	Оценки по четвертям учебного года					Средний балл					Средний балл по предмету	Средний балл по классу		
	I	II	III	IV	Средний балл по четверти	по учебнику	по задаче	по списку	по списку	по списку				
Русский язык	X													
Русский язык с грамматикой	5	4	4	4										
Физико-математические науки														
Арифметика	5	5	5	5										
Алгебра	5	5	5	5										
Геометрия														
Трехмерная геометрия														
История														
География	5	5	5	5										
Религиозно-нравственные науки	5	5	5	5										
История отечества	5	5	5	5										
История России	5	5	5	5										
История Европы	5	5	5	5										
История Азии	5	5	5	5										
История Африки	5	5	5	5										
История Австралии	5	5	5	5										
История Америки	5	5	5	5										
История искусства														
История литературы														
История музыки														
История живописи														
История архитектуры														
История скульптуры														
История декоративного искусства														
История театра														
История музыки														
История живописи														
История архитектуры														
История скульптуры														
История декоративного искусства														
История театра														
История музыки														
История живописи														
История архитектуры														
История скульптуры														
История декоративного искусства														
История театра														
История музыки														
История живописи														
История архитектуры														
История скульптуры														
История декоративного искусства														
История театра														
История музыки														
История живописи														
История архитектуры														
История скульптуры														
История декоративного искусства														
История театра														
История музыки														
История живописи														
История архитектуры														
История скульптуры														
История декоративного искусства														
История театра														
История музыки														
История живописи														
История архитектуры														
История скульптуры														
История декоративного искусства														
История театра														
История музыки														
История живописи														
История архитектуры														
История скульптуры														
История декоративного искусства														
История театра														
История музыки														
История живописи														
История архитектуры														
История скульптуры														
История декоративного искусства														
История театра														
История музыки														
История живописи														
История архитектуры														
История скульптуры														
История декоративного искусства														
История театра														
История музыки														
История живописи														
История архитектуры														
История скульптуры														
История декоративного искусства														
История театра														
История музыки														
История живописи														
История архитектуры														
История скульптуры														
История декоративного искусства														
История театра														
История музыки														
История живописи														
История архитектуры														
История скульптуры														
История декоративного искусства														
История театра														
История музыки														
История живописи														
История архитектуры														
История скульптуры														
История декоративного искусства														
История театра														
История музыки														
История живописи														
История архитектуры														
История скульптуры														
История декоративного искусства														
История театра														
История музыки														
История живописи														
История архитектуры														
История скульптуры														
История декоративного искусства														
История театра														
История музыки														
История живописи														
История архитектуры														
История скульптуры														
История декоративного искусства														
История театра														
История музыки														
История живописи														
История архитектуры														
История скульптуры														
История декоративного искусства														
История театра														
История музыки														
История живописи														
История архитектуры														
История скульптуры														
История декоративного искусства														

А теперь никто не говорит нашим слогом, скажем, как папа незаметной скороговоркой — "прошу прощения", а развязно влезают со своим — "я извиняюсь". Сама-то я сохранила родное наречие — возможно, по причине иностранного окружения, и потому в современном лексиконе путаюсь — особенно в иноязычных словах — иногда даже приходится переписывать их латиницей, чтобы понять смысл. А уж подтекст новоречия для меня безвозвратно утерян, впрочем я не уверена — существует ли он сейчас. Наша же домашняя фразеология состояла из сплошного подтекста и была не просто семейно-фамильной реликвией - по тем безотрадным глухонемым временам она служила защитой, охраняя от враждебного окружения — мы ведь, как ни кинь, были отщепенцами. Отщепенство — не привилегия, оно пропитано горечью безнадежной отверженности.

Домашний мир — с родным его призывом млечным - родная речь, не столько язык родных осин, сколько зашифрованный код обреченности — нет, не в предчувствии — в безысходном ожидании непогоды, в отчетливом ощущении, что тучи над городом встали, а если точнее — тяжело повисли. Тогда это было таким привычным, что казалось - отщепенцами были все — по-разному, конечно, но изгойство выглядело знакомым знаком места-времени, официальным призывом которого было "плечом к плечу". А на деле — "Встаньте, дети, встаньте в круг, встаньте в круг, встаньте в круг!" — даже эта милая песенка была не про нашу честь — мы были вне круга.

Картофельная шелуха

Мы с мамой, случалось, ходили в гости — редко, но бывало — вдвоем — без папы и всегда днем. Мама — по причине хронической безработицы и моего малолетства — пестовала-пасла меня, старательно выгуливала — то в сад Эрмитаж на Каретном, то в Аквариум на Маяковской — уводила из дома, чтобы не сидела я сиднем по целым дням в душном полутемном подвале, и заодно иногда вместе со мной навещала своих приятельниц. Надо сказать, я любила ходить к маминим подругам, даже если бывало скучновато — главным был ритуал с подтекстом неистребимой, хоть и подавленной женственности.

Я безусловно замечала прелесть робких атрибутов всей этой легковесной красоты — шляп, перчаток, запаха пудры, непередаваемую таинственность содержимого женской сумки. Но иногда, по малолетству, со мной случалось дикарски-потребительские приступы-преступления, когда я потихонечку в одиночестве с тайным жестоким-жадным наслаждением жевала фрукты-ягоды на маминой шляпе, которые никак не изживывались. Или когда вдвоем с подружкой Таней Фросиной гоняла по полу за непослушный густоволосый хвост чернубурю звериную лису состеклянным пугающе-сосредоточенным взглядом — драгоценную пушную добычу из гардероба занудной таниной тетки-бухгалтерши. А то еще — было дело — варварски — с мясом отодрала похожую на цветную сосульку, льдистую брошку медведя, украшавшего мою зимнюю вязаную шапочку, и к ужасу родителей, просто съела стеклянного мишку — разжевала и проглотила. Но такое случалось редко, почти никогда.

К маминим подругам мы не ходили, а заходили. На улице Чехова мы мимоходом навещали непомерно черноволосую Мирру с напудренным лицом, ярко-помадным ртом и в шляпе на лбу, с угрожающим перпендикулярным бангом-пропеллером, которую она надевала, когда мы все втроем — не задерживаясь в душной тесноте заставленной, как попало, комнаты, выходили прогуляться по Страстному

бульвару. Замечу в скобках — через 50 лет улице Чехова вернули ее старое название — Малая Дмитровка, и хотя во времена моего детства многие, в том числе мои родители, именно так ее и называли, в моей памяти — это все-таки улица Чехова — впрочем, теперь именная улица Чехова находится на окраине незнакомой мне Москвы — повидимому, так ей и надо.

На Каляевской (тоже ныне благополучно переименованной) мы с мамой стучались в окошко первого этажа, где жила незаметная Циля Забелышенская с сыном Юрой — он старательно развлекал нас - показывал фокусы — бледный мальчик, очень застенчивый и очень приличный — даже как бы дрессированный — и совсем, совсем не интересный. Его мама явственно спотыкалась в разговоре — у нее был тяжелый дефект речи. Было не то, что одурающе-уныло, было как-то уж очень отчетливо — нескрываемо бедно и еще буднично-скучно — блекло, несмотря на фокусы, которые почему-то ни капельки не удивляли.

А иногда, неспешно перебирая путаницу Бронных переулков, мы заворачивали к Марии Алексеевне — немолодой и высокой, с кудельками дымчатых волос, казалось, навсегда усталой. На наш звонок она чуть — как бы недоверчиво, совсем слегка приотворяла входную дверь и тихонечко на цыпочках, шопотно, почти молча, вела, не останавливаясь в прихожей, в скупую освещенную комнату.

Обе женщины не сажались, а присаживались как бы на минутку, и тут же, продолжая давно начатый бесконечный разговор, подхватывали — вытирали быстрые слезы по щекам. Я почти ничего не могла разобрать — Мария Алексеевна говорила неслышно, к тому же по-русски очень ломано, да и сдержанная многозначительность пауз нередко оборачивалась недоговоренностью — многоточием молчания.

Из этих разговоров, и позже, из маминих рассказов я поняла, что они бежали из Венгрии от нацистов, потому что муж Марии Алексеевны был коммунистом и евреем — и как только пересекли границу, так его из огня да в полымя — прямо сразу отправили в места отдаленные, и он исчез навсегда. А не еврейка и не коммунистка, но все-таки иностранная венгерка Мария Алексеевна осталась с двумя малыми детьми — девочками с нерусскими именами, которых я не запомнила, потому что и не видела никогда. Распродав все свое мало-мальски заграничное, она стала шить — стала известной по Москве портнихой и приобрела имя-отчество, по которому и мама и я обращались к ней, а она называла маму просто Розочка. Боялась она всего и всех отчаянно. Только с мамой случилось доверие — по чутью безнадежности и бесправия. Думаю — они познакомились, когда просто стояли в очереди в продовольственном магазине, где чернильными цифрами у каждого — прямо на руке проставлялись номера, чтобы по порядку — без обману.

Между тем Мария Алексеевна спохватывалась и вносила чай на подносе, где на чистой-пречистой твердо-крахмальной салфетке громоздились свежее испеченные эклеры, каждый в своем картонном гнездышке. Она учила маму, как печь эти воздушные пирожные — они были из картофельной шелухи и пеклись прямо в картонках — и замечательно пахли и кондитерской и дымком — не без примеси чуть пригоревшего картона — но все равно было и вкусно и красиво-нарядно.

А потом, как по команде, обе плаксы переставали плакать, и так же, как и плакали — вдвоем — начинали наперегонки улыбаться, потому что Мария Алексеевна давай меня наряжать и крутить и вертеть — примерять. Она безжалостно отрезала для моих нарядов куски ткани от материала заказчиц — мама при этом заметно пугалась, но Марии Алексеевне маминиспуг только духу придавал — помолодевшие треугольные глаза ее мстительно сияли голубизной, и на щеках появлялись ямочки

Она не любила советского всей душой и очень тосковала по Венгрии и Будапешту — как-то безвыходно. Когда в Москву приехала на гастроли венгерская оперетта, и папа через знакомых достал ей билеты на Сильву, она поцеловалав ему руку — я сама видела.

А потом ее девочкам — всеми правдами и неправдами — удалось вернуться на родину, и тогда она, не раздумывая, уехала вслед за ними.

Совсем недавно по телевизору говорили о целебности картофельной шелухи. А я это знала всегда — не только по угощениям Марии Алексеевны, витаминным и по сути и и по антуражу — любая история — никуда не денешься — обязательно чревата предысторией.

Так вот, задолго до моего рождения, когда у папы от острого авитаминоза случилась цинга и куриная слепота, они тогда в лагере спасались картофельной шелухой. В отличие от принудительного хвойного отвара — вонючего и клейкого и совершенно бесполезного, она действительно помогала.

Gläubige

Сталин — наша слава боевая!

Сталин — нашей юности полет!

Из песни слова не выкинешь — конечно — конечно-конечно, я, как все дети моего поколения, была распропагандирована до последней степени — особенно в этом смысле потрудились Московская образцовая школа №175, да и что греха таить — учительница первая моя — Евгения Карловна.

Впрочем, трудно винить кого бы то ни было — так время распорядилось — никуда не денешься — все мы — оптом и в розницу — добровольно и принудительно — не мытьем, так катаньем слагали радостную песню о великом Друге и Вожде.

Хорошо еще, что в нашем подвальчике на две проходные комнаты приходилась одна радиоточка — нет, не у нас, а за стенкой, где в соседнем уделе — у Софьи Исаевны проходили мои (почти по Вуди Аллену) *Radio Days*. Наведывалась я к ней на детские передачи, как правило, в ее отсутствие — не злоупотребляя ее поощрительным разрешением, и потому достаточно редко и выборочно, и под строгим родительским надзором. Так что, к счастью, патриотическая трескотня пионерских зорек миновала меня ради незабываемой напевности Конька-Горбунка:

Я спю такую песню:

Ходил молодец на Пресню

Под вечерок

Путь не далек...,

вкрадчивой сказочности Оле-Лукойе, раскрывающего надо мною свой волшебный зонтик и восхитительно увлекательных приключений Знаменитых капитанов:

В шорохе мышинном, в скрипе половиц

Медленно и чинно сходим со страниц,

Шелестят кафтаны, чей там смех звенит,

Все мы капитаны, каждый знаменит.

— я замирала, заворожённая таинственными радиоголосами.

Тем не менее всепроникающая пропаганда-агитация не проходила даром — родители только диву давались, но не переубеждали — да и не переубедить было,

к тому же просто боялись за ребенка — подневольный опыт подсказывал спасительность незнания.

Домашнее, конечно, все-таки противостояло тяжеловесной агитке просто своим опрометчивым существованием. Помню — в ответ на мои правоверные сентенции мама с папой только переглядывались и заговорщически — почти не слышно на идише — *глайбике* (немецкий эквивалент *Gläubige*) — набожная, значит. Я понимала, о чем они — но как с гуся вода. Никуда не денешься — мое детство было проникнуто советским благочестием — к счастью, в моем случае не экзотическим — по складу характера я была довольно флегматичной.

Но когда Вечно Живой все-таки умер, я иступленно плакала — не просыхая — родители молчали — никакой поддержки. Тогда выплавав горе, я отправилась в школу, где во дворе нашей привилегированной 175-й наткнулась на учительницу английского языка увесистую Елену Михайловну Булганину — жену будущего советского премьера.

— Ты чего не плачешь? — грозно спросила она. Грубое пористое лицо ее добра не обещало.

Я виновато опустила голову. Мне было стыдно и страшно — не только от ее угроз, хотя и от них тоже. Кругом полыхала траурная музыка, озвученная голосом Левитана, казалось, мир рушится — конец.

В предвесеннем воздухе плыла истерика, истекая слезным истошным народным религиозным горем, а родители — родители совершенно не плакали и даже, к моему удивлению, похоже, и не огорчились. Мне было жалко их непонимания, а им — моего. Но ни слова.

— Ходынка, — почти неслышно прокомментировал папа похоронное столпотворение, проговорил брезгливо и как-то отсутствующе.

Кого люблю, тому дарю

Мама росла в доме с больным отцом. У него была тяжелая астма. Приступы удушья сопровождались тишиной и запахом лекарств. Жизнь словно останавливалась под знаком горя — замирала в молчании. Огромный их дом казался пустым, а потом и впрямь опустел - дети разъехались кто куда — вот и мама уехала в Москву учиться. Там ей нравилось все, но мучительная тревога за больного отца не отпускала тяжелым камнем — новая заманчивая молодая жизнь была скорее декоративным фоном, а камень — он камень и есть.

На летние каникулы мама ездила домой обязательно с гостинцами. Загодя покупала красивый глиняный кувшин — под названием горлачик, и когда бы ни случилось угощение — она не ела все эти сласти-сладости - по тогдашнему — леденцы и всякие подушечки, ириски там разные, а то и просто постный сахар, она их потихонечку припрятывала, хоть, бывало, очень хотелось попробовать. Так всю зиму и собирала конфеты в горлачик, как в копилку, и потом везла родителям.

Мама умела делать подарки, как никто, а вот принимать — нет — не привыкла, вернее, привыкла к будням, к затрапезу. На мамин день рождения папа неизменно приносил розы, и мама неизменно смеялась, что несет он измученный букет подмышкой, как венчик — цветами назад. Смеялась, но праздника как-то не выходило — мама не могла ничего для себя — не получалось у нее.

У меня еще есть адреса...

5-я Тверская-Ямская — она же улица Фадеева

Невдалеке от нашего Воротниковского, в паутине Миусских и Тверских-Ямских, по давно уже забытому адресу — ул. Фадеева, д.5 кв.10 — с незапамятных времен жили мои двоюродные братья Лева и Илья со своей мамой — моей тетей — Груней Константиновной. Мы часто ходили к ним — благо совсем рядом — обычно вдвоем с мамой, иногда с папой, а то и в полном составе — все втроем.

Там было царство, казалось, давно забытых — доисторических радостей — стрекочущий кинопроектор — волшебный фонарь со скачущими в темноте картинками, чудесная — старинной орфографии — детская энциклопедия с иллюстрациями, драгоценно переложенными легковесно летучкой тончайшей — папиросной бумагой, и в довершение ко всему — немислимые настольные игры, где все прыгало и плясало. Чудо продолжалось — мальчики играли со мной — Лева поднимал брови выше головы, Илья говорил не своим петушиным голосом смешную чепуху, и оба показывали теневой театр. Уходить совершенно не хотелось, но тетя Груня — не чета моим родителям — держалась порядка.

Мальчики нередко приходили к нам — и по отдельности и вдвоем — спускались в наш подвальчик — и тогда становилось и весело и интересно — как-то по-семейному в обнимку — уютно-тесно. Я любила их по-детски привязчиво — можно сказать, смотрела им в рот — еще бы — с ними было не просто интересно — с ними всегда было увлекательно, а уровень их щедрой любознательности был самой высокой пробы. Мне повезло — я росла на их глазах — с самого новорожденного младенчества — во время войны в эвакуации в Куйбышеве мы жили с ними все вместе у бабушки-дедушки — не сказать, что привольно, зато дружно.

В те времена суровая тетя Груня отнюдь не поощряла этой дружбы, и моя мама, опасаясь разногласий-раздоров, не хотела ее сердить, так что когда Лева хватался за мою коляску, чтобы подтащить ее на третий этаж — она просила: "Левочка, не надо. Мама будет недовольна, лучше я сама". Но Лева помогал — чем только мог, и младший тоже — еще совсем дошкольник Илечка не отставал от брата — пока мама крутилась по дому, читал ей сводки Совинформбюро — с собственными комментариями. Оба любили говорить с мамой о разном — вплоть до новостей из науки-техники.

Мама не просто привязалась к племянникам, она дорожила общением с ними — живительным во всех отношениях — оба увлеченно интересовались всем на свете и были заметно талантливы — искра божия их одушевленной любознательности скрашивала и голод и холод — всю безысходность военного времени сталинского разлива.

Мальчики росли без отца — папиного старшего погибшего в первые дни войны — любимого брата. Они рано повзрослели — Лева торопливо закончил школу экстерном, и поступив в институт, неизменно получал сталинскую стипендию — большое, надо сказать подспорье — пенсия за погибшего отца — профессора экономики была ниже стипендии студента-отличника. В семье считали каждую копейку — грошовой врачебной зарплаты тети Груни не хватало. Илечка, в свое время просветивший меня дошкольницу на предмет иррациональности числа π , пошел по стопам брата — 16-ти лет кончил школу и в институте тоже ходил в отличниках, конечно, с наградной стипендией — дети войны, знавшие нужду, не чуждались житейского — понимали, как маме одной тяжело растить их двоих, и помогали ей — преданно.

Тетя Груня растила их в жесткой строгости — либеральная доброта и любовь моих родителей пришлось им обоим очень кстати. Эти на редкость сердечные отношения сохранились на всю жизнь. Мы ездили к Лева в Дубну — тогда еще под кодовым названием Ивановко — неближний край — на конспиративном спецавтобусе без опознавательных знаков.

Между тем, мои гуманитарные родители с уважительным почтением относились и к физике и к физикам, хотя и с известным недоверием к небезызвестной конспиративной секретности, преисполненной почти незаметной подневольностью.

Однажды в самом начале 50-х Лева пришел приглашать родителей — на банкет по поводу защиты кандидатской. Ему уже было за двадцать. Заметно стесняясь собственных достижений, он прислонился у приголоки — чуть согнувшись — вырос выше нашего подвального потолка.

Они были скромными — мои двоюродные, и вовсе не паче гордости. Илья работал в ящике, и детали его научной биографии мне были недоступны. А Объединенный институт ядерных исследований, где работал Лева, все-таки имел международный статус, и хотя секретность, конечно, была, тем не менее слухи про Левины научные успехи до нас доходили. Где-то я прочитала, что он был одним из 38-и, сдавших теорминимум самому Ландау, и тут же спросила его — что да как: — Заниматься пришлось всерьез — вот и сдал. Хотелось понять, насколько я профессионально пригоден.

Кое-что он и сам рассказывал нам. Так он рассказал папе, что когда в 58-ом году в Дубну прибыл с визитом Жолио-Кюри, он захотел встретиться с Левой лично. Разумеется, это был научный разговор. Но в жизни нобелевского лауреата по физике был еще и другой мотив — он был пламенным коммунистом, и в беседе с большим уважением отзывался об отце Левы — советском политэкономе Иосифе Абрамовиче Лapidусе, труды которого когда-то изучал. Вот как бывает на свете.



В середине Жолио, а Л. Лapidус второй слева



И.А. Лapidус Предмет и метод политической экономики, 1930 г.

В детстве я больше дружила с Ильей, а повзрослев — слевой. Как-никак мы работали в одной области. Когда волею судеб и яростной антисемитской кампании 1967-го года я оказалась нетрудоустраиваемой, он меня устроил на работу в ИТЭФ. Надо сказать, что расплатился он за это сторицей. Через добрый десяток лет — не успели мы подать документы на эмиграцию, как его тут же хладнокровно и безжалостно разжаловали из замдиректоров в старшие научные. У него случился нервный срыв, и он умер от сердечного приступа, не дожив и до 60-и. Что говорить — и физики и лирики были крепостными, которых ничего не стоило сослать на конюшню и забить до смерти. А большой и почтительный некролог не замедлил появиться на страницах Успехов Физических наук — это уж, как водится.

Вероотступник — *Мешумед* — מְשׁוּמֵד

Послевоенное детство — вездесущий страх. Ничего не понимая, я, казалось, понимала все. И догадывалась о секретности, особенно когда не по-русски и обязательно шёпотом, и откуда-то знала, что это из иврита — есть такой древний язык — все самые секретные слова из него, хотя и не только из него — есть еще идиш — более разборчивый и доступный - похожий на немецкий. Идиш я понимала, и смысл всех этих таинственных слово-выражений усвоила с малолетства — сама не знаю как. Зашифрованность - часть нашей домашности — родители стараются, чтобы я не поняла, говорят шёпотом и головоломно, а я все равно разгадывала. А *мешумед* — значит опасный человек — предатель, об этом лучше шёпотом, чтобы предостеречь от доносчика. Можно было, наверно, говорить *стукач*, но так все говорили потом, когда уже не было такого страха, и говорили — нет, не громко, а чуть громче. Ходите тихо, говорите тихо — это из детства, а из книг я вычитала истинное значение таинственного слова - *мешумед* — это, оказывается, вероотступник.

Привычки разные...

— Дети, овсяный кисель на столе... Это Жуковский. — Смирно сидеть, не марать рукавов и к горшку не соваться — это опять Жуковский. И немножко, как и это стихотворение, из моего детства.

Когда я уныло размазывала кашу по тарелке, мне попадало по первое число — мама говорила, что кроме меня, никто так не ломается за столом — все едят, что дают и доедают, как положено — до конца — нечего ломаться, как копеечный пряник, а кривляться и манерничать за столом просто неприлично.

А я даже и не манерничала вовсе — во-первых, мне никогда есть не хотелось, во-вторых, тратить времени на еду было жалко — вокруг было столько интересного, не до еды тут. Но мама была не то, чтобы строгая — правильная. Она и папе замечала — правда, вполголоса и скорее даже глазами — Хлеб... — когда он держал хлеб в кулаке. Потом я узнала, что это по лагерной привычке.

Редко, но случалось — и он сидел неподвижно перед нетронутой тарелкой — это, когда на плите дымно подгорало, и мы с мамой замечали, что запах гари ему невыносим — тогда я дразнилась неженкой, да и мама недоумевала, хотя и тревожно беспокоилась — уж очень это на него непохоже было — он отсутствующе молчал.

Через много лет и абсолютно по другому поводу нашлось неожиданное объяснение — нехотя — не любил он об этом - было дело — на Воркуте стояла зима — промозглый холод, мокрые валенки сушились на огне и пригорали, густо пахло чадом — а кругом шли массовые расстрелы.

Кстати, о расстрелах — с папой сидел молодой солдатик, служивший на воле в расстрельных ротах. Об этом он вспоминал постоянно и казнил невероятнo — лицо каждого убитого стояло у него перед глазами, жизнь обернулась сплошным беспощадным кошмаром. Конечно, его посадили, и конечно, расстреляли — да он и ожидал расплаты, жил в предчувствии возмездия — говорил об этом, не переставая, с запрдельным ужасом — очень боялся — совсем молодой парень — лет двадцати с небольшим.

Как-то папа выругался при мне — случайно — я уже взрослая была — у него так грубо вырвалось — об общем знакомом — сука — он тут же не просто смутился, а весь — с головы до ног покраснел — от явной неловкости, совершенно потерялся — ну, а я, конечно, как ни в чем не бывало.

Никуда не денешься — тюремно-лагерный обиход оставил свой след навсегда в нашем семейном укладе — извольте — вот она припевом-напевом песенка из моего нежного детства — когда папа пел-напевал ее мне, в голосе у него звучала насмешливая ирония, но и грусть тоже. — а я — я ее помню наизусть (и не только ее) — могу спеть — пожалуйста:

*Говорила сыну мать — не водись с ворами,
В Сибирь-каторгу сошлют, скуют кандалами...*

Такая вот расплата случилась — путевкой в жизнь незаметно, но неизменно просочился казенный дом — и не только под нашу крышу, и не только лексиконом, манерами и гитарным перезвоном приклатненной романтики — а общим стилем по совокупности — бытнем-сознанием — да по всей стране — ничего тут не попишешь.

А теперь я почти ежедневно варю жидкую, как суп, овсянку-размазню — овсяный кисель — прав старик Жуковский — всякий нам дар совершен и даяние благо...

А мама, между прочим, когда во исполнение голодной мечты наесться вдоволь тыквенной кашей, сварила целую кастрюлю на молоке, да со всякими приправами, есть ее не смогла, оказалось — гадость несусветная.

Папа плакал

Время от времени мы получали письма в тонких нездешних голубых конвертах - по оттепели папа возобновил переписку с американскими родственниками, рассудив, что все равно хуже уже не будет, а окно в мир — пусть зарешетчатое — все-таки дает кое-какой просвет. Письма были замечательно интересными. Особенно от брата дедушки — социал-демократа - тоже Лапидуса. Со своей будущей женой он познакомился в ссылке. Там же близко сошелся со Скворцовым-Степановым. Позже пути их разошлись — Скворцов Стеранов стал большевиком-ленинцем - отцом политической цензуры, А Хаим Лапидус в 1905-м эмигрировал в Америку, куда бежала из сибирской ссылки через Аляску его нареченная невеста. В письмах — вспоминал он свое социал-демократическое прошлое — не без ностальгической нотки.

Надо сказать, папины заграничные адресаты тактично понимали нашу несвободу и не задавали вопросов. Но однажды кто-то из знакомых наших американских родственников попросил кого-то разыскать. И папа нашел, созвонился и пошел передать привет. Вернулся — на нем лица не было. Привет был адресован человеку, давно погибшему в Гулаге. Осталась семья — жена и двое крошечных детей. Дети росли не просто способными — они были по-настоящему талантливы. Но из-за еврейской фамилии старший мальчик никак не мог попасть в институт — он повесился. Младшая девочка видела брата в петле — и сошла с ума. Рассказывая это, папа плакал.

Монетки-копеечки

А на восьмое марта, которое было Международный Женский День, полагалась мимоза, тревожный свежий запах которой приносил — нет, не весну, а ее ожидание - отсвет. Я мало чего понимала, но всеобщая предвесенняя праздничность была особенной, вот и мне захотелось подарить маме особенное, такое, чего ни у кого не было, тем более, что мне удалось найти валявшуюся на тротуаре совершенно новехонькую, сияющую, золотую — прямо как солнце — трехкопеечную монету.

Хоть папа зловердно называл восьмое марта днем текстильщиц, всякий раз поясняя, что аккурат в этот день по старому стилю и началась февральская революция — именно с забастовки текстильных работниц - мне не хотелось замечать иронию — тем более, что празднично-подарочная суматоха была всеобщей.

Между тем, как оказалось, очень кстати, мамина сестра — любимая моя тетка — Соня спросила меня, что я собираюсь подарить маме к восьмому марта

— Еще не знаю, — неловко соврала я — выдавать было нельзя — ведь сюрприз это тайна.

— А деньги у тебя есть? — выясняла она сочувственно.

— Есть, — я показала зажатую в кулаке денежку, драгоценно сверкнувшую на ладони.

Соня рассмеялась — необходимо, но все равно я обиделась на шуточность, не вязавшуюся с серьезностью задуманного, но деньги, которые она мне тут же и дала, взяла без малейших колебаний — замечательно хрустящий рубль и еще что-то, на мой взгляд, менее значительное, — идея подарка была важнее обиды — в другое время не взяла бы. От ее сопровождения я отказалась.

А потом пошла в магазин на улицу Горького, рядом с Пушкиным — одна, хотя мне категорически переходить дорогу не разрешалось — но там продавались цветы — и корзинами и так — на любой вкус, а я давно волнительно присмотрела эту ветку с почти как настоящими оранжевыми кленовыми листьями — восковое чудо, которое к тому же завернули в невесомую полупрозрачную папиросную бумагу.

С прыгающим от счастья сердцем я помчалась домой. Мама развернула подарок — этот наш разговор с ней я передать не умею — она изменилась в лице:

— Ася, восковые цветы — это для мертвых, их живым не дарят.

Мы обе заплакали, было грустно и горько — нам обеим — никакой радости не вышло.

Папа врал

Папа вечно сочинял всякие истории — в шутку и всерьез. И часто непонятно — где шутка, а что всерьез. Он меня с удовольствием запугивал — это была такая игра.

Когда мы с ним впервые побывали в уголке Дурова, я просто впала в обомлевшее от счастья состояние — так что даже не хотела уходить. Еще бы — вальжный степенно пританцовывающий медведь, говорящий ворон Воронок, суетливые белые мышки в маленьком, но совсем как настоящем трамвае — со звонком.

Уже дома папа заметил, словно бы невзначай:

— А ведь Дуров наш родственник.

Я заволновалась:

— Что ж ты мне раньше не сказал, и почему не познакомил?

— Неудобно навязываться такому знаменитому человеку, да и родственник он дальний.

— Правда?

— Правда.

Я конечно поверила. И когда в глубоко дошкольном возрасте подруга моя Таня Фросина гордо поведала мне, что ее папа написал для нее того самого Евгения Онегина, что в одностороннике Пушкина, я рассердившись от обиды, что Танин папа опередил моего, с горечью-упреком спросила несерьезного своего родителя:

— Ну почему ты мне не написал Евгения Онегина?

На что он мне объяснил:

— Все-таки справедливее, если Евгений Онегин останется для Тани — она же Татьяна. А тебе я напишу Руслана и Людмилу. Хотя тоже не очень правильно — ты ведь не Людмила, к тому же ты это читала и можешь без меня сколько угодно еще читать, а Тане пусть будет Евгений Онегин — она ведь еще не умеет читать. Давай лучше новую сказку — просто про Петю, я тебе ее с картинками напишу — такой нигде нет.

Эта история про Петю — где речитативом — Варись, варись картошка — осталась только у меня в памяти, а сама книжка затерялась — еще бы, сколько времени уткло. Зато сказка про Ваню — сохранилась через много лет, пожалуйста — с неувядшими картинками — разве что бумага пожелтела.



Яблоко, котлеты, сахарин

На обратном пути на платформе продавались яблоки, и мама купила мне одно — помыла — круглое и румяное, а я ни в какую — незнакомую еду — ни за что — время послевоенное, я видела яблоко в первый раз, да еще из рук какой-то тетки в платке. Не буду, да и все тут. Что поделаешь — мама и съела яблоко. И заболела брюшным тифом.

С температурой за сорок ее увезли в больницу, и там давай мучить, не разобравшись — не предмет подпольного аборта — аборты тогда были категорически запрещены, а им не лечить, им бы разоблачить, а мама, хоть при смерти, но держалась до последнего, чем и спасла свою жизнь и меня от сиротства — все-таки до них в конце концов дошло, что это тиф, а не аборт. Тогда за все по суду и без суда безжалостно наказывали — за опоздание на работу, за переход улицы в непопленном месте — за все. А уж за медицинскую ошибку и говорить нечего. И тут, когда наконец взялись лечить, а не допрашивать, медсестра при внутривенном впустила воздух в вену — испугалась и убежала, оставив шприц в вене. Боль ужасная, не говоря о серьезной опасности. На счастье вошла в палату врач. Откачали. А жаловаться не стали — пожалели медсестру.

Так мама выжила. Вернулась домой с того света — совершенно незнакомая, обригая наголо, колочки волос уже начали отрастать ежиком, уши были большие и бледные, а застенчивая улыбка бескровного рта казалась огромной — чужая тетя, да и только — не привыкнуть.

Болела она редко, но всегда тяжело — обвалом. Дважды пугающе желтела с лица — первый раз во время войны случилась желтуха, а потом уже после войны вдруг

— это в Москве-то — малярия. Приступы — как по часам — приготовит на всех обед, накроется одеялами, и терпеливо в озноб, в бессознание, в лихорадочный бред.

Я ничего не понимала, торопливо оглядываясь на маму — хватала пожаренную ею котлету из-под салфетки прямо с тарелки-блюда и бегом во двор — играть, когда снова прибегала — мама все еще незаметным коконом на диване, а я опять — хватать котлету и бегом. А к вечеру — мама поднималась, с трудом, еле-еле, но старалась не показать виду — папа озабоченно касается ее лба, она отводит его руку — бодрится, а от акрихина по исхудавшему лицу сероватая желтизна.

Приходит Соня. Они тесно, но чинно усаживаются за наш ломберный столик, покрытый по случаю чаепития крахмально—негнущейся салфетной скатертью — и тут же давай пить чай — с сахарином и с тихим разговором — ложечки позвякивают. Я тут как тут — очень хочется вместе с ними — в уютную их компанию, вот я и тяну — Мне тоже, пожалуйста, с сахарином — Нельзя, детям нельзя, от сахарина слепнут. Я не настаиваю, я просто стою у стола и смотрю на них, так и осталось в памяти — накрытый стол, чай—кипяток и белой снежной пудрой запретный и потому желанный сахарин.

Мы дружной вереницею идем за Синей птицею...

Как-то мама взяла меня с собой в кино, которое называлось непонятным словосочетанием Сердца четырех. Когда погас свет, и по экрану помчались какие-то тонущие люди, мне стало безмерно скучно, и я спросила — Когда это кончится? — Через полтора часа — А когда полтора часа кончатся? - Когда зажгут свет — А почему свет не зажигают?!

Зато, когда пошли с папой-мамой на Бэмби, я это запомнила навсегда - не знаю, в чем секрет Диснея, но ощущение его домашней добросердечности и ласковой нежности стали незабываемой частью моего детства и сохранилось по сей день — так же, как магия Синей птицы в Художественном, где Сахар щедро ломал тонкие пальцы, а зеленоватый воздух был легкий и летуч, как во сне — Прощайте, прощайте — пора нам уходить... — я на вкус ощущала горечь мечты, которой не суждено сбыться.

А вот Веселые медвежата у Образцова показались глуповатыми — хотя мне было года три. Они пели дружно-недружными неестественно натужными голосами — все смеялись — было развлекательно, но неинтересно — не затрагивало.

Много лет спустя папа рассказывал, что молодым совсем человеком интервьюировал отца Сергея Образцова — Владимира Николаевича - крупного инженера-путейца еще дореволюционной закалки. Уже прощаясь, мой папа, желая сделать приятное милым и уже не молодым родителям знаменитого актера, которого считал замечательно талантливым, сказал что-то комплиментарное по поводу их сына. И тут же понял, что допустил оплошность — им было неловко, что тот занимается таким мало серьезным, можно сказать, смешным пустяковым делом — кукловодством.

— Разные времена — разные нравы — сказал папа, заканчивая рассказ. Сам он — не мог понять этой старомодной чопорности — остался детским на всю жизнь, хотел быть просто учителем географии, чтобы жить в книжном мире путешествий и географических открытий. Мне этот его интерес не передался по наследству, я так и не дочитала Путешествий Ливингстона, я много чего не дочитала, да и не доделала.

Мама — на фоне распивочной

Это было уже после смерти папы. К нам приехали гости — мой друг и коллега из Ужгорода с женой. Жизнь их сильно отличалась от московской. В то время, как Москва проводила свободное от работы время в кухонных дискуссиях, Закарпатье было куда западней — для посиделок-разговоров в любое рабочее-нерабочее время были кафе и бары. Так что когда Ица — наша гостья заскучала, она попросила маму пойти с нею в бар. И мама, не моргнув глазом, повела ее в окрестную пивнушку на Новослободской из самых простецких — может, она называлась рюмочной — дела это не меняет — дым коромыслом вперемешку с ароматом пивной отрыжки.

— Никогда в жизни меня не встречали с таким почетом, как тогда в пивном баре, — мамины глаза лучисто смеялись. — Мы обе получили редкостное удовольствие.

Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство!

Липидус Рахиль Абрамовна (1906-1936) — советская журналистка, погибшая в сталинских застенках.

Материал из Википедии — свободной энциклопедии



На снимке Геля Маркизова, чьи родители впоследствии были репрессированы

Липидус Рахиль Абрамовна — это папина младшая сестра. Прожила она очень короткую жизнь — получила ВМН — высшую меру наказания. 30 лет ей было — в Википедии опечатка — ее арестовали и расстреляли в 37-ом году. Я видела своими глазами справку о реабилитации — на месте причины смерти — прочерк.

Когда пришли за ней в оренбургскую гостиницу, где она жила, трехлетняя, ничего не подозревающая дочь ее Ёлка играла во дворе. Вернулась домой — опечатано.

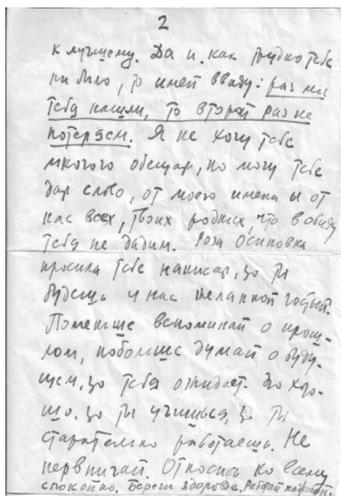
Но советская власть не забыла о ребенке. Маленькую девочку забрали в детский дом, и как в воду канула. Родственники не смогли ничего выяснить — пропала и все — бесследно. И она ничего не знала ни о себе, ни о своих родителях до тех пор, пока не получила информацию о своем происхождении ...от следователя в тюрьме, куда попала из детдома подростком — на перевыборном каком-то собрании невинно выкрикнула — Долой советской метлой! А ей приписали антисоветчину — Долой советскую власть! и посадили.

«Помню, 5 декабря 1951 года вся наша страна праздновала день Сталинской Конституции. Это был нерабочий день. Однако молодежная бригада, в которой я работала, несла в этот день ударную вахту на строительстве «Газнефтепроводостроя» в городе Саратове. В этот знаменательный день меня арестовали.

...Меня осудили к восьми годам лишения свободы и пяти годам поражения в правах. Я не ожидала этого. Моя наивность и вера в справедливость не предусматривали такой жестокости. Я была не только комсомолкой, но и комсоргом строительного участка и гордилась этим, все это было мне дорого. Мое горе усугубляла мысль о том, что я уже не буду принимать участия в моем первом сознательном гражданском акте — выборах в Верховный Совет.

Но самое невероятное произошло тогда, когда мне предъявили обвинение. Тогда я узнала о себе самой сведения, потрясшие меня до глубины души. Эти потрясающие сведения целиком меняли мою короткую биографию.

Оказалось, что я, Елена Лapidус, воспитанница детских домов почти с самого рождения — не просто безродная девочка! У меня — Елены Лapidус — есть мать и отец, я — дочь замечательных родителей. Их арестовали и судили как врагов народа еще в 1937 году... Отец был редактором газеты, а мать — корреспондентом этой же газеты»



Папино письмо к Ёлке



Ёлка, 70-е годы

По оттепели в 57-ом Елка нашлась — но бесправие в действии — продолжала тянуть свой восьмилетний срок. Понадобились папины усилия для ее освобождения — у меня сохранились его письма к ней в тюрьму — как тогда говорили — в заключение. Она мне их переслала в Нью-Йорк.

Я-то познакомилась с Елкой уже после триабилитаций — ее, Рахили и папы. Хотя и была я еще школьницей с вполне промытыми мозгами, но после XX-го съезда кое-какое понимание у меня уже прорезалось. Тем не менее, когда она вышла из поезда на вокзале, меня поразило ее вид — обветренное лицо, сработанные руки.

Никогда не забуду — она мне говорила:

— Сидела в одиночке, а потом — когда к следователю — нет, он не бил, только кричал страшно...

Во времена канувшей в лету гласности ей позволили ознакомиться с делом ее матери. Трое наблюдали за ней, не сводя глаз. А ей стало плохо — распухшее то ли от побоев, то ли от голода лицо на казенной фотографии — было нечеловечески неузнаваемо-страшным, а обвинения — смехотворными.

— У меня закружилась голова, я потеряла сознание, правда ненадолго. Но ничего так и не запомнила из прочитанного. А мамина фотография до сих пор перед глазами.

Несмотря ни на что и благодаря стараниям папиного младшего брата Давида, занимавшегося с ней по всем предметам, не щадя ни ее, ни своего живота, Елка получила-таки инженерное образование — и работала на заводе в Куйбышеве — Самаре. Сейчас она уже давно на пенсии. Мы с ней поддерживаем телефонную связь.

Коротает дни одна — в однокомнатной квартире. Миша — сын ее рано умер, но внук регулярно навещает. Она давала ему читать и "Архипелаг ГУЛАГ" и "В Круге первом", но он полигически подкован путинской ориентацией — хоть кол на голове теши — такие вот пришли времена...

ГомБрь

Я еще никогда не видела моря, а тут папа приехал из Крымской командировки и привез мне настоящий морской подарок — светло-серый продолговатый обкатанный волнами камень-голыш, на котором к тому же было для меня письмо — в старой русской орфографии, и за подписью *ГомБрь* — с ятью и твердым знаком, написанное от руки чернильной авторучкой — под названием вечное перо. Я еще была мала и не очень понимала, что это была шутка, и мне было грустно, что Гомер так для меня старался — ведь он был слепым и писать, да еще так мелко, что и мне почти не разобрать — ему наверно было почти невозможно.

Этот камень бережно хранился у меня до самого отъезда, взять в эмиграцию не разрешалось ни одного писаного слова — пришлось его просто выбросить — отдать было некому, да и не хотелось никому отдавать.

Математики — как в рот воды, а физики шутят...

Мы неизменно жили в тесноте да в коммуналках, и даже потом, когда в двухкомнатном раю, тоже было не разбежаться. Но всю жизнь, сколько себя помню, я вечно приводила в дом пеструю толпу друзей-приятелей-знакомых — опом и в розницу. Родители с интересом и с удовольствием — ободрительно и

доброжелательно принимали-привечали-потчевали всегда и всех, причем неизменно умели тактично держаться в стороне, не навязываясь, так что мои гости могли чувствовать себя свободно.

Как сейчас вижу — дорогой друг мой и однокурсник Каспарсон у пианино — движения его беззвучны, и чуткие пальцы послушны музыке. Он высокий, с красиво посаженной головой — похожий на молодого Шаляпина — родители бесшумно замерли в глубине комнаты — с такой совершенной благородной простотой Рахманинов, казалось, нигде никогда не звучал.

Как-то раз папа попросил меня познакомить его с моим приятелем Витей Паном — из случайного разговора выяснилось, что тот оказался сыном погибшего на войне папиного товарища и коллеги — Яши Пана. Витя пришел к нам не один, привел с собой Исаака Корнфельда — тоже моего приятеля, и тоже, как и Витя — математика.

Время для визита было самое неподходящее — только что арестовали их близкого друга и моего доброго знакомого — Илью Бурмистровича. Дотошно пытливого Илью обвиняли в распространении произведений Даниэля и Синявского. Для Вити и Исаака дело усугублялось тем, что волею судьбы и дружбы - троица - Бурмистрович-Пан-Корнфельд сложилась еще с университетских времен и по окончании университета только крепла. Витя жил один и приютил у себя не имевшего московской прописки Исаака, и как это бывает — их старый товарищ Илья время от времени закатывался к ним, иногда и с ночевкой.

Читали, конечно, всякое и говорили тоже всякое, разговоры-то остались между ними, а вот чтение по страничкам врасыпную чреватو легкомысленно - небрежно разбросанными страничками этими по всей гостеприимной комнате, кстати, расположенной в многонаселенной коммунальной квартире. Между тем, недремлющие органы не дремали. Когда забрали Бурмистровича, у Вити дома был обыск, а потом их с Исааком тягали на Лубянку — так что Витя даже уезжал на какое-то время из Москвы, чтобы его оставили в покое.

В свете этих событий застольного разговора у нас дома не получалось никак — оба гостя дружно помалкивали, налегая, впрочем на мамины пирожки. А тут еще папа лобознательно и спросил — как проходил обыск. Ему было с чем сравнивать - перед посадкой в 34-м у них тоже, как водится, был обыск, и ему было интересно, как все это происходило в либеральные 60-е — хотя на дворе стоял 1969-й год, и от так и не случившегося либерализма остался только пшик, вернее, миф. Ах уж эта бабушка да Юрьев день! Тут гости наши сильно занервничали и заторопились домой — их можно было понять — как выяснилось позже — они дали подписку о неразглашении.

Когда папы не стало, и я переехала к маме — традиция гостеприимства не заглохла, а даже расцвела — благо коммуналка канула в лету — к нам можно было прийти большой компанией экспромтом, запросто — как только возникала идея собраться. И это при том, что мама держала дом, как полагается — никакой богемной безалаберности. Впрочем, наши посиделки отнюдь не отличались большой суматошностью, хотя, случалось, не без казусов.

Как-то итэфовская теор-лаборатория Карена Аветовича Тер-Мартirosяна в своем расширенном, хотя и неполном составе (т.е. с включением примкнувших друзей, но за исключением самого К.А.) в очередной раз собралась у нас дома. Как всегда, было весело и приятно. Вино — не простое, а элитное — красное полусухое грузинское — Хванчкара и Киндзмараули — лилось рекой. Физики не лирики — что попало не пьют.

Вместе со всеми пришел только что появившийся в лаборатории насквозь юный и тогда еще заметно стеснительный Турбинер, который добавочно принес огромную праздничную бутылку-огнетушитель красного игристого Цимлянского. Словом, дым коромыслом, правда, в весьма сдержанном и вполне благопристойном исполнении. Вот и тактичный Костя Боресков, капнув вином на белоснежную скатерть, смутился и прикрыл пятнышко рюмкой, чтобы не бросалось в глаза, хотя никто ничего и не заметил — благо подошла очередь Цимлянского.

Долго сватались, кому открывать заветную бутылку — жертва выбора отнекивалась, но потом сдалась. То был школьный приятель Пети Волковичского. Демонстрируя профессионализм, он методически аккуратно приоткрывал пробку, но не тут-то было — в образовавшееся отверстие фонтанно хлынула темно-красная струя с пеной. Бедняга пытался снова заткнуть горлышко, но образовалась узкая щель, и злобно шипящая струя стала тонкой и мощной. В панике он медленно повел бутылкой по кругу, обливая наше испуганное застолье, огнетушитель — он и есть огнетушитель. Все попадали под стол. На скатерти осталось единственное белое пятнышко, правда, с красной капелькой внутри — под Костиной рюмкой. Я приклеилась к стулу — противоположная стена, на которой висел большой ковер, стала ярко-красной.

А мама — хоть бы что — и глазом не моргнула — вся олицетворение не-притворного радушия и гостеприимства — так что веселье продолжалось, как ни в чем ни бывало — такое надо уметь. А на следующий день — любишь кататься, люби и саночки возить — у нас с мамой была генеральная уборка. От вчерашней вакханалии не осталось и следа — чистота и порядок.

Театральный роман

За незадачливо-неловкую рассеянность мама дразнила папу Лариосиком.



Яншин — Лариосик. Дни Турбиных

- Почему Лариосик? — спрашивала я.
- Потому что в камин упал, — как-то несерьезно откликнулась мама.
- А почему в камин?

А куда еще?! — насмешливо вторил ей глава семейства.

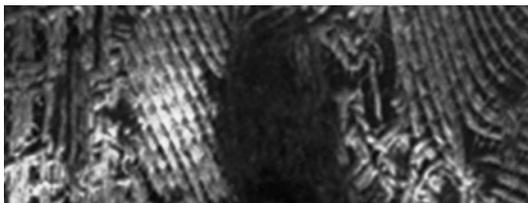
У них это получалось — ссориться без ссоры — в домашнюю необходимую шутку.

А Лариосик — это, конечно, Яншин — Дни Турбиных Булгакова - в постановке Станиславского, Художественный театр — стародавние, не известные мне времена. И в молодости — судя по фотографиям - и в старости папа и впрямь был чем-то — почти неуловимо — похож на Яншина. Не сказать, что родители были занятыми театрами — во всяком случае, не на моей памяти — да и до того ль, голубчик, было. Но в прежней, мне не знакомой, молодой жизни мама по приезде в Москву просто не могла оторваться от Большого театра, а папа с удовольствием вспоминал, что видел вахтанговскую Принцессу Турандот двенадцать раз. К слову сказать, возобновленный уже в мое время спектакль Турандот меня разочаровал — вполне дозволенным квази-свободомыслием.



Принцесса Турандот

Куда интереснее был Гамлет на Таганке, который, казалось, дышал протестом. Метет, заметает пустеющую сцену мрачный занавес Давида Боровского, Гамлет-Высоцкий в прологе склоняется к гитаре, петух — зловеще вспорхнувший живой петух — что твой Шагал, а могильщик — по-настоящему ест настоящее крутое яйцо — я не просто в восторге — я в совершенно инфантильном экстазе.



Таганка. Гамлет. Давид Боровский — занавес

— Да они просто голодные.

Насмешливо-скептическая мама за словом в карман не лезет — любимовского Гамлета она не видела, в театре на Таганке никогда не была.

— Ты можешь себе представить Качалова на сцене с куском во рту?

Несколько лет назад в Нью-Йоркском Еврейском музее проходила большая выставка, посвященная Шагалу и искусству Еврейского театра в послереволюционной России. Там мне довелось увидеть Михоэlsa — короля Лира — в крошечных фрагментах фильма. Тогда я вживую поняла, а почувствовала еще давно - по оттепели, что стояло за беззвучным молчанием родителей, когда они вернулись из Дома журналистов с кинопросмотра Короля Лира в исполнении Еврейского театра. Папа — опустив плечи под тяжестью громоздкого пальто, все как будто отворачивался, а мамино лицо я видела — оно было мокрым от слез — она-то была на спектакле ГОСЕТа Король Лир в 35-ом, а он — какой там театр! — сначала отсидка, а потом театр военных действий.



Михоэлс. Король Лир

Всяко даяние благо, или когда придет дележки час

Время шло и бежало. Военный и послевоенный голодомор постепенно начал входить в русло обыденного нищенского существования, хотя и не без соблюдения видимых приличий. Нет, родители и в войну не ели затируху, просто подголаживали, особенно мама — отсутствие еды не лучшая диета для кормящей матери — папа в это время был на фронте и не знал, как ей туго, бесконечно туго приходилось — одной, с новорожденным младенцем да с мизерным рационом по иждивенческой карточке.

Тогда — в военную голодуху мама все мечтала вволю наесться тыквенной кашей, какое там — спасибо, что попалась сочувствующая докторша в детской поликлинике — в обход законов прописала как бы для меня дополнительное детское питание — предтечу современной формулы — которое мне и не нужно было - мамино грудного молока было море разлитое, так что она даже отдавала его в поликлинику — неукоснительно и, разумеется, бесплатно. Время было злое - военное — доктор рисковала всерьез, но пошла на риск, зная, что для доходящей кормилицы эта мало аппетитная детская смесь — по теперешним временам и вовсе несъедобная для взрослых еда, была спасением.

Понятное дело, мама делилась с сестрой своей Соней — она не умела не делиться, да и как же иначе. Тем временем, таяла. Когда папин коллега Пешкин,

встретил маму на улице, он, испугавшись ее истощенной худобы, ужаснулся — Рочка, какая же вы изможденная — и тут же повел ее в столовую, чтобы немедленно накормить. Столовая-то, конечно, закрытая — не для всех — по талонам, а для всех — длинные очереди по голодным карточкам. Ну а мама — не будь дурак - во время еды-угощения, улучив момент и быстренько спрятала в сумку обеденную котлету, чтобы потом разделить трапезу наполам с сестрой — той ведь тоже не сладко было в эвакуации с малым подрастающим ребенком, которого, между прочим, кормить надо, вот Соня, отрывая от себя, тоже недоедала по-черному.

По послевоенной поре — не лучше. Не успели возвратиться в Москву, как папу поперли из Труда — наконец-то вспомнили про отсидку, подзабытую по военному времени — еще бы — это только когда à la guerre comme à la guerre - нужда в пушечном мясе важнее политических разборок. А после великой победы - глядь — космополитизм подоспел — вполне безродный — и очень кстати — пошел вон и куда подальше. А мама — картавая да с сомнительной биографией — вот они настороженно ждали, казалось, неминуемого — ну, прямо почти, как в песне — работы нету — ступай в тюрьму — такая уж была жизненная диспозиция, вполне зловещая.

Боялись — боялись всего, кроме, правда, бедности — она нас и не покидала, как ее тщательно ни прятали. Бедность, конечно, не порок, но мало украшает быт — ее, между прочим, принято стесняться и скрывать, вот и скрывали, как могли. Но вылезала — папина сказка с приговором — варись, варись, картошка - вполне отвечала действительности. С картошкой, впрочем, тоже было туго. — Ах, картошка обеденье-денье-денье-денье —денье, пионеров идеал — пел мне двоюродный мой брат - вечно голодный юный пионер Илья. Его старший брат Лева не пел, занятый отовариванием карточек — он был старшим мужчиной в семье — их папа погиб в ополчении в первые же дни войны.

Жизнь — разноголоса, особенно летом. Зычное — Точу ножи-ножницы — невзрачный старичок жилист и голосист, и пыльное его серое колесо — крутится все быстрее и быстрее, разбрызгивая в разные стороны горячие голубые искры — Поберегись — не обожгись. Другой стариковский голос залиvisto приговаривает взახлеб — Утиль-сырье собираю — уговаривает — ну, все и сбегаются — еще бы — у него в обмен разные свистульки-сверестульки. У нас нет утиль-сырья никакого, да мне и бесполезно — все равно свистеть не получается — папа учит свистеть и через пальцы и в кулак, а у меня никак не выходит.

И ещё по двору жалостные старушки разнородно-разновеликие — хотя все больше исхудалые и малорослые — певучим речитативом — глухо так, но настойчиво — подайте милостынно-христареди - но никто не подает, все только отворачиваются.

Зимой звуки замирают — разве что на улице Горького неуклюжие толстые тетки в тугих белых халатах поверх тулугов и с белыми-голубыми сундуками через плечо нараспев зовут покупать мороженое — эскимо, пломбиры всякие — в вафлях и на палочке. Мама тоже морозит для меня за окном подсахаренный кефир, а я про себя мечтаю о сверкающей сосулке с крыши.

Однажды честной компанией — густо-черноволосый коренастый Бугаков с бледной отцветающей блондинкой-женой, мама в шляпе, да я в хвосте у папы — прогуливаемся по улице Горького. Взрослые, посоветовавшись, останавливаются у большого бело-голубого сундука с сеткой и покупают всем по мороженому — мне, конечно, нет — горло простудишь. Я канючу — скорее для про-

формы — знаю, что бесполезно — мой правопорядок мне хорошо известен. Поразительно другое — родители с мороженым — такой легкомысленной кутежной расточительной роскоши не случалось ни до, ни после, и еще мне заметно и некоторое мамино напряжение, виду, конечно, она не подает — мне же — по чутью сочувствия, не сказать, что понятно — ничего-то мне и не понятно вовсе — я просто переживаю за нее. А тут еще — откуда-то со стороны подросток беспризорник — весь серый какой-то, но бойкий — и безошибочно — к маме — Тетенька — дай попробовать — она тут же и отдала — сама смеется, а мне видно, что ей хочется мороженого, а она смеется — не надо — и отводит папину руку.

Целая жизнь проходит. Папы уже давно нет. Мы живем в Нью-Йорке втроем с мамой и с Джоном в Бруклин Хайге, и мамин путь в продовольственный магазин неблизкий. По дороге она присаживается у ресторанный столика на улице. Официант знает ее — несет стакан воды. За воду она не платит и никаких чаевых — сколько не объясняй ей — чаевых не признает — улыбка и все — но похоже, официант обслуживает ее с удовольствием. Она не спеша пьет воду, поднимается, машет официанту и уходит. Когда в обратный путь — опять присаживается. Иногда угощает официанта шоколадкой — он не отказывается.

И как-то рассказывает — Стою в магазине, слышу русскую речь, вижу девочку с мамой и бабушкой — не особенно приятные, точнее, совсем неприятные. Девочка просительно так маме — купи конфет — а та в ответ — ты же знаешь — у нас денег нет. И тут я сообразила — они только приехали — их в гостинице для эмигрантов новоприбывших поселили. Ну, думаю — вашу мать (это я дословно) — кто я такая, если не куплю им продуктов. Накупила им всего и конфет-печений в том числе — сама понимаешь, на все деньги, какие были. Они благодарить — а я тихо-нечко от них подальше и ушла поскорей — ну их — да и не сказать, что люди симпатичные — лучше подальше, да и неловко — тоже мне — благотворительница.

Круг семейного чтения

Оттепель обещала, да обманула. Свобода не появившись — сгнула, подарив подкидыша — сам- и там-издат — фигой в кармане. Мы запойно читали — по бессонным ночам, передавая друг другу по кругу разрозненные страницы с плохо различимой печатью. Это чтение отличалось от обычного, как ожог отличается от солнечного загара. И еще — это было настоящее семейное чтение, объединяющее наш скромный триумвират не сказать, что в сжатый кулак — скорее в комбинацию из трех пальцев, но так или иначе много что изменившее, нас в том числе. В нашу жизнь вошел большой мир, о котором лично я прежде и не догадывалась.

В нашем доме не было телевизора — вовсе не из заносчивости, а просто по бедности, по той же причине больших праздничных застолий у нас тоже не бывало. Мы не смотрели фигурного катания, и клуб 13 стульев был нам неизвестен, как и не знаком Голубой огонек. Зато папа (а позже и реже я) приносил блеклые странички — как известно, Эрика берет четыре копии.

Кстати, об Эрике — у папы никогда не было своей пишущей машинки, а ему очень хотелось, да и нужна была — как-никак — профессия. Как только в полусвободной продаже появились ГДРовские машинки, он записался в очередь, терпеливо ждал, но не дождался — умер, и его мечта досталась уже мне.

Когда пришла открытка на ее получение, мы с мамой горько расплакались, и я пошла-побрела в магазин ее выкупать. Стоила она, как сейчас помню, 160 руб-

лей — больше моей месячной зарплаты. Зато в отличие от отечественной Москвы, она умела печатать, не закаяясь, и впоследствии очень даже пригодилась.

Пока мы с мамой - сюрреализм в действии - пару безвременных лет просидели в ожидании отнюдь не театрального, но вполне абсурдистского Годо - разрешения на эмиграцию, я зарабатывала переводами — вот тут-то машинка и сослужила самую верную службу — не знаю, что бы я без нее делала. Потом я увезла ее с собой в эмиграцию, и хотя здесь никогда ею так и не пришлось пользоваться, преданно храню ее в память о папе.

В 60-е – 70-е мы вдохновенно читали сам- и тамиздатское, упиваясь несказанной вольницей, обернувшейся сказкой о потерянном времени неслучившихся надежд, погружались в непокоренность и - как ни кинь — в большую литературу. Я-то, по легкомыслию все-таки понимала меньше, чем следовало, и родители не сказать, что объясняли, или комментировали - просто их настрой создавал фон.

Папа:

— Ты знаешь, я бы зачитал Живаго, честное слово. Хотелось бы иметь под рукой.

Мама:

— У меня просто мозгов не хватает на Зиновьева, он требует умного и внимательного чтения — почитай хоть ты за меня.

Больше всего их обоих поразили «Мои показания Марченко» — не лагерной темой — этим их было не удивить — но победоносным прорастанием хорошо знакомого прошлого в безнадежность будущего.

С папиной смертью жизнь заметно сузилась. Советская власть наступала на горло, не говоря о том, что у всех она вызывала с трудом сдерживаемое отвращение. Как-то особенно стало заметно отсутствие перспектив. Отъезд висел в воздухе, но мама все не решалась. В один прекрасный день я принесла там-издатскую книгу Надежды Яковлевны Мандельштам. Мы обе прочитали ее с неслыханной скоростью.

— Если ты думаешь, что Н.Я. хоть что-то преувеличила, — одними губами, как всегда в таких разговорах, почти неслышно заметила мама, — то ты зря так думаешь — все так и было — не дам соврать, я свидетель, да что говорить - все так и есть, между прочим, и сейчас...—

И вдруг неожиданно громко и решительно добавила — Поехали! — Ну, прямо, что твой Гагарин.

Так мы и поехали — в космическую неизвестность, правда, не сразу — обещанного, как известно, три года ждут — нам еще повезло — мы ждали меньше.

Дачный сезон

В незапамятные времена мы жили летом у нашего знакомого — папиного самарского компатриота Анатолия Осиповича Кучеровского — сбежавшего от Промпартии в школу, в учителя математики. От инженерного прошлого у него осталась дача в Загорянке.

Там был пронзительно солнечный сосновый лес — куда мы с папой ходили по грибы, мелководная прозрачная речка, и совершенно лучезарный луг — места замечательно живописные. Мы с дядей Толей играли во всякие задачки-головоломки, но это между делом, а всерьез - мы с ним разводили сад-огород, за которым заботливо ухаживали, и немного погода, так же рачительно собирали урожай.

Из нашей с дядей Толей клубники мама варила варенье прямо в тазу — и мы тут как тут - с ложками-плошками стояли в очереди за клейкой розовой пенкой. А вот наливки-настойки из вишни и черной смородины оставались на потом — надо было ждать, пока в закупоренных бутылках созреют-доброят на солнце ягоды, густо пересыпанными сахаром, ничего не поделаешь — на хотенье есть терпенье. Так что приходилось — как говорила Ира - есть вприглядку — сосредоточенно смотреть на истекающий сиропом льдисто тающий сахар.

Насколько я помню, Ира в школьные каникулы почти всегда жила с нами на даче, и это было замечательно-прекрасно. Кроме того у нас там гостила бабушка Геня — мамина мама, а у Анатолия Осиповича — его тетя — Паша. Бабушка и тетя Паша были очень схожи — истончившиеся — совсем невесомые, чинно одетые и причесанные — никаких дачных вольностей, не то что мы — в сарафанах да в трусах, голоногие босиком.

Позже у Анатолия Осиповича изменились обстоятельства, и пришлось нам снимать другую лесную дачу — на этот раз напополам с зубным доктором Левиным — в Удельном, где протекала речка с эллинистическим именем Македонка.

У Левиных — Евсей Давидовича и Цили Ильиничны было двое детей — тихая черноволосая девочка Иля — старше меня, и напропалую капризный мальшовый Додик — херувим в ореоле золотых кудряшек, дерзивший направо и налево и одаривший нас незабвенным афоризмом.

Как-то к ним приехала в гости сестра Евсей Давидовича Евгения Давидовна — пианистка — редкой — ошеломляющей красоты. Додик, не терпевший ничего вторжения, приготовился к привычно грубому отпору, но споткнувшись о ее красоту, все-таки смекнул, что надо считаться с ней — почувствовал необходимость некоторого этикета.

— Вы!! — заорал он, неожиданно отказавшись от своего обычного тыканья. Последовала непредвиденная пауза. И за паузой почему-то во множественном числе, повидимому, в знак невольного уважения: — Нахалки! — А потом почти шёпотом вполне музыкальным повтором — Нахалки вы... Так словеса эти и вошли в наш лексикон крылатым выражением.



Доктор Левин с папой в Удельном.

Эту фотографию мама называла Ромен Роллани Анри Барбюс

Уже в Москве доктор Левин лечил-починял папины цинготные зубы — и по дачно-соседской дружбе не брал денег ни в какую. А папа не хотел бесплатно и

придумал редкостный подарок — отдал ему все дедушкины книжки на иврите — Евсей Давидович был глубоко и серьезно верующим - набожным. Он тоже не хотел оставаться в долгу — и в свою очередь подарил моему секулярному папе библиографический раритет - первое издание "Этюдов оптимизма" Мечникова. Книжку эту папа берет, но когда одолжил на выставку к юбилею сытинской типографии, ее не вернули, сказали — пропала.

К слову сказать, точно так же пропала папина коллекция марок, пережившая две мировых войны, революцию, гражданскую войну и обыск-отсидку, коллекция, которую он кропотливо собирал с детских лет, любовно-преданно пополняя на продолжении полувека, и которую к старости решил подарить своему премнику-филателисту - старшему племяннику Леве. Тащить с неподъемными альбомами в Дубну было тяжело, и он послал коллекцию по почте. До адресата она не дошла — пропала без вести.

Между тем, восьмое чудо света всегда на пороге — папа познакомился в электричке с дачным хозяином, можно сказать — волшебником, который был готов сдать нам дачу в подмосковном озерном Кратове, считай, бесплатно и хоть сейчас. В нашем распоряжении будет почти целый дом рядом со станцией и прудом - озером. До Москвы 45 минут на электричке. Возбужденный папин шёпот сродни восторженному ура.

А теперь мы каждый год живем летом в Кратове. По сути сторожим дом без хозяина. Наша комната самая запроходная, но в остальных трех никого почти никогда и не бывает — такого приволья нам и не снилось. А как хозяева нагрянут — нам только веселее — потому что они теперь наши друзья — брат и сестра по фамилии Этингф. Когда приезжают, мама им готовит еду и всячески их привечает. Они — очень похожи, но не близнецы — брат старше моего папы, а сестра, как папа.

У них еще есть младший брат Миша, больной энцефалитом — худой и бледный, и с небритыми щеками. Когда он изредка приезжает, мама за ним присматривает — жалеет. Миша ходит и говорит с трудом, зашлетается. Он как тень - совсем незаметный — и тактично деликатный — скромный.

Сестра Софья Исаковна наоборот громкая. Когда-то она училась на медицинском факультете в Берлине, а сейчас в Москве работает в медицинской лаборатории. Она носит громадные бриллиантовые серьги, которые нарочно пачкает, чтобы никто не догадался — это она нам с мамой рассказывала.

Но самый громкий из всех — главный хозяин - Владимир Исакович. Он был предпринимателем — так он мне себя объясняет — я, правда, не очень понимаю, что это такое, но мама почти уверена — я сама слышала, как она папе говорила - он жулик — негде пробы ставить, а папа ей не верит, а я думаю — все-таки жулик, потому что мама так боится его махинаций, что бледнеет и все из рук роняет — когда они нам привозят на хранение какие-то эдакие чемоданы. Посмотреть, что там — она не может — нельзя этого делать - неловко, да и лучше подальше от греха. А папа не хочет об этом и думать — у него своих дел полно.

Большущая застекленная веранда — окна настезь — залита солнцем, а под окнами кипит-закипает белым цветом жасмин и трава не смятая — дышится легко. У забора непролазный колючий малинник — ягод полно, а дорога в туалет заросла сорняковой ярко-красной бузиной и ядовитыми волчьими ягодами, над которыми зеленым плюмажем царит оранжево-ягодная рябина — очень даже съедобная, но не дотянуться.

А в затемненной необитаемой столовой — мы-то едим на свету за длинным столом на веранде — неправдоподобно громадный, редкостно нездешний, похо-

жий на оплывший заснеженный пласт ледникового периода — холодильник General Electric — так написано на дверце с закругленными краями. Позже точно такой я увижу в доме на улице Горького у Лоры Ломакиной, тоже почти что нездешней — дочери американского консула в Нью-Йорке. Мы с ней учились в одной школе — она в свободное от Нью-Йорка очень короткое время ходила в нашу 175-ю школу и была у меня пионервожатой. Кстати, сейчас она уже много лет находится в Колумбусе — штат Огайо, куда с ней эмигрировала и ее мама Ольга Тимофеевна, а младший брат красавец Алеша живет в солнечной Калифорнии.

В нашей задней комнатке стоит еще одно чудо - телевизор — с экраном почти по всему ящику. В тогдашней Москве я ни у кого такого не видела, а уж у нас и подавно никакого телевизора, конечно, нет и не будет еще много-много лет. А здесь нам дозволено смотреть, сколько душе угодно — мама, правда, не очень разрешает, да и сама она не смотрит — занята, к тому же подмосковное ненадежное электричество не выдерживает нагрузки — подводит — вырубается. Но для меня мама все-таки включает телевизор, довольно редко, но включает - после дождичка в четверг, и я в час по чайной ложке смотрю детские передачи и, случается, даже кино. Один фильм запомнился — может, только один и видела — югославский — Концерт называется — про девочку-пианистку в годы войны — очень грустный фильм.

На даче в Кратово хранилось много разных необыкновенных предметов, которых мне трогать не разрешалось — радиоприемники, барометры, бинокли всякие — цейсовские — все можно было купить, потому что все продавалось - даже подзорная труба. Нам с папой всего этого очень хотелось — но нельзя было — товар заграничный, хрупкий, да и дорогой — не про нашу честь.

Когда приезжал, Владимир Исакович слушал большущий шипящий приемник — иностранное радио и, совершенно не стесняясь-опасаясь нашего молчаливого присутствия, громко ругал советскую власть. Но папа — ни слова. У мамы темнели глаза. И меня тут же уводили безо всяких разговоров, как можно подальше.

А потом как-то он надумал и продал папе немецкую старую портативную пишущую машинку — можно сказать, в подарок — очень задешево — вполовину цены. Папа был счастлив, но оказалось, что машинка совсем не печатает, и понимающий мастер наотрез отказался ее чинить. Папа, конечно, огорчился, но постеснялся сказать об этом хозяину-продавцу — так инвалид остался с нами — выбросить было жалко.

Хорошо еще, что не купил громадную немецкую готовальню — мама сказала — через мой труп, и сделка не состоялась.

500 и 50

*Мы не рабы, рабы не мы
«Долой неграмотность»
Букварь для взрослых»
1919 г.*

Это у нас семейное — нас, если и издают, то с большим скрипом. Невидимки за работой — под этим названием была переведена книга английского автора Вивьен Огиливи о литературных батраках, пишущих под маркой именитых авторов.

Вот таким невидимкой и проработал мой бедный папа почти всю свою профессиональную жизнь. Еще бы — печататься при клейме политической неблагона-

дежности — до реабилитанса было совершенно исключено. А потом — а потом суп с котом — и время ушло, и толча образовалась немислимая. Успеха не случилось, хотя некоторые из написанных им книг принесли титульным авторам престижные и денежные премии — о папином авторстве, конечно, никто и слыхом не слыхал — я и сама толком не знаю подробностей — дело это глубоко секретное. Ладно бы хоть гонораром делился — а то, бывало - по бесправно — разное — да никуда не денешься — подневольное рабство.

Но подарки судьбы все-таки иногда случаются — не сказать, что ударом из-за угла, скорее — нечаянной радостью. Напечататься в Новом мире у Твардовского было большой честью, которой папа единственный раз все-таки удостоился, да еще без всяких псевдонимов — под собственной фамилией. Пусть и крошечной статьей в две журнальные странички, зато в юбилейном номере — по счету 500-ом (август 1966-го). Этот журнал я храню — он по-стариковски истончился, страницы пожелтели до хрупкости, и печать потускнела.

Мне тоже повезло — правда, в 10 раз меньше — в интернетовском журнале "Семь искусств" под номером 50 вышел мой скромный опус — воспоминание об ИТЭФе, к тому же в юбилейную подборку пятидесяти статей по одной от каждого номера закрался и мой мемуар, опубликованный пару лет назад. Такие вот случаются неправдоподобные совпадения.

Мои родители всегда знали, что я пишу, да я и не скрывала. Относились они к этому — я бы сказала — поощрительно-настороженно. Они ко всем моим затеям так относились, на вид не принимая ничего всерьез, а в глубине души — удивляясь и радуясь.

Теперь-то я понимаю, что любящим родителям очень даже нравилось разнообразие моих увлечений, а что касается их скептицизма, я хорошо себе представляю, что они просто стеснялись своей возможной необъективности — им обоим претила провинциальность доморощенной самодеятельности. В нашем доме самодеятельность была ругательным словом.

А мне тогда ужасно хотелось безоговорочного признания, я все-таки не умела выкинуть в умную благожелательность их сдержанного одобрения. Хотя всегда знала — если напечатаясь — родителей это не просто обрадует — это их осчастливит. Никуда не денешься — в нашей семье писаное слово — нет, не культивировалось ни в коем случае — боже, спаси и помилуй, — никаких культов — уважалось. И когда — уже после их смерти — мне удалось опубликовать несколько статей в детском журнале «Квантик» и пару очень скромных заметок в «Знании—сила», это было в память — для них. Ведь им не пришлось прочитать ни одного моего напечатанного слова. Мне очень жаль — до боли, но я рада, что пошла по папиным стопам — возможно, не очень успешно, зато в жанре. А насчет успешности — это такая ерунда, хотя писательского признания и сейчас очень хочется — сама не знаю почему.



Чтец-декламатор

Семейного чтения вслух у нас почти не бывало. Но случались исключения. И уж если что-то зачитывалось, то неоднократно, как бы рефреном.

Таким было знаменитое письмо Чехова к Григоровичу. Нет, я не помню его наизусть, да и цитировать его в моих записках было бы большой самонадеянностью, хотя чем-чем, а ею бог меня не обидел.

Что говорить, это частное письмо было замечательным образцом порядочности и искренности и еще — это была проза — поразительно современная, где высокий стиль мешается с просторечием так естественно, что не оторваться, и учиться, учиться и еще раз — учиться. И — как поэзию, пробовать на язык и произносить — обязательно монотонно или скороговоркой, чтобы не подчеркивать незаурядности.

Алла Константиновна

Если вернуться в стародавние года моего детства и от Старопименовского переулка идти по улице Горького, то направо не миновать два заветных магазина — аптеку и овощи-фрукты, а налево — прозаические канцелярские товары и булочную.

В аптеке царил тихий таинственный полумрак, чарующе пахнувший мятой и витаминами — конфетно-сладкими оранжевыми кругляшками-горошинами, которые, когда сосешь, оказываются многослойными — сначала желтыми, потом зелеными, и в конце концов прозрачно-белыми — на самом дне слегка горьковатыми. И еще там были деревянные панели и необыкновенной красоты кассовый аппарат — весь серебряный в кружевных завитушках, с взлетающими рычажками и сияющими кнопками.



Такие же кассы были в Елисеевском, но там был настоящий дворец, где златокудрые принцессы одна другой краше в белоснежных крахмальных колпаках и кипельно-кипенных халатах взвешивали, улыбались и пробивали чеки.



А вокруг — ни в сказке сказать, ни пером описать — с пряничных потолков по-над аркадой окон цветочными гроздьями свисают люстры — редкостной, головокругительной красоты, и на фоне причудливой — текучей росписи стен — сказочное, роскошное деликатесное изобилие.

Не чета Елисеевскому, канцелярские принадлежности — унылые школьно-письменные товары — гадость — пеналы и перочистки всякие, и пахнет противно — чернильной казенщиной. Правда, барометры и готовальни все-таки скрашивают скуку — смотреть на них любопытно, а нервную дрожашую стрелку компаса так и хочется потрогать-успокоить.

Рядом с канцелярскими товарами на фоне оконных витрин ресторана Баку, украшенных затейливыми зелено-красными орнаментами, приотилась невзрачная булочная, куда нас с Таней Фросиной мамы посылали за хлебом. Однажды мне там не додали сдачи — целых 20 копеек. А моя мама — неукошнительно требовала, чтобы все в точности. Что делать — ума не приложу, выручила Таня.

— В Елисеевском магазина на полу у касс всегда полно мелочи, которую все роняют, и никто не поднимает — сама видела. Пойдем поищем.

Сказано - сделано. Сидим на корточках у кассы — шарим по полу — сосредоточенно ищем — как назло — ни копейки, но мы ищем.

— Девочки, что вы под ногами копошитесь?

— Деньги ищем.

Сердигый старик раздраженно заставляет нас подняться. Пришлось объяснить, в чем дело. Не сказать, что он сменил гнев на милость, тем не менее вполне сочувственно протянул горсть мелочи — но не на тех напал — мы гордо отказались. Тут он догадался и отсчитал нам 20 копеек взаимы — подрастем-отдадим — и нас от счастья, как ветром сдуло.

Через дорогу от булочной — если пересечь Старо-Пименовский — вслед за аптекой — овощи-фрукты. Но это на вывеске, а по просторечию московской скороговорки — зеленой магазин, или, по-нашему, сокращенно — зеленой.

Там в окне витрины случалась зеленая дождевая феерия — непрерывно и таинственно, мерцающими брызгами текла-стекала вода прямо на садово-огородное ассорти - довольно, впрочем, скромного послевоенного плодородия — нежные крылышки салата, розоватые хвостики морковки, темные узоры петрушки и укропа, а подальше в глубине, уже на суше тянулось плодово-ягодное владение —

груши-яблоки-сливы. Зрелище захватывающее — получалось как увеличительное стекло-калейдоскоп, и еще — как тропические джунгли — о которых я знала по картинке в энциклопедии.

Все это, конечно, в сезон, а в другое время и окна и прилавки сквозили пустотой — скудное запустение квашеной капусты и маринованных зеленых помидоров в банках, не сказать, что особенно скрашенное сухофруктами и грецкими орехами в скорлупе — морщинистым товаром, не слишком привлекательным на взгляд и мало знакомым на вкус.

Однажды на фоне скучных прилавков появилась не очень заметная и не очень молодая женщина в сопровождении шелестяще-уважительного дыхания-эха — Алла Константиновна... Алла Константиновна... Продащица отвесила ей двести граммов сушеных яблок, с неподдельным деликатным почтением негромко, но озвучено обращаясь к первой актрисе Художественного театра по имени-отчеству — Алла Константиновна...



Позже я видела ее в Анне Карениной — помню полные ее белые руки и ничего больше. По-настоящему она мне запомнилась в Марии Стюарт — это уже потом, когда я была подростком. Тяжеловесная — как будто отягощенная собственной славой, она заметно уступала умной и подвижной сухошавой и гибкой Степановой. А спектакль был прекрасный — незабываемый.

Тарасова была нашим депутатом, и собираясь к ней на прием — было, бывало такое — депутаты принимали избирателей — сталинская номинальная демократия в действии — папа, смотрясь в зеркало, внимательно поправлял галстук. Еще бы — увидеть вблизи очаровательную и прелестную королеву сцены — такое случается не часто. Он ненавидел обивать пороги казенных учреждений и хлопотать по поводу собственных дел - получения неподдельного сносного жилья — было это для него ножом по сердцу. А тут пошел с интересом.

Как он вернулся и что говорил по возвращении — не знаю. Знаю одно — встреча с депутатом А.К. Тарасовой была абсолютно и безусловно безрезультатной — негу чудес и мечтать о них нечего — мы, как жили, так и продолжали жить в

шестиметровом гнездышке коммунального подвальчика. А Алла Константиновна продолжала депутатствовать и играть на сцене Художественного. Подтасовывая—перетасовывая слова поэта:

... И великой эпохи след на каждом шагу...
...И великой артистке ...горячий привет...

Разоренное гнездо

*Ах, будь к себе и другим неплох,
Может тебя
И помилует бог,
Однако, ты ввысь
Не особо стремись,
Ведь смерть — это жизнь, но и жизнь — это жизнь!*

Иосиф Бродский. Шествие

Новолесная улица, дом 18, корпус 1, квартира 70 — это наш последний московский адрес. Девятый этаж девятиэтажного дома, а телефон 251-77-63. Туда мы переехали в 67-ом году. Кооператив от Союза журналистов под председательством вездесущего Рудя создавался с трудом, скромный дом наш строился безнадежно долго — много лет.



Новолесная ул. 18, к.1. Вид сбоку

Деньги на квартиру были «кровавыми».

Об этом я уже писала — но, как известно, повторенье—мать ученья, а я это слововыражение выучила раз и навсегда — потому как — кровь не вода — больше пяти литров не выпить. Точно не могу сказать — была ли это компенсация за отсидку по папиной реабилитации (ныне, скорее всего, забытое слово, а по тем временам очень даже в ходу и обиходе). Или это был гонорар за папину книжку, написанную и даже уже набранную, но рассыпанную в злосчастном 48-ом из-за поли-

тической неблагонадежности автора, зато по оттепели вышедшую из печати на удивление беспрятственно. Родители не распространялись — но с их слов — из их лексикона — я знала — кооперативная квартира была построена на крови. Этой кровавой суммы аккурат хватило на первый взнос и на папину поездку в санаторий. Такой был денежный расклад.

А папин жизненный расклад — куда ни кинь всюду клин — тюрьма — одиночка и общий режим, голод и голодовка — участвовал в голодовке, добиваясь, чтобы политических отделили от уголовников, и хотя потом их пыточно стали принудительно кормить через шланг, все-таки добились своего. Что говорить — и ссылка была, и лагерь, а после — в свободной жизни — фронт, безработица и бесправие — такой расклад мало способствовал позднему расцвету-цветению — папа ушел 67-и лет от роду — непоседевшим, необлысевшим — молоджавым — в октябре 1971-го года — инсульт.

Так или сяк, но в 67-ом родители, может быть, впервые в жизни, вили гнездо. Двухкомнатную квартирку о 30-ти кв. метров полезной (или это называется — жилой) площади обживали с любовью, хотя денег на обстановку не было. Мебель покупали почти новую — частично по случаю у шахматного чемпиона Петросяна, частично с бору по сосенке у друзей-знакомых. Получилась красота. Занавески радостно разлетались под ветром, книги, наконец обрели полки, а мы мир и покой без соседей. Но ненадолго. Папа болел — тяжелая гипертония. Работать уже практически не мог.

Наш дом на Новолесной одним боком смотрел на знакомую папе по одиночной камере знаменитую Бутырскую тюрьму, суетливо застроенную-закамуфлированную невнятными какими-то домами-домиками. Тем не менее, краснокирпичную нарядную ограду со сторожевой башней и даже иногда с часовыми — было прекрасно видно сверху — нет, не из нашей квартиры — из соседней.



Бутырская тюрьма.

Мне сверху видно всё — ты так и знай

Однажды мы с папой любознательно отправились посмотреть тюрьму, но дальше крыльца нас не пустили. Скорее всего по аберрации памяти, крыльцо это вспоминается почему-то деревенски деревянным — узким, с подслеповой, тоже деревянной, как бы сколоченной наспех, жалкой облупленной дверцей — которая и вытолкнула нас прочь — не положено.

Нам же всегда хотелось прочь — вернее — вон — нет, не просто — по Грибоедову — из Москвы, а по Пушкину — когда вышиб дно и вышел вон — на вольную волю. С папиной смертью мы не только осиротели — папа всегда вносил струю живого воздуха, от него пахло ветром, прохладной свежестью простора - совсем даже не фигурально, а ощутимо. А тут возможность освобождения оказалась сверхъестественно головокружительной реальностью. Но понадобилось несколько лет, чтобы мы подали документы на эмиграцию — решились все-таки - вдвоем с мамой — ведь папы уже не было. Нельзя сказать, что при папиной жизни мы не обсуждали возможности отъезда — еще как обсуждали, но все сводилось на нет папиной болезнью.

Но вот свершилось. Я предусмотрительно ушла из ИТЭФа, сидела дома и переводила всякое — лишь бы платили — надо было на что-то жить — я не поднимала головы, работала день и ночь. Между тем, из ОВИРа ни слуху не было, ни духу. Хорошее выбрали времечко — 79-й год — мы в подаче, а тут грянула война в Афганистане — да разве угадаешь.

За два года — ожидание стало привычным и даже уютным стилем существования, и когда нам пожаловали разрешение на выезд — это было потрясением — неожиданным, страшным и разрушительным. Надо было собираться, нужны были деньги на отъезд. Ничего не поделаешь, надо — надо было расторгивать нашу прошлую жизнь — никакой сентиментальности — Амурам и Зефирам всем надлежало быть распроданными поодиночке.

Покупатели вели себя по-разному. Лучше всех вел себя Миша Данилов — кстати, он потом стал первым и единственным выборным директором ИТЭФа — Института Теоретической и Экспериментальной физики. А тогда его привел к нам домой казалось бы легкомысленный, кудрявый и растрепанный, сочувствующий Нозик, а Миша — как сейчас вижу - глаза-ресничный, с продолговатым овалом лица —серьезный без улыбки. Пришли и ушли, не оглядываясь по сторонам. Я продавала одностомник Пастернака по неслыханной спекулятивной цене — 100 рублей — ужас — мне было стыдно, и я хотела продать ему дешевле — Миша от этого категорически отказался — я езжу за границу, и у меня есть деньги, — строго отрезал он. Позже, между прочим, в далеко не вегетарианские брежневские времена — он с риском для жизни перевез через границу и переслал мне в Америку мои рукописи — если бы попался, конец научной карьере — пощады ни малейшей — будучи в заграничной командировке, он позвонил мне в Нью-Йорк — тоже небезопасно. Мы никогда не дружили — просто были знакомы. Вот какой бывает уровень порядочности — негромкой, и потому особенно драгоценной.

Имущество наше разошлось-разлетелось по рукам — по людям — Ира Орлова купила прелестные керамические косовские тарелки — отнюдь не сувенирной поделки. Наташа Кайдалова — встроенные на заказ по длинному коридору книжные шкафы. Их аккуратно выломали. Она следила, чтобы их не попортили. Разные люди — разные книги — разные вещи — упомянуть не могу — да и не хочу. Народу налетело — как мух на варенье — еще бы — good buy (удачная покупка).

Через несколько лет в гостях у нас на улице Schermerhorn, Ира Орлова упрекнула меня — почему продавала, а не дарила — я смутилась — оправдывалась, не знала, что и сказать — было совестно. И только теперь, оглядываясь назад, я вдруг поняла, что совестно должно быть не мне.

Между тем, милые друзья помогали изо всех сил. Лева Пономарев отстоял на морозе длиннющую очередь в Третьяковскую галерею получить для меня раз-

решение на вывоз никому, кроме нас, не нужных картин, в результате простудил почки — не в службу, а в дружбу — бесценную, у меня до сих пор душа болит, что заболел.

В мертвящей суматохе прощания — навсегда забылось многое — остался ужас от толпы покупателей и просто любопытствующих — срубили нашу елочку под самый корешок — отсекли корешок — до сих пор больно, хотя и казалось бы — отмерло.

А письма, бумаги, рукописи — сжег дворник, как водится, в фартуке белом — шумел, горел пожар московский — все ушло, сожгли корешок — родное стало пепелищем - не поминайте лихом, господа — good bye, farewell, прощай, Москва-красавица — стоял 1981-й год, январь месяц стоял в пожелтелом пожухлом московском снегу.



Елена Кушнерова

СКАЗКА ПРО ЗОЛУШКУ, или «Зови меня просто Кеша»

История, которую я собираюсь рассказать, произошла в действительности, хотя она очень напоминает сказку, знакомую с детства.

Произошла она с Вашей покорной слугой во времена развала самой развитой из всех тоталитарных стран, в далекие 90 годы прошлого столетия.

Место действия — мой родной город Москва. К действующим лицам пьесы, по мере их появления в рассказе.

Как-то раз в один прекрасный день в моей московской квартире зазвонил телефон. На первый взгляд, ничего необычного в этом событии не было, хотя Миша Ермолаев (сегодня Коллонтай) никогда без серьёзной причины мне не звонил. Причина оказалась действительно достаточно серьёзной. Миша просил заменить его в концерте. Это само по себе было уже чем-то из ряда вон выходящим. Миша в то время был очень известным человеком в музыкальной жизни Москвы, композитором и пианистом, заслуженно пользовавшимся огромным уважением как коллег, так и любителей музыки. Дело в том, что его друг, тоже известный композитор, Владимир Рябов, написал симфоническое произведение «Рождественская звезда» для оркестра, чтеца и солирующего фортепиано, которое должно было исполняться в зале имени Чайковского. Миша мне, конечно, объяснил, по какой причине он сам не может играть, но это начисто стёрлось из моей памяти. Заменять Мишу в концерте было делом необычным. Но так как я никогда и ни от чего не отказываюсь, то, не колеблясь, согласилась.

Вскоре я получила ноты и поняла, что это не концерт с оркестром, а именно ПАРТИЯ фортепиано в оркестре с огромным количеством пауз, а, как известно, солисты паузы считать не умеют. Сразу стало понятно, что без партитуры мне не разобраться. Тот факт, что пианистка просит партитуру, почему-то поразил автора, хотя я себе плохо представляю, как можно выучить новое произведение с оркестром, если ты себе не представляешь, что делает в это время оркестр. Репетиций было всего ничего, так что надо было серьёзно готовиться. Убейте, не помню, сколько времени у меня на это было, да и неважно это, а важно, что уже на генеральной репетиции я осознала, что кроме оркестра и меня, был на сцене ещё один человек. Солист, который читает текст. И солист этот был не кто иной, как Иннокентий Михайлович Смоктуновский, с которым, как оказалось, Рябов был дружен. Вот вам и ещё одно действующее лицо моего повествования, собственно, главное действующее лицо. То, что я «обратила внимание» на Смоктуновского, неудивительно. Удивительно, что и Смоктуновский, как оказалось впоследствии, тоже обратил на меня внимание, хотя, как я уже написала, рояль не стоял перед оркестром, как это бывает, когда исполняется концерт с оркестром, а стоял в сторонке, как и следует ему стоять в оркестре. Концерт прошёл, наверное, с успехом, произведение было очень интересное, да и солирующий чтец был явно не последним звеном в этом успехе. После концерта произошло нечто совершенно необыкновенное, и тут

и начинается сказка. А именно, Иннокентий Михайлович подошёл ко мне, и в каких-то возвышенных выражениях высказал мне своё «восхищение».

Более того, он попросил мой телефон, который я, заикаясь, ему и продиктовала.

— Я вам позвоню, — сказал Смоктуновский и улыбнулся всем нам известной очаровательной своей улыбкой. Не помню, ответила ли я ему что-либо вразумительное.

Как вы понимаете, звонка я не ждала, я была уже достаточно вознаграждена за свои старания. Мне кажется, что Миша мне позвонил и сказал, что Рябов меня очень хвалил, и был вполне удовлетворён моим участием в концерте.

Но не прошло и нескольких дней, как... у меня зазвонил телефон...

— Говорит Смоктуновский... Я задохнулась: «Иннокентий Михайлович!!!» — «Лена! (можно я вас буду звать "Лена")» — Ну, конечно, Иннокентий Михайлович!

— Лена, Леночка, хотел ещё раз поблагодарить вас за замечательный вечер! Знаете, у меня к вам огромная просьба!

— ???

— У меня будет небольшой вечер, ещё точно не знаю, где, хотел вас попросить сыграть что-нибудь (всё, что хотите) для моих друзей... будет у Вас время? (И тут он назвал число, к сожалению, не помню, какое).

— Ну конечно, Иннокентий Михайлович! С удовольствием!

— Ну и славно! Я вам позвоню, когда всё будет известно.

Я положила трубку с единственной мыслью «что это было?». Буквально через день снова звонок: «Это я! Так вот, встреча состоится во МХАТе, народу будет немного, только друзья. Вы мне сделаете большой подарок, если что-нибудь для нас поиграете, минут на 15. Что вам надеть? Да вы что ни наденете, хоть джинсы, будете, как принцесса...». На следующий день: «Леночка, это Смоктуновский, знаете, всё же оденьтесь в вечерний туалет, я поговорил с друзьями, они хотят, чтобы было празднично! Жду вас во МХАТе»...

Через несколько дней наступил-таки тот самый день, вернее, вечер, и я, надев самый красивый мой наряд (эдакий весь золотой, подаренный мне в Италии) отправилась во МХАТ. Как я уже написала, не помню точного числа, когда это было, но помню, что была зима, лежал снег, и было холодно, так что пришлось мне утепляться всерьёз, чтобы добраться до центра Москвы. И вот я захожу в здание старого МХАТа... Иду, как полагается, в раздевалку, чтобы оставить там мою незамысловатую заячью шубку. Там же в углу нашла укромное местечко, где я и пристроилась, чтобы снять рейгузы и переодеть сапоги, и вдруг... буквально слепну от яркого света, как мне кажется, направленного прямо на меня. А стою я на одной ноге, снимая пресловутые рейгузы, и слышу голос Смоктуновского: «Лена! Леночка! Где Вы? Я хочу Вас представить»... И сразу же, еле успев оправить мою золотую плиссированную юбку, вижу направляющегося ко мне Иннокентия Михайловича и с ним, освещённого телевизионными софитами, М.С. Горбачёва с Раисой... Ага, — думаю я, — и тут побежали мысли в двух направлениях: с одной стороны, вспомнила слова Иннокентия Михайловича, что будет «все свои», а с другой, какая-то глупая мысль, что снимали-то не меня с моими рейгузами, а всё-таки Горбачёва... Смоктуновский подводит меня за ручку к Горбачёвым, уже в то время отстранённым от царствования, и представляет примерно такими словами: «Вот, Михаил Сергеевич, хочу представить Вам моего дорогого друга, замечательную пианистку...» И что-то там коротко о том, как мы познакомились, и в каком он от меня был восторге. Мы обмениваемся рукопожатиями, Раиса одета красиво и скромно, как и полагается Королеве, в какой-то

изумительный чёрно-белый костюм, который ей очень к лицу, а Михаил Сергеевич обращается ко мне: «Так вы пианистка! Замечательно! Я, знаете ли, в музыке не разбираюсь, но слушать люблю»... Что я ему на это ответила и ответила ли вообще от общего стресса, не помню, но сразу же Горбачёва стали разрывать на куски, и необходимость с ним общаться рассосалась сама собой. Смоктуновский же не оставил меня стоять в одиночестве, а повёл под ручку в зал, где уже были расставлены столики, и указал мне моё место. Оно оказалось за ближайшим к сцене столиком, рядом со столиком самого Смоктуновского, где он и занял место. За его столом, кроме четы Горбачёвых, сидел Олег Ефремов, в то время главный режиссёр МХАТа. За моим столом помню только композитора Володю Рябова, который сразу же начал меня осыпать комплиментами и всякими «подколками», типа, когда я успела «закадрить» «Кешу». Видно было, что он изумлён всей этой ситуацией, и не знает, как относиться к моему присутствию на таком мероприятии.

Среди гостей, кроме упомянутого Олега Ефремова, был весь цвет тогдашнего актёрского общества: Николай Губенко (в то время министр культуры) с женой Жанной Болотовой, Леонид Филатов, Геннадий Хазанов, Олег Табаков и многие другие знаменитости... даже и не припомню, кто. Понятным образом, я была в таком шоке от всего происходящего, что вообще не понимала, что вокруг происходит. Я была совершенно не подготовлена к такому вечеру... Мне как-то не приходило в голову, что «все свои» в устах Смоктуновского и есть все эти знаменитости, которых обычно видишь только на экранах телевизоров или кинотеатров! Вскоре, из приветственных речей, мне стало понятно, в честь чего вообще всё это происходит. Речь шла о том, что Смоктуновский был на войне простым солдатом и был награждён медалью за отвагу... и почему-то это стало известно только много лет спустя, кажется, вообще случайно, по скромности Иннокентия Михайловича.

Я просто наслаждалась моментом, на каждый тост Смоктуновский подбегал к нашему столику, чтобы чокнуться бокалом шампанского со мной и с Рябовым. Выступали и Горбачёв, и Раиса (кстати, у меня осталось в памяти, как хорошо и достойно она говорила), и Ефремов, и Филатов, потом выступал Геннадий Хазанов с очень смешным скетчем о наших вождах, начиная с Ленина и до... Горбачёва. Тогда, в начале 90-х, уже допускалась некоторая «крамола». Было ужасно смешно, особенно, когда после Черненко наступила очередь сидящего рядом со сценой Горбачёва. Хазанов сделал большую театральную паузу и медленно повёл свой взгляд в сторону сидящего в нескольких шагах от него Михаила Сергеевича... Сделал он это так, что все, включая самого Горбачёва и Раису, просто покатались со смеху... И когда я уже совсем расслабилась и решила, что в этой «команде» мне выступать не придётся, Иннокентий Михайлович вышел на сцену, скромно поблагодарил всех за добрые слова в его адрес, и сказал, что сейчас он приглашает на сцену своего нового друга, тут он посмотрел на меня (у меня сразу пересохло в горле), галантно подал мне руку, помогая подняться на сцену, и, представив меня самым лестным образом, предоставил сцену мне...

Не помню, что я там сказала, но что-то прочувствованное, потому что все заплодировали, и вот я, единственная неактриса, села за рояль и сыграла несколько пьес, включая «Посвящение» (Widmung) Шумана в обработке Листа. Актёры, как известно, являются потрясающей публикой, играла я с удовольствием, всё это снималось телевидением. После игры, Иннокентий Михайлович опять поднялся на сцену, поблагодарил меня за замечательный «подарок» и подарил мне один из своих роскошных букетов цветов...

Заканчивается всё, закончился и этот сказочный вечер. Неожиданно стало очень поздно, и мне надо было торопиться на метро, пока оно не закрылось. Помню, что на лестнице у выхода меня провожал Иннокентий Михайлович, и попросил меня: «Зови меня, пожалуйста, просто Кеша». Я сказала: «Кеша, как я могу Вас отблагодарить за этот чудесный вечер?»

— Очень просто — ответил Кеша — поцелуй меня!

Выйдя из здания МХАТА, после пережитого возбуждения, я оказалась в темноте и холоде постперестроечной Москвы, внезапно я ощутила себя Золушкой, убежавшей с бала, когда мечта осталась где-то далеко, а моё золотое платье было укрыто тёплой кофтой и незамысловатой шубкой, а вместо кареты, превратившейся в тыкву, меня ждало метро...

P.S. На следующий день по первой программе центрального телевидения в новостях показывали этот вечер в честь простого солдата Иннокентия Смоктуновского. Показали Горбачевых, Хазанова, Ефремова, и всех всех всех.... Всё это шло под музыку Шопена, исполнявшегося вашей покорной слугой, показали даже мои руки в золотых рукавах, и сказали: «на вечере прозвучала музыка Шопена и Листа».



Дмитрий Бобышев
ЧЕЛОВЕК ОТЕКСТ
Трилогия
Книга первая: "Я здесь"

(продолжение. Начало в №12/2014 и сл.)

Те же, но другие

Любовь накладывалась на влюбленности, те — на литературу, а она, как избалованное чудовище, кидалась на жизнь самоё. Красота сверстниц, блеск их глаз, грандиозность собственных планов и сопутствующая им эксцентричность выходов — все это опьяняло, кружило голову и, лишь слегка помучив, поколобрив в крови или сознании, находило простой и уже налаженный путь — прямым ходом в стихи. Не всегда это было последним результатом: строфы воздействовали на тех, кому были адресованы, внушали им грусть или трепет, и весь цикл начинался опять. Я писал «песенку про то, / как жена моя Наталия / одна сидит в пальто», и Наталия меркла и зябла, хотя в доме было тепло, и моей сердечной приверженности она не теряла, а я, исповедуясь, наказывал себя сам:

За её улыбку слабую,
за пальцы у лица
я вот этими силлабами
себя же, подлеца...

Или, игнорируя ничтожность глагольной рифмы (единственный порок моего тогдашнего поведения), я вдруг объявлял прилюдно:

Тебя, красавица, не запретить,
когда тебе самой запретом быть...

Мой мадригал вызывал мимолетную нежность да несколько записок, выбросить которые из кармана пиджака у меня не хватило духу. И — напрасно! Это ещё не было проступком, тем более — никак не супружеской изменой, но все, должно быть, тёщинско-материнские наущения восприняв, полезла Натаха таки лапой своей по моим карманам, обнаружила нежные письма, и:

- Что это?!!
- Да как ты смела залезть в мои карманы?!
- Так! Прочь из моего дома!
- «Твоего», не нашего? Ну, это все! Ноги моей... Ушел...

Благо есть куда, хоть с завязанными глазами: обогнув вячеслав-ивановский угол, поверни налево и, поднявшись на четвёртый этаж, звони в Таврическую обитель. Звоню... Субботний вечер, никто не открывает. Лето. Все на даче. Тут только я понял, что натворил... Только что был дом, даже два, и — ни одного. Ни семьи. Ну и что, есть ведь друзья. Конечно, не те, чтоб в одном окопе... Но переночевать-то

дадут. Мелочь какая-то в кармане бренчит, надо позвонить из автомата. Только вот — кому? Найманы живут в одной комнате, в другой — родители, у них негде. О Бродском нечего и вспоминать — он сам живет в закуте. Рейны? У них тоже одна комната, но, может быть, свободна половина Марины Александровны — она вроде бы собиралась на юг? Звоню туда, двухкопеечная монетка (единственная!) проваливается, звучат долгие гудки, и никакого ответа, хотя уже двенадцатый час, и, если они сегодня в гостях, могли бы и вернуться... Остаётся ещё гривенник, он тоже подойдет, только надо звонить наверняка. Перебираю все варианты, и выходят Штейны! Большая профессорская квартира, живут в центре. В столовой явно никто не ночует, могут мне постелить на полу. Или в кабинете у Якова Иваныча — там, по-моему, есть даже кушетка. Звоню. Отвечает Людмила. Объясняю. Слышу — кислое, но положительное:

— Ну, приезжай...

Пока еду, оцениваю наши отношения. Знакомы-то мы давно, хотя лишь в последнее время стали видаться чаще. Люда и Витя похожи друг на друга, малая дочь Катя — вылитые оба. Витёк — кандидат технических наук, но шутит он не как интеллигент, а как детдомовец. У Людки это получается лучше. Её отец, военный историк, тоже, случалось, высказывался эпохально. Например, в компании циркулировал его отзыв о Рейне: «Старик знает всё, но не точно». Сам же он знал, вероятно, многое и довольно точно: опознал портрет Лермонтова по пуговице Тенгинского полка. А его жена, мать Людмилы и, следовательно, тёщенька Виктора, танцевала когда-то в кабаре, что уже остроумно. Имелся кот — серый, как половая тряпка, по кличке Пасик. От Паасикиви, предпоследнего финского президента, это тоже был юмор.

Пасика мусолили-мызгали на коленях все проходящие в Людмилин салон, — она изредка стала собирать литературную публику у себя, порой очень даже всерьёз. Выступал у них (видимо, по приглашению отца) историк Лев Раков, чья комедия «Опаснее врага», написанная в соавторстве (Д. Аль и Л. Раков), шла в акимовском Театре комедии, но выступал не в качестве комедиографа или историка, а как рассказчик. Рассказать ему было что. Лев Львович, по ком вздыхал Михаил Кузмин в тридцатые годы, красу свою поутратил, но был всё ещё дядькой видным. Он занимал посты, был директором Публички, а затем стал заведовать Музеем обороны Ленинграда, чья стеклянная крыша виднелась с набережной Фонтанки. Под ней внутри зала висели вражеские самолеты, из черных рупоров стучал метроном, взывала сирена, а среди экспонатов минималистски выделялась паечка блокадного хлеба. В конце сороковых из Смольного явилась туда идеологическая комиссия в виде двух тучных пиджаков и трёх кителей, прошла по диагонали через весь зал, и один из пиджаков произнёс: «Голода в Ленинграде не было. Были временные продовольственные затруднения, преодоленные защитниками города под руководством Коммунистической партии и Верховного командования». Музей был закрыт, директор отправлен на дальние рубежи.

Прозвучала серия таких рассказов, в которых ужас и глупость эпохи возобладали до крепости и чистоты абсурда, то есть становились искусством, даже своего рода комедией.

Порой Людмила устраивала встречи в подчёркнуто узком кругу, вызывая у гостей чувство избранности и ожидание какой-то шутилой или игровой удачи. Тогда овал дубового стола расцветал не столько яствами, сколько безрассудной раскованностью собравшихся, их почти искренней игрой в исключительность себя —

каждого, кто составлял это овальное очертание. А вот и сюрприз: вносится граммофон с трубой, из которой звучит ретроспективно входящий в моду чарльстон. И — смотрите — сюрприз в сюрпризе! Людка взбирается на стол и танцует этот самый чарльстон, да так ловко! Ножки у очкарика ничего, манеры не робкие, но — никакого разгула, а лишь эксцентрическая и даже вполне элегантная выходка...

То же и с Пасиком — не просто стала упрашивать, чтобы написали что-то забавное о нём (кто бы тогда поддался на эту ерунду?), а возбудила соревнование, привлекла «лучшие литературные силы эпохи» — Рейна, Наймана, Бродского... кригику... кинематограф... кибернетику, не говоря уж о ветеранах кабаре... Пришлось и мне напрячься, написать хотя бы акростих «Коту Пасику». Нет, этого мало. Надо еще и сонет:

...Единственно твоей хозяйки ради,
кастрат любезный, я тебя пою.

Так я себя развлекал в позднем автобусе по пути к Штейнам — скорей, отвлекался от жгучей досады, обиды, от сознания непоправимости, несправедливости, невезения, а на душе отчаянно скребли мерзко-паршивые помойные кошки: ведь сам виноват. Но ничего. Надо успокоиться в дружественном доме, прийти в себя. А выход из тупика найдётся.

Звону в дверь. Людкин осторожный голос:

— Кто там?

— Я. Вот, приехал...

— Ты знаешь, у нас переменялись обстоятельства. Мои родители внезапно вернулись из-за города, и они категорически против. Они уже спят, просили не беспокоить.

— Что же мне — на вокзале ночевать?

— По-моему, это не такая уж плохая идея.

Ночевал я на вокзалах и до и после этого — ничего ужасного, кроме неудобств, не было. Ну, ходит мент, сбрасывает ноги с дубинного эмпэсовского дивана, ну, уборщица гоняет из одного грязного угла зала в другой, мокрый, — не в этом же дело! Просто три раза за вечер оказаться перед закрытой дверью казалось мне слишком... Слишком — что? Много? Мало? Слишком уж трижды. Подло, бесчувственно, оскорбительно. Мир казался полным зла. Пустой автобус, везший меня на Московский вокзал, почему-то долго не трогался с места на углу Невского и Рубинштейна. Видимо, ждал, войдет ли одинокий пассажир, стоящий на остановке. Тот все медлил, что-то высматривая вдаль. Но лицо его я запомнил: немигающий взгляд без ресниц, полусъеденные ожогом ноздри и губы, заострённый нос. Довольно-таки адская физия смотрела, к счастью, не на меня, а куда-то вбок, но и этого было достаточно, чтобы врезаться в память на всю жизнь. К Наталье я больше не вернулся.

А Людмила скоро пожаловала с повинной на моё новое, как Старый Новый год, жилье на Таврической. Конечно, возвращением блудного сына были мои родители недовольны: сестра Таня уже невестилась, кончая университет, брат Костя готовился в институт, и оба занимали по большой комнате, мать с отчимом — третью, а Федосья жила в клетушке при кухне, которая, видимо, так и была замыслена архитектором первой пятилетки как «комната для прислуги» — а для кого же еще? В общем, брата с сестрой я пригнестить не стал, а няньке пришлось, ворча и бранясь, выгородить себе угол и уплотнить Костю, я же занял собой «кубометр» жилых пространств, состоящий из двери в кухню, окна во двор, канцелярского стола, стула да

алюминиевой раскладушки. Поместиться там моглишь единственный жилец, а при известной взаимности ещё одна посетительница. Уроками гостеприимства и дружелюбия мы и занялись с Людкой. За стенкой журчала ванна, за дверью неодобрительно брякала кастрюлями Федосья, моя бедная койка ютила жеребью волчицу (или же — замужнюю даму), у которой оказалась нежная кожа и бледные, как у крокодила, десны: мы оба тогда увлекались «Контрапунктом» Олдоса Хаксли.

Замужняя дама? Что-то такое вспоминалось в переводах из Лорки: «Я думал, что она невинна, / а она была женою другого... / Я снял свой ремень и револьвер, / она — все четыре корсажа...» В общем, скакать на кобылке из перламутра было весело, и, конечно же, вопрос о невинности, как её, так и моей, отпадал сам собой. Наш немой уговор, казалось, подразумевал общую на двоих тайну, давая взамен вседозволенность — друг перед другом, конечно. Например, плыть свободно в мире осязаний, где отнюдь не инстинкт был подхалимом — он-то всегда был непререкаем, — подхалимствовало сознание, находя тысячи доводов для оправдания его хотений. Но какие-то правила, как я считал, оставались. Скажем, не называть в компании свою даму — труднейшее условие, которое выполняли одною не все, даже самые рыцарственные образцы наших кабалерос. Тот же Пушкин... А Лермонтов? Остальные, пожиже, откровенничали с названием имен и подробностей, похохатывая над роконосителями да и над самими «оплошавшими» дамами. По Лорке выходило всё-таки лучше: «Я отдал ей свои золотые / и нигде не сказал, как ее звали».

Поэтому первая стихотворная проба (с вошедшими в нее коечными обстоятельствами) заканчивалась «обещанием имен не раскрывать», что вызвало у адресатки некоторое разочарование, если не досаду. Такое тщеславие ей же во вред меня удивило, но я стоял на своём. Следующее лирическое сочинение на ту же тему, которое я так и назвал «Свидание», опять же осталось без посвящения, хотя я описал в нем детально: и можжевеловый дух прогулки за город, к заливу, в снег, и узкие следы, и придорожную гостиницу в сугробах (вот чудеса советских времен — там можно было снять номер!), «и сгоряча, в два оборота прокрут ключа»... Пьеса эта далась легко, собственный тон удерживал её от погружения в пастернаковскую метель, любовники примеривались друг к другу, их волновали не времена и залого, а лишь впору ли им, то есть подходит ли им эта связь «и до отъезда, и возвратясь» в заснеженный город на вечернем такси, чтобы, расставшись на площади, раствориться в толпе, сделаться никому не известными городскими тенями. Но именно последнее её никак не устраивало, и со стихотворением этим она кидалась, кажется, к знакомым и незнакомым (что было бы лучше), обнаруживая таким образом свой адюльтер.

Сунулась и к Жозефу, и он мгновенно отпародировал «и до обеда, и наедясь», но этим дело не кончилось. Мне было мало чести наставлять рога Вигюше, он носил их с раздраженной сдержанностью, но нарушать компанейский мир не хотелось. Между тем связь оказалась впору во многих смыслах. Однако раздробленная раскладушка не могла уже служить пристанищем для наших встреч, отнюдь не сентиментальных.

Узнав, что у моих родителей есть дача на Карельском перешейке, подруга возгорелась (конечно же, правильной: «возгорелась желанием» её посетить, несмотря на морозы. Дача далеко, на один вечер туда не съездишь. Пришлось отпрашиваться на работе: «Прошу предоставить мне отпуск за свой счет на два дня по причинам личного характера», а дома, наоборот, врать о командировке. А что она наплела своему Вигюше, я и представить себе не мог. Приехали в темноте. Добрели по сугробам до промерзшего щитового дома со шлакозасыпкой. Чтобы натопить

его, потребовалось бы два дня и вагон дров. Я затопил плиту на кухне, где в сезон была вотчина исключительно нашей Федосьи, чугунную дверцу оставил открытой, чтобы воздух согрелся скорей. Из гостиной втащил пыльную шкуру белого медведя, трофей Василия Константиновича, привезённый, когда он молодым гидрографом был в ледокольной экспедиции по снятию папанинцев со льдины. Постелил перед топкой. Этот пещерный уют с горячими отсветами и ледяными тенями привел мою подружку в экстаз, что, как мы оба решили, вознаградило нас с лихвой за тяготы этой громоздкой поездки.

Вознаграждение было и литературным: шептались почти сакральные тексты, в которых именно тогда и открывался их подлинный смысл. «Сестры тяжесть и нежность» доказывали одинаковость своих примет во всей их буквальной очевидности. А символическая звезда, от которой все равно не было светло, становилась дорожкой именно тем, что для неё и не надо было света. Честолюбие и воображение были двумя моторами, пропеллирующими мою подружку в несомненно успешное будущее.

Темы эти продолжились в переписке, сублимировавшей редкость свиданий, но имели скорей шутливое, даже шутовское развитие. Моя адресатка («Главпочтамт, до востребования») была пристрастна к светскому романтизму, к жизни богачей и знаменитостей, и я ей стилистически подыгрывал, а сюжеты были самые ахинейские. Так, шкура белого медведя (знала ли моя корреспондентка, что «шкура» на тогдашнем жаргоне означала, можно сказать, ее саму?) превратилась у неё в зажигательную красавицу Ширли Бесамэ Мучо, инициалам которой посвящались шедевры уставшего от мировой славы поэта. В переписке упоминались экзотические острова, курорты, мелькнула также, ради драматизма, даже техасская тюрьма. Ну, и так далее...

Отношения выдыхались, последняя встреча состоялась «у подруги», оставившей ей ключ, — как раз через Таврический сад от меня, в доме с тремя грациями на углу Потёмкинской и Фурштадтской (тогда — Петра Лаврова). Большая полутёмная и неприбранная комната, кафельный очаг с каким-то мусором в топке, конечно, диван, телевизор, книжки... Настроение было подавленное: на днях застрелили Кеннеди, американского президента, а воспринималось — как будто кого-то из наших. Но «Ширли» была целенаправленна, стремясь извлечь из свидания полную меру. Подождала мусор в топке, он пыхнул и, чадя, отгорел. Возбуждаясь и досадуя, она стала бросать туда книги: Николай Островский, Фадеев, ну, это ещё куда ни шло. Как порой говорят об актрисах, «она играла саму себя». На Тургеневе я её остановил. Включили телевизор, но продолжали валяться. Шел прямой репортаж с Арлингтонского кладбища в Вашингтоне. Медленно проплывал гроб на лафете, укутанный в звёздно-полосатое знамя. Стояла успокоенная таблетками Джекки, справа от нее — дочка Кэрлайн, слева — совсем маленький мальчик Эд, сын президента. Он отдавал по-военному честь мёртвому главнокомандующему Вооружённых сил и своему отцу. Третий века спустя оранжерейный «принц Эдвард», возвращённый вдали от тоскующей по нему прессы, пилотировал над Атлантикой свой самолет, опаздывая с женой и с её взятой в последний момент подружкой на семейную вечеринку в поместье, расположенное на одном из принадлежащих их клану островов в океане. Отражение звёзд в воде он принял за звёзды и направил аэроплан в бездну.

А наши, не такие уж тайные, встречи прекратились. Вскоре меня заменил рослый, шагающий по пути к своим звёздам Довлатов, и Витюше пришлось, видимо, ревновать еще сдержанней.

В семидесятые годы добрая половина моих персонажей, включая меня, перебрались на другую половину планеты, и Штейны — немного раньше большинства других. От неё пришла лишь одна открытка из Вены с жалобой на дороговизну почты, — и вообще, мол, всё тут совсем другое, не объяснить. Возникло затяжное многоточие...

Переселся сам, чуть ли не на третий день в Нью-Йорке, я отправился на вернисаж в русскую галерею Нахамкина, которая располагалась тогда на Мэдисон-авеню. Манхэттен опьянял, возбуждал, запрокидывал мою голову вверх. Посетителей выставки поили белым вином, Целков был представлен новыми работами, Тюльпанов — самим собой. Рома Каплан и Людмила оказались нанятыми и работающими там же агентами по продаже. Вечером Рома угощал меня морскими ракушками, на ланч мы сговорились с Людмилой на завтра. При встрече она меня ошарашила:

— Для начала — две новости. Обе, впрочем, не так уж новы. Во-первых, я стала писательницей. А во-вторых, Бродский — гений.

Я встал в позу обличающего пророка и произнес:

— Людмила, имя твоё — толпа!

Она оскорбленно остановила для себя такси, я спустился в сабвэй.

Горбаневская: о ней и немного вокруг

Идеологическая установка, высказанная Людмилой на углу 5-й авеню и 42-й улицы по части Бродского (а это именно установочно и подавалось), начала складываться как постулат, когда наши полусекретные свидания с ней сходили на нет. Правда, и Иосиф начал писать тогда широко и уверенно. Он сочинил «Рождественский романс», посвятив его Рейну, и, не то что читая, а скорей исполняя его, почти что пел. Авербах дал мне своё заключение:

— Это лучшее стихотворение года.

— Погоди, Илья, год только начинается! А кстати, какие стихи были лучшими в прошлом году?

Он не знал, что назвать (Ахматова? Пастернак?), — его премиальное мнение выдавалось без конкурса и жюри. Рейн в ответном стихотворении, которое, право же, ничуть не уступало «Романсу», писал об Иосифе восторженно — «рыжий и святой», почему-то упиваясь его весьма условной рыжиной как особым знаком небес, повторяя ещё и ещё в тех же стихах: «Орган до неба. / Рыжий органист...» И уверять его, что клавиесин не хуже органа или что, кроме Баха, есть еще и Вивальди и Гайдн, было бесполезно: на то уже делалась установка.

Между тем наши отношения с Жозефом оставались прежними, то есть приятельски-уважительными: он бывал со стихами в моей старо-новой клетушке, вдруг утешил подарком — загрунтованным квадратиком картона с желтым яблоком на нём. Мило надписал его с тылу. Я и не знал, что он рисует и даже пишет маслом. Эта картинка мне нравилась, я её то выставлял на стол, то прятал в ящик. А потом она исчезла, и я подозреваю одну не очень чистую на руку, хотя и дорогую мне особу. Пусть держит, но если будет она это «Яблоко» продавать, знайте — украдено у меня... Ну, а заходил к Иосифу в каменную кулебяку на улице Пестеля... Он, напирая, гнал огромную поэму и уверял, что поддерживает постоянное музыкальное звучание в себе — причем определенного тона: ре минор.

— Ре — это хорошо. Но, может быть, лучше мажор?

Он чуть помычал сомкнутыми губами и ответил убежденно:

— Нет, именно ре минор.

Отправляясь в Москву, он неожиданно попросил у меня рекомендательное письмо к Давиду Самойлову. Я не был особенно знаком с «Дэзиком», как его все за глаза называли, но мы втроем с Рейном и Найманом у него ранее побывали и даже получили из его рук кое-какую работу: он был не только блестящим переводчиком с польского и чешского, но и одним из крупных воротил этой индустрии. Бродский, очевидно, хотел продвинуть своего Константы Ильдефонса, которого напереводил порядочно. В жанре деловых рекомендаций я еще не выступал, но записку, конечно, вручил ему самую положительную, хотя и с бессознательной ошибкой: фамилию своего протеже написал по аналогии с Троцким. Кажется, это не помешало «Броцкому» познакомиться с «Дэзиком Кауфманом» и произвести на того впечатление.

Еще находясь в Москве, молодой приятель сделал мне новый подарок: прислал с дневным поездом девицу. Небольшого росточка, русо-рыжеватую, как он, но кудрявую и с ещё более крутой картавинкой, чем у него... Она явилась на ночь глядя, девать её было некуда. Я предоставил ей мою раскладушку, а себе постелил в комнате брата, потревожив нянюку, у которой была там выгородка.

Федосья даже не предложила нам завтрак, я увёл девицу от недовольных домочадцев в пижмовую, мы с ней наконец разговорились и стали друзьями, крепко и хорошо, на всю жизнь.

То была Наталья Горбаневская, впоследствии, без преувеличения сказать, — героическая женщина, великая гражданка своей родной страны, и ещё — Франции, и ещё — города Праги, честь которого она защитила 25 августа 1968 года на Красной площади.

Начав читать стихи, она стала существовать для меня как сильная и упорная поэтесса, чья словесная работа тогда, да и всегда после, воспринималась как идущая рядом, бок о бок с тем, что делаешь или пытаешься сделать сам. Она читала:

*Стрелок из лука, стрелок из лука,
стрелок, развернутый вперед плечом...*

Мгновенно узнавалась скульптура Криштофа Штробля, чья выставка незадолго до этого прошла по двум столицам. Романтический бронзовый лучник с торсом, напряжённым не менее, чем оружие в его руках, впечатлил и меня, но у Натальи он взял и превратился в разящие строки. Начиная с «Медного всадника» скульптуре, как видно, суждено гораздо естественней превращаться в стихи — сравнительно, например, с живописью, и результат при этом не выглядит вторичным или заимствованным.

Впоследствии я вспоминал не раз эти стихи и эту бронзу, пока не обнаружил её вдруг из окна Эрмитажа во внутреннем саду Зимнего дворца: как-то без лишнего шума «Стрелок из лука» там обосновался. Но к тому времени я уже знал не то чтобы первоисточник, но более раннее, гораздо более свежее и могучее воплощение этой же темы у другого скульптора. В альбоме Эмилия-Ангуана Бурделя я увидел «Стреляющего Геркулеса», и он стал для меня образцом ваяния, а Штробль отодвинулся и затих, но не затихли Натальины строчки.

Однажды тема захватила и меня, гораздо позднее и совсем в другом месте. Один из курсов, которые я вёл на кампусе Илинойского университета, собирался в аудитории, из окон которой был виден садовый дворик с фонтаном. Фигура, вен-

чающая фонтан, представляла Диану скульптора Карла Миллеса: нагая девчонка с плоским лицом стреляла из лука без тетивы и без стрел. Она целилась в студентов, играющих на лугу, а попала в преподавателя русской литературы. Как-то быстро и легко написалось стихотворение «Университетская богиня», и это — не о другом, а о том же.

Помимо ещё многого, университету принадлежали земли в соседнем графстве — по существу, целая латифундия с полями, лесом, участком дикой прерии, прудом, регулярным парком и, конечно, усадьбой. Это был подарок университету от богатей по фамилии Аллертон: такая необычная щедрость объяснялась тем, что их семья вырождалась и голубела, а земли были отягощены налогами и долгами, и меценатство оказалось лучшим от них избавлением. Я отправился туда. Во французской части парка были расставлены скульптуры того же Миллеса, авторская копия Родена, почему-то еще группа комических китайских изваяний, а в орехово-буково-дубовом лесу на пересеченье дорожек бронзово высился «Умирающий кентавр» Бурделя. Человеческая голова была запрокинута назад и вбок, большие руки еще удерживали на хребте лиру, а копыта и круп уже, оскальзываясь, оседали. Невидимо раненный Геркулесовой стрелой, он силялся и не мог умереть.

Примерно так же кончается сюжет и у Горбаневской, но она помещает его в раму северо-западного фольклора:

*А в чистом поле,
а под ракитой,
а сокол в поле улетел.*

Она жаловалась на непонимание в Москве, браталась, единясь, с питерцами и, шутя, ратовала за создание новой Озерной школы поэтов — Ладожской, с отделениями для консерваторов и либералов в Старой и Новой Ладоге.

Поехали представлять её Ахматовой, но той не оказалось в Комарове, она как раз была в Москве.

Наталья — моя сверстница, но в то время она ещё не закончила образования. Училась она по филологии и истории литературы, но что-то у неё не заладилось в Москве — скорей всего, из-за прямоты характера, она перевелась на заочный в Пединститут имени Герцена и ездила в Питер сдавать зачёты и курсовые профессору Дмитрию Евгеньевичу Максимову. Он считался специалистом по Блоку, но, поскольку Блок был одно время под запретом, прикрывался Лермонтовым. Седой, бледно-морщинистый, с косящим в сторону глазом, он был тогда старше, чем я сейчас, но собирал на свои лекции поклонниц, приходивших из публики. Он платил осторожные дани Серебряному веку, с сочувствием интересовался современной (даже неофициальной!) литературой и слыл за либерала. Но, с одной стороны — реликт былой культуры, с другой — продукт своего времени, он был, видимо, то ли бит, то ли пуган и очень уж осторожничал. А поговорить красно о Блоке с любого места — что ж, это милое дело, это мы и сами теперь умеем.

Как бы то ни было, но Максимов вlepил нашей Наталье трояк, и она мне жаловалась. Я, в свое время перебивавшийся в Техноложке с троечек на четверочки, не мог особенно сочувствовать ей, а она восприняла оценку драматически. Как раз тогда вернулся из Москвы Бродский и взялся за мшенье. Он сочинил эпиграмму на Максимова, отпечатал её по 9 экземпляров на лист (умножим это на четыре копии) и, пробравшись в комаровский Дом творчества, подсовывал разрезанные листки под двери писателей.

Эпиграмма была обидная, хоть и не очень ладно сляпанная, и я ее не запомнил. Но когда у него самого дела пошли круто (это уже были не двоечки-троечки, а года ссылки) и от Ленинградской писательской организации против него выступил Евгений Воеводин, сын Всеволода Воеводина, тоже писателя, то повсюду запрыгала ловкая и не в бровь и не в глаз, а прямо в копчик жалищая эпиграмма:

*Родина, Родина,
слышишь ли ты зуд?
Оба Воеводина
по тебе ползут.*

Я гадал: если это написал не Горбовский, то только Бродский — кто же еще? Впрочем, впоследствии меня уверили, что эпиграмму сочинил Михаил Дудин, у которого были свои счёты с ретроградами. А события были уже у всех у нас на носу.

Не в Комарове, не в Питере, так в Москве Наталья всё-таки была представлена Ахматовой, и та оценила её подлинность. Вот ахматовский отзыв о ней, обращенный через меня ко всем: «Берегите её, она — настоящая», — весьма прозорливо замечено в предвидении Натальиных гражданских подвигов. Её автопортрет в стихах имеет полное сходство с оригиналом:

*Как андерсовской армии солдат,
как андерсеновский солдатик,
я не при деле. Я стихослагатель,
печально не умеющий солгать.*

Начиная с «Послушай, Барток, / что ж ты сочинил...» её стихи полны музыки. Сначала это были отрывки симфонических потоков — действительно наподобие Бартока, некоторое время звучали ирмосы, ноктюрны и побудки, а затем отчётливее стала угадываться песня. А петь она стала, как и её давние предшественники, русские парижане первой волны, о самом насущном — одиночестве, любви и смерти, наследуя принцип «Парижской ноты» — аскетизм и сдержанность слога, намеренно приглушённый тон и полное неприятие всего пышного, преувеличенного, велеречивого. «Не говори красно, не говори прекрасно». — загибает поэсса свою Музу, и та говорит ёмко и умно.

Есть у неё стихотворение, рисующее с какой-то выстраданной достоверностью образ трубача, раздувающего щёки, «не разумея, / что обрублен язык-говорун». Это вызывает одновременно несколько разнонаправленных мыслей. Прежде всего думаешь о поэте и цензуре, подвергающей творчество усекновению. Причём для самой Горбаневской цензура означала не компромиссы и не коверканье неугодных редактору строчек, а полное устранение её из литературной жизни, вытеснение в подполье... Но есть тут и платоническая идея о невозможности выразить невыразимое. Это огромная тема, столетиями живущая в поэзии, и крупный художник неминуемо упирается в неё своим сознанием. Она вызвала знаменитое тютчевское восклицание «*Silentium!*», а Лермонтову доучали «все скучные песни земли». Она же пугает и загадочный призыв Мандельштама возратить слово в доречевую гармонию. Плохо ли, что эта тема оказалась по силам и Горбаневской? Мало того, она ещё и вносит в неё оригинальное развитие, и его смысл заключается в самоограничении, в своего рода духовном обрезании языка, то есть, иначе говоря, в отделении от него «лишней плоти», ведущей к соблазнам бесконтрольного словопроизнесения, к безответственной, хотя бы и поэтической, болтовне. Можно сказать иначе:

живая вода вдохновения должна быть сдобрена хотя бы каплей мертвой воды самоограничения. В стихах Горбаневской эта капля определённо присутствует, сообщая им экономность, точность, какую-то словесную жилистость и мускулистость и, соответственно, изгоняя всяческий жир речевой невоздержанности. Если сопоставлять её с современниками, то она в этом смысле полярна таким фигурам, как, например, Ахмадулина и даже близкие ей в иных перспективах, но «необрезанные» Бродский или Рейн.

Сдержанность и трезвость, присущие Горбаневской, сказываются ещё на одной стороне её литературного образа — на публичной позе, которая в «*Exegi monumentum*» никогда не превращается в статуарность памятника, не возносится выше пирамид, а, наоборот, остается в человеческих пропорциях, что не мешает жить её сознанию на просторе вечных и мировых тем — пусть даже это будет. Дерзновенно, не правда ли? Но здесь нет особенного противоречия: её памятник не «тверже меди», как у Горация, а, наоборот, мягче воска. По существу, он и есть — воск, а точнее, свеча, горящая, пока светит разум и вдохновение. Но почему это заметно лишь мне да ещё, может быть, нескольким людям? Куда смотрит и чем занята современная критика? Разуйте ваши глаза и уши, перестаньте хоть на минуту делить ваши «букеры» и «пальмиры», — перед вами великая гражданка и соразмерная ей поэтесса. Всмотритесь, вслушайтесь в то, что она произносит!

Однажды на Петроградской стороне в погожий майский день встретились два поэта. Один из них вспомнил, что в этот день родилась их московская сверстница и поэтесса. Другой привёл подходящие для неё строчки из Жуковского: «Поеллински филомела, а по-русски соловей». Они чокнулись за её здоровье, пошли на почту и отправили телеграмму:

ПОЙ ФИЛОМЕЛА ПЕВЧЕЕ ДЕЛО НЕ ПРОМЕНЯЕМ ПЬЕМ
ВСПОМИНАЕМ БОБЫШЕВ НАЙМАН.

На литературной мели

Жизнь стремительно паршивела на всех уровнях: Хрущёв изматерил художников — его идеологические воеводы только радовались. И кто-то ещё называл это «оттепелью». Происходило типичное закручивание гаек, появились даже явные признаки культа «нашего дорогого Никиты Сергеевича», как масляный блин, улыбавшегося с разворотов газет и настенных плакатов. Народная молва отвешивала по его поводу анекдот за анекдотом, но и он не оставался в долгу. Кукуруза — вот был один из самых дорогостоящих и нелепых правительственных анекдотов. Что же касается шутников из народа, то для них в Казахстане, как поговаривали, открьлись новые лагеря — или это тоже была шутка?

Вход в литературу сузился до игольного ушка. Рид Грачёв сошёл с ума, бясь головою о стенку, но Андрей Битов продавился-таки сквозь тесные врата, выпустил книжку торопливых рассказов, почему-то назвав её «Большой шар». В ней не было такой уж круглой законченности, как обещало заглавие. Подарил мне, надписав дружески, я и не стал придираяться. Лишь ответил стихотворением открытого размера, которое заканчивалось строчками: «Пускай ещё понежится рассказ, / пока твердеет соль мировоззрения», то есть содержало намёк на незрелость книги. Почему-то её взახлеб расхвалила «Литгазета», причем опять-таки почему-то за юмор. Что ж, повезло... Талант, труд и удача — что ещё нужно писателю?

Всё есть, и — даже чувство юмора имеется... Ещё здоровье, подсказывает Даниил Граини. Конечно. А что сверх того? А вот если наличествует брат Олег и он заведует отделом в «Литгазете», то это очень многому способствует — и появлению похвальной рецензии, подписанной главным редактором, и изначальным связям с издательствами и писательской организацией... Пойдите, пойдите, — а не тот ли это Олег Битов, который позднее, в самом конце «холодной войны» взял да и сбежал в Англию? Тот. Но только не сбежал, а его заслали. Намутил что-то в прессе, разоблачал кого-то, а спустя короткое время так же вдруг вернулся назад, в ту же «Литературку», как ни в чём не бывало, где его сразу и прозвали — «наш засланец».

Сам Битов такие объяснения опровергал. Но — ширился.

В моём случае приходилось довольствоваться толстовской притчей о лягушке, попавшей в сметану: бить лапками. Только масло, увы, всё не взбивалось. Не пахталось, не пухло опорным комком для прыжка. Чего только ни придумывалось: уйти в переводы, в детскую литературу, в кино, даже в юмор, — но лишь используя это как переход, как трамплин для полета в свободную поэзию. Многое манило, я тратил усилия, но результаты были ничтожны. Пудами, центнерами утраченного времени висело на шее ежедневное ярмо: п/я 45 с 8 до 5 (часовой перерыв на обед) плюс чёрные выброшенные на помойку субботы. Даже в Москве такого не было. Какой-то остроумец назвал Ленинград городом белых ночей и чёрных суббот. Вот уж воистину! Кроме того, мое отношение к ядерной бомбе, которую я, в числе других интеллектуальных муравьев, продолжал разрабатывать и усовершенствовать, ухудшилось дальше некуда: она мне попросту надоела.

Между тем в нашем нешироком кругу лишь Жозеф с самого начала так и оставался уже давно достигшим этой цели: он был свободным поэтом. Худо ли, бедно ли, но его поддерживали родители, и блинчики с творогом, пусть с упреками, пусть остывая, но ждали его на столе. Это была свобода без независимости.

Найман бурно бросился в переводы: ещё бы — соавторство с Ахматовой ему гарантировало издание переводов Джакомо Леопарди, хоть и мрачного старомодного романтика, но безусловно и бесконечно далеко отстоящего от угодий соцреализма. Отдохновенно далеко! И даже буквально до него было: «...расстояние, как от Луги / до страны атласных баут».

Рейн целил ближе — в Научпоп, то есть стал писать сценарии для документальных фильмов, но в перспективе имел в виду Сценарные курсы в Москве, означающие двухлетнюю стипендию, то есть хлеб и крышу над головой, бесцензурные кинопросмотры и возможность завязывать узы делового приятельства с кем и сколько угодно.

Туда же потянулся и Авербах — там действительно он и нашел для себя все сокровища жизни. И — себя самого.

Туда же, после, и Найман, и потом Еремин.

Виктор Голявкин, обзриут наших дней, пустился размазывать свой слишком уж ёмкий, концентрированный талант в детской литературе. Туда же подался и Вольф, тоже разбавляя свой дар, и ещё жиже. Жанр обзывал.

Я потоптался вокруг журнала «Костер» — меня привлекали к нему две причины: во-первых, его редакция располагалась на Таврической, через два дома от моего, в прелестном строении позапрошлого века, которое теперь уже уничтожено. Во-вторых, моя тётка Наталья Зубковская (Таля) работала там до войны, у неё хранились перешплетённые в пламенный дермантин выпуски «Костра» за много лет, и я унаследовал от неё родственные чувства к журналу. Но там прочно засел Лёша

Лившиц (впоследствии — Лев Лосев), и он обдавал меня холодом неприязни всякий раз, когда я заходил туда по-соседски, да и по-литературски тоже.

Меня вдруг посетила супрематистская идея, приложимая к детской литературе: написать приключения Куба и Шара, которые бы соперничали в бесконечно меняющихся игровых положениях. Это были бы Кубик и Шарик, если уж для детей. Или — Пьеро с Арлекином, если для кукольного театра. Один, ясно кто, обращался в игральную кость и олицетворял идею случая и удачи (или неудачи), другой устремлялся в лузу и символизировал волю и цель (или промах). А для пушечного соревнования я сочинил бы им Коломбину — конической или пирамидальной формы. А можно, соединяя сечением две женственных идеи в одно, представить её конической пирамидой — так скорей передастся двойственность природы: округлая половина будет сближать её с шаром, гранёная — с кубом. Чудесно! Тогда их драме не будет конца.

Я увлекся и написал несколько динамично-забавных глав с диалогами, что было бы достаточно для заявки, и каждую из них снабдил текстовыми припрыжками. Такими, которые, казалось, сами просились быть спетыми или даже станцованными:

Индусы Ганга и негры Конго!
Все вы — шарик от пинг-понга.

И так далее... Теперь оставалось предложить издателю этот формирующийся в моей голове шедевр, подписать «Договор о намерениях» и получить аванс. Три «ха-ха». Долго я ходил по сонным кабинетам «Детгиза», и тетушки с вязанием лишь глядели недоуменно, а я легко читал их мысли. Но своих обстоятельств не пресчитывал. Наконец Игнатий Ивановский просветил.

Один из редакторов «Костра» и свой человек в мире детской книги, он имел довольно отчетливую «голубую» ориентацию, но я этого вначале не сразу определил. Мы познакомлись ранее в фойе Дома писателя во время перерыва на какой-то конференции или на чтении. Я полагал, что один джентльмен захотел обменяться мнениями с другим джентльменом из того же клуба, а это он меня клеил, как чухви на танцах. Пока я разобрался, что к чему, он выложил передо мной всё, что соблазнило бы литературного мальчика: и подготовленную им для печати рукопись Заболоцкого, и свою возможность стать в скором времени секретарем у Ахматовой (пресечённую Найманом), и свои переводы из английских баллад, что было менее всего интересно, и даже предлагал, чуть ли не гарантировал мне работу в редакции «Костра».

Дружбы между нами не вспыхнуло, а его внеслужебные интересы, видимо, встревожили идеологическое начальство (журнал-то был органом обкома комсомола), и он ринулся восстанавливать репутацию, причем довольно героически: отправился — сам! — на два года учительствовать в Архангельскую губернию. Ориентацию он успешно сменил, возвратившись оттуда с женой-блондинкой и двумя маленькими детьми.

Холодно и прямо на меня глядя, Ивановский описал процедуру: готовые рукописи рассматриваются и рецензируются в течение двух-трёх лет, после чего уже отобранные из них ждут своей очереди на редактирование, переделку, художественное — и протяжённость этого времени трудноопределима...

— Ну, а делаются же исключения для особо ярких, очевидно талантливых произведений?

— Да, такое возможно.

— Ну, так вот же...

— Но практика показывает, что такой шедевр может принадлежать только перу известного писателя.

Ясно. Этот вариант отпадает.

Много вариантов отпало и в делах сердечных. Уйдя от Натальи, я оказался свободным, ещё молодым, но уже вошедшим в силу мужчиной, и это было отмечено в заинтересованных кругах, составлявших коловращения и хороводы знакомых, полужнакомых или случайно забредших в эти круги потенциальных партнёров. Иначе говоря — в свете. Но беда была не только в моей разборчивости, а и в разборности лучших и подходящих для меня «кадров». Натальины сверстницы уже нянчились с первым, а то и ждали второго, — то есть союзы уже были крепко увязаны. А молодёжь? Нет, сырой материал обрабатывать меня не тянуло, — может быть, и неизвестный доктору Фрейду, но хорошо знакомый выпускникам советских школ онегинский комплекс мешал мне заглядываться в прозрачно-практичные очи Оленьки Лариной или принимать осложнённые ненужной патетикой жертвы её сестры. А сколько времени каждая из них требовала, сколько внимания! Нет, мне хотелось не доминировать, не опекать, — хотелось союза: ну да, именно равных.

Вместо того в коловращениях перетасовок появилась вдруг Вичка. Она к этому времени уже родила дочь и, считая свою биологическую задачу выполненной, вернулась примерно туда же, где мы расстались: в любовные интересы, во все эти взгляды-касания, комплименты, намеки, признания, — условно говоря, в некоторое подобие прокуренного подвала «Бродячей собаки», чьи филиалы открывались в любые моменты в нашем сознании.

Однажды Ахматова мне прочитала, уж не знаю случайно ли, именно это: «И яростным вином блудодеянья / Они уже упились до конца...», я спросил её напрямую:

— А «блудодеянье» — это любовь других?

Она даже переспросила меня, и я повторил вопрос. Ответила строго:

— «Блудодеянье» — это блудодеянье.

Да, конечно. И всё-таки этим вином непременно упиваются только «они», другие, — а мы сами пьём благородный «любовный напиток». Я не забыл ещё Вичкину девичью фамилию и стал посвящать стихи её бывшим инициалам «В. Аич» — как бы ей прежней, встречаясь с ней настоящей. Между тем, её муж уже не шил брюки. Его намеренно-слащавые картинки (безошибочный компромисс между читателем и издателем) иллюстрировали не только «Костер», но и половину детских изданий в городе.

Скоро образовался повторяющийся рисунок наших встреч с «В. Аич», переходящий изо дня в вечер, из вечера в ночь. Я возвращался автобусами из своего «ящика» и только что успевал отобедать, как мой «кубومتر» уже праздновал появление Вички в длинных мохерах, духах и тканях. Едва встретясь зрчками с моими, она, разгоняясь, брала сразу несколько нежно-стремительных подъёмов подряд и, конечно, срывала до времени сокровенную процедуру, сама ни о чём не заботясь. А превентивных средств мы не применяли, и всё слишком зависело от кабальеро, от его самообладания.

Ни на что больше времени обычно не оставалось: надо было торопиться в какие-то гости, куда приезжал и её муж из своей мастерской.

— Я железно ему обещала быть ровно в десять.

И она железно своих обещаний мужу держалась. Мы брали такси, отправляясь то в Лакху, то на Охту, поспевали к застолью в неизвестные мне компании, где самым знакомым лицом был тот же муж, внимательно и с усмешкой за мной наблюдавший, — насколько, мол, его (то есть — меня) ещё хватит... Опрокидывались, проливаясь частично на стол, коньяки и портвейны, разрушались цветастые горки винегретов и бледные миски салатов, шпроты тем же порядком разлучались со своими золотистыми близнецами, а потом Вичка просила меня почитать стихи: «это, это и это»... И я читал уже новое — про её шарфы и мохеры, дрожащую поволоку глаз, стукот зубов и обжигающий холод «любовного напитка». Стихи эти давали хоть какое-то оправдание моему странному статусу среди этих людей — делали меня просто художником меж таких же, подобных, а Вичку — моею моделью. Натущицей. С этого, кстати, она и начинала в Академии художеств, и многие за столом знали досконально её тело. Такова была суть ремесла. Далеко за полночь я спохватывался: надо было домой, отсыпаться. Все оставались догуливать, а я выходил в ночь и подолгу искал такси или попутку, добирался под утро до подушки со слабым запахом моей натурщицы, и, как мне казалось, через мгновение уже звучал Федосьин подъём, и надо было тащиться через весь город на работу.

Вот так однажды я оказался где-то на Поклонной горе в два часа ночи, в такой лютый мороз, что на звёзды было больно смотреть. Я пошёл по пустому шоссе в направлении к городу. Через какое-то время сзади послышались могучие железные бряки и скрипы, и я, взмахнув рукой, остановил грузовик с цистерной. Назвав адрес, я забылся, качаясь рядом с шофёром. Не останавливаясь на светофорах, мы мчали одни по пустому ледяному гробу нашего города, и, когда делали широкий разворот с Кирочной на Таврическую, я спросил, просыпаясь:

— Что везём-то?

— Щас-то уже порожняк. А так — ассенизатор я... — ответил шофёр и не взял с меня ни копейки.

Столпы Самиздата

Самиздат тех времен представлял столь мощную литературную силу, что стал обрастать историей, находить предтеч и основателей, — и не Грибоедова с Пушкиным, а совсем ближайших. Мы с Рейном побывали у самого изобретателя этого термина, отца «Господь-Бог-издата» и «Сам-себя-издата», слившихся во единый Самиздат. Мы шли по Арбату, тогда ещё Старому, хлынул ливень и вынудил нас прятаться, спасаясь в надвратной арке одного из домов.

— Хочешь повидать самого сильного русского поэта? — с непонятной иронией спросил меня Рейн. — Он живёт через два двора отсюда.

— Кто это и почему он «самый сильный»?

— Потому, что при знакомстве, не говоря ни слова, протягивает вместо руки динамометр и жестом предлагает его выжать. Ну, кто-то выжимает 50, кто-то 65, а кто-то, натужась, и 72. Тогда динамометр берет он сам, жмет 110 и представляется: «Николай Глазков, самый сильный русский поэт...»

— Цирк, но забавный. Конечно, пойдём!

О нём я уже, конечно, слышал. Мы перебежали, как тогда говорили, ссылаясь на анекдот про Микояна, «между струйками» через арбатские дворики и позвонили в дверь. Глазков оказался дома. Представились. Действительно, не говоря ни

слова, он жестами предложил нам войти, но вместо динамометра указал на рубанок и верстак, установленный под маршем внутриквартирной лестницы. Рейн взял доску, стал елозить по ней рубанком. Глазков скептически наблюдал. Я вспомнил дедовские уроки и довольно сносно обстругал другую сторону. Но это оказалось лишь частью испытания. Глазков так же молча поставил доску на ребро, кивнул Рейну, и это уже оказалось сверх его умений: он ронял то рубанок, то доску, — наконец, остановился. Мне помог другой дедовский приём: большим пальцем левой руки я прижал доску к упору и, взяв рубанок в правую, обстругал худо-бедно, но оба ребра. Это дало нам право перейти к третьему испытанию, и впервые Глазков гулко заговорил, поясняя:

— Вот вам болгарское стихотворенье. А здесь — подстрочник. Возьмите и переведите за пять минут.

— Это мы запросто, — заявил Рейн, накатал первые две строчки и передал мне, как в игре «стихотворная чепуха». Я стал дописывать, задумался — он, торопясь, продолжил. Рифмы хватались самые банальные, эпитеты — тоже, и вот, до срока, дело закончено!

Долго Глазков, стремясь к чему-нибудь придаться, изучал нашу халтуру. Наконец, радостно отверг:

— Не годится. В оригинале хорей, а у вас — ямба!

В результате наши собственные стихи до его слуха допущены не были, а он позволил нам полистать свое «Полное собрание сочинений», вышедшее, конечно, в Самиздате. Пока мы шуршали машинописными томами, он молча переделывал ямба на хорей, используя нашу заготовку. В его стихах много, слишком много было пустого, но попадались сущие шедевры:

*...А Инна мне не отдается,
и в этом Инна не права.
Чему её учили в школе?..*

Или — целая поэма про поэта Амфибрахия Ямбовича Хореева, одержимого идеей спаривать предметы. Закурив, поэт бросил однажды спичку и вдруг увидел её вопиющее одиночество. Он положил рядом с ней другую, ей в пару, и с тех пор стал удваивать все предметы. Скоро круглые столы у него образовывали цифру 8, а для книжного шкафа пришлось умыкать невесту на стороне, а именно из Дома литераторов. Дело кончилось печально и назидательно:

Дознание вел полковник Слуцкий ...

Писательский капустник привёл меня в восторг: нет, какой он всё-таки «матерый человечище», этот Глазков, — прямо мастодонт! Не зря же им и залобовался всерьёз Андрей Тарковский, заснял его, может быть, в лучшем эпизоде своего «Андрея Рублёва» — в роли крылатого мужика. И получился средневековый Летатлин!

А в Питере легендарно рассказывалось о Роальде Мандельштаме, которого мы чуть-чуть, на несколько лет не застали: колосся, болел, читал стихи по компаниям, умер... Лучшее, что от него осталось, — это фамилия, а стихи его были жидковаты и романтичны, никакого сравнения с Осипом Эмильевичем они не выдерживали. Впоследствии Наль Подольский сочинит из него ещё одну петербургскую сказку, сладкую сосульку о замёрзших кораблях, тоже до времени самиздатскую.

Другое дело — Алик Кривин, — нет, нет, Алек Ривин, да, именно так называл его Лев Савельевич, Лёвушка Друскин, знакомец Ривина по довоенным годам. Да Друскин и сам представлял собой некую культурную легенду — явление на

границы официоза и самиздата. Добродушно-весёлый калека с атрофированными детскими ножками в кожаных чулочках, он валялся в подушках безвылазно, но вдобавок к этому круглосуточному занятию ещё и писал стихи, в которых умудрялся фрондировать. Вовсю иронизировал над своей инвалидностью. Но и хорошо её использовал где надо: поди теперь разберись, из жалости издавались его книги или за талант? Или — по давнему благословию Самуила Маршака? За талант ведь, как за полу, могли и придержать. Во всяком случае, ни одна рецензия на него не обходилась без устойчивого словосочетания: «Прикованный болезнью к своей постели поэт...» Пришлось и мне начать этими же словами свой сценарий телепередачи о Друскине, когда пришло тому время. Кроме того, он был женат, и весьма счастливо. Его улыбчивая Лиля тоже была разбита полиомиелитом, но в меньшей степени, чем Лева, — она хоть могла передвигаться. Самым замечательным на мой вкус в них было то, что, навещая этих калек, здоровый человек не испытывал чувства вины перед ними.

От Левушки я услышал много экзотического про Ривина: тот ведь и побирался, и воровал, и отлавливал бродячих кошек на продажу... Но главное: я услышал стихи — запомненные, прочитанные им наизусть и запоминаемые мной дальше! Причём даже такие большие, как, например, «Рыбки вечные» — очаровательная, свободно переливающаяся поэма, в которой даже диминитивы сидели на своих местах ладно и утвердительно, где даже буква «щ» плескалась и пела, как «глокая куздра» у самогоного академика Щербы:

*Лещик, лещик, мокрый лещик,
толстовыпуклый щиток,
ай, какой хороший резчик
нарезал тебе бочок...*

В блокаду Ривина накрыла бомба, но какие-то стихи остались. Стихи остались.

Это и послужило поводом для нашего общего спора с Самойловым. Москва легко, гораздо легче, чем консервативный Питер, переступала пропасть между самиздатом и печатью, и как раз недавно «ходом коня» выскочил московский либеральный сборник... в Калуге — потому только, что часть столичных литераторов проживала на даче в Тарусе, посёлке, административно входящем в Калужскую область. И — всё! В «Тарусских страничках» оказались напечатаны материалы и авторы, заждавшиеся своего часа в московских редакциях, и среди них — Давид Самойлов, но не как переводчик, а как оригинальный поэт. И — не меньший, чем, например, Слуцкий, представленный там же заносчивым стихотвореньем о некоем поэте:

Широко известный в узких кругах...

Про кого это: «...Идет он, маленький, словно великое / герцогство Люксембург» — не про Самойлова ли? Значит, «узкие круги» — это про нас. Вот мы вчетвером и сидим у «Дэзика» — если по алфавиту, то: Бобышев, Бродский, Найман, Рейн, если по старшинству, то: Рейн, Бобышев, Найман, Бродский, а если по литературному значению в будущих веках, то пусть эти будущие века нас и рассадят. Мы выпили по рюмке золотистого, оживлены, читаем стихи. Бродский — «Сонеты», написанные... верлибром. Самойлов смеется:

— Иосиф, прочитайте нам еще сонет строчек на сорок!

Это он — в точку! Защищать тут Иосифа трудно. И мы усмехаемся тоже. Жозеф бледнеет:

— Вот вы в «Тарусских страницах» напечатали «Памяти А. Р.» Это ведь, наверное, про Алека Ривина:

*Стихи, наверное, сгорели,
не много было в них тепла...*

— Да, а как Вы узнали? Что-то сохранилось?

Тут уже встречаю я:

— Сохранилось, и немало... Даже целая поэма под названием «Рыбки вечные». Вот из нее наудачу:

*Плавниками колыхая,
разевая влажный рот...
А жизнь проходит, штанами махая,
и в лицо моё плюет.*

Теперь бледнеет «Дэзик», в глазах у него замешательство, чуть ли не испуг:

— Я и не знал. Да я завтра же обязательно выброшу это стихотворение из готовящейся книги.

— Если поэт был, — веско говорит Иосиф, — то он и остался. Кто был, тот и есть.

Через несколько месяцев я увидел новую книгу Самойлова. Обещание он сдержал. Стихотворения «Памяти А. Р.» в ней не было. Но какой-то ноющий вопросец по этому поводу остался в памяти.

Жозеф, Деметр и многие другие

Моей филармонической партнершей почти всегда была Галя Руби. Как возникло это имя? Джек Рубинштейн, по кличке Руби, держатель пригона в Далласе, застрелил Ли Харви Освальда, в свою очередь застрелившего президента Кеннеди, и из мрачных газетных историй эта кличка перескочила на нашу безобиднейшую Галю. Она, впрочем, охотно на неё отзывалась и даже прозревала какие-то американские перспективы для себя, что впоследствии и подтвердилось судьбой-затейницей, а также индейкой, которую мы с Галей пожираем теперь на День благодарения в нашем шампанско-урбанском далеке. Как бы там ни было, а в те времена Галя меня музыкально просвещала, доставала билеты на громких гастролеров, и я считал себя обязанным хоть изредка отплачивать ей тем же.

Как-то, проходя мимо дворца Энгельгардта (Малого зала имени Глинки), я увидел афишу клавишинного вечера Андрея Волконского «Музыка эпохи барокко». Как можно было такое пропустить? Я купил два билета и, выйдя на Невский, столкнулся с Евсеем Вигдорчиком, одним из тех незабываемых голубых инженеров, а верней, кандидатов технических наук, которые так безотказно и своевременно отрецензировали мой дипломный проект. Шишка благодарности с тех пор, и даже теперь, занимает доминирующее положение на моём лысеющем черепе. А Евсюша лысел уже тогда. К тому же его «Гипроникель» дверь в дверь соседствовал с Энгельгардтом. Слово за слово, мы перешли с музыки на досуг, и он пригласил меня с лыжами на зимнюю базу где-то в районе Куоккалы и Келломяг.

Может быть, и сознательно я опоздал на минуту к условленному месту на вокзале, Евсей (как он рассказывал позже) занервничал и рванул на отходящую

электричку. Мне пришлось дожидаться следующего поезда, и благодаря этому я оказался в вагоне сидящим напротив непоседливой особы в ярко-красных рейтузах и почти детской шубейке, чей вид напомнил мне деревянного человечка Буратино, но и еще некие божемные обстоятельства.

— Я — Ирэна! Мы с вами виделись у Швейгольца.

Не ахти какая рекомендация, но всё-таки явиться впервые на дачу к незнакомым людям лучше с девицей в красных рейтузах, чем с Вигдором, имеющим голубоватый уклон. Ирэна скучала в местном доме отдыха, где её морили холодом, а за сахаром и печеньем к чаю пришлось съездить в город, поэтому она охотно отправилась со мной на поиски дачи. И мы её нашли! Возникло застолье, Вигдор сиял и оправдывался, его преувеличенно корили, а с Ирэнкой обращались, как с принцессой, спасающей поэта от пропасти развратных посятательств. Она вошла в роль и наутро была тут как тут, но я уже укатил на лыжах. Заходила не раз и на неделе, когда меня и вовсе не было, рекомендуясь для непонятливых как «невеста Бобышева».

Компания, в которой я оказался, мне весьма понравилась. Она состояла из двух эткиндовских «почтовых лошадей просвещения», Азы и Иры, держащихся особняком, собственно Вигдора и его приятеля по «Гипроникелю» Галика Шейнина с женой Алей плюс забредающие гости вроде меня. Аля пописывала сапфические стишата, а Галик оказался настолько похож на Александра Александровича Блока, что однажды, столкнувшись с ним в Доме книги, я не отпустил его, пока не показал этот курьёз в редакциях всех издательств, там находящихся.

Словом, обстановка на даче была попервоначалу великолепна: дневные катанья на лыжах, заснеженные сосны, увалы с трамплинами, увлекательные падения в сугробы, а потом — вечерние затяжные застолья с «ректификатом» из неиссякающего источника, бьющего где-то из недр «Гипроникеля», много хороших стихов и очень много стишков, уже в игэровской манере, развешанных повсюду вплоть до отхожего места. Висела даже стенгазета, но тут как раз всё было в порядке: дамы-переводчицы поддерживали в ней уровень, заданный им на семинарах у Эткинда.

Узнав, что Ахматова находится поблизости, в комаровском Доме творчества, я после лесной прогулки собрался её навестить. Сапфическая дама Аля стала напрашиваться в попутчицы, и я подумал, что вот сейчас для неё знакомство с Ахматовой является ценностью, то есть товаром, которого она домогается, и, чтобы не торговаться, решил этот «товар» подарить ей, превратив его в «дар».

Ахматова сказала:

— У меня был Иосиф. Он говорил, что у него в стихах «главное — метафизика, а у Димы — совесть». Я ему ответила: «В стихах Дмитрия Васильевича есть нечто большее: это — поэзия».

Я посмотрел на единственную свидетельницу нашего разговора: сможет ли она возратить мой дар и запомнить эти слова? Нет, конечно, — так и стихи не запомнились, а лишь сор, из которого они выросли.

Пора цветения дружественных салонов постепенно миновала: рискнувшие выйти в открытое литературное плаванье поэты всё дольше оставались в Москве, а вот их жёны старались не отвадить оставшихся от привычного круга. Появлялись и московские гости.

К Рейнам нередко заходили художники — Целков, Куклес и Бачурин, и целковский, написанный в кончаловском стиле «Натюрморт с зеленой шляпой» даже надолго освоил стенку в комнате на улице Рубинштейна, делая её праздничной. А на улицу «Правды» к Найманам заглядывала чаще литературная братва, и

Михаил Ярмуш в своей гипнотической и метафизической красе засиял среди них. Я с его появлением связывал самые радужные надежды: наконец-то среди нас оказался истинно православный поэт — наподобие Клюева, только не деревенский, а городской! Он должен был появиться, и вот он есть. А другие лишь поджимали губы от моих слов. Рейн его не жаловал. Найман, возивший Ярмуша к Ахматовой, рассказывал, что та перегипнотизировала его, медика-профессионала. Иные ангелы, может быть, и прятали глаза от его мистической образности (или даже монашеской эротики):

*А в розах засыпают пчелы,
и в амброзический наркоз,
шутя, влетает Сильф веселый,
чтоб пестик целовать в засос ...*

Но мне нравилась яркость его стихов, и я чувствовал в нём волну ответной признания. Мы стали изредка обмениваться письмами. Вот что он написал из Севастополя (10.9.63):

Часто вспоминаю здесь «последнюю Херсонидку» (А. А.). Через это место она вспоминается особо. По вечерам читаю «Пир» и «Федру». По приезде сюда повторялось (далее — из моих тогдашних стихов. — Д. Б.):

*Так, значит, дозволильницей слыть,
когда запретом быть, запретом быть ...*

И —

*Ах, милая, тебя бы мне ... Ах, нет!
Тебя, красавица, хоть голосом касаться.*

Вся штука в интонации, инверсии, смелом, чисто вербальном подходе, при некотором легкомысленном стилизовании, устранившем «человеческое, слишком человеческое». Вкус к мере и мера вкуса, т. е. умеренность. Ощущение праведности вкушения от яблока раздора и греха.

До сих пор не уверен, было ли это похвалой, но само его внимание трогало. При следующих редких встречах он явно морализировал: говорил, как надо и как не надо жить. А потом я уехал. В 1994 году Найман прислал мне по американской почте его книгу «Тень будущего» с такой вот надписью: «Дорогому Диме Бобышеву — братски с пожеланием мощи. М. Ярмуш». Я не знал его адреса, а книга эта меня настолько «мощно» огорчила, что я послал отзыв в письме не ему, а Найману:

Спасибо за передачу от Ярмуша. Как хорошо, что он выпустил книжку. Наконец-то великие немые заговорили! Я ведь в него поверил ещё в те ахматовские годы, когда он — помнишь? — читал у тебя «на Правде». Какая свежая, яркая сила мне казалась в его стихах! Я повторял тогда наизусть: «И смотрит глазом перстневидным / на поединок стрекоза. / Он ей не кажется постыдным, / хоть прячут ангелы глаза». В книжке этих стихов нет, хотя есть некоторые другие, подобной же светимости. Например: «Промыто небо — ни соринки — / такая красок чистота, / что открывают в небе иноки / смарагдовые ворота».

Но в целом книжка производит смешанное впечатление, даже по объёму: мол, и это — все? То было бы ещё ничего, — ведь смотря какая книжка! Да, в ней полно причудливого византизма, но и это было бы приемлемо и занимательно ... Все же, когда читаешь, то: то одно место корбит, то другое смущает.

Я Вас любил любовью «Идиота» ...

Конечно, это пародия, но ведь и самопародия же. Посвящено «А. А.» Вот тоже про любовь, и тоже с подкладкой:

*...не бойся! Смерти нет.
Смерть и Любовь... Одно!*

Это, конечно же, ответ на ахматовской вызов: «... ни один не сказал поэт...» И тут поэт появляется, хотя Ахматова сама же эту сентенцию и убила как «всем известную». То, что Любовь и Смерть ходили в сёстрах всё средневековье и добрели до русского символизма, это действительно всем известно, но то, что они — одно, вызывает у меня рассредоточенный взгляд в пространство. Ахматова крупно появляется еще в двух местах этой книги: сначала «за» — в стихах, ей посвященных (если это — тосты, их достаточно, чтобы упиться до положения риз), а затем определённо и резко «против» — в стихах, посвященных тебе. Да что ж это он пустился выговаривать Ахматовой и совершать экзекуцию «Поэмы без героя», называя ее «мнимостью», «дурной бесконечностью», «гар-монией, лишённой покаянья»... И — вот ведь особенный вывих: всё это в стихах, посвященных тебе, и в книге, надписанной мне «брат-ски». Как-то не по адресу... Не ангел, но глаза бы мои не смотрели.

...Возвращаясь к тем ахматовским годам, припомню, что Иосиф стал показываться тогда с Мариной Басмановой. Впечатления такой уж красавицы она не произвела, скажу лишь о нескольких останавливавших чертах её в общем-то миловидной внешности и манеры держаться: у нее был шелестящий без выражения голос и как бы задернутый сероатой занавесью взгляд. Довольно высокая ростом, длинные, ниже плеч обрезанные волосы... Чаше помню тонкий профиль, чем фас, — да, в профиль она преимущественно и держалась. Иосиф на языке жестов и положений старался показать их близость, она, наоборот, свою независимость. Молчала и что-то всё время зарисовывала толстыми грифелями в крохотных блокнотах. На мой просто вежливый интерес к её рисованию показала несколько набросков пейзажей и интерьеров, — я увидел в них заготовки для большого шедевра, которого, увы, никогда не последовало. Все же я её стиль угадал и назвал «нежным кубизмом», к удивлению Эры Коробовой, искусствоведа по образованию.

Тема если не братства, то хотя бы литературного единения возникала в нашей среде не раз, и порукой этому — местоимение «мы», так легко формировавшееся на губах всякий раз, когда разговор шёл о поэзии. Но ведь «братство», как весьма обоснованно заметил великий утопист Николай Федоров, к которому я был тогда на подходе, возможно лишь во (или — при) едином Отце. В его гомоцентричности. Нас же как-то заново объединяла тогда Ахматова. И я стал Иосифа выводить на этот разговор. Присутствовали Эра и Марина, а главные говоруны и остроумцы вершили свои дела в Москве, и я, что называется, взял площадку:

— Ты, наверное, уже замечал, Ося, что нас четверых (надо ли перечислять?) всё чаще упоминают вместе с Ахматовой — причём как единую литературную группу. Мне, честно говоря, такое определение очень и очень нравится, и я готов признать себя полностью в рамках, очерченных этим кругом, — назовем его «школой Ахматовой». Признаешь ли ты себя внутри таких очертаний? И если мы её ученики, то чему нас учит и чему обязывает Ахматова? Ведь писать стихи мы и так умеем, не так ли?

Видя его внезапное сопротивление моим вопросам и даже желание утвердить себя вне всяких рамок, я стал загонять его внутрь заданного вопроса:

— Думаю, что она учит достоинству. Прежде всего человеческому... И —
цеховому достоинству поэта.

— Достоинству? — вдруг возмутился Иосиф. — Она учит величию!

Вспоминая об этом разговоре потом, я осознал, что он ведь никогда не видел Пастернака и, может быть, зримо не представлял другой, более простой формы «величия», следуя определенному образцу в его монетарном и профильно-ахматовском виде...

И — ещё одно характерное разногласие. В очередной раз нашумел на весь свет наш «поэт № 1» — то ли сначала либерально надерзил, а потом партийно покаялся, то ли наоборот, это неважно, — важно, что вновь заставил всех говорить о себе. Я сказал Иосифу:

— Чем такую славу, я бы предпочёл репутацию в узком кругу знатоков.

Чуть подумав, он однозначно ответил:

— А я всё-таки предпочту славу.

Однажды, придя ко мне на Таврическую, Иосиф принес ещё одну длинную поэму. Он расположился читать, но прежде я спросил:

— Как называется?

— Никак. Без названия.

— По первой строчке, что ли?

Странно. Может быть, он видит в этом какое-то новаторство? И вот, как и в «Холмах», описываемое начинает происходить неизвестно где, неизвестно когда. Скорее всего, это европейское Средневековье. Картины разрушения, грязь, какой-то гонец, кого-то он ищет и не находит... Тёмное освещение, чувство тревоги, следы застывшего насилия, уставшего от самого себя. Что-то напоминающее по тональности польское кино — например, фильм Анджея Вайды «Пейзаж после битвы», — наверное, это и было начальным импульсом для поэмы.

— Ну что ж, впечатление внушительное: размах... И всё-таки, или даже тем более, назвать как-то нужно.

— Почему?

— Да потому, что неназванная вещь не существует. В лучшем случае место ей в «Отрывках и вариантах». А назовёшь — будет произведение.

Он продолжал сопротивляться, а я — «спасать» его же поэму:

— В Европе было много войн — ну, например: Тридцатилетняя, Столетняя... Какая больше подойдет тебе для названия?

— «Столетняя война».

— Вот и отлично.

Убедил... Носил и я свою очередную продукцию к нему, читал. Вдруг он показал мне в ответ — не стихи, как почти всегда, а небольшой прямоугольник загрунтованного картона с двойным портретом, который он написал маслом. Там был изображен коричневый сумрак комнаты, белый абажур широким цилиндром, часть столового овала и две фигуры по сторонам: в зеленоватом — мужская с почти не прописанным лицом, в ней можно было предположить Иосифа, а в синем, безусловно, Марина — это её вытянутая фигура, длинные прямые волосы, вполне прописанное, узнаваемое лицо и чуть вытянутые, как для поцелуя, губы. И я вдруг увидел её красоту. Мне захотелось поцеловать эти губы.

Какие-то тяги в механизме равновесных отношений сместились. Всё вроде бы оставалось по-прежнему. Но Иосиф становился упрямо-раздраженным. Внезапно позвонила Марина откуда-то поблизости из уличного телефона, попросилась

зайти. Пространство моей клетушки к тому времени ещё уменьшилось — по крайней мере эмоционально. Я привёз из Москвы живописный этюд Целкова — голову одного из его «Едоков арбуза». Когда я садился за стол, его бело-розовая маска пронзительно высматривала из-за моего плеча, что я там пишу, и мне становилось не по себе. Но вся композиция в целом меня восхитила в мастерской у Олега, и я захотел, чтобы этот этюд напоминал мне, среди кого я живу. Пусть он будет той гирей, которую надо качать по утрам, чтобы весь день оставаться собою. Олег своих работ не дарил, оценивал их по квадратным сантиметрам поверхности, но мне за стихи и знакомство продал его хотя бы за минимум и в рассрочку.

Когда явилась Марина, пришлось этот этюд поворачивать к стенке: она не могла, конечно, выносить его свирепости, особенно в крохотном пространстве. Впрочем, он и в перевёрнутом виде впечатлял, хотя бы добротностью подрамника, распорок и клиньев, — во всём сказывался мастер. Я посадил её за стол, сам сел на раскладушку, а других мест у меня не было. Дверь в кухню оставил открытой, закурил. Нет, она попросила закрыть дверь. Тогда я открыл форточку. Нет, лучше окно. От сырого осеннего ветра стало знобить. Я предложил прогуляться к Смольному собору и показать ей Кикины палаты и Бобкин сад, о которых она и не слышала. Нет, «Кикины» слышала, а «Бобкин» восприняла как каламбур по отношению к моей фамилии.

Собор стоял в лесах, но никакие работы там не велись. Мы залезли на самый верх и пробрались внутрь нефа через раскрытое окно. Лепнинные херувимы вблизи казались экстатическими чудовищами, вкушающими сластей небесных, и — не более благообразными, чем целковские едоки арбуза. Оставив спутницу в проёме окна, я прошёл по внутреннему карнизу вглубь храма. Карниз был достаточно широк, но сухие напластования голубинового помета делали обратный путь небезопасным. Снизу вздымались остатки алтарной рамы, а далеко внизу перед аналоем стояли заколоченные ящики. Мы, вероятно, смотрели на это в точности «как души смотрят с высоты / на ими брошенное тело», по словам Тютчева.

Помещение использовалось в качестве склада для Эрмитажа.

Разговоры с ней мне были интересны, даже захватывающи, хотя мы касались абстрактных или, можно даже сказать, метафизических тем. Например, о пространстве и его свойствах. О зеркалах в жизни и в живописи. В поэзии. О глубине отражений. Об одной реальности, смотрящей в другую. И то же — о мнимостях. Я воспринимал это как её собственные наблюдения и мысли. Отчасти так и было. Но постепенно я узнал, что она училась (всему) у Владимира Стерлигова, наглухо замолчанного художника и теоретика живописи, ученика Малевича. Это были во многом его подходы, но примеры были свои, а пейзажи — те, что мы видели сообща. В каждом она прежде всего находила определяющий структурный знак и затем его развивала. Только то были не конусы и кубы Сезанна, а, скажем, чаша, купол, крест, не знаю ещё что, — какая-то эмблемная форма. Я понимал это по-своему, переводя на свою музыку, и мне казалось, что я научаюсь читать пейзаж (интерьер, портрет или что угодно) по буквам и слогам, словно текст, и, как я и сам подозревал, он содержал смысл и даже складывался в послание.

Оставалось лишь перевести этот скручень и свиток, а может быть, и свих представлений в своё искусство. Как у Пастернака: «Тетрадь подставлена. Струись!» Я стал довольно быстро сочинять протяженную поэму в форме диалогов о пространстве, по мыслям — весьма закрученную, и, когда закончил, посвятил её моей нежнолю-кой собеседнице и (тут возникает вопрос — чьей?) Музе. Дело в том,

что нас с ней познакомил Иосиф, и они появлялись действительно вместе, как пара, и он уже посвятил ей несколько значительных стихотворений. Но, по крайней мере тогда, — не любовных! И она держалась независимо: вот ведь звонила, заходила ко мне сама — очевидно, ни перед кем не отчитываясь. Она даже подчеркивала свою отстранённость...

Так было и во время моей последней «мирной» встречи с Иосифом. Эра пригласила к себе «на Правду». Из гостей была лишь та, всё-таки не совсем пара да я. А из хозяев — хозяйка. Надвигались дурные для нас времена, и, чтобы не удручать злобой дня себя и друг друга, заговорили о возвышенном — о вовсе не шутливой, но нешутливой миссии поэта. Я помещал его (поэта вообще, то есть Вячеслава Иванова, например, или Мандельштама, Тарковского, Петровых, Красовицкого, да любого из нас, из тех, кто понимает дело) на самый верх культурной пирамиды, потому что он оперирует словом, за которым есть Слово. А Слово есть Бог.

— Да при чём тут культура? — резко возразил Иосиф. — Культуру производят люди, толпа... А поэт им швыряет то, что ему говорит Бог.

— Что же, Бог ему советует, чем писать: ямбом или хореем, что ли? — взяла мою сторону Эра.

Это прозвучало забавно, и я, видимо, длинно усмехнулся...

— Я тебя провожу, да? — обратился к Марине Иосиф.

— Нет, я пойду сама и чуть позже.

Мы вышли с ним вместе и направились в одну сторону, потому что нам было по пути. Время от времени я возобновлял разговор, находя новые антигезы и тезы для той же темы. Где-то на Литейном, напротив дома Некрасова и Салтыкова-Щедрина, Иосиф, до этого молчавший, вдруг оскорбительно обзвал меня. Я было занёс руку для ответа, но сознание, в котором ещё возвышались понятия: Поэзия, Слово, Бог, — удержало её. Я перешёл на другую сторону и посчитал себя свободным от каких-либо дружеских обязательств.

«Окололитературный трутень» и прочие сорняки

Но освободиться от них оказалось совсем не так просто. Настала беда в виде печально прославленного фельетона в «Вечёрке», и надо было, наоборот, сплотиться. А — как? После того, что произошло, друзьями мы уже быть не могли, тем более что и сожалений от него не последовало, а вот союзниками — да, мы просто должны оставаться, хотя бы из чистой солидарности. А как же иначе? Ведь предстояла ещё жизнь в той же литературе и в одном, что называется, литературном стане. К тому же фельетон, помимо его лживости, был и угрожающим и опасным не только для его главного героя. Одним из трех авторов, его подписавших, оказался Яков Лернер, тот самый «Яшка из Техноложки», кто громил нашу газету «Культура», кто секретно и печатно доносил на нас — на меня и моих товарищей.

По «клеветонам» с пахучими названиями ленинградская пресса соревновалась с московской, но «Вечёрка» под водительством главреда А. Маркова слыла чемпионом в этом занятии, опередив даже «Ленправду». Впрочем, все они без удержу крокодильствовали, выдирая «сорную траву с поля вон», обзывая «навозной мухой» Рому Каплана, практиковавшего свой английский в общении с иностранцами, клацая зубами на «бездельников, карабкающихся на Парнас», то есть «Н. Котрелева, С. Чудакова, Г. Сапира, Д. Бобышева и некоторых других», на

Мишу Ерёмину с его «боковитыми зёрнами премудрости», на Уфлянда с Виноградовым, а теперь вот «окололитературным тругнем» был назван Иосиф.

Опасность этого фельетона заключалась в том, что он кивал на недавно принятый Указ о борьбе с тунеядством, который под тунеядцами подразумевал «лиц, живущих на нетрудовые доходы», то есть воров, нищих и проституток, но фельетонщики подзуживали судебных властей расширить действие указа и применить его по идеологической части. Тогда под него подпадал бы Бродский, и не только он, а многие и многие. В Питере в ту пору всё время возникали подозрительные инициативы: «Сделать Ленинград городом идейной чистоты», например. Опять, как в эпоху «стиляг», стали действовать «народные дружины», гонявшиеся за фарцой и самиздатом, а заодно поживлявшиеся любым уловом. Предводителем одной из таких дружин был Яков Лернер.

Ахматова тревожилась за Иосифа и советовала ему беречься. Беспокоилась и за Наймана, разделавшегося с инженерией и заодно с регулярными заработками. Эта её тревога заметна в биографической книге Аманды Хейт, написанной «по горячим следам». Рейн тоже существовал, если судить с такой точки зрения, на птичьих правах, расклеывая в Москве корку «черствого пирога, да и то с чужого стола», как о нём позднее высказался Евтушенко. Защищённей, чем все, был я, трудоустроенный в п/я 45, но оказавшийся впутанным в тот паршивый фельетон больше, чем кто-либо. Дело в том, что Бродского попрекали «стихами, чуждыми нашему обществу», приводя... мои тексты! Как могла такая чушь и путаница вообще произойти?

Очень просто. Дружинники замели в Доме книги самиздатского энтузиаста по кличке Гришка-слепой с ворохом бумаг, застав его там как раз за их распространением. Несмотря на такую пренебрежительную кличку, Григорий Ковалёв был настоящим подвижником неподконтрольной поэзии, которую страстно любил, а на поэтов глядел с буквально слепым обожаньем. Той осенью он был у меня незадолго, любовно скандировал наизусть мою «Наталью» (а я уже и помнить её не хотел), остатками зрения выверял опечатки, поднося тексты на расстояние миллиметра от глаз. Когда его загребли с бумагами, у него находились, конечно, наши стихи (и неизвестно, в каком порядке), а дружинники были лернеровские. Так что — понятно. Неясным оставалось лишь то, как теперь действовать и как это скоординировать с тем, что собирается делать Иосиф, и я решил отправиться к нему — уже не как друг, а как союзник.

Он встретил меня, словно ждал моего прихода. Про инцидент и не вспомнил, будто ничего не произошло (но ведь произошло же). На мой вопрос, что он собирается предпринимать, ответил вопросом:

— Зачем?

— Как «зачем». Чтобы защищаться. Доказать, например, что стихи — не твои. Я готов свидетельствовать где угодно, предъявить рукописи...

— Дело совсем не в стихах...

Проглотил я и эти «стишки» — надо было договориться о главном.

— Ну, а как насчёт устройства куда-нибудь на работу?

— Ты что-нибудь мне предлагаешь?

Предложить ему я ничего не мог, но и он хотел совсем другого — чего? И — чего-то (или кого-то) ожидал в тот момент, даже прислушивался к наружной двери. Наконец там закрипело ибрякнуло, послышались шаги, голоса, вошёл его отец в пальто и кепке, а с ним еще трое солидного возраста мужчин, одетых почти

одинаково. На их плечах широко висели добротные «мантели» песочного цвета, а на головах прямо стояли шляпы «федоры», причем без залома. Я и прежде встречал людей подобного хотя и консервативного, но не совсем обычного вида на улице и не знал, кто они, а теперь догадался. Молодец, Александр Иванович! Он решил спасти сына по-своему, верным способом.

— Вот он, герой... — с упрёком указал он на Иосифа.

— Покажите, что там у вас есть, — сказал старший, не раздеваясь и не снимая «федоры».

— Вот, вот и вот... — заторопился Иосиф, протягивая ему листки.

Тот стал читать, что называется, себе под нос, изредка комментируя и как бы изумляясь складности простых описаний:

— «Толковали талмуд, оставаясь идеалистами...» Хм, может быть, кто-то и оставался... «И не сеяли хлеба, никогда не сеяли хлеба...» Хм, это верно. «...Мир останется прежним... ослепительно снежным и сомнительно нежным». Да уж, вот именно, что сомнительно...

Всё ясно. Жозеф ему сунул «Еврейское кладбище» и «Пилигримов» из-за тематики. Но это же всё старое. А кстати, я и не знал, что «Пилигримы» — это про евреев, — думал, что про поэтов. Впрочем, ведь Цветаева... И я решил высказать им в помощь свое мнение:

— Это же совсем ранние стихи. Сейчас он пишет гораздо сильнее, масштабнее... Иосиф, покажи лучше «Исаака и Авраама».

— А что здесь делает этот гой? — пробормотал раввин.

Иосиф сунул мне пальто и, приобняв за плечи, незамедлительно вывел на лестницу.

— Извини, поговорим в другой раз...

По этой линии он и достиг многих, если не всех, успехов: гонение на него было расценено как пример национально-религиозного притеснения всех советских евреев (антисемитизм) и в дальнейшем послужило подтверждением и символом для больших и практических действий: поправки Ваника-Джексона к закону, выгодного статуса «беженцев» и других привилегированных программ для еврейских иммигрантов в Америке. Направленные против советских безобразий, эти меры из-за их национального приложения вызвали обратную форму неравенства и, увы, противорусский сангвинизм. А ведь изначальные гонители, авторы фельетона, сами принадлежали к гонимой нации.

Возникла также сильная, сплоченная поддержка и в «свете», в «миру», то есть в части общества, называющей себя свободомыслящей или даже просто мыслящей интеллигенцией, к которой принадлежал наш круг. Яков Гордин стал собирать подписи протеста среди сочувствующих литераторов. Под одним из таких обращений подписался и я. Но «афос» этой кампании был в утверждении исключительности таланта гонимого поэта, и уже это должно было ограждать его от преследований. Такой подход неизбежно ставил вопрос: а, предположим, других, не таких исключительных, получается — можно давить? Но в ответ кампания твердила, нарастая: нет, именно исключительный, великий, величайший, гениальный. И это — действовало.

Была и третья кампания в его пользу — среди той части советской культурной элиты, которая оказалась разбужена голосом Анны Ахматовой: Шостакович, Корней Чуковский, кое-кто из профессуры. Они обратились к властям на понятном

для тех языке: не надо, мол, разбрасываться ценными кадрами, а если что не так, то можно и снизойти к молодости талантливого переводчика и поэта.

Такая позиция мне казалась наиболее исполненной здравого смысла, но ни одна из трёх вначале не приносила видимых результатов, а затем эффектно сработали все три, создав образ мученика, гения и героя — в одном лице.

Моя особая вовлеченность в происходящее требовала и отдельных шагов. Мне нельзя было отсиживаться, душа протестовала, а разум подсказывал сделать так, чтобы о моих действиях знали другие. Лишь тонкая жилка связывала меня с официальным писательским миром — через Комиссию по работе с молодыми авторами, и я решил направить протест именно туда. Но сначала ведь нужно его напечатать, а литератор я был «безлошадный», и это ещё оставалось вопросом — у кого занять машинку для такого нетривиального дела? Я обратился к Якову Гордину и вот что тогда наступал на его ундервуде (цитирую по сохранившейся копии):

Председателю комиссии
по работе с молодыми авторами
при Ленинградском отделении ССП
Даниилу Александровичу Гранину
от Дмитрия Васильевича Бобышева

ЗАЯВЛЕНИЕ

Уважаемый товарищ председатель!

Я обращаюсь в возглавляемую Вами комиссию, так как считаю её единственным органом, который может оградить меня как автора от посягательства на мои рукописные права. Мне кажется, что всякий писатель может понять, как неприятно в один прекрасный день увидеть, что отрывки из его неопубликованных произведений приписываются другому писателю и, мало того, используются как материал, обличающий этого другого.

Именно это произошло со мной. Дело в том, что авторы фельетона «Окололитературный трутень», напечатанного 29 ноября с. г. в газете «Вечерний Ленинград», Лернер, Медведев и Ионин применили недопустимый прием, использовав для оголтелого шельмования молодого поэта Иосифа Бродского отрывки из рукописей стихотворений, авторство которых принадлежит мне. В частности, они приписывают И. Бродскому следующие строки из моего стихотворения «Солидарность...»:

*От простудного продувания
я укрыться хочу в книжный шкаф...*

и:

Накормите голодное ухо хоть сухариком...

а также отрывок из стихотворения «Нонне Сухановой:

*Настройте, Нонна, и меня на этот лад,
чтоб жить и лгать, плести о жизни сказки...*

Эти стихи нигде не были опубликованы, однако моё авторство доказуемо и неоспоримо, и я полагаю себя вправе нести полную ответственность за художественное качество и идеи, высказанные в них, перед любыми читателями, коль скоро они появятся. К сожалению, это далеко не единственный случай передергивания фактов в этом фельетоне, но он хорошо показывает общую ценность всей газетной инсинуации. В конечном счете, я был бы готов даже пожертвовать авторством этих стихо-

творений, если бы такой жест хоть как-то помог оболганному поэту И. Бродскому, однако измываться над ним за мой счет я позволять не собираюсь.

Я полагаю, что автор имеет полное и единоличное право как на славу, так и на позор при общественной оценке своих сочинений, если, разумеется такая оценка производится. Я полагаю также, что изложение фактических нелепиц, сдобренное бранью и грубой тенденциозностью, как это имело место в фельетоне «Окололитера-турный трутень», является злонамеренной попыткой исказить, очернить творчество молодого автора в начале его пути, не говоря уже о том, что такие явления подрывают доверие к прессе.

Я настоятельно призываю Комиссию использовать все возможности, чтобы оградить молодых авторов от зарвавшихся фельетонщиков из «Вечернего Ленинграда». Для этого я предлагаю Комиссии назначить авторитетных лиц для разбора фактической и этической стороны упомянутого фельетона.

С полнейшим уважением
Дмитрий Бобышев.

Оригинал я отнёс в Дом писателя, в правление СП. Гранина там не было, а из Комиссии оказался лишь Евгений Воеводин, писатель репутации самой отъявленной, как и его отец (и тоже писатель) Всеволод Воеводин. Может быть, это и хорошо, подумал я. Гранин из либерализма, из нежелания обострять, не даст моему заявлению ходу, положит его под сукно. А этот, хотя бы из гадства, не положит. И я вручил его Воеводину. Однако оно так и осталось где-то лежать и на ход дела, конечно, никак не повлияло. Но долг свой я выполнил.

Соперник Бродского

За предыдущую зиму я привязался к моей лыжной компании, в особенности к Галику и Але Шейниным, даже как-то по-домашнему прибил к ним, заходя и в межсезонье, когда случался повод, в их полуккоммунальную квартиру на Дегтярном. Читал стихи, видел их восхищенье, выкаблучивался, — чего же ещё от жизни требовать? Меня баловали, а я их семейный союз считал вполне гармоничным, что и выражал в похвальных «ангизпиграммах».

Но вот наступил мой день рождения, который я вначале никак не хотел отмечать: я стал тяготиться ролью таврического углового жильца и не желал донимать домочадцев чуждыми им гостями. Галя Наринская, тогда жена Рейна, предложила устроить мой праздник у них, а верней — у неё, так как сам Рейн был тогда в Москве. Я такой необычный подарок от неё принял, но с тем, чтоб она и гостей созвала, кого хочет, а я чтоб не знал. Странный получился праздник — экспериментальный: среди прочих пришли две дамы, с которыми я состоял в разное время в разной степени близости, и как мне было держать себя с ними? Марина явилась сама по себе, принесла мне опасный подарок — сувенирный охотничий ножик в ножнах, да ещё и с лихим пожеланием «сделать его красненьким». И тут прибыла Аля Шейнина, но не со своим блокоподобным Галиком, а с молодым «другом», да еще по фамилии Лернер. На вопрос, не родственник ли он злодею, она вызывающе, но резонно ответила, что, мол, родственник или нет, а никто за другого не ответчик.

Обстановка тем не менее заискрилась, и с подошедшим туда Мишей Петровым мы уже начали было брать малого Лернера за грудки. Запахло скандалом. Хозяйка объявила вечер оконченным.

Но ближе к холодам Галик и Евсюша предложили мне опять присоединиться и снять с ними в пай зимнюю дачу. Мне нужно было до конца года использовать отпуск с работы, и я с радостью согласился, видя впереди месяц свободы, лыжных катаний и литературных восхождений — как бы мой отдельный «дом творчества».

То был новый участок государственной застройки вблизи от залива в северной части Комарова. Дачи предназначались на лето инструкторам райкомов, а зимой сдавались всякой шуввали пониже, вроде старых большевиков, — видимо, чей-нибудь родитель из наших сосъемщиков был шибко партийный.

Свежие, еще необжитые дома располагались в низкой роще, нисколько не сообразуясь с ландшафтом, но, видимо, лишь с чертежом, — например, под крыльцом нашего дома протекал неучтённый планом ручей. Но когда я ступил на крепкий гулкий настил, мне вдруг всё это до восторга понравилось: ледяные цапки на березе казались её украшением, струи внизу прозрачно журчали и даже звенели — это намерзала и тут же обламывалась в поток нежная кромка.

Комната, доставшаяся мне, была тоже вполне ледяная; поежась, я бросил на койку стёганное по моему заказу (лоскутное!) одеяло, вбил в чистые обои первый гвоздь, повесил туда охотничий нож, подарок Марины, и пошел в тёплую половину. Там уже собиралась на новоселье пирушка: Шейнины, Вигдор, появились еще какие-то лица, на столе задымилась вареная картошка, заулыбались в миске солёные грузди с волнушками, масло, хлеб, даже ломтики сайры, — что ещё нужно? «Ректификат» возник магически, ниоткуда, — конечно, доведённый до пропорции да ещё и настоянный на лимонных корочках...

— Ну, с новосельем всех!

Оживление, тосты, стихи... Напротив меня поднялся из-за стола лысеющий парень научно-технического вида. Кто это? Ещё один Лернер, — не хватит ли? Брат того малого, что уехал теперь в мужественно-романтическую поездку на Север... А-а... Косясь на меня, этот «ещё-один-Лернер» объявляет не тост, а эпиграмму и читает четверостишие в общем-то почти комплиментарного тона про «ахматовских поэтов, поклонников стареющей звезды», но что-то мне тут кажется гнусоватым, и я встречаюсь глазами с Галиком.

— Как тебе нравится эта эпиграмма, Дима?

— Ты знаешь, Галик, всё было бы ничего, но мне жутко не нравится эта пауза перед словом «звезда».

— Да, пауза нехорошая...

В этот решающий момент опять появляется забредший сюда со своей дачи Миша Петров, садится рядом. Говорит, заикаясь, на своём жаргоне ядерных физиков:

— 3-здорово, с-старикан! Ты ч-чего не в себе?

— Понимаешь, Миша, тут паузу кое-кто нехорошую сделал: перед словом «звезда». Надо морду бить.

И я влеплю оплеуху Лернеру. Он заносит над головой табуретку, но нас растаскивают.

Между тем наша отдельная дружба с Мариной продолжалась, встречи были вполне непорочны, хотя и галантны. Мы бывали на выставках и концертах, много гуляли в моих местах на Песках или — в её, в Коломне, порой вместе рисовали. Она жила с родителями, все трое были художники, что называется, «без дураков»

— самой высокой пробы, без капли лакейства перед официозом. Квартира находилась на третьем этаже в здании павловской застройки, как раз посредине между Мариинским театром и Никольским собором, напротив «дома братьев Всеволожских», где собиралась «Зелёная лампа» и колобродил молодой Пушкин. Вдоль фасада была пущена лепнина: чередующиеся маски неясного аллегорического смысла. Я читал их как ужас и сладострастие, ужас и сладострастие, но это ничего мне не объясняло и ни во что рифмованное не складывалось. В пушкинское время на этаже были танцевальные классы, и то-то он плялился сюда на балеринку от Всеволожских: ужас и сладострастие, а до эмиграции в этой квартире жил Александр Бенуа.

Вход туда странным образом пролегал через кухню и ванную, там же находилась замаскированная под стенной шкаф уборная, а дальше двери открывались в довольно-таки немалый зал окнами на проспект. Слева была еще одна дверь, куда строго-настрого вход воспрещался, как в комнату Синей Бороды, но изредка оттуда показывались то Павел Иванович, то Наталья Георгиевна, чтобы прошествовать через зал и — в прихожую, ну, хотя бы для посещения стенного шкафа.

Легкий бумажный цилиндр посреди зала освещал овальный стол, коричнево-жёлтые тени лежали на старом дубовом паркете, и я узнал этот интерьер по тому двойному портрету, который мне ранее показывал Иосиф. Что он делал сейчас и где находился, мне оставалось неизвестно. Кругом были разброд и шатания, ходили неясные и по-разному угрожающие слухи. Я полагал, что общие друзья и доброжелатели уговорят Иосифа устроиться куда-нибудь на работу, чтобы как-то защититься и пересидеть эти тревожные месяцы, а уж дальше было бы видно. С работой не было никаких сложностей: Галик Шейнин, например, уверял меня, что он хоть завтра взял бы Иосифа к себе лаборантом, да что Галик! Таких было много и с гораздо большими возможностями.

Наши общения с Мариной, и так дистиллированные, не замутнялись никакими ухаживаниями и как будто собирались остаться надолго в состоянии бестелесного и восхищённого интереса друг к другу. Вот она подсунула мне книгу: «Вы должны её прочитать, там много Вам близкого». Райнер Мария Рильке, «Заметки Мальте Лауридс Бригте», — в первый раз вижу, такое даже произнести трудно, не то что запомнить. А чигаю — и трелет меня пробирает: мало сказать «мне близкое» — там все мои излюбленные мысли становятся на места, да так связно и много, много больше! Наконец дошло: это же та самая книга, которой я зачитался в школе настолько, что начал писать стихи. У той не было титульного листа, и потому я не знал ни автора, ни заглавия, но мысли запомнил так, что они стали моими.

Вот вручила подарок, да еще какой драгоценный: «От романтиков до сюрреалистов» — французские поэты в переводе Бенедикта Лившица, это же моя давняя мечта! Карманный формат, твердая обложка, под ней — надпись какими-то изящными таинственными значками.

— Что это?

— Это мой детский шифр, который я придумала для секретов от взрослых. Пользуюсь им и сейчас.

— А что он обозначает?

— Я секретов не выдаю.

Пусть, так будет интересней. Она жила в закутке на сцене танцевальной залы. Там стоял её рабочий стол, койка вроде моей, шкафы с папками и причиндами ремесла, и на белых обоях — лёгкая таинственная надпись, зашифрованная точно так же.

— Что это значит, и почему над рабочим столом? Это — что-то важное?

— Мой девиз.

Ну, тут уж я не отставал, пока она его не раскрыла: «Быть, а не казаться», — не Бог весть что, из романтического арсенала, но значки я запомнил, и этого оказалось достаточно для расшифровки надписи на антологии Бена Лившица: «Моему любимому поэту. Марина».

— Почему же не гражданину?

Она даже испугалась, онемев.

Но приближался конец тревожного 63-го, и надвигалось начало следующего, также не сулящего многих общественных радостей, года. Оставалось положиться на старое суеверие. Единственный способ противодействовать будущим бедам — это хорошо провести новогоднюю ночь! Тогда и весь год таким сложится. Марина захотела встретиться двенадцать ударов со мной, а когда я легко сказал «ну конечно», переспросила уже со значением, и я опять согласился. Я объяснил, как меня найти, и уехал на зимнюю дачу: у меня начинался отпуск.

Наша база становилась модным местом: поблизости захотела поселиться и Вичка с мужем, рядом с ними — художественная пара Гага и Жанна. А Шейнины уступили свой тёплый угол Друскиным. Льва Савельича взволокли вверх, Лиля всковыляла следом, и у меня, для будней тоже, появились дружественные компаньоны. Насидевшись за столом в промёрзшей горнице, я шёл к ним за стенку топить печи и подкрепиться тарелкою горячего супа, затем спешил до темноты прокатиться на лыжах. «Самые тёмные дни в году, — по ахматовскому выражению, — светлыми стать должны», и они такими становились ненадолго, пока низкое солнце озолачивало заиндевелые души деревьев. Краткие световые дни я представлял себе как свечи, и тогда весь декабрь становился для них подсвечником, а то и канделябром. Один из них я описал сапфическим размером, наверное, из-за «сапфической» дамы, но посвятил стихотворение Лёвушке. Мы с ним и поздней вспоминали тот короткий денёк — и два года, когда я вёз его в колёсном кресле по оранжево-жёлтым аллеям Царского Села, и двадцать лет спустя, на подобной прогулке в Тюбингене, где я навестил его на пути из Парижа в Прагу... Тот день предшествовал последнему дню года.

В нижнем этаже гудела другая лыжная компания, как бы соревнуясь с нашей: они увешали комнаты серпантином, а у нас зато больше свечей, они привезли и украсили ёлку, а у нас — вон сколько ёлок в лесу! Дамы привезли из города предостаточно холодильов и салатов, джентльмены колдовали над «ректификатом», но и бутылки шампанского стыли сохранны и сокровенно в ручье.

Уселись, стол был придвинут к Лёвиному ложу так, что он возлежал в подушках, как римлянин, меня, будто бобового короля (вот ведь и фамилия подходящая), усадили в начало стола. Изрядно проводили старый год, приближался новый, — захлопотали над шампанским, захлопали пробками. Марины всё не было. Уже отзвучали куранты, шипучка шампанского ударила в нос, и — вот и она! Что, как, почему так поздно? Да пропустила станцию, поезд увёз до Зеленогорска, и оттуда весёлый мильтон с мотоциклом доставил её сюда в коляске. А где же мильтон? Надо выдать ему в дорогу на посошок. Да уж уехал...

С её появлением пустой и дряхлый обряд вдруг стал полон смысла: время и в самом деле представилось обновившимся, затикав совсем по-другому, со свежей, почти даже хищной энергией. Всё было нипочем, а то, что завязывалось, казалось, вовек не развяжется. Мы вдвоём взяли по зажжённой свече и вышли в темноту. Освещённые

окна остались позади, с залива пахло мерзлой влагой, и мы ступили во тьму на тонкий лёд. Словно процессия, с огоньками свечей мы прошли довольно далеко от берега, и лёд все держал, затем пошли вдоль. Где-то могли быть и полыньи, вымытые ручьями, но их было не разглядеть, — свечи могли освещать только лица, но зато и делали свое дело экстатически-истово, иконописно. Мы остановились, я поцеловал её, почувствовал снежный запах волос. Вкус вошёл в меня глубоко да там и остался.

— Послушай, прежде чем сказать ритуальные слова, я хочу задать вопрос, очень важный...

— Какой?

— Как же Иосиф? Мы с ним были друзья, — теперь уже, правда, нет. Но ведь он, кажется, считал тебя своей невестой, считает, возможно, и сейчас, да и другие так думают. Что ты скажешь?

— Я себя так не считаю, а что он думает, это его дело...

«Я себя так не считаю» — значит, она свободна, и этого достаточно. Я произнес те слова, что удержал на минуту, услышал их в ответ, и мы стали заодно. Время не самое удачное? Пусть, значит — судьба, а судьба подходящих времён и не ждет. То, что весь свет может обернуться против нас? Если она это предвидит и всё равно выбирает меня, тем она мне дороже. Но, может быть, она не понимает, что теперь может начаться? И я спросил:

— Но ты понимаешь, что теперь весь свет может против нас ополчиться?

— Эти «алики-галики» — весь свет? Тебе они так нужны?

— Нет. Если вместе, так ничего и не нужно.

Мы вернулись на дачу к заклинившемуся, как заезженная пластинка, веселью. Лев Савельич, «утомимшись», был уложен, а остальные спустились брататься с нижней компанией. У них были не только ёлка и серпантин, но и проигрыватель. Как пришли, со свечами, мы продолжили свой ритуал, танцую. Маринина свеча подожгла серпантинную ленту, и огонёк, побежав, прыгнул на занавеску.

— Красиво!

Начавшийся было пожар потушили, мы поднялись в горницу и задремали «под пальтами». Год обещал выдаться незаурядным.

Алики-галики

Ощущение поворота судьбы, учинённого собственноручно, лучше всего передавалось словом из суровой николай-языковской песни: «помужествуем». Хотелось именно этого и, конечно же, счастья, но добытого в одолениях и усилиях, за которое дорого и с хорошим риском плачено. Как это ни странно кому-нибудь из предубеждённых лиц читать или слышать, залогом для уверенных действий была моя правота. А толпе (пусть даже интеллигентной) судящих и вмешивающихся «аликов-галиков», толкующих обстоятельства не в мою пользу, можно было сказать: «Извините, это не ваше дело. Это — свободный выбор двух свободных и взрослых людей, вам тут не место, это — дело двоих, а в крайнем случае, да и то лишь на первых порах, — троих, которые сами без вас должны разобраться». Однако, в отличие от моей подруги, я за «галиками» признавал их большую, даже неограниченную и безнаказанную возможность вредить за спиной, мазать, гадить, чернить и плевать, сплетничать и клеветать, приклеивать ярлыки, вешать собак, подкладывать свиней и ещё много, много чего.

Поэтому я решил сделать ход, упреждающий слухи, и направился сам для решительного объяснения с «третьим лишним».

Он сидел угрюмый — видимо, слухи до него долетели быстрее, чем я шёл к нему от Тавриги, либо иные его обстоятельства стали сгущаться... Но о них я расспрашивать не стал — узнаю и так. Приступил сразу к главному.

— Не хочу, чтоб ты услышал это от других в искажённом виде, но у меня произошли некоторые перемены, которые, вероятно, касаются и тебя. Они заключаются в том, что я связываю свою жизнь с Мариной.

— Что это значит?

— Это значит, что мы с ней теперь — вместе.

— Ты что — с ней спал?

— Ты же знаешь, что я на такие вопросы не отвечаю. Я связываю свою жизнь с ней. Жизнь — понимаешь?

— Но ты с ней уже спал?

— «Спал» — «не спал» — какая разница? Мы теперь вместе. Так что, пожалуйста, оставь её и не преследуй. Заботы о ней я беру на себя.

— Уходи!

— Да, я сейчас уйду. Хочу лишь сказать, что, помимо личных дел, есть и литература, в которой мы связаны и где мы с тобой — на одной стороне.

Какая там литература! Я для него стал существовать в лучшем случае лишь как предмет, препятствующий ему встречаться с Мариной. Она была против моего прямого объяснения с ним, предпочитала всё уладить постепенно сама, но это, на мой расчет, вызывало бы их новые встречи, объяснения, сцены, и тут я был решительно против. Я был за то, чтобы раз навсегда определиться, и всё. Как? Ну, например, нам пожениться, и многие бы проблемы отпали сами собой. Ну что ты, как можно сейчас?! Марина не собиралась это даже обсуждать, — Иосиф, оказывается, ей уже надоел с предложениями. Ах, вот оно как. Положение осложнилось. И осада несколько не ослабевала. Я старался проводить как можно больше времени с Мариной, лишь иногда отмечая с сожалением, как быстро испаряются оставшиеся дни моего отпуска.

Вдруг он мне позвонил: надо поговорить. Когда? Сейчас. Где? В саду у Преображенских рот. Это было как раз посредине расстояния между нами. Через восемь минут я уже был там. В сквере было безлюдно, лишь какая-то мамка телепалась с коляской поблизости. Я ждал и думал: что ему надо? Разговоров? Вряд ли... Будет угрожать, а то и действовать? Вполне возможно. Моя трубка, проткнутая когда-то бандитской заточкой, предупреждающе заныла. Все же надо выстоять. Да и не поднимется рука у него, у истерика...

Явился. Мрачный, но никакой истерики. Его вопрос меня удивил своим заикленным упорством:

— Ты уже спал с Мариной?

— Я же говорил, что на этот вопрос не отвечаю.

— Но ты с ней спал?

— Отказываюсь разговаривать.

Он смотрел на меня, я на него. Наконец я развернулся и ушел. Что все это значило?

Марина замкнулась, перестала мне звонить, а телефона там не было. И я ехал к ней наудачу, на 13-м трамвае через Садовую, где делал пересадку, огибал двойной дугой Никольский собор и дом Всеволожских, выходил у Консерватории

напротив Маринки, чуть возвращался, глядя на золочёные купола, шёл к дому павловской застройки, ужас и сладострастие, звонил в дверь, Павел Иванович угрюмо буркал: «Её нет», и я уходил. Я и верил ей, и ревновал, предполагая, что она, как и хотела раньше, «постепенно» улаживает свой, теперь уже для меня сомнительный, разрыв с моим соперником.

От этого «ужаса и сладострастия» я решил уехать, проветриться на зимнюю дачу, да и глупо было разбазаривать в городе последние денёчки отпуска. Там уже не было так пышно-нарядно, как прежде: после оттепели обнажились растопганные до грязи дорожки, еловые лапы, освободившись от снежных припухлостей на плечах, пахли сыро и траурно... Но когда я ступил на крепкий помост крыльца и услышал нестихаемый ручейный журч, я вновь воспрял. В доме было прохладно, но все-таки теплоно, Друскины по-прежнему оставались там с памятного Нового года. Я даже не зашёл в свою горницу, затопил прежде всего печь в их половине (а тепло оттуда поступало ко мне через стенку), и мы заужинали.

— Димок, я перед тобой виноват, — протянул вдруг Лев Савельевич.

— В чем же таком, Лёвушка?

— Я предал тебя, извини... Ко мне приезжал Бродский, он всё расспрашивал об этой даче...

— Ну, и что?

— Он очень просил тот нож, что тебе подарила Марина. И, уж прости, я ему позволил его взять.

— Отдать мой нож? Да как же ты мог?!

— Ну, вот так. Можешь мне набить морду, если желаешь...

Ах, старая кокетка! Кто ж тебя, калеку, бить будет? Но всё-таки нож, о котором я совсем забыл, это ведь — зловеще... Не зря мои драные кишки дали о себе знать в садике перед Преображенскими ротами.

— Эх, Лёва... Спасибо, что хоть сообщил.

То была пятница, и я забылся в дрёме на койке под лоскутным одеялом, слишком узком даже для одного...

Уже поздним утром, когда я собирался на лыжную прогулку, дом вдруг ожил, и ко мне постучались. Вошла — как я сразу понял по лицам — делегация: Аля Шейнина с видом, заимствованным у домоуправа, скорбно-застенчивый Галик, деловитый и протокольный Миша Петров, любопытная и возбуждённая Вичка и муж её Миша с выражением удовлетворенного истца. Выступил Миша Петров, который и был-то тут сбоку-припеку — именно как мой гость, и не более, — и вот он заговорил:

— От имени коллектива съёмщиков этой дачи, которые мне поручили это сказать тебе, Дима, мы находим твоё поведение неприемлемым, и они хотят, чтобы ты покинул эту дачу. Твой вклад, за вычетом уже израсходованных взносов, тебе возвращается.

«Мь», «они» — кто есть кто? Но неважно, объявление их бесконечной (и односторонней) войны мною принято. Что тут сказать?

— Я ухожу. А вы, братцы, не правы.

(окончание следует)



Лариса Миллер

НОВЫЕ СТИХИ

Можно вычислить время прилива,
Скорость ветра и силу его,
Но захочешь понять, чем все живо,
И опять не поймешь ничего.
Не поймешь, где тот скрытый моторчик,
Не дающий здесь всё сокрушить,
Почему задохнувшийся Корчак
Нам дышать помогает и жить.

*Внуку Данечке
К его 1-й годовщине
8 июля 2014 г.*

Не мешайте ребёнку сиять,
Ну прошу, не мешайте,
И счастливых смеющихся глаз
Этот мир не лишайте.
Что он стоит — подержанный мир —
Без такого сиянья?
Без него — он скопление дыр
И сплошное зиянье.
Если долго за взглядом следить —
За младенческим взглядом,
То далёко не надо ходить,
Всё чудесное рядом.

Да перестань ты, жизнь, кончаться.
Давай на веточке качаться.
Ты — юный лист, а я — скворец.
Какой там к дьяволу конец?
Ты — песня, я — твоё коленце,
Ты — колыбель, я — сон младенца.

Что ни сутки, то круглая дата,
Годовщина не знаю чего:
То ли дождика, то ли заката,
То ли ветра, порыва его,
То ли чьей-то любви несурзной,
То ли чьих-то великих побед...
Суть не в этом. Ты, главное, празднуй,
Всех сзывая на званый обед.

«Гуляйте, пейте. Я плачу», —
Вот так я говорю лучу,
Теням танцующим и свету,
Кустам цветущим, то есть лету,
Которое продлить хочу.

За луч, скользнувший по плечу,
За луг, где ноги промочу,
За белизну июньской ночи, —
Я жизнью, что ещё короче
За лето станет, заплачу.

Когда я навела на резкость,
То увидала, обомлев,
Всё простодушие и детскость
Рассветных песен и дерев,
С которых песни доносились;
Узрела лихость сквозняков,
Что, как безумные, носились
Средь разноцветных пустыков,
Придав им живости и блеску,
И — Боже правый, что за прыть! —
То задевая занавеску,
То жизни тоненькую нить.

А утро, как малыш грудной:
Претензий к миру — ни одной,
И ноль утрат, и ноль обид,
А только чуточку знобит
На холодке и на ветру.
И я такая поутру.

Хотите, опишу тоску?
Осенний дождик морозящий,
Листву последнюю гасящий —
Хоть дуло приставляй к виску.

Хотите, счастье опишу?
Всё тот же дождь осенний, редкий,
Всё тот же лист, слетевший с ветки,
Стихи, которыми грешу.

Ну вот опять и я и лето,
И гром, и дождик проливной,
И день, ушедший от ответа
На тот вопрос, что заданной —
Мол, как, какими, мол, ветрами,
Судьбами нас на этот свет... -
И блики на оконной раме,
Вновь заменившие ответ.

Ренэ Герра

Всё оказалось очень просто:
Чтоб не пугала дней короста,
Чтоб жизнь вдруг стала молодой
И sprыснутой живой водой,
Чтоб жизнь вдруг стала беспредельной,
Азартной, юной, не смертельной,
Чтоб лился стих из-под пера,

Дыши, чем дышит сам Герра —
— Волшебным ароматом Ниццы,
Где исчезают все границы
Меж новизной и стариной,
Где попадаешь в век иной,
Войдя в старинное жилище
Герра, где тыща книг и тыща
Картин и писем. И они —
— Не брошены и не одни.
У них есть ангел и хранитель —
— Волшебных мест волшебный житель.
И если ты к Ренэ проник,
Дыши чудесной смесью книг,
Спасённых, заразись азартом
Того, кто вечно перед стартом.

Мише Кукулевичу

Что ж, будем дальше умолять
Упёртых и неумолимых,
И будем дальше уголять
Печали душ неутолимых,
Пытаясь миг приворожить
Шальной, утешить безутешных.
А чем ещё дышать и жить,
Скажите, на широтах здешних?

До чего, Боже мой, здесь бывает тоскливо и тяжело,
А особенно если ненастье и жуткая хмарь.
Так и кажется, будто бы всё это — Божья промашка:
Ты и я, и наш дом, и наш город, и этот январь.
Но одно хорошо — может всё так легко измениться:
Вместо минуса — плюс, вместо «нет» — бесшабашное «да»,
И останется только за слёзы свои извиниться,
«Что ты плакала?», — спросят, ответчу: «Да так, ерунда».

В который раз проходим мимо
Того, что обойти нельзя,
Что душу рвёт, убить грозя,
Поскольку непреодолимо.
“Да брось ты, - говорят мне, - брось,
Идём не мимо, а насквозь”.

Тамаре Владиславовне Петкевич

Побудьте ещё, я вас очень прошу
Побудьте ещё, драгоценные люди.
Я знаю, что вас умоляю о чуде,
Но верой в него я с рожденья грешу.

Постойте, родные мои старики,
Постойте. Пока вы живёте на свете,
Мы - ваши любимые малые дети
В одёжках, которые нам велики.

Весна — это время немислимой встречи
Того, что поблизости, с тем, что далече.
Весна — это счастья и горя братанье,
Отчаянья с робкой надеждой свиданье,
Записка любовная в тонком конверте
Взволнованной жизни к тоскующей смерти.

А скоро встрепенётся сад,
Переведут на жизнь назад
Несуществующие стрелки,
И примутся играть в горелки
С теньми вешние лучи.
Ну отучи нас, отучи,
О Боже правый, ждатель дурного,
Заверь нас в том, что можно снова
Начать сначала. Не молчи.

Если люди забудут меня,
То трава не забудет,
Будет лютик грустить без меня,
Вспоминать меня будет.
Не забудет меня бересклет —
Мы с ним жили так дружно.
Не забудет меня белый свет.
Ну а что ещё нужно?

Посвящается Стефано Гардзонио

Таковы обстоятельства места и времени,
Что ещё далеко до зимы и до темени,
До захода, ухода, упадка, конца,
И улыбка ещё не сбежала с лица,
И ещё все слова я рифмую попарно,
И ещё в двух шагах флорентийская Арно,
И ещё в двух шагах, а вернее, у ног
Зёрна счастья клюёт молодой голубок.

О Боже, Боже, всюду изразцы
И витражи, и всякие красоты,
Похожи дни на сладостные соты...
Вы преуспели, пришлых душ ловцы.
Забыто всё: и горести, и гнёт,
С дней италийских слизываю мёд.
Флоренция

Муравьи и ромашки,
Ромашки, жуки, муравьи...
Ни единой промашки,
И губы — в клубничной крови,
Ни единой осечки,
Всё в яблочко, в точку и в бровь,
В ослепительной речке
Смываю клубничную кровь.

А Россия сама не своя,
Не своя, не твоя, не моя,
От России лишь рожки да ножки,
И любимые мною дорожки,
Что бегут сквозь глухие года
И давно не ведут никуда.

Но ты живёшь в такой стране,
Что, будь ты хоть в стальной броне,
Она спасёт тебя едва ли.
Здесь жить веками не давали,
Ищи покой на стороне.
Но фокус в том, что и покой
На стороне — он не такой,
Как ждёшь. А здесь, по крайней мере,
Понятно всё, что в атмосфере,
Знакомо всё, что под рукой.

Жертвам безумной распри посвящаю

А люди всё бегут, бегут
По той земле, что населяют.
А в них стреляют и стреляют,
Их здесь совсем не берегут.
Они бегут с узлом в руках,
С младенцем сонным на закорках,
С мечтою об уютных норках,
Где тишина, как в облаках.

А впрочем, гонится и там
Беда за ними по пятам.

Июль 2014 г.

А в России живя, мы загнуться рискуем,
Вне пределов её по России тоскуем —
По безумной, опасной, несчастной, родной,
По России, что быть неспособна иной —
Дружелюбной, весёлой, счастливой, терпимой,
Жизнью нежно обласканной, с ней совместимой.

Бог молчит, ну а мы всё строчим примечание,
Комментируя странное это молчание.
Рассуждаем, толкуем, дымимся, строчим
И усердно, как дятел по дереву, стучим,
И усердно плодим столько всякого лишнего,
Что не слышим, как сердце стучит у Всевышнего.



Вячеслав Вербин

АВТОПОРТРЕТ В ИНТЕРЬЕРЕ

М. Барышникову

Я написать хотел о Ленинграде,
Чтобы стихи прилились, как лист к ограде,
Явившись сами, а не Христа ради,
И были б так просты и так стройны,
Как если б проседь выменяв на просинь,
Явилась преждевременная осень,
И мы с тобой шли улицею Росси,
Приехав с Петроградской стороны.

С уверенной гримасой диагноста
Я стал крошить и Мост, и Ночь, и Остров
В солянку стихотворного компоста.
И Город в ней расплылся без следа...
И, не задет несовершенным словом,
Плыл теплый вечер над мостом Дворцовом,
Где под ногами, в сумраке свинцовом
Жила и пела вечная вода.

Банально сметан на живую нитку,
Мой город был сродни цветным открыткам,
Не поддаваясь никаким попыткам
Вложить дыханье в каменную грудь.
Я звал его, но он меня не слышал.
И я бубнил: «Наверно, срок мой вышел.
Наверное забыли там, над крышей
Песочные часы перевернуть»...

А время шло. И музыка играла.
Была листва из бронзы и коралла.
Дымился сквер. И пахло карнавалом,
Затеянным надолго и всерьез.
С плащом внакидку, маскою рогатой,
Шальной деньгой и позднею регатой —
Драматургией осени, богатой
Винюм в разлив и клятвами до слез.

Так приближался невеселый праздник.
Некруглый юбилей каких-то казней...
История! Твой шепот всё бессвязней...
Чья грудь в крестах? Чья голова в кустах?

Рыдают в уши трубные коленца.
Вигают убиенные младенцы.
От красных флагов весело на сердце.
От черных «Волг» темным-темно в глазах.

А Город продолжал томить пейзажем,
Написанным то в сепии, то в саже.
И был то Эрмитажем, то «Пассажем».
И жег похмельной горечью во рту,
Когда, представ одной сплошной отвалной,
Кончался, будто номер танцевальный, —
Объятями... О этот пасторальный
Балет в рассветном аэропорту!..

Любимые! О как вы улетали
В свои полупридуманные дали!
Вы не меня, вы Город покидали,
Пускаясь в этот дьявольский вояж.
Пока спалось номенклатурным уркам,
Покамест я с упорством полудурка
Вписать пытался крепкую фигурку
В традиционно смазанный пейзаж...

Моя судьба была сплошным отточьем...
И я молился ветреною ночью
И так просил: «Всемиловитый Отче!
Наставь! И надоумь! И просветли!...»
И тот, кто всё помалкивал доньше,
Внял гласу вопиющего в пустыне
И так ответил: «О настырный сыне,
Вот мне б твои заботы... ОТВАЛИ!»

** ** *

Пока в тоске облыжной
Я мыкаюсь один
По мостовой булыжной
Среди огней и льдин,
Пока дела вершатся,
Которых не прервать,
И рано сокрушаться,
И поздно горевать,
Пока даруют нежность
И продают вино,
Невелика погрешность:
Быть одиночкой, но...
Всё так непоправимо,

Так страшно належке,
Как будто юность мимо
Прошла невдалеке.

** ** *

Пройдет похмелье. Мы протрезвеем
И, излечившись от дурноты,
Мы всё сумеем и всё успеем,
И станем с прошлым своим на ты.
Помянем мертвых, простим убивших,
Поймем молчавших в который раз.
А кто-то после, уже как бывших,
Поймет, простит и помянет нас.
И те же книги на тех же полках,
И те же дети в том же дворе,
И юбилеи, и сны, и только
Другая дата в календаре.

АВТООТВЕТЧИК

Мой автоответчик дошлый,
Передай моей жене,
Что купил я нам картошки
На Литейной стороне.
Что стоял с моим народом
В страшном запахе земли.
Дабы сочным корнеплодом
Насладиться мы могли.
Что избегнул, в быт влюбленный,
Как палаческих клещей,
Я романа с забубенной
Продавщицей овощей.
Что сгибаясь пер картоху
Из опасных этих мест,
Словно тот, кто тяжкий крест
Пер на пыльную Голгофу...

А еще скажи Наташе:
Возле дома по пути
Я решил на благо наше
В лавку винную зайги.
Что купил, супруга знает,

Но по дружбе повтори.
Это — емкость расписная
С честной жидкостью внутри.
Прихватив с собою коврик,
Мы пойдем с покупкой в Таврик,
Хоть, конечно, он не Гофри
И тем более не Капри.
Но на травке и на лавке
Этой жаркою весной
То купальники, то плавки
Взор смущают голизной.
Там опасные подростки
В пруд ныряют, как ерши.
И прекрасны их прически.
И заточки хороши.

Не обидев их ни словом,
Сядем как месье с мадам,
И Симон Пастух с Орловым
Присоединятся к нам.
И под зеленью гуманной
Хлорофилловой реки
Мы дойдем до «закурганной»
Как лихие казаки.
И всё будет так красиво,
Что покажется порой:
Жизнь короче перерыва
Между первой и второй.
Штрих-пунктирная полоска
Между мглой и темнотой.
Ювелирного наброска
Карандашик золотой.
А всё то, что ты сграбастал,
Заработал и достал —
Только систол и диастол
Еле слышимый сигнал...
Много это или мало?
Плохо или хорошо?..
Говорить после сигнала —
Метафизика, дружок.
Тут небесный наш Диспетчер
Допустил какой-то сбой...

Я кричу!... Автоответчик!
Сам с собой, блин...
Сам с собой...

** ** *

Прощай. Бегу. Всё как обычно.
И капель не стряхнуть с лица.
Весны пасхальное яичко
Разбилось с острого конца.

Ну что ты скажешь о побеге,
Моих брожений дирижер?
Я видел сон. Мне снился егерь
В траве по пояс и с ружьем.

Его глаза цвели и пылили.
И пояс кожаный горел
Среди соцветий и раскрытый
Растущих и летящих тел.

В томительной священной лени
Стоял он посреди лесов,
Где пели тучные олени
На восемь райских голосов.

Он шурился и улыбался,
Почти не трогая курка.
И я затем не просыпался,
Чтоб вдруг не дрогнула рука...

Так что мне скажешь о побеге,
Ты, запирающая дверь?
Я видел сон. Мне снился егерь.
Вот и ищу его теперь.

** ** *

Я север полюбил, как сирота,
С отчаянья идя в семью чужую...
Декабрь дышал, не разжимая рта,
Морозом наоттяг стволы свежюя.

Был ветер бел, как известь или ртуть.
И, сняв под бритву мой прощальный пафос,
Чугунной прозой целил с неба в грудь
Снег цвета несгораемого шкафа.

В душе обозначался перевал.
В одно сливались имена и лица.
Кричали: встать! Но я подозревал,
Что больше не смогу пошевелиться...

В нелепостях прошло еще с полдня.
Еще полдня я двигался, как робот,
Пока меня оставивший столбняк
Не расселился в сосны и сугробы.

Зима была космически тиха,
Но обернулась новой ипостасью,
Чтоб первым словом первого стиха
Всё разрешилось к общему согласью.

Так начинался мой патриотизм,
Любовь к стране неведомых традиций.
И жизнь была нова. Нова, как жизнь
За сутки до того, как зародиться.

Г А Р Н И З О Н

Гарнизон мой. Межсезонье.
Сосны. Слепни. Соль. Треска.
Воскресенье в гарнизоне.
Звон в ушах. Возня спросонья.
На плацу и на газоне
Лак, полуда, пыль, тоска...

Гарнизон мой. Плен мой пыльный
Под названьем гарнизон.
Вспыхнет след автомобильный
И уйдет за горизонт.

Самоволка. Самоволка.
Сумасшедший самогон.
Глянут звезды, как двустволка,
С подполковничьих погон.

В жизнь и в смерть сбухтыбарахты
В Бога. В душу. В смерть и в мать.
Сам начальник гауптвахты
Выйдет к двери — принимать.

Лом с лопатой до ломоты.
Крут за кругом - строевым.
Молодые обормоты
Из второй дорожной роты
Не до крови, так до рвоты
Роют, роют, роют рвы...

А потом головкой серной
Ночь на веках сожжена.
Я не снесу тебе, наверно,
Офицерская жена.

Спи спокойно. Счет оплачен
Пятаками бритых лбов.
Самой страшной из солдатчин
Ты пришла ко мне, любовь.

Ах, солдатик! Ах, игрушка!
А халатик льнет к бедру.
Пасторальной постирушкой
Всё закончится к утру.

Болью в сердце. Песней с плачем.
Да ефрейгорским рублём!...
Ах, как кстати был я схвачен
Комендантским патрулем.

** ** *

Как я чисто ненавидел,
Как я искренне любил
Эту боль, и этот китель.
Эту боль. И эту пыль.

Эту красную повязку.
Эту крестную тоску.
Звон в ушах. Возню и встряску.
Сосны. Слепней. Соль. Треску...

Гарнизон мой. Сон мой. Стон мой.
Всё прошло, мой Августин...
Только странная истома.
Словно скован. Словно сломан.
Словно только что из дома.
Словно снова. Словно слово.
Будь ты проклят!.. Отпусти!

Демобилизация

Почем, моя радость?
Нет цен баснословней.
Мы перешагнули. Но это не в счет,
Раз в честь нищеты салютует шиповник.
И красным, как в праздник, брусника течет...

Салют, моя радость!
Мы помнили столько
И поняли столько, что дико смотреть,
На август, швырнувший листву, как листовки
С призывом от радости не умереть.

Давай, моя радость!
Как вынесут ноги.
Как выпадет карта.
Как выдержит лёд!..
Кончается август.
Причем здесь итоги?
Вперед, моя радость!
Ногами вперед!

** ** *

Дымок соломенный «Разлуки» деревенской.
Косой полет стрижей преддождевых.
Да переключка псов сторожевых.
Да омут домотканой песни женской...

Качай меня, цыганская беда,
Беспаспортной звездой над бездорожьем.
Тележный скрип висит над миром Божьим.
И на восход бредут библейские стада.

Полшага в тень. И кто твой след отыщет?
Кто вспомнит? Кто - печалась? Кто - кляня?..
Но свищет дрозд. Он — словно голос высший.
«Я — отчий край, задымленный и нищий.
Не покидай родного пепелища!
Люби меня, дурак! Люби меня!»

** ** *

Слепой Сенат. Зачумленный Синод.
Элизиум, заполненный тенями.
Бухой таджик бредет, как Гесиод
И, как колхозник, бредит трудоднями.
Он в эту жизнь попал издалека,
Но видимое, видимо, волнует.
И он запел.... Поет и в ус не дует,
И сладко спит замерзшая река...

...Кто эту песню сможет повторить
И на ветру февральском не охрипнуть?

И не договорить. И вслед не крикнуть.
И жизнь отдать, как мелочь подарить.
И на ступенях скользких устоять,
И в полынье увидеть отраженьё
Слепой звезды... Лучей то шесть, то пять...
И мысленно местами поменять
Свою победу с чьим-то пораженьем.

ВЕЧЕРИНКА

Когда обмечет губы сыпью
Благая весть о торжестве,
Когда суббота гаркнет: «Выпьем!»
И загорится странный свет
В глазах похорошевших женщин,
Я не сравню, затем, что не с чем,
Ни скрипку августа, ни скрип
Ботинок танцевальной кожи.
Затем, что это просто грим.
Но в этом гриме мы похожи
Не друг на друга, все на всех.
И это больше смех, чем грех.
Хотя и грех, конечно, тоже.
Я не сравню, затем, что слаб
В сравненьях отраженья с ликом.
Затем, что глупость быть великим
Души ни разу не спасла.
Затем, что сердце заболит.
Затем, что мир перевернется.
Затем, что кто-то улыбнется
И все печали уголит...

** ** *

М.З.

Я вам пишу подобие письма.
Когда б не так, вы нынче б не узнали
О том, что ваш приятель стал печален
И сильно сдал. И удивлен весьма
Всем, что стряслось в последний ваш приезд
Из тех далеких и нелепых мест,
Где ностальгия — приживалка в доме
И продолженьем, следующим в номер
Из номера, терпенье ваше ест.
А память — приключенческая повесть,

Написанная за один присест,
И тем большее ранящая совесть
Своим финалом, сочиненным вдрут,
Единым духом, без чернил и перьев...
Эпистолярность — постамент доверья.
Я напишу вам все как есть, мой друг.
Вы — женщина — сказать - из ряда вон.
Был привкус чуда в вашем появлении
Среди зимы под колокольный звон
Давнишнего общественного мненья.
Но вы взлетели над добром и злом,
Как некий храм, точнее — как некий купол,
Всем вызовом крестьянского тулупа
Не скрыв бровей трагический излом.
И я, поверьте, до сих пор в кругу
Столь далеко заведшей нас прогулки...
Вы смех и грех. Вы — черт с лицом вогулки,
Паденье вверх и поцелуй в снегу.
Вот ваш портрет. Дополните, коль скуп.
Я не могу. Я мною себя младенцем.
И мне зима махровым полотенцем
Молочный след стирает с пухлых губ.
А между тем творится чепуха.
Линяют птицы. Каменеет иней.
И дни стоят чеканнее латыни.
И ночи — точно паузы в стихах.
И лъжницы отважно лизут снег.
И мой знакомый осужден и выслан.
Короче, ни гармонии ни смысла...
И я три раза видел вас во сне.
И это — всё, чего не миновать.
Как было всё, чему не повториться.
Но чепуха (понятно кем) творится,
И ни один из нас не виноват.
Я думал, всё пройдет самой собой.
Но по тому, что выпьешь, и похмелье.
Жизнь обернулась странной каруселью,
Не ставшей ни уроком, ни судьбой.

Что ж толку разбежаться по домам?!
Но, чтобы крепче склеилась эклога,
Четыре слога вместо эпилога...
Как там у Пушкина, у Бродского, у Блока:
«Целую вас»?...
Целую вас, мадам!

** ** *

А. Б.

И весь в утратах Ленинград...
Мой друг, я несказанно рад,
Что нашей памяти парад
Открылся вовремя и к месту.
И, если сердце вперехват,
То дирижер ли виноват,
Что музыке сам черт не брат
И марша не сыграть оркестру.

Никто ни в чем не виноват.
И мысль не то, что не нова,
А просто нам не миновать
Печальной выучки прощенья.
Затем, что это тоже путь —
Всё позабыв когда-нибудь,
Судьбу друзей перечеркнуть
Изящным жестом отпущенья.

Никто ни в чем. Ни ты, ни я,
Ни век, ни школа, ни семья...
Пустует серая скамья.
Свидетель доблестно сучает.
(Ему живется хорошо,
И он жалеет, что пришел.
Переживающий — смешон,
Но въедлив.... Это удручает.).

Оставим слезы про запас.
Что наше детство? В сотый раз
Смешной маэстро Карабас
Ущучен злобным Буратино.
Скакнул в начальники Пьеро.
Мальвина в трансе, глушит бром.
У пуделя Арто — синдром.
А папы Карло — скарлатина...

И десять лет, как десять карт.
И за душой — ни ветерка.
Ты мыслишь, карточный Декарт?
Ты существуешь? Но не точно?
Непрочен прошлого раствор?
Ушло в осадок душ родство?..
Зачем же вновь под Рождество
Я снюсь Рождественской полночной?..
На кой мне это кумовство?!..

Ты постарался всё свести
К считалочке до десяти?
Но, даже если не спасти
В душе стирающийся образ,
Мы остаемся в мастерах
И ходим в черных свитерах.
Сестрица-совесть, Братец-страх...
Какая грусть! Какая гордость!...

ГРОЗА НА МОЙКЕ

На сто шагов, как на сто лет назад.
И вымазанным в извести придурком
Уже кидался в Мойку Петроград
И вылезал на берег Петербургом.

Распространяя запах мокрых кож,
Он ветру лез на нож листвы и свиста.
Он смахивал с лица на террориста
И намекал на выстрел или дождь.

Клянусь горбатой музыкой мостов,
Что это всё вполне могло случиться,
Поскольку город был из разночинцев
И ко всему заранее готов.

Я присягну на влажности перил,
На тяжести чугунных иммортелей,
Он прятал бомбу в краденом портфеле!
Я это знаю! Он мне говорил.

Кого он караулил, злой стрелок,
Безумный враль, бесстрашный одиночка?
Кого он ждал под аркою барочной
В час превращений, в страшный час урочный,
Когда в прологе крылся некролог?..

И грохнул гром! И полыхнул огонь!
Распавшись, мир стал изжелта сиренев.
И мысленно я рухнул на колени,
Прижав к груди разорванной ладонь.

Верховная богиня покушений,
Гроза, гроза, одна лишь ты могла
Благословить стрельбу из-за угла
По движущейся в сумраке мишени.

И, бедное сознание раздвоив,
Загнать его в такие повороты...
Твой, гроза, забавы и заботы!
Твой, гроза, художества, твои!..

Старался ливень пешеходов сечь,
Как штрафников сквозь строй их прогоняя.
Чур! Чур меня, метафора дурная...
Но брызги разлетались, как картечь,

И раненные корчились вокруг,
Вдоль набережной, ставшей плац-парадом,
Пока топились в Мойке Петербург,
Чтоб вылезти на берег Петроградом.

** ** *

Всё май, да гам, да толчея,
Да поддавки дорожной давки.
И ты, и винные прилавки,
И ты, и снова ты. И я...

В какие двери мы стучим?
Какие вина пьем, отчаясь?
Зачем целуемся прощаясь
И даже говоря, молчим?

Не станет проще ни видней
От очевидности разрыва.
Мы задыхаемся, как рыбы
В сухом аквариуме дней.

И Город смотрит свысока,
Блюдя бессмысленную важность,
На губ твоих пожар и влажность
И пепел моего виска.

Ему всё хочется уснуть,
Как древнедатскому пройдохе.
Забиться на глубоком вдохе
И на год выдох затянуть.



Яков Каплан
ПУСТЬ НИЧЕГО
НЕ БУДЕТ БОЛЬШЕ
Стихи

Тревожат памяти приливы,
в покрытый снегом дом зовут.
Еще все в этом доме живы,
хотя и нелегко живут.

Еще вся жизнь как путь бескрайний.
И с нетерпеньем ждешь рассвет,
и новый день окутан тайной...
А ныне тайны больше нет.

И всё, что есть - как Божья милость,
к судьбе недоуменный зов.
Куда-то время испарилось,
И катится без тормозов.

Но дом стоит молодцевато.
В снегу и крыша, и забор.
Шел снег в столетии двадцатом
и не растаял до сих пор.

НА СТЫКЕ ДНЯ И НОЧИ

На стыке дня и ночи, в разлив света и мрака
что-то еще происходит в жизни нашей нелепой.
Качели похожи на крышу, на которую лает собака,
а два соседних дома - на грузовик с прицепом.
Смотрю из окна в безлюдье. Стоянка, помойка, угол.
Все тот же фонарь, дорога, а за нею — аптека.
Отхожу от окна бездумно, сажусь и ныряю в гугл.
Хочу найги... всего-навсего, хорошего человека.
Но это совсем не просто, нас сейчас миллионы,
блуждающих друг за другом по фальшивому следу.
Душа погружается в бездну, просыпается мир бездонный,
и в голову не приходит на огонек заглянуть к соседу.

И это какая-то пропасть, когда зажигается ящик
и врожат шаблоны виртуальных сюжетов,
уже непонятно, что горше или, допустим, слаще,
на стыке дня и ночи, в разливе мрака и света...

СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ

Дождь хмельной ностальгией меня сводит с ума.
Я полжизни в рюкзак перепрягал заплечный.
Я пишу вам в письме: у нас тоже зима,
ветер с моря гудит не попутный, а встречный...
У нас в целом нормально, как у белых людей.
Я пишу вам письмо, между строк спотыкаясь.
Помню вас молодой, помню море огней,
и ваш шарф ниспадает, словно пена морская.
Дождь идет третий день, я изрядно продрог...
Это сон или явь? Как размыты границы...
Словно замкнутый круг перепутья дорог,
и исправить нельзя, объяснить, возвратиться...
Вновь дорога измятой свернулась тесьмой.
И уходит не вдаль, а куда-то в трясину.
Я не знаю, зачем я пишу вам письмо.
Может, только затем, чтоб прожить эту зиму.

ГДЕ-ТО ПЛЫЛИ, ЧТО-ТО ПИЛИ...

Где-топлыли, что-топили
и пытались угадать,
сколько метров в каждой миле,
до чего рукой подать.

Бились о борта в тумане
волны пенным молоком.
И качались в ресторане
три звезды под потолком.

...То ли солнце, то ли тучи.
Ни заката, ни зари...
Полюбил я дом плавучий,
что ты мне ни говори.

Я теперь стихи мараю
на привичченных столах.
Жизнь теперь я измеряю
в кабельтовых и узлах.

И хочу неосторожно
скомкать времени печать.
Верю - всё исправить можно
и по-новому начать.

Поперхнусь корявым словом,
память изотру до дыр.
Буду жить на всём готовом.
Буду просто пассажир.

Буду думать виновато
про друзей и про врагов...
Как приятно, плыть куда-то
и не видеть берегов.

ПУСТЬ НИЧЕГО НЕ БУДЕТ БОЛЬШЕ

Пусть ничего не будет больше.
Ведь больше ничего не надо.
Как ложка дегтя метка боли,
но - милосердие в награду.
Ты любишь мрак, ты словно профи
существования ночного.
В окне размыт твой рыхлый профиль,
уткнулась стрелка в полвторого.
Предошущение рассвета
уже предугадать не трудно.
Попросишь у Творца совета.
И заскулишь, как пес прибудный.



Владимир Порудоминский

ВОЕННЫЕ ИГРЫ

Маленькая трилогия

Времени не будет помириться
Булат Окуджава

Вечер с Чапаевым

По вечерам мы играли в войну.

Война была, конечно, гражданская.

Другие войны казались ненастоящими, они обретались в книжках, рядом со сказками и разными занимательными повествованиями, а эта была — живая. Она жила в общей памяти, в названиях улиц, в семейных разговорах, в рассказах родителей, бабушек и дедушек, в облике многих знакомых, которые были ее участниками.

Другие войны были историей, а эта — наша, своя.

Вот ведь даже тридцать лет спустя, в шестидесятые, — "я всё равно паду на той, на той единственной, гражданской"...

Лик гражданской войны, какой она жила в нашем воображении, был поселен в нас главенствовавшим тогда на киноэкранах знаменитым фильмом "Чапаев".

Фильм о Чапаеве стал важным государственным делом. Многие недели его крутили по всей Москве. Трудовые коллективы шли в кинотеатры колоннами, как на демонстрацию, с транспарантами "Мы идем смотреть *ЧАПАЕВА!*" На рекламных щитах и афишах, по диагонали, снизу вверх, мчался на коне, махая саблей, усатый человек в бурке и папахе. Прежде мало кому ведомый красный командир был высочайшей волей превращаем в легенду. Ему назначалось затмить славой прославленных героев гражданской войны, которым предстояло вскоре уйти в небытие.

У нас был свой Чапаев, свой Петька и своя Анка-пулеметчица (Ленка Степанова из пятого подъезда — других девчонок мы в наши военные игры не брали). Сверх того имелся также Елань — имя чапаевского сподвижника присвоил истопников Витька: необычное имя, наверно, поманило. В фильме играл Еланя красивый артист с мужественным командирским лицом (у нашего же Витьки были пылающие, как флаг, щеки и крошечный носик, пуговкой, вечно мокрый).

Мы накидывали пальтецо на плечи, как бурку, не продевая руки в рукава, и застегивали на одну верхнюю пуговицу у ворота. Наши шапки были сделаны из досочек шпакетника, который огораживал газоны, вскопанные во всю длину двора. Ленка Степанова — Анка-пулеметчица — волокла за собой старую зеленую лейку, изображавшую ее грозное оружие.

Поскольку "белыми" никто из ребят быть не хотел, мы вели сражения исключительно с воображаемым противником.

Продирались ползком сквозь сарапавший нам щеки кустарник, отчаянно рубили саблями серый осенний будыль, оставшийся на газонах после отцветшего золотого шара, припадали к земле возле пулемета, из которого, жесточенно колотя камнем по лейке, косила цепи противника Анка-Ленка.

Так, с боями, мы добирались до конца газонов, там брали налево, огибали средний корпус и оказывались на просторе заднего двора. Здесь, в открытом поле, мы бросались в атаку: с криком "ура" мчались мимо сарая, мимо массивной каменной помойки, мимо подвала котельной, мимо дворовой лавки, у двери которой стояли нагроможденные штабелем пустые ящики (иногда, обуреваемые безрассудной смелостью, мы обрушивали их на ходу). Я был Петька и помогал Анке тащить пулемет. Ленка, тощая, длинноногая, бегала несравненно быстрее меня. Она оборачивалась ко мне, сердито сверкала узкими серыми глазами, кричала: "Быстрее, дурак, убьют!", но мне было за ней не угнаться, и мы, цепляясь, за нашу лейку, бежали позади всех. Уничтожив неприятеля, мы снова сворачивали налево, чтобы выйти к нашим газонам и после короткой передышки продолжить военные действия.

Чапаевым был и мог быть только Владик Герасимов, самый сильный, самый смелый и самый красивый мальчик в нашей компании (темные волнистые волосы и светлые глаза). Даже мы, дети, понимали, что он очень красив. Владик приказывал, и мы, не рассуждая, исполняли его приказы — ползли на животе по газонам, перепрыгивали через штакетник, срывались за ним в атаку, во всё горло подхватывая его "Ура!", "Вперед!", "За революцию!"

Ко всему этому отец Владика был заслуженный командир Красной армии, с тремя шпалами в петлицах и большим орденом Красного знамени то ли Бухарской, то ли Хорезмской республики на груди (где-то там, в одной из этих республик, он героически сражался с басмачами, утверждая советскую власть).

Владик носил через плечо настоящую командирскую полевую сумку, предмет нашего восторженного почитания. Мы не завидовали Владиду: каждый из нас был убежден, что такая сумка могла принадлежать только ему одному.

Мы уничтожали очередную дивизию неприятеля, но окончательная победа не наступала: враг тут же грозил откуда-нибудь с другой стороны, и надо было снова браться в бой. В наших играх жили страна и время — постоянное вражеское окружение и постоянная необходимость кого-то уничтожить.

...Владик расстелил на садовой скамейке потертую топографическую карту, исчерканную красным и синим карандашом — какие-то значки, штрихи, надписи, полосы, стрелы (такую даже потрогать — мечта!), низко склонился над ней, опершись локтем о колено, как Чапаев в фильме, и глубоко задумался. Мы почтительно стояли вокруг и ждали решения. Наконец, Владик поднял голову: "Идем с боями вот сюда. — Он показал на карте синюю зубчатую линию. — Здесь сражаемся с главными силами белых. Война будет трудная. Беляки, конечно, пойдут в психическую атаку". (Про психическую атаку мы тоже узнали из фильма. Там белые длинным парадным строем, четко отбивая шаг, бесстрашно двигались к позициям чапаевцев.) Владик сложил карту, засунул ее в полевую сумку и обвел нас взглядом, укреплявшим в наших душах мужество и силу. Выбросил руку с пашкой вперед и вверх: "Ура!" Мы перепрыгнули через невысокую ограду газона и, рубя направо и налево хрусткий серый будыль, с победными воплями бросились вперед. Анка-Ленка каждые несколько шагов падала на землю — колотила по лейке камнем и кричала: "та-та-та-та"...

Мы смело бились, как подобало чапаевцам, прорвали оборону противника, заняли нужную позицию, без пощады расстреляли белых, которые пробовали было сломить нас психической атакой, сами перешли в наступление — и вырвались на дальний конец газона. Но в ту прекрасную минуту, когда нам ничего иного не оставалось, как торжествовать победу, мы увидели Вальку Лапшу.

Валька как из-под земли вырос перед нами — стоял, широко расставив ноги в длинных, не по росту брюках, весело рассматривал нас своими круглыми кошачьими глазами — и улыбался. Его улыбка наполнилась таким презрением ко всей нашей кутерьме, ко всем нашим атакам, рубке, победным крикам, что игра вдруг как-то сама собой развалилась. Будто кто-то исполнял на фортепьяно красивую мелодию и вдруг где-то рядом проквашал автомобильный клаксон.

Был этот Валька четырьмя-пятью годами старше нас — лет что-нибудь тринадцать или четырнадцать.

"Вы что, ребята, охуели? — засмеялся Валька. (Всякая встреча с ним непременно обновляла и укореняла наше знакомство с ненормативной лексикой.) — Орете, скачете, как козлы, по газонам. Семен, дворник, поймает, даст вам метлой пизды".

Мы стояли и переглядывались, испытывая некоторую неловкость, а истопников Витька-Елань швыгнул носом и сказал приятельски: "Здорово, Лапша".

И только Владик, охваченный яростью или, может быть, бессознательно стараясь спасти игру, вскинул шашку и бросился на Вальку: "Уходи отсюда! Беляк!.."

...Валька, неведомо почему прозванный Лапшой, числился, как именовали это наши родители, *неблагополучным*: подросток из *неблагополучного* соседнего двора, отгороженного от нашего кирпичной стеной, по которой взбирались тонкие лозы дикого винограда. За стеной высилось длинное трехэтажное здание из темного, будто закопченного кирпича — бывшая казарма какой-то фабрики. В подъездах казармы с железными перилами и истопганными ступенями пахло едой, паром, сыростью; свет едва проникал внутрь сквозь давно не мытые окна. Ничего похожего на три наших пятиэтажных корпуса, недавно возведенных крепким жилищным кооперативом. Впрочем, в соседнем дворе мы оказывались крайне редко и всегда без разрешения родителей.

Но тамошние ребята, особенно старшие, к негодованию дворника Семена, частенько перелезали через стену, разделявшую наши дворы. Их привлекала небольшая асфальтированная площадка позади среднего корпуса, возле котельной: Здесь играли в футбол. В тот шумный и неукротимый дворовый футбол (три, четыре человека в команде, пятеро — уже тесновато), который превосходит азартом матчи именитых профессиональных клубов.

Валька Лапша неизменно стоял в воротах.

Я видел в жизни многих хороших вратарей. Валька, каким я его помню, один из лучших, кого я видел. В длинных, широких, всегда не по росту брюках, в такой же, не по росту, материнской кофте до колен, в мятой кепке, он по-хозяйски занимал свое место между двумя кирпичиками, обозначавшими размах ворот, деловито оглядывался, натягивал неведомо где добытые огромные перчатки — и начинал работать. Он двигался в воротах поразительно точно, и оттого казалось, что мяч летит всегда прямо на него. Он мгновенно перемещался от одной штанги к другой, прыгал, падал, бросался в ноги нападающим, кричал, подзадоривая и своих, и противников: "Давай!". "Ещё!", "Ну!" — и почти всякий раз безошибочно ловил мяч. Старшие ребята, которым уже под двадцать было, а то и за двадцать, между тем, наносили удары со страшной силой. Когда неточно пущенный мяч попадал в железную дверь котельной, она так содрогалась и грохотала, что зрителям даже не по себе делалось. А Валька принимал мячи на грудь, быстро выбрасывал в поле, кричал "Давай!" и приправлял окрики соблазнительными недозволенными словами. Вальку, без сомнения, ждали лучшие команды страны, но он вскоре исчез с наших глаз, отправившись в странствие по отдаленным и не столь отдаленным местам, как отправлялись многие его товарищи, обитатели неблагополучного двора...

... "Уходи отсюда! Беляк!.." Владик с поднятой пашкой бросился на Вальку. Валька легко вырвал дощечку из руки Владика и швырнул ее в сухие заросли отцветшего золотого шара.

"Красный! — засмеялся он. — А у самого, небось, квартира отдельная..."

"У них — двухкомнатная, с кухней", — доложил истопников Витька.

"Во, с кухней, — сказал Валька. — А мы в подвале живем".

"У него отец — командир полка", — снова поспешил сообщить истопников Витька.

"Командир полка — хвост до потолка!.." — весело отозвался Валька.

"Замолчи! Лапша тухлая! Ненавижу тебя!.." — Голос у Владика дрожал.

Я видел, что у него дрожали ноги.

Валька Лапша, вдруг перестал смеяться, приставил — пистолетом — ко лбу Владика грязный, крепкий палец и тихо сказал: "Пу..."

"Дураки вы все!" — закричала Ленка-Анка и, громыхая лейкой по асфальту дорожки, направилась к своему пятому подъезду.

В порядке шества

Я стоял посреди палаты и читал раненым стихи.

Сергея Есенина. "Письмо матери".

"Ты жива еще моя старушка? // Жив и я..."

"Здорово!" — сказал тот, которого остальные называли *Старшой*. Его койка стояла слева от меня. Пока я читал, Старшой крепкой финкой с наборной плексигласовой рукояткой упорно выпиливал в гипсе, которым был окован снизу до пояса, прямоугольное окошко. "Здорово! Вот это стихи! А ведь не одобряли!"

"Бузил, сказывают, сильно. Пил, сказывают", — отозвался раненый на койке справа. Совсем молоденький вихрастый паренек, похоже, лишь немногим старше меня. Лицо у него было хмурое и взгляд сердитый; читая, я старался не смотреть на него, чтобы не сбиться.

"Пил!.. А другие — что? Мимо пронесли?.. Только стихов таких не писали. Пусть струится над твоей избушкой... — с чувством произнес Старшой. — Скажи, Иннокентьич.." Он повернулся к раненому на дальней койке, у стены.

Раненый этот лежал совершенно неподвижно, до подбородка накрытый одеялом. Я видел лишь его четко очерченный тонкий профиль. Верочка, медсестра, когда послала меня в эту палату, предупредила: "Там, у стены — пожилой. Ты поглядывай: тяжелый. Если что, сразу зови".

"После войны, наверно, многое обратно передумают, — не сразу ответил Иннокентьич, — Начнут собирать разбросанные камни". Он говорил медленно, не открывая глаз.

У нас дома имелся томик Есенина из трехтомного (знаменитого, как я после узнал) собрания сочинений — с березками на белой бумажной обложке. Мама прятала томик за книгами и не велела мне никому о нем рассказывать. Я иногда заглядывал в книжку и, недолго с ней задерживаясь, ставил обратно, на предназначенное для нее потайное место. Но в первые дни войны к нам зашел попрощаться перед отправлением на фронт мамин сослуживец Виктор Ефимович и вручил мне толстую общую тетрадь в коричневом ледериновом переплете, почти целиком заполненную переписанными его мелким четким почерком стихами Есенина: "На, держи. Вернись с войны, заберу обратно!". Наверно, настала моя пора: есенинские

строки входили в меня, как желанный воздух, — через несколько недель я знал чуть ли не всю тетрадь на память. В юности я легко запоминал стихи.

"А зачем вы в гипсе дырки делаете?" — спросил я Старшого.

"Чесаться. Вши, что ли?.. Да ты читай. Скоро, поди, домой побежишь..."

"Мне еще в школу".

"Что так поздно?"

"Мы — в третью смену".

"Ну, давай, читай еще".

Госпиталю, над которым шефствовал наш класс, отдали здание новостройки, где до войны размещалась наша школа. Нас, всем классом, перевели в соседнюю, уже сильно перегруженную, — там отвели нам для занятий поздние вечерние часы.

Странно было проходить по своей школе, вдруг совершенно переменевшей облик, мимо знакомых классов, вместо парт заставленных больничными койками, по коридорам, где навстречу и обгоняя тебя торопились врачи и сестры в белых халатах, а у окон жались ходячие и выздоравливающие в байковых халатах и пижамах, а то и просто в одном белье.

Палата, в которой я читал стихи, была меньше других. Раньше здесь находилась подсобная комната при физическом кабинете: вдоль стен тогда тянулись шкафы, за стеклами сверкали металлом всевозможные интересные приборы для производства опытов. В палате уместилось всего четыре койки. На четвертой койке поверх одеяла полусидел, откинувшись на подушки, смуглый восточный человек Мухаметдинов и ждал, когда появится медсестра, которая учила его ходить на костылях: на войне ему оторвало ногу. Стихами Мухаметдинов заметно не интересовался.

...Я прочитал еще несколько стихотворений Есенина и подобрался к коронному своему номеру — "Письму к женщине". Мне нравилось, как я читаю это стихотворение. Мне казалось, что в моем исполнении оно звучит с подлинным трагическим надрывом.

"Вы помните, вы всё, конечно, помните..." — прокричал я, слегка подвывая. Но в это мгновение вихрастый паренек справа от меня, которого я старался обходить взглядом, требовательно и как-то слишком громко закричал: "Утку!"

Я растерянно замолчал, а он, с неприязнью глядя на меня, так же громко и капризно повторил: "Утку подай!" — и, свесив руку, показал на стеклянный сосуд под кроватью. Видно, няня или сестра глубоко затолкнули — не достать. Я подскочил, подал ему утку, он откинул одеяло, и я увидел, что у него, как у Мухаметдинова, одна нога. Он шумно помочился, протянул мне теплый от налитой влаги сосуд и сердито приказал: "Вынеси!"

В коридоре, возле туалета, я встретил Верочку.

"Ну, что, дела идут?" — спросила Верочка и кивнула на утку в моей руке.

"Всё хорошо. Стихи читаю".

"А петь можешь?"

"Нет, петь не умею".

"Жалко, они любят. Ну, ты им расскажи что-нибудь. Что в городе творится. Кино какое-нибудь расскажи. Там, у тебя в палате, все мужики нормальные. Только этот, пожилой, у стенки, трудный".

"Иннокентьич?"

"Во-во. Он молчит, а трудный. Ты присматривай за ним".

С Верочкой я познакомился неделю назад, когда наш комсорг Наташа Калинина впервые привела нас в госпиталь. Начальник госпиталя, с петлицами под-

полковника медицинской службы, выглядывавшими из-под белого халата, встретил нас приветливо, пожал каждому руку, но предупредил, что время в госпитале трудное, каждый день, а то и ночью прибывают раненые, заниматься нами некому... Он снял очки с тяжелого иудейского носа, озабоченно помял пальцами переносицу... Вот разве Верочка? Отличная медсестра и, между прочим, член бюро комсомола...

"Тебе шестнадцать есть уже?" — спросила Верочка.

Я кивнул, беззастенчиво прибавляя себе год.

Верочка мне сразу понравилась. Маленькая, шустрая (потом я узнал, что в госпитале ее называли *Скворчик*), со смышленными серыми глазами.

(Мне, впрочем, тогда многие девушки нравились: пора неизбежной влюбленности.)

"В *ДеКа Электрик* на танцы ходишь?"

"Только по выходным: у нас школа в третью смену".

"У нас тоже редко вырвешься. Но я в воскресенье отгул попрошу. Аркадий Абрамович отпустит. Он вообще-то добрый. Пошли, потанцуем?"

"А ты, правда, придешь?"

"Я буду в восемь у входа ждать. Только смотри не опаздывай. А то кто-нибудь другой уведет".

Она засмеялась. У нее во рту было несколько металлических зубов — и это меня тоже почему-то очень привлекало.

Возвратившись в палату, я застал горячий разговор.

"Зачем Мухаметдинову нога? — сердито шумел вихрастый. — Он, гляди, уже восемь человек детей сделал. А у меня жизнь только начинается. Кому я нужен, без ноги-то?"

"Ну, даешь газу, — засмеялся Старшой. — Ты что? Детей ногой, что ли, собирался делать?"

"Мне нога нужна работать, — рассудительно сказал Мухаметдинов. — В поле ходить, огород копать. Детей кормить, нога нужна. А новых детей делать... э... нога не нужна..."

"Понял? — смеялся Старшой. — Невесте твоя нога не нужна. Было бы промеж ног как следует. И, между прочим, повыше кое-что, на плечах".

"Не-е, моя невеста, знаешь какая? Разборчивая, зараза... — как-то сразу сник вихрастый. — Не примет она меня..."

"А не примет, значит — не твоя" — тихо подвел черту Иннокентьич.

Я и сам было подумал, что читать мое коронное "Вы говорили, нам пора расстаться", сейчас, может быть, не к месту, но Иннокентьич опередил меня: "Почитай-ка ты нам Пушкина. Что самому нравится".

"Может, *Я помню чудное мгновенье?*" — предложил я.

"Лучше не придумаешь. Только читай без выражения. Ладно? Произноси слова и старайся представить себе, что они значат".

Вот те на! А у Евы Бенционовны, в студии художественного слова, я числился одним из лучших.

Я прочитал стихотворение спокойно и негромко, не повышая голоса и не понижая, как будто читал для того лишь, чтобы самому вспомнить, что там написано, и всё время держал в памяти маленький бронзовый бюст Поэта, который стоял у нас дома на книжной полке, — его кто-то подарил маме в дни пушкинских юбилей 1937 года.

"Дело", — похвалил меня Старшой, когда я умолк.
"Ты только оговорился в предпоследней строчке, — сказал Иннокентьич.
— Прочитай *торжество и вдохновенье* вместо *божество*. Чувствуешь разницу?"
Пока я читал, он всё так же, неподвижно лежал на спине, и глаза его всё так же были закрыты.
"Простите, — огорчился я. — Это случайно как-то. Я вообще-то помню..."
"Бывает. Даже великие артисты оговариваются. В жизни вообще полно оговорок..."
Он замолчал. И, когда замолчал, я понял, как трудно ему говорить.
"Подойди-ка сюда", — минуто-другую спустя попросил он.
Когда я приблизился, Иннокентьич, наконец, открыл глаза и внимательно, будто решая что-то, на меня посмотрел.
"Есть тут поблизости телефон-автомат?"
Телефон-автомат был совсем рядом: как выйдешь из госпиталя налево, на углу бульвара, возле продуктового распределителя.
"В тумбочке — кошелек, достань из него гривенник..."
"Не надо, у меня есть..." — мне очень хотелось удружить его чем-нибудь.
"Нет, надо. Возьми два гривенника, или сколько там есть, на всякий случай — автомат часто глотает монеты. Номер на кусочке картона, от папиросной коробки, тоже — в кошельке. К телефону подойдет женщина..."
"А если кто-нибудь другой..."
"Никого другого быть не может... Скажешь: Александр Иннокентьевич передает привет и просит сегодня не приходить. И всё..."
Он медленно закрыл глаза и тихо приказал: "Беги"..."
"Боже мой! Значит, ему совсем плохо... — У женщины был красивый грудной голос. — Передайте ему: я скоро буду. Пусть непременно меня дождетя"...
Верочку я встретил на лестнице: Она весело бежала мне навстречу.
"Пойду, пошлю. Двадцать шесть часов отдежурила. Там, на этаже, сейчас Маша-толстая. Если что — к ней. Она добрая..."
И — будто вспомнила: "А у вас ЧП в палате. Пожилой, тот, у стенки, отплыл".
"Как — отплыл?"
Я отглатывал от себя смысл слова, который тотчас понял.
"Ну, как? Был — и нет. Это тут быстро".
"А у меня, вот, гривенник остался".
Я разжал кулак и показал Верочке монетку на ладони.
"Сбереги на память... Я снизу Мишу, санитара, пошлю, чтоб увез. Ты ему помоги. В конце коридора, где черный ход — знаешь? — на лестничной площадке каталка. Ты сразу увидишь — на ней сбоку написано: *Для перевозки трупов*"..."
Верочка крикнула мне вдогонку: "Смотри, не опоздай в воскресенье. А то, с другим уйду"..."

Караульная служба

Наш полк размещался на окраине небольшого литовского города. Литвы тогда не существовало — имелась Литовская ССР. Война лишь несколько лет как кончилась. По хронологии учебников.

В том уголке земли, о котором я пишу, она продолжалась.

В окрестных лесах хозяйничали литовские партизаны, "лесные братья".

Рядом с нашим учебным танковым, в общем военном городке, располагался оперативный полк МГБ (в ту пору еще не *К*, а — *М*: Министерство). Солдаты этого полка ходили в недалекие и дальние населенные пункты, на хутора, главное — в глубь леса, где укрывались "братья", на *зачистки* (кажется так это ныне именуется?). Главные операции проводились в субботу вечером и в ночь на воскресенье. В будние дни "братья" пахали и косили на своих хуторах (колхозы только образовывались), выполняли производственный план на предприятиях. Праздник для них знаменовался поджогом, взрывом, убийством. Смертью. Того, кого они убивали, или — собственной.

Из леса привозили убитых солдат соседнего полка, нас вели строем в клуб прощаться.

Клуб у нас был общий. Субботним вечером мы вместе смотрели в клубе кино. Во время сеанса в дверях появлялся какой-либо из офицеров-гебистов, громко командовал группе "на выход". Солдаты, участники операции, придерживая шаг и оглядываясь на экран, покидали зал. Слышно было, как на плацу перед клубом, лают, подвывая, взволнованные предстоящей операцией собаки.

А назавтра там, в клубе, стоял наскоро сколоченный гроб (или гробы), обтянутый(-ые) подержанным кумачом, в ногах гроба — венки из бумажных цветов на проволочном каркасе. После прощания шли колонной на кладбище, оно прилепилось к военному городку, отделенное от него лишь оградой из колючей проволоки. Оркестр выдувал из труб траурный марш.

Отряженный караул производил холостыми залп. Оркестранты снова брались за трубы — играли гимн, мы стояли "смирно". На холм свеженасыпанной земли водружали фанерную пирамидку, увенчанную красной звездой.

Но я видел и другое. Ранним воскресным утром вместе с несколькими товарищами, курсантами, я патрулировал по городу. Мы как раз оказались во дворе комендатуры, когда в ворота въехал военных времен американский грузовичок-джип, кузов его был накрыт брезентом. "Разгружай", — водитель со старшинскими погонами выбрался из кабины и стащил брезент. Он привез трупы нескольких убитых в ночной операции литовцев.

Я подошел к кузову и, стараясь не смотреть на покойника, взял его за ноги. На нем были высокие, почти до колен, зашнурованные башмаки с металлическими подковками на подошвах. Генка Васильев, веселый, рыжий солдат со стальными коронками-фиксами на передних зубах, слишком заметно показывая, что дело ему ни-почем, перегнулся через борт кузова и взял убитого за плечи. По приказу старшины мы отнесли тяжелую ношу на край двора и положили, прямо на землю, у забора.

Убитый оказался мне младше нас, по виду совсем школьник. У него было белое, как полотно, лицо, пулевое отверстие над левым глазом.

Подошел старшина: "Да это вроде из парикмахерской парень. Ученик. То-то теперь матери радость. И чего полез, спрашивается..."

Человечество осуждено на пожизненное пребывание в руках недобрых кукуловодов.

Военный городок, где размещался наш полк, был построен в конце девятнадцатого столетия. Двухэтажные казармы и одноэтажные склады из почерневшего от времени и гари кирпича.

В годы недавно минувшей войны, да, кажется, и в Первую мировую, здесь был лагерь для военнопленных.

На одном из служебных зданий сохранились следы надписи по кирпичу: "Осторожно — блохи!" Рассказывали, что фашисты убивали пленных, напуская на них зараженных смертоносными бактериями блох. Во время войны, помню, об этом было много разговоров. Выяснить их достоверность мне не удалось, но надпись была.

Пока я служил здесь, ни одна блоха меня не укусила.

Зато выгребные ямы в изобилии наполнились крысами. Огромные бурые крысы копошились, бегали, толкались, воевали в нечистотах, бесконечно от этого двигавшихся, будто волны морские. Когда я впервые вошел в деревянный балаган уличной уборной и глянул в отверстие дощатого настила, меня охватил ужас. Потом привык. Все привыкали. Тем более что из ямы наверх крысы никогда не выбирались. Как в известном анекдоте ("Да я живу здесь!") — они жили там. Они — там, мы — над ними.

Солдатское развлечение: сделать факел из крепко свернутой газеты, поджечь и бросить в яму. Но такой цирк позволяли себе не часто: газета была весьма ценным предметом, так как использовалась вместо курительной бумаги.

Да и где солдату разжиться газетой. Солдаты, понятно, газет не выписывают, вполне довольствуясь сведениями о международной и внутренней обстановке, получаемыми из краткой ежедневной беседы своего замполита, который, в свою очередь, почерпнул информацию из беседы вышестоящего замполита. Поэтому солдат то и дело спрашивает у другого бумажку, чтобы сделать самокрутку или для иной насущной надобности.

Курили большей частью махорку. Ее держали где-нибудь на лестничных площадках в больших фанерных ящиках, тех самых, похоже, в которых привозили из военторга, — бери, сколько хочешь. На улице, пообок от входа в казарму, были выгорожены отсеки для курения с врытой в землю железной бочкой вместо урны.

В дальнем конце городка, на границе с кладбищем, громоздились останки разрушенной прошедшими здесь войнами или злой волей церкви. Кирпичные руины заносило землей, они зарастали травой, понемногу превращаясь в холм. Под холмом, в уцелевшем церковном подвале, находился склад кислой капусты. При назначении в караул стоять у склада с капустой считалось самым опасным. Лес в этом месте близко, рукой подать, подступал к проволочной ограде городка. Кислая капуста "лесным братьям" была не нужна, а вот оружие часового очень кстати. Автомат мог стоить часовому жизни. Впрочем, за время моего пребывания в полку никаких боевых действий у склада кислой капусты не происходило. Случалось только: когда темной непроглядной ночью ветер страшно шумел в навалившихся на проволочную ограду кустах, нервы у часового не выдерживали, и он резал кустарник долгой автоматной очередью. (На выстрелы прибегали из караульного помещения сменившиеся с поста и отдохавшие перед заступлением на пост часовые и, матерясь, ползали по земле, отыскивая гильзы от недостававших в магазине стрелявшего автомата патронов.)

Хотя городок вплотную соседствовал с лесом, территория его была замечательно пустынная, будто вытопанная, — никакой зелени. Посаженные когда-то перед штабным корпусом деревья, казалось, навсегда остались саженцами, вообще гляделись неживыми. Редкие мелкие листочки — будто изготовленные из тускло окрашенных тряпочек; даже не помню, чтобы они облетали осенью и вновь появлялись весной.

Растительность заменяла наглядная агитация.

Вдоль дорожек, перед казармами, на плацу, вообще всюду, где только возможно, поднимались над землей фанерные щиты с начертанными на них основными поведеньями советской общественной и военной жизни.

Щиты производил, подновлял и заменял новыми (вслед за появлением в газете очередных "призывов ЦК КПСС" к 7 ноября и к 1 мая) уже третий год удобно кантовавшийся в учебном полку Егор Гиляев, в миру работник толи Калининского, то ли Воронежского областного худкомбината. Утром, после развода, когда все мы, в погоду и непогоду, отбивая шаг и горлаяя песни, маршировали на строевые занятия, и на полевые, и на классные, и в танковый парк, Егор, отъездивший, вальяжный, направлялся, гуляючи, к какому-то складу, где отведено ему было помещение под мастерскую, и там, в тепле и холе, без вечного помкомвзвода над головой, изготовлял свои фанерные скрижали.

Лозунги на щитах никто не читал. Хотел написать: схваченные взглядом, они не оставались в памяти, тотчас таяли в ней, — но это было бы неверно. В том-то и штука, что взглядом они не схватывались. Были — и не были. Торчали вокруг — и не существовали. Сам Егор в разговоре признался, не мудрствуя: "Разве я их читаю? Рисую буквы, а думаю свое..." (*Бог любит простодушных*, — из Псалма) Переписывал слова с бумажки на фанеру — и не знал, что пишет. Русская классическая литература создала образ исполнительного писаря, который, того не ведая, аккуратно перекатал бы на бумагу даже вынесенный ему смертный приговор.

Щит с лозунгом высился и перед входом в нашу казарму. Я десять раз на дню пробегал мимо, но текст лозунга открылся мне только на фотографии, когда фотограф-любитель из служивых снял меня на фоне этого щита: "Курсант, учись стрелять метко!" (хорошо, что не покруче что-нибудь — про международный империализм). Над текстом было схематически изображено легкое самоходное орудие САУ-76.

Старший лейтенант Хмара был самый веселый офицер в полку.

Он учил нас штыковому бою.

Сам он был мастер этого дела. Вроде бы даже чемпион, то ли округа, то ли, может быть, и армейский.

Когда старший лейтенант Хмара показывал нам приемы, — это был подлинно балет. Наглядный пример того, что всякое высокое умение оборачивается искусством. Держа в руках винтовку с примкнутым штыком, он в каком-то энергичном чарующем танце двигался между деревянными стойками, на которых были подвешены соломенные циновки (они обозначали людей, предназначенных для убийства), — наступал, делал выпад, колол, отбивал встречный удар, отходил, разворачивался, снова делал выпад... Его педагогические указания при этом перемежались хлесткими шутками, повсеместно в полку повторяемыми (лучшие из них очень бы хотел, но не смею привести — слишком круто завернуты).

"Правую ногу выпрямить! Резче!.. — командовал старший лейтенант Хмара. — Не топтаться, как у бляди под дверью!.. Корпус вперед! Выпад левой! Укол!.. Штык сразу обратно!.. Не копошись в потрохах — самого задницей на шампур посадят! Отбил ответный удар и снова в положение *К бою готов*... О чем мыслить? Схватишь трепак, тогда будешь мыслить. Бой продолжается!.. Выпад!.. Укол!.."

У старшего лейтенанта Хмары было узкое смуглое лицо и яркие глаза южанина. На груди его гимнастерки пестрели ленточки боевых орденов и медалей, —

наверно, ему и в самом деле случалось ходить в рукопашную, вот так — "Выпад! Укол!" — вгонять штык в тело чужого солдата.

"В бою против вас не человек, а противник, — учил старший лейтенант Хмара, — А в наставлении сказано: всякий противник, будь это бегущий, идущий, стоящий, сидящий или лежащий, должен быть поражен. То есть убит. Как говорится, шгучек разных много, а хрен — один..."

...Чудесным осенним вечером наша рота собиралась в караул.

Мир вокруг был залит теплым закатным золотом, каждая подробность, обычно не замечаемая, сделалась заметной и привлекательной. Даже чахлые листочки на деревьях, казавшиеся серыми и тряпичными, набрались жизни и весело засверкали.

До построения оставались еще какие-то неучтенные минуты; я вышел покурить.

Мои сапоги были густо наваксены, пуговицы на гимнастерке отдраены до сияния.

В загоне, отведенном для курения, вокруг врытой в землю железной бочки, до половины заполненной размокшими под утренним дождем окурками, толпились солдаты.

Из громкоговорителей, укрепленных на столбах, раздавалась песня: был тот час, когда, согласно распорядку дня, службу полагалось озвучивать.

Песня была лирическая — про солдата, который после долгих лет войны возвращается на родину. Мать спешит ему навстречу, невеста ждет у пруда...

"А я вот и не возвращался никуда, — сказал сверхсрочный старшина Постников, воевавший еще с финской. — Все по домам спешат, а я остался. Два раза потом съездил в отпуск — и завязал. Беспорядок там, понимаешь, на гражданке, — суматошно. В армии другое дело. Когда положено — накормят, когда положено — оденут. И с бабой лишнего не побалуешься. Да еще успеи — найди".

Солдаты вокруг понимающе захыкали, засмеялись, загомонили нечистыми шутками.

"Вот и я про то", — засмеялся со всеми старшина.

Старшина Постников был статен и крепок, как из стали отлит. Курил он не махорку, даже не папиросы, а сигареты, в ту пору всё полнее овладевавшие нашим российским обиходом. Плоскую пачку с сигаретами старшина держал не в брючном кармане, а в нагрудном кармане гимнастерки, — и в этом тоже был свой шик.

"Курнуть оставьте, товарищ старшина", — опасливо попросил рыжий Генка Васильев.

"Разжалобил", — старшина засмеялся и протянул ему недокурные полсигареты.

Песня вдруг оборвалась на середине.

В громкоговорителе послышались шуршание и треск.

Я подумал было, что полковой радист решил поменять пластинку.

Но хрусткий шорох затих, над военным городком повисла тишина.

И тотчас в курилке стихли разговоры. Точно также, как беседе не мешала гудевшая над головами песня, внезапная тишина оборвала ее пробудившейся тревогой. "Ну, что там еще?" — старшина поднял голову в сторону громкоговорителя. И будто в ответ ему оттуда послышался курантный звон позывных, обещавших важное сообщение. "Может, на водку цены снизят?" — предположил Лешка Рубцов и заржал. Но он был вообще дурак, и на него не обращали внимания.

(Я хорошо помню, как летним вечером 1943-го из черной тарелки домашнего репродуктора впервые раздались эти позывные. Никто поначалу не понял — *что* это? Люди застыли у своих радиоточек, вслушиваясь в зазвеневшую сигналом строку популярной песни, а она звучала раз за разом, — казалось, конца не будет. Потом смолкла, не дозвев мелодию до конца, и секунду-другую спустя из зияющей до удущья тишины послышался мощный голос диктора: "Товарищи! Через несколько минут будет передано важное сообщение". И снова запели позывные, прерываемые теперь одним и тем же дикторским анонсом. Несколько минут растянулись на час, едва ли и не на другой, между позывными стали понемногу запускать музыку (постоянные в ту пору увертюры к "Руслану" или танцы "Вальпургиевой ночи" из "Фауста"), люди, внутренне закаменев, гадали: немцы применили ОВ? открылся второй фронт? катастрофа какая-нибудь непредсказуемая? или, не приведи бог, с *самим* что-нибудь?.. А в это время в Кремле выкатывали орудия для первого победного салюта — в честь освобождения Орла и Белгорода. Потом мы привыкли к салютам, и к позывным, которые и в послевоенное время продолжали предупреждать о важнейших государственных событиях. Привыкнуть привыкли, а, как зазвучит во внезапной тишине знакомая мелодия, всё обдаст душу холодом: человеку несвойственно ждать от государства благих вестей...)

В тот солнечный осенний вечер по радио передали сообщение об успешном испытании советского ядерного оружия.

"А я про что говорю, — прищурил ледяные глаза старшина Постников. — Подрочились на печке — пора за дело".

"Теперь на равных". Рыжий Генка Васильев выставил вперед руку со сжатым кулаком, будто показывал кое-что предполагаемому противнику.

"Теперь, бля, всю планету разнесут", — заржал дурак Лешка Рубцов, но никто на него и не оглянулся.

Радист помедлил и снова поставил пластинку, ту же самую, какую выключил перед позывными. Звук поначалу поплыл немного, но потом разбежался как положено, — песня была про солдата, который всё еще возвращался на родину после долгой войны, мать в платочке спешила ему навстречу, невеста ждала у пруда... Но что-то огромное, мрачное опустилось на землю и отодвинуло то, о чем пелось в песне, куда-то в давным-давно.



Илья Криштул

МИНИАТЮРЫ

Переписка (жизнь в sms-ках)

17 лет

«рст тыгде»
«абвгдома»
«опр спиш»
«руск22ий кклм делаюзафтра() (дектан»
«выхади двор,,,эю!»
«немогу родит(((? домане пустют закалибали»

20 лет

«тыгде»
«в универе»
«пошли вечерклуб идуг ирка машка потом надачу кним!!!»
«лавэ нет занятьнадо»
«нетуши занимай и смсся»

30 лет

«ты где»
«в третьяковской галерее»
«извините ошибся номером»

40 лет

«Ты где»
«Дома смотрю футбол»
«Бери выпигь иди ко мне смотреть моя свалила 2 дня теще Ирка Машкой уже едут!!!»
«Напиши смску чтоб я своей показал»
«Сергей у меня умерла теща в Тамбове помоги похоронигь поехали на два дня в Тамбов»
«Еду»

50 лет

«Ты где?»
«В парке внуком играю прятки»
«приходи срочно эти старухи припёрлись Ирка Машкой боюсь начнут при-ставать»
«Бегу пока предложи поиграть прятки и запиись в туалете»

60 лет

«Ты где?»

«ПИШИИИ КРУПММНЕЕ Я ПМНОХО ВЗИЖУ»

«ТЫ ГДЕ?»

«В БОЛЬ НИЦЕ АВТРА ОПЕРРРАЦИЯ НА ВВГЛАЗА ПОТОМММ ПОДЖЕЛУАБВГДОЧНАЯ И ПЕ ЧЕНЬ»

«Я ТОЖЕ БОЛЬНИЦЕ ТОЛЬКО ПЕЧЕНЬ И ПОДЖЕЛУДОЧНАЯ ГЛАЗА ЕЩЁ ВИДЯТ»

80 лет

«ТЫ ГДЕ?»

«ИДУ ИЗ КУХНИ В КОМНАТУ А ТЫ?»

«ПОЛУЧИЛ ПЕНСИЮ ЖДУ ТЕБЯ У ПОДЪЕЗДА ТУСАНЁМСЯ»

«ВЫБЕГАЮ БУДУ К ВЕЧЕРУ ЕСЛИ ЛИФТ РАБОТАЕТ. ЗВОНИ ИРКЕ С МАШКОЙ»

«ЗВОНИЛ ОНИ ВЧЕРА В СОБЕСЕ КОЛБАСИЛИСЬ СЕЙЧАС ОТСЫПАЮТСЯ»

«ПОЙДЁМ ТОЖЕ В СОБЕС МОЖЕТ С КЕМ-НИБУДЬ ПОЗНАКОМИМСЯ»

«НЕ ЗАБУДЬ СЛУХОВОЙ АППАРАТ КАЛЬСОНЫ И КАК ТЕБЯ ЗОВУТ А ТО ОПЯТЬ ОПОЗОРИМСЯ»

«А КАК МЕНЯ ЗОВУТ?»

«ТЫ ГДЕ?»

Жалоба

Хозяину магазина у меня во дворе
Гургену Григорьевичу.

Уважаемый Гурген Григорьевич!

Вчера я купил в Вашем магазине 3 кг свежих и румяных плодов яблони из Египта. Продавщица Филоненко И., как было указано на месте её — извините — груди, сказала, что они очень вкусные, сочные и дешёвые, что для меня, неработающего инвалида всех групп по душевному здоровью, немаловажно.

Придя домой, я сел обедать этими плодами и смотреть по телевизору интересную передачу про то, как артисты катаются на коньках. Примерно на середине передачи я обнаружил, что внутри каждого вкусного и сочного плода яблони находится так называемый «огрызок» (далее — О.), который я не ем, но деньги за него мною тем не менее заплачены. Я решил досмотреть передачу, а заодно проверить оставшиеся фрукты на наличие в них оплаченных из моего кармана огрызков. Результаты проверки меня потрясли. В каждый плод, уважаемый Гурген Григорьевич, египетские товарищи засунули по одному несъедобному огрызку! Моё возму-

щение было так велико, что я, впервые в жизни не посмотрев заключительный блок рекламы, собрал все обнаруженные мной огрызки в количестве 16 шт., положил их в пакет с логотипом «Единой России» и вернулся в Ваш магазин.

Подойдя к продавщице Филоненко И., которая, как ни в чём не бывало, так и стояла за прилавком, я предъявил ей чудом сохранившийся чек на плоды яблоны, то, что нашёл внутри них и объяснил, что не имею претензий ни к египтянам, ни к ней, ни тем более к Вам, а просто прошу отдать мне деньги, так как жизнь и так не удалась, а тут ещё эти дурацкие несъедобные огрызки. Гр. Филоненко И., даже не покраснев, заявила, что она не покупает огрызки у населения и посоветовала мне обратиться вместе с ними в «Скорую психиатрическую», куда я и так обращаюсь довольно часто без её глупых советов. При этом она смотрела на меня таким взглядом, будто я не гражданин РФ, а какая-то дохлая мышка или импотент. Это, кстати, ложь — на мышку, даже дохлую, я не похож, а насчёт претензии можно спросить у моей соседки Ани, скончавшейся в 1978 году и похороненной на Домодедовском кладбище. Да там у любой можно спросить, что я и объяснил продавщице Филоненко И., но она демонстративно отвернулась и начала обслуживать мужчину, отдалённо напоминающего врага народа Березовского. Я слегка повысил голос и попросил гр. и продавщицу Филоненко И. всё же взвесить обнаруженные мной огрызки и вернуть мне их стоимость, вычтя её из стоимости самих плодов. Я так же рассказал, что как-то вечером купил шоколадное яйцо и продавец честно предупредил меня о наличии внутри яйца пластмассового огрызка, из которого можно собрать дракончика, чем я и занимаюсь последние 3 года, но получается паровозик, а получится ли паровозик из огрызков, купленных у неё, это ещё вопрос. Мужчина, похожий на Березовского, спросил, почему я не в школе для дебилов, а гр. Филоненко И., пока я объяснял, что в 54 года в школу не ходят даже дебилы, оскалилась, взяла один из моих огрызков и бросила его в район моего лица русской национальности, при этом громко призывая на помощь охрану. Вышедшему охраннику продавщица Филоненко И. и мужчина вылитый Березовский указали на мои умственные и физические недостатки, не совпадающие, кстати, с моей историей болезни. Охранник отвёл меня в сторону, назвался Витьком и предложил выпить. Я гневно отказался и с удовольствием выпил. В процессе выпивания я изложил охраннику Витьку свои претензии и он успокоил меня, сказав, что действия гр. Филоненко И. это произвол и возврат к сталинским методам торговли, так как она грубо нарушила мои права потребителя, а именно статью №1 «О возврате огрызков» (со слов Витька, но он знает). Поддерживаемый им, я вновь подошёл к прилавку и очень вежливо попросил всё же отдать мне деньги, можно даже каким-либо спиртосодержащим товаром типа портвейна. Пакет с логотипом и огрызками, кстати, был уже в руках у мужчины-Березовского, который попытался надеть его мне на голову, но я ловко увернулся, а продавщица — гражданкой я её назвать не могу — Филоненко И. сказала, что таких покупателей, как я, она своими руками, то есть лично, вешала бы вверх ногами прямо в торговом зале. При этом она применила ненормативную лексику, тюремный жаргон и неверно процитировала известную песню, пожелав мне или мгновенной смерти, или огромной раны в области паха. Затем она вырвала пакет с моими огрызками из рук Березовского и причинила мне им невыносимую боль в районе копчика. Во время причинения боли охранник Витёк неожиданно перестал меня поддерживать и я упал, ударившись всем телом о витрину с мясной продукцией.

Жить в стране, в которой граждан бьют по копчику пакетами с логотипом правящей партии, не имеет смысла и я решил уехать навсегда к египетским яблоководам, но на подъезде к городу Кинешма был остановлен милицейским патрулём, который и вытащил меня из-под прилавка, где я ехал в купе повышенной комфортности. Этот патруль впоследствии оказался бандой оборотней, так как, не вняв моим просьбам о поимке Березовского, привёз меня в какое-то спецучреждение без туалета, где я и проснулся утром с плохим самочувствием из-за отсутствия денег. В этом учреждении я, кстати, был унижен раздеванием донага, то есть совсем, перед молодым врачом, пол не помню, и подвергся пытке жаждой. Поэтому, уважаемый Гурген Григорьевич, и в связи со всем вышеизложенным я прошу Вас о нижеследующем:

1) Возместить мне моральный и физический ущерб, нанесённый пытками и унижением в спецучреждении, в размере 100 рублей и пачки «Явы».

2) Запретить гр. — продавщицей я её назвать не могу — Филоненко И. при моём появлении в магазине интересоваться, чем кормят в больнице им. Кашенко и сколько в год моего рождения стоил аборт, что моя мама пожалела таких денег. Также прошу оштрафовать её в мою пользу на 100 рублей и что-нибудь записать.

3) Принять все меры к поимке Березовского, опознать которого можно по моим огрызкам (далее О.) и логотипу «Единой России» на пакете. Скорее всего, в данный момент он сожительствоует с гр. и продавщицей Филоненко И. по адресу г. Лондон, ул. Первомайская, д. 37, где я пару раз их видел. Премию за поимку в размере 100 рублей и килограмма пельменей отдать мне.

С уважением к Вам и к Вашему малому бизнесу постоянный покупатель Ваня Лепёшкин, ну в такой шапке ещё смешной хожу, Вы вчера видели.

Жизнь под видом

Майор полиции Иванов вышел из дома и под видом водителя сел в свою иномарку. Затем, под видом участника дорожного движения, он доехал до здания с вывеской «Сауна» и зашёл внутрь. В сауне майор полиции Иванов под видом клиента купил проститутку, попарился с ней, расплатился и под видом хорошо отдохнувшего человека вышел на улицу. Приняв вид посетителя, он зашёл в японский ресторанчик, где вкусно пообедал и, под видом оборотня в погонах, не рассчитался. День начинался явно удачно. Под видом майора полиции он доехал до родного отделения, где под видом посредника принял три взятки от родственников задержанных преступников и, под видом поездки на следственный эксперимент, развёз этих преступников по домам. Собрав после этого своих подчинённых, майор полиции Иванов под видом начальника отделения потребовал больше задерживать лиц с достатком выше среднего, а не нищих убийц, грабителей и насильников, с которых и взять нечего, а коттедж так и стоит недостроенный. После собрания майор полиции Иванов под видом татаро-монгольского ига объехал несколько кафе, где собрал дань под видом штрафов за незаконных узбеков, а самих узбеков под видом благодетеля поселил жить в детский садик. Этот садик майор полиции Иванов ещё на прошлой неделе под видом обеспокоенного полицейского закрыл из-за несоблюдения мер по обеспечению детской безопасности, для чего пришлось

ночью сломать качели, да и директриса дань платить отказалась. Закончив с этими делами, майор полиции Иванов под видом старого друга заехал в соседнее отделение, где за ящик коньяка купил у своего однокурсника почти раскрытое дело об ограблении прохожего. Под видом доброго следователя он уговорил этого прохожего поменять адрес ограбления поближе к своему отделению и под видом честного и усталого полицейского поехал в управление отчитываться. Под видом небогатого человека майор полиции Иванов доехал до управления на трамвае, но всё равно после отчёта денег осталось мало. Выйдя из управления, он под видом мужа и отца позвонил домой и сказал, что скоро придет под этим же видом. Недалеко от своего дома майор полиции Иванов увидел агрессивную настроенную группу молодёжи и под видом добродушного старичка-пенсионера быстро прошмыгнул в охраняемый подъезд, откуда и хотел вызвать полицию, но пожалел своих сотрудников. У лифта к нему подошёл снимающий в этом же доме квартиру и находящийся в розыске за терроризм добропорядочный южный бизнесмен. Бизнесмен протянул майору полиции Иванову пухлый конверт, который тот случайно под видом слепо-глухо-немого человека взял, сунул в карман и стал шарить по стенке лифта в поисках нужной кнопки. Уже через пять минут майор полиции Иванов на своей кухне под видом главы семейства ел стерляжью уху и пил виски.

Кстати — родился майор полиции Иванов под видом грудничка.

Именно благодаря таким людям, как майор полиции Иванов, жители России спят спокойно под видом покойников на всех кладбищах нашей необъятной Родины.

Мелодии мобильных телефонов

Ах, эти чарующие, эти волшебные звуки! Они преследуют нас всюду — на рынках и в бутиках, в музеях и на стадионах, в ресторанах и рюмочных, в лимузинах и в метро... Да что там говорить, если как-то в парной общественной бани, под аккомпанемент веников, я услышал «Турецкий марш» Моцарта! Кто принёс в парную мобильный телефон, я не знал, хотя догадывался, что это бывший военный, ныне владеющий модным бутиком на Измайловском рынке. Как я догадался? Ну то, что марш в мобильном может быть только у военного, это понятно, а «Турецкий»... В бутиках на Измайловском рынке трудно найти нетурецкую вещь, если только вам очень повезёт и вы купите китайскую. Вообще по мелодии мобильного телефона о человеке можно узнать очень многое, начиная от его профессии и заканчивая тайными пристрастиями. Странно, что ни компетентные органы, ни психологи до сих пор этим не заинтересовались. К примеру, вы возвращаетесь поздно вечером домой и вдруг из темноты слышите «Наша служба и опасна и трудна...» в исполнении мобильного. Не пугайтесь и смело идите дальше — это всего лишь бандиты или киллеры, ожидающие свою жертву, вы им неинтересны. А вот если до вас донесётся «Мурка» или «Таганка», будьте осторожны, это милиционеры, а они, как известно, имеют финансовый интерес ко всему, что пытается мимо них пройти. У священнослужителей мобильные играют мелодии из репертуара «Биттлз», проститутки предпочитают «Голубую луну» Бори Моисеева, сутенёры берут трубки под восточные напевы, представители сексуальных меньшинств любят песни Пугачёвой, а студенты консерваторий группу «Ласковый май». У скрытых алкоголиков в мобильных играет мелодия, которая играла и при покупке — им некогда скачивать-перекачивать, дел много, у работниц ЗАГСов в почёте траурные

мелодии, а у могильщиков, наоборот, весёлые и задорные песенки. То есть женить вас будут под реквием, а хоронить под «Чунгу-Чангу». Какая-то мудрость, кстати, в этом есть. У продвинутой молодёжи в мобильные забит Цой, у отстойной — Дима Билан. У самого Димы Бирана в мобильном звучит тоже Дима Билан. А если вы занимаетесь бизнесом и у вашего делового партнёра мобильный не звонит, а говорит что-то типа «Владелец чёрного БМВ, возьмите трубку!», дел с этим человеком лучше не иметь, потому что никакого БМВ у него нет. У него вообще ничего нет, кроме телефонной трубки. У солидных бизнесменов в телефонах играет гимн Лиги чемпионов для звонков от друзей, Гимн России для соратников по бизнесу, Гимн Украины для любовницы и Дима Маликов для жены, потому что «это она туда сама с телевизора записала». Смех Масяни забит в телефоны таких же придурков, как и сам (сама?) Масяня, мычанье коров почему-то предпочитают водители троллейбусов, рёв ишаков — шофёры маршруток, а звук взлетающего самолёта — дальнотбойщики. У 15-летних девочек всё просто — сколько номеров, столько и мелодий, причём все из репертуара группы «Фабрика». У 16-летних уже сложнее — «Фабрика» осталась для первой любви, для нынешнего пацана — «Владимирский централ», для родителей Кузмиц, для подруг Земфира, «ну и ещё там мелодий сорок, я уже и забыла про них». Совсем всё просто у олигархов — у них 10 аппаратов и каждый в момент звонка говорит хорошо поставленным голосом известного артиста: «Кремль.», «Налоговая», «Прокуратура.», «Начальник следственного изолятора.» и т.д. У чиновников высшего звена тоже самое, только есть ещё один телефон, дешёвый — на работе выдали. Они его стараются не доставать, даже если он изредка звонит. Поэтому в стране то лекарств нет, то самолёты падают, то пенсии не выдают — не дозвонишься никому. А если у человека 25 телефонов и все звонят по-разному, то этот человек не суперолигарх и даже не Абрамович. Это вор-карманник и у него удачный день. У Абрамовича, между прочим, один аппарат и в нём четыре мелодии — одна для Президента России, вторая для будущего Президента России, третья для бывшей жены и четвёртая — для будущей. Футболисты и чукчи, для экономии, звонят ему на городской. У Жириновского в телефон забито его собственное выступление на митинге, у Лужкова, разумеется — «Москва! Звонят колокола...», а телефон Куклачёва постоянно орёт дурным кошачьим голосом. Плохо израильтянам — у них на всю страну две мелодии, «Семь-сорок» и «Хава Нагила». У одного еврея зазвонит, полстраны за трубки хватается. В Зимбабве наоборот, на всю страну два телефона, оба у Вождя и оба не работают, потому что разрядились, а «зарядку» он в общаге забыл, когда в России учился. У Ксении Собчак 14 трубок — под сапоги, под плащ, под вечернее платье со стразами, под вечернее платье без страз, под стразы без платья, а мелодия зависит от любимого — вечером лезгинка, с утра — африканские тамтамы, к обеду — хоккейный марш, через час — песни мира в исполнении хора Турецкого. У моей жены телефон играет «Роллинг Стоунз», хотя она уверена, что это группа «Корни». Группа «Корни», правда, тоже уверена, что она играет как «Роллинг Стоунз»... Мы с женой, кстати, как-то пошли в театр, на «Гамлета», и во время спектакля 14 раз прослушали мелодию из «Бумера», 7 — как раз что-то из репертуара этих «Корней», 4 раза Кобзон спел про мгновения, дважды звучала тема из «Крёстного отца» и 37 раз песня «Не нужен нам берег турецкий...». Сделав вывод, что в зале находятся 14 менеджеров среднего звена, из них 7 с жёнами, четверо провинциалов, двое владельцев ларьков и 37 любителей выпить, я решил себя проверить и на выходе из театра провёл соц. опрос. Ошибся я только в одном — «Не нужен нам берег турецкий...» играл один

телефон, у Гамлета, а он уже две недели как не пил. И весь спектакль ему жена звонила с проверками, чем он там занимается — искусство народу несёт или в пивной анекдоты рассказывает за сто грамм. Моя на меня с уважением посмотрела и «Корни», в смысле «Роллинг Стоунз», из телефона убрала. Теперь у неё там Луи Армстронг, хотя она думает, что это Сердючка, просто поёт не по-русски...

«Одноклассники.ру» и Лепешкин

Вся страна сидит в «Одноклассниках». И вся эмиграция тоже. Пожарные сидят между пожарами, а иногда вместо, полицейские зависают, врачи, банкиры с охранниками, домохозяйки и, разумеется, менеджеры среднего звена. Им-то сам Бог велел - компьютер на столе, начальник на деловой встрече, зам. начальника на работе, но тоже в «Одноклассниках», школьную любовь ищет... Все на сайте, все поголовно, и не только люди — депутаты попадают! - один Ваня Лепёшкин там не сидит. Он то в тюрьме сидит, то дома на диване и без всякого компьютера. Но однажды — он как раз дома сидел, не в тюрьме - подарили ему компьютер. Ну как подарили — отдали. Ну, даже не отдали, а он сам попросил. Ну как попросил — взял и всё. Двери запирать надо, не в деревне живёте. Так вот — появился у него компьютер и Ваня сразу в эти «Одноклассники» зашёл, на друзей-подруг школьных посмотрел. Долго смотрел, очень долго. Он столько в тюрьме не сидел, сколько в этих «Одноклассниках». И расстроился, конечно, сильно. Какие там фотографии! Правда, у всех почему-то одинаковые. Бабы сначала на фото с ребёнком, потом в купальнике на море, если фигура позволяет. Если фигура уже не очень, тогда на фоне какого-то особняка и по поясу, но особняк целиком, все шесть этажей. Потом фото за компьютером — это она на работе, фото с шампанским — на корпоративной вечеринке и последнее — «Это я в Испании в прошлом году». Они в прошлом году все в Испании были. А на заднем плане какой-то мачо маячит — намёк на курортный роман. Хотя у нас таких мачо на любом рынке больше, чем во всей Испании. У мужиков фотографии почти такие же, только антураж пивной. Зонтик, под зонтиком столик, весь уставленный пивом — «Я во Франции». Другой зонтик, другой столик и пиво другое — «Я в Италии». Третий зонтик, третий столик с пивом — «Это я в Амстердаме» и так по всей географии. Плюс — обязательно! — фото за рулём дорогой машины и охота-рыбалка на фоне джипа. Лепёшкин же во франциях-италиях, разумеется, не был, про Амстердам не слышал даже, рыбалкой не увлекался, а охотился только по ночам и только с целью наживы денег на выпить-закусить. Да и фотоаппарата у него никогда не было, его обычно полицейские фотографировали. Машина, правда, была, но недорогая и не его. А пиво Лепёшкин не пил, он больше по водочке ударял и по коньячку. Но настроение как-то поднимать надо и Ваня вспомнил про своего дружка, они сидели вместе. Тот на компьютере и доллары делал, и свидетельства всякие, и акции «Норильского никеля», а один раз деньги какого-то банка на себя перевёл и поехал в Кемерово отдыхать, думал, это далеко и там не найдут. Его в Кемерово и не искали, его прямо в вагоне-ресторане взяли, в километре от Москвы. Вот этому дружку Лепёшкин и позвонил. Дружок выслушал проблему, сказал, что это дело двух минут, но нужны всякие напитки. Лепёшкин всякие напитки взял и выехал.

На следующий день, приехав домой и поборов похмелье, Лепёшкин гордо открыл свою страничку в «Одноклассниках». Он не помнил, что за фотографии они

вчера сделали, поэтому уже первая повергла его в шок. На ней он стоял между Путиным и Медведевым, а подпись гласила: «Я знакомлю Владимира Владимировича с Дмитрием Анатольевичем». Подписи под остальными фотографиями, как и сами фотографии, были под стать первой: «Я даю займы Абрамовичу», «Я учу петь Аллу Борисовну», «Я показываю Биллу Гейтсу, как работать на компьютере», «Я объясняю Месси футбольные правила», «Я выгоняю из своей постели Наоми Кэмпбелл», «Я покупаю десяток яиц Фаберже», «Элтон Джон и Борис Моисеев поют мне колыбельную»... Эту фотографию Лепёшкин решил на всякий случай удалить, слышал он что-то нехорошее про этих Джонов-Борисов. Зато следующее фото ему очень понравилось. На нём он гордо скакал на белом коне по степи, в папахе и бурке, с нагайкой в руке, а от него трусливо убегала украинская армия, уплывал украинский флот и улетала украинская же авиация. Подписано фото было просто: «Я возвращаю Крым России». Оставшиеся фотографии Лепёшкин уже не просматривал, а быстро пролистал. На них он кормил с рук Валуева, запускал в космос Гагарина, отгонял Сальери от Моцарта и тушил Жанну д'Арк. А последняя фотография была сделана, наверное, когда всякие напитки уже кончились. На ней счастливый Лепёшкин выходил из роддома под руку с Девой Марией. У дверей роддома их ждал белый лимузин. В руках у Лепёшкина был свёрток с ребёнком. Встречающие стояли на коленях, не смея поднять глаз. От Лепёшкина исходило какое-то неземное сияние. Невдалеке братья Кличко заранее били Иуду. Водитель лимузина каялся. Короче, Ваня Лепёшкин остался доволен.

Письма Ване начали приходить сразу и в огромных количествах. Отличница, когда-то отторгшая Ваню на школьном выпускном, предлагала срочно встретиться и исправить эту ошибку, другие девушки просто присылали свои фотографии и номера не только телефонов, при этом каждая третья хотела родить от него ребёнка, а у каждой второй он уже был и, разумеется, от Вани. Мужики просили займы, звали в баню и на рыбалку, власти города Сыктывкара назвали новую улицу его, Вани Лепёшкина, именем и просили помочь там вырубить лес, положить асфальт и построить дома, в какой-то деревне открывали Ванин бюст и намекали насчёт денег на торжества, женская волейбольная команда из Томилина умоляла купить её всю целиком вместе с сеткой и мячиками... Много было писем, очень много, даже от одноклассника по имени «Лучшие натяжные потолки Липецка» весточка пришла, но Ваня такого не вспомнил. А последним пришло послание от Абрамовича. Он интересовался, где-когда-сколько он взял займы у господина Лепёшкина и как ему вернуть долг. Господин Лепёшкин вспотел и, не мешкая, стал писать ответ. Сначала он написал, что Абрамович взял у него займы в марте, у входа в универсам на 3-й Парковой улице. Перечитав, Ваня решил, что это несolidно и переделал универсам в сберкассу, а март в сентябрь. Получилось лучше. Насчёт суммы Ваня решил сразу — 100 долларов. Но руки предательски дрожали после вчерашнего и в итоге нулей получилось чуть больше...

Через час люди Абрамовича привезли Ване дипломат с деньгами. Солнце на землю, конечно, при этом не упало и мир не перевернулся. Упал и перевернулся Ваня Лепёшкин, когда, проводив гостей, открыл дипломат. Денег было так много, что Ванины математические способности не позволяли их сосчитать.

Большие суммы учат и дисциплинируют. Ваня Лепёшкин со временем стал преуспевающим бизнесменом, женился на отличнице, некогда его отторгшей, купил шестизэтажный особняк, возле которого с утра до вечера играет в волейбол женская команда из Томилина и послал приглашение Наоми Кэмпбелл. Он вообще ста-

рался строить свою жизнь по фотографиям из «Одноклассников», хотя не всё, конечно, проходило гладко. Приехавшая Наоми, например, оказалась пожилой пьющей негритяжкой и чуть не разрушила Ванину семью, Билл Гейтс на письма, даже со смайликами, не отвечал, Алла Борисовна отвечала, но исключительно матом, Путин с Медведевым познакомились давно и без Вани, Жанны д'Арк с Моцартом и Сальери вообще в живых уже не было, что Ваню очень удивило, а «Лучшие натяжные потолки Липецка» оказались не одноклассником, а спамом. Вскоре Ваня в «Одноклассниках» полностью разочаровался и заходить туда перестал. Чего там делать-то, на рожи эти противные смотреть? Ваня свой сайт создал — «Однокамерники.ру». Сайт сразу стал очень популярным, жизнь на нём закипела, особенно в группах «Лефортово» и «Бутырка». Одних Ходорковских зарегистрировалось четыреста пятьдесят пять штук, и это только с одной зоны! Навальных — семьсот, все пока с воли, правда. Так что всё правильно рассчитал бизнесмен Ваня Лепёшкин. Ведь в какой стране живём? Сегодня ты в своём офисе в «Одноклассниках» сидишь-общаешься, а завтра налоговая случайно зашла, обиделась на что-то и... «Владимирский Централ, ветер северный...».



Игорь Гельбах

РАЗЫСКАНИЯ БРАУНЛИ

Анатолию Добровичу

Встреча с Эйди

В начале 90-х годов я снова оказался в Лондоне, где вскоре познакомился с Алистэром Эйди. Имя его мне было знакомо по публикациям в специальных журналах, которые я время от времени просматривал в библиотеке университета в Хадсоне, штат Нью-Йорк, где в то время подвизался на кафедре восточноевропейских исследований. Встретились мы с Эйди в одной из студий русской службы Би-Би-Си, где принимали участие в обсуждении текущих проблем ближневосточного региона.

— Приезжай, примешь участие в передаче, а потом мы пойдем куда-нибудь посидеть. Поверь, ты не пожалеешь, — сказал мой лондонский приятель в завершение нашего разговора по телефону.

— Но ведь я не очень-то и связан с ближневосточными исследованиями, — ответил я.

— Ну а «русский след», Арафат и его московские друзья из Бухареста? — ответил он. — К тому же я уже сегодня собираюсь сообщить нашим слушателям о том, что в студию придут уже известный им Алистэр Эйди и наш бывший сотрудник, а ныне профессор университета в Хадсоне, — добавил он и я согласился.

Д-р Алистэр Эйди оказался темноволосым мужчиной, чуть выше среднего роста, с легкой проседью и темными, с искрой глазами. По-русски он говорил вполне прилично. Было ему немного больше сорока. Родом он был из Эдинбурга и, как оказалось, с детства интересовался языками. Его профессиональные интересы предполагали к тому же какой-то уровень владения арабским и ивритом. О себе он рассказал, отвечая на вопросы ведущего. Упомянул он и то, что регулярно бывает в странах интересующего его региона.

В ходе разговора у микрофона Эйди упомянул имя Якова Блюмкина, первого советского резидента нелегальной разведки в Палестине. В декабре 1923 года он впервые приехал в Яффо, где провел около полугода в качестве набожного владельца прачечной Якова Гурфинкеля. В июне 1924 года Блюмкина отозвали в Москву.

Позднее, в ноябре 1928 году Блюмкин по заданию ОГПУ создал в Константинополе фирму по торговле антикварными еврейскими книгами для финансирования и прикрытия разведывательной деятельности. Туда он прибыл под видом персидского еврея, купца и антикара Якуба Султанова.

С помощью венского антикара Эрлиха он обустроил резидентуру, законспирированную под букинистический магазин. При содействии своих коллег из ОГПУ Блюмкин вывез из западных областей Советской России и Ленинграда старинные свитки Торы и Талмуда, средневековые манускрипты и даже инкунабулы из известной коллекции Давида Гинцбурга. В 1929 году он побывал в Палестине и по возвращению в Москву сделал доклад в ЦК о Палестине и сложившейся там ситуации.

— Он мог бы стать русским полковником Лоуренсом, если бы его не расстреляли. И в этом Сталин помог английской контрразведке, — заметил Эйди. —

Ну, конечно, не намеренно, а в ходе своей борьбы с Троцким и другими вождями революции. Самое же замечательное состоит в том, что в ходе своей разведывательной деятельности Блюмкин оказал чрезвычайно большие услуги английской гебраистике. Довольно большое число вывезенных им книг попало в Бодлеанскую библиотеку в Оксфорде.

После окончания передачи мы втроем отправились поужинать в небольшой итальянский ресторан в Сохо.

Разговор наш шел вокруг затронутых в ходе обсуждения тем, и вскоре Алистер сослался на вышедшую лет за десять до нашей встречи книгу Иена Кэмерона «Африканский дневник» как на источник, не утеревший своего значения и по сию пору.

— Я включаю ее в список рекомендуемых для чтения книг. Для моих аспирантов, — пояснил он.

Книга эта была мне знакома, беседа приняла новое направление, и к концу вечера Алистер Эйди предложил мне приехать в Оксфорд, где в следующий четверг, на заседании семинара по вопросам современной истории, должен был выступить его коллега, английский военный историк Эндрю Браунли. Последний, как это следовало из названия доклада, собирался рассказать о новых находках в следовании убийства Иена Кэмерона.

Предложение это меня заинтересовало, ведь именно Браунли обнаружил дневники Иена Кэмерона в архивах британской военной прокуратуры через сорок лет после гибели последнего. Записи, составившие «Африканский дневник», велись в казенных тетрадах с нумерованными страницами и зелеными матерчатыми обложками. Согласно служебной инструкции, подобные тетради предназначались исключительно для служебных записей, выносить их из помещения штаба ВВС в Александрии было запрещено, а хранить их следовало согласно правилам хранения секретной документации.

Браунли скопировал дневники, изучил их, составил примечания, написал послесловие и подготовил книгу к изданию, и все это было сделано за один год.

Я подумал, что будет приятно снова побывать в Оксфорде. К тому же Алистер Эйди показался мне вполне приятным человеком.

Браунли

1

Эндрю Браунли был темноволос, к старости он обрюзг, и мятая кожа его лица была оливково-землистой. Он неряшливо одевался, но его углем прорисованные глаза и брови запоминались надолго. Браунли много курил, и то, как он обращался с выкуренными сигаретами, возможно, говорило кое-что о его характере. Он разминал их, бережно покручивая желтоватыми пальцами, пока в руках у него не оставался один фильтр, который он затем выбрасывал. Его мать была гречанка, отец — англичанин, археолог-любитель, не всегда чистый на руку, и, помимо английского и греческого, Браунли хорошо владел немецким и русским.

Как указывали ученые оппоненты Браунли, его послесловие и комментарии к «Африканскому дневнику» развивали традиционные для Браунли мотивы, мотивы автора, построившего свою карьеру на рассмотрении существовавших и несуществовавших заговоров. Браунли считался полупризнанным авторитетом в этой

области, и его прошлое, связанное и с военным опытом на Крите, и с работой в контрразведке, о чем он часто упоминал, казалось, придает его высказываниям ореол достоверности, что, однако, не помешало одному из его бывших коллег заметить, что на Крите Браунли в основном был известен пытками захваченных в плен партизан, которых во время допросов сажали на горлышки бутылок. Ходили также слухи, что Браунли бивал свою жену.

2

В ту пору, когда я еще только начинал свою академическую карьеру в Лондоне, продолжая попутно подрабатывать на Би-Би-Си, я считал своим долгом высказывать свое мнение по каждому обсуждаемому вопросу, что, разумеется, было если и не глупо, то, по крайней мере, неосторожно.

Однажды я присутствовал в аудитории, где проходило выступление Браунли. Шло очередное заседание постоянного семинара по «Событиям на востоке Европы» в колледже Сент-Энтони в Оксфорде, где Браунли собственно и обрелась после того, как ушел на пенсию из контрразведки.

Выступление его посвящено было вопросам, связанным с началом Второй мировой войны, и звучало вполне академически до тех пор, пока он не предпринял попытку разобраться в мотивировках поведения отдельных исторических персонажей и пустился в рассуждения о необходимости исследования особых психологических качеств наделенных властью людей на примере поведения Сталина, жестокость которого, как я полагаю, ему особенно импонировала.

Мои соображения по этому поводу Браунли не понравились, они сталкивали его с Олимпа, где он общался с «историческими персонажами», что он и подчеркнул, заявив, что я неправомерно снижаю масштабы событий, оценивая этого государственного деятеля как «незаурядного» уголовника.

3

Как бы то ни было, обнаружив дневники в военных архивах, Браунли прочел их и затребовал все имеющиеся и доступные данные о Кэмероне-старшем из кадрового отдела Министерства обороны, провел ряд встреч и бесед с некоторыми из оставшимися в живых знакомыми Иена Кэмерона, и в конце концов опубликовал найденные материалы, снабдив их названием «Африканский дневник».

Публикация эта оказалась успешной и первому изданию книги с обстоятельным послесловием и комментариями, написанными Браунли, вскоре последовало второе, в мягкой обложке, чему в немалой мере способствовало и то, что, как утверждал Браунли, гибель Кэмерон отнюдь не случайно.

Более того, как утверждал Браунли, одна из интересных особенностей «Африканского дневника» связана с тем, что чтение этой книги пробуждает немало противоречивых чувств, порой гранича с полным неприятием, так много на ее страницах нескрываемого цинизма. В подтверждение этой своей оценки Браунли упоминает и ряд откровенно двусмысленных ситуаций, связанных с личной и семейной жизнью Кэмерона, и его тщательно скрываемую религиозность, столь ярко, однако, проступившую в «Африканских дневниках» и, наконец, сам факт ведения личных дневников в казенных тетрадах, предназначенных для служебного пользования.

Что до меня, то в ту пору, когда я прочел «Африканский дневник», мне показалось, что книга, составленная из дневниковых записей, теперь, полвека спустя со времени ее написания, должна восприниматься лучше, чем при жизни автора, ибо теперь мы не столь рациональны в своих требованиях к развитию повествования, с интересом читаем отступления, и нас в большей степени увлекает атмосфера неопределенности или скольжения по гребню повествовательной волны, нежели классическая предопределенность в развитии характеров и событий. Кроме того, нас, скорее всего, больше чем что-либо иное, устраивает элемент скептицизма по отношению к миру окружающему, соединенного с тем, что можно было бы назвать откровенностью и последовательностью в анализе собственных побуждений, то есть все то, что мы находим на страницах «Африканского дневника».

Естественно, что вскоре появились и публикации, связанные с этим литературным событием, авторы которых попытались пролить свет на фигуру Кэмерона-старшего.

Иен Кэмерон

1

Попытаемся теперь кратко воспроизвести последовательность главных событий, составляющих сюжетный костяк «Африканского дневника». При этом мы отодвинем в сторону отступления, достаточно интересные сами по себе и нужные не только для создания определенной повествовательной глубины, но и для установления важных составляющих мотивов, что сообщают всему повествованию несомненный аромат, не оказывая, тем не менее, решающего влияния на развитие последующих событий. При таком подходе, так называемые «военные страницы» «Африканского дневника», содержащие экспозиции собственно военных действий, анализ стратегии и тактики английской и немецкой армий, перечисление и описание разнообразных населенных пунктов, картины, связанные с настроениями в войсках и отзвуками того, что происходило на других фронтах, естественно, останутся для нас несущественными. Выбираем мы такой подход оттого, что рассматриваем «Африканский дневник» не как завершенное или незавершенное литературное произведение, а как текст, анализ некоторых аспектов которого, может помочь ответить на интересующие нас вопросы сегодняшнего дня.

И, следует добавить. это только один из множества возможных подходов к «Африканскому дневнику», воскресившему имя Кэмерона-старшего из тронутого патиной почтительного забвения.

2

Браунли утверждает, что Иен Кэмерон родился в 1889 г. в Сиднее, в семье британского колониального чиновника, продолжавшего свою работу в Австралии и после создания Австралийского Союза. Авиация интересовала Иена с юных лет, и в самом начале века, а именно в 1911 году, он увидел аэроплан, летящий над Сиднейским заливом. Мост через залив еще не был построен в ту пору, и оттого восприятие голубой водной глади залива было совершенно отличным от современного.

В том же 1911 году его отец получил новое назначение по службе, которое привело к тому, что семья чиновника вернулась в страну, которую жители колоний называли *old country*, или «старая родина».

К тому времени Иен Кэмерон уже получил степень бакалавра в Сиднейском университете, куда поступил по совету своего школьного преподавателя литературы, и уже второй год работал в газете *Sydney Morning Herald*.

Позднее, когда началась Первая мировая война и молодой Кэмерон был призван на военную службу, он приложил все усилия для того, чтобы проходить службу в одной из авиационных частей будущего Королевского военно-воздушного флота.

После окончания Первой мировой войны Иен вернулся на работу в лондонское издательство, где работал еще до ее начала. Через два года Иен снова съездил на континент и побывал во Фландрии, над полями которой ему приходилось летать во время войны. В начале двадцатых годов издательство, в котором Иен успел поработать еще до войны, расширилось, и вскоре, благодаря новым возможностям и старым связям, Иен уехал работать в Вену. Известно, что в эти годы он несколько раз ездил в Берлин, Будапешт и Прагу. Он любил музыку и побывал на вилле Бертрамка в Праге, где когда-то останавливался Моцарт.

Позднее Иен Кэмерон опубликовал книгу очерков о ситуации в Центральной Европе перед началом и во время экономического спада 1929 года, основанную в значительной мере на его впечатлениях, полученных в пору его руководства журналистско-издательским бюро в Вене. Через несколько лет он вернулся в Лондон, где вскоре возглавил небольшое издательство, специализировавшееся на выпуске справочников, карт и путеводителей. Его жена и сын жили в Брайтоне, следуя предписаниям врачей.

3

В сентябре 1936 года Иен Кэмерон познакомился с Ханой Крохотка-Фриш, уроженкой Праги, преподававшей в то время на кафедре славянских языков Лондонского университета.

Хана всегда любила музыку, и ее рассказы об уроках музыки в Вене и посещениях венских кафе чрезвычайно нравились Кэмерону, который жил в Вене в те годы, когда Хана приезжала туда из Братиславы. Ему нравилось сравнивать свои впечатления с впечатлениями Ханы, и постепенно у него возникло убеждение, что то легкое волнение, которое он испытал, увидев Хану в первый раз, должно быть, связано с тем, что он впервые заметил и сохранил в памяти ее лицо еще в Вене, когда посещал кафе «Централь».

Иногда ему казалось, что рассказы Ханы о ее кратких поездках в Вену, даже когда она припоминала что-нибудь совершенно незначительное, — голубиный помет на трамвайных остановках или скрипача в тирольской шляпе, всегда игравшего на скрипке в саду, через который она шла, направляясь к учительнице пения, — в гораздо большей мере передают суть ее характера, чем все остальное. Пожалуй, Кэмерону нравилось в Хане многое из того, что слегка отпугивало Крохотку, ее бывшего мужа, — ее повышенная эмоциональность, ее порывы, элемент экспансивности, вытекающей, как казалось Иену, из некоей незащищенности, и неожиданная по контрасту доверчивость...

Ощущение определенной отстраненности не покидало его после возвращения с войны. Многие его товарищи-летчики погибли во время войны, и хотя он совершенно ясно понимал, что подобное может произойти и с ним, все годы войны он был подспудно уверен, что уцелеет. Но об этом он никому и никогда не говорил до тех пор, пока встреча с Ханой не убедила его, что отношения с ней помогли ему перейти какую-то теневую черту, и жизнь его вновь стала реальной. Более того, близость с Ханой постепенно превратилась для Кэмерона в своего рода убежище, не ограниченное собственным одиночеством и бокалом пива в одном из излюбленных им лондонских пабов, но убежище разделенное, в основе которого лежало убежденность в существовании особого мира, принадлежавшего им двоим, но мир этот, как оказалось, был уязвим, как и все остальное в этом мире.

4

Но уже в конце сентября 1938 года один из старых друзей Иена, с которым обычно молчаливый Кэмерон иногда делился своими соображениями, сказал Иену с некоторой грустью в голосе:

— Эти люди просто не готовы к тому, что может произойти. Они этого не хотят и думают, что этого можно избежать... Старик размахивал листочком бумаги, как видно полагая, что это и есть мир, — сказал он, имея в виду выступление премьер-министра Великобритании после возвращения в Лондон из Мюнхена.

Приятель Кэмерона, занимавший пост помощника постоянного секретаря министра, говорил об этом с уверенностью очевидца. Более того, как это стало ясно Хане и давно уже было ясно Иену, люди эти готовы были жертвовать судьбами целых стран, наивно и лицемерно полагая, что «мир» можно сохранить путем «умиротворения», даже если это и означало гибель какой-нибудь Чехословакии.

Storyline или Сюжетная линия

1

Основная часть «Африканского дневника» была написана в конце 1941 и в начале 1942 года, в Александрии, где в то время размещалось и командование военно-воздушных сил экспедиционных войск, и управление разведки военно-воздушных сил, в котором служил Иен Кэмерон.

Падение Греции было в то время событием вчерашнего дня, а прибывший с другого конца света австралийский корпус был переброшен из Греции в Африку, где уже давно шли бои.

Описания погоды, сырой и холодной, а порой неожиданно душной, связанной с движением воздушных масс над Средиземным морем и Аравийским полуостровом, составляют определенную часть записей в дневнике, и поскольку погода, по-видимому, сильно воздействует на состояние людей в этих широтах, мы стараемся сохранить если не детальные ее описания, то хотя бы какие-то указания на ее главные и характерные черты.

Записи Иена Кэмерона, ему в то время чуть больше пятидесяти, рассказывают о пыльной и грязной, заселенной греками, евреями и арабами Александрии с ее двумя гаванями, о бомбежках, толчее восточного базара, штабной работе и фон-

танах, духоте, пьянстве, проститутках и портовых кофейнях, о выцветавшем зимой море и развалинах александрийского маяка.

2

Интересующая нас часть дневниковых записей начинается с описания погоды в Александрии, где дождливой зимой 1941 года, в последний четверг ноября в расположенном в районе порта кабаре «Клеопатра», Иен Кэмерон встречается с Бруно Аккерманом, беженцем из Австрии, пожилым человеком, всегда безупречно одетым и не выпускающим изо рта легкой сигары. Кэмерона интересуют сведения о промышленных объектах Чехословакии и Австрии, превращенных нацистами в часть своей военной машины. Аккерман обещал ему предоставить такие сведения, которые обычно, после проверки военно-воздушной разведкой, служили исходным материалом для составления планов бомбардировок. Естественно, что сбор такой информации требует хорошего понимания психологии информанта и его мотивации, и является делом кропотливым и сложным, поэтому Кэмерон иногда предпочитал атмосферу встречи в кабаре встрече в служебном кабинете.

Порой, когда части противовоздушной обороны сообщали о сбитых самолетах противника, Кэмерон вместе с другими сотрудниками отдела военно-воздушной разведки выезжал в окрестности Александрии осмотреть обломки сбитого и обычно полусгоревшего немецкого самолета, изъять документы, сделать фотографии и произвести все остальные действия, предписанные служебными инструкциями, в том числе и указаниями для похоронной команды. Так, ему часто приходилось переводить на английский не только содержание полетных заданий, обнаруженных в кабинах сбитых самолетов, но и письма из личной переписки погибших пилотов.

Как и было условлено, Аккерман ожидал появления Кэмерона, сидя за столиком с бокалом белого вина перед ним. Кэмерон присел рядом, не спрашивая разрешения, и попросил официанта принести пиво. Начиная разговор с Аккерманом, Кэмерон заметил, что его знакомый раскланялся с проходившим мужчиной.

В зале кабаре было шумно, оркестр сыграл мелодию из оперетты Легара «Веселая вдова», а на маленькой сцене, поблескивая фальшивыми драгоценностями и блесками откровенного вечернего платья, уже появилась венгерская певичка по имени Лола Дарваш, одна из звезд кабаре «Клеопатра» того сезона. В начале вечера она пела французские песенки под аккомпанемент рояля, изредка пополняя свой репертуар патриотическими песнями английской певицы Веры Линн. После перерыва она пела цыганские романсы. Аккомпанировал ей полный, с темными длинными волосами скрипач в расшитом темнофиолетовыми цветами жилете. Она пела, медленно передвигаясь меж столиков, под лучом прожектора, окрашенного светлым дымом ее сигареты в длинном костяном мундштуке.

Позднее, ближе к полуночи, когда Лола, загримированная под Нефертити, уже покинула эстраду, а кое-кто из посетителей, включая и Аккермана, стал подумывать о том, что пора бы уже уходить, к столику, за которым сидели Аккерман и Кэмерон, подошел Отто, мужчина из-за соседнего столика, с которым Аккерман поздоровался вскоре после начала разговора с Кэмероном.

Аккерман представил его Кэмерону и, наклонившись к проходившему официанту, Отто заказал бутылку шампанского. Высокого роста, худой, хорошо одетый, с большой, коротко стриженной головой и темными внимательными глазами, Отто хорошо говорил по-английски и начал ничего не значивший разговор с заме-

чания о голосе певички из Будапешта, которая в ту ночь спела и песню из фильма «Голубой ангел», подражая манере исполнения Марлен Дитрих. В ответ Аккерман довольно едко заметил, что для того, чтобы подражать Марлен Дитрих, очень важно иметь, как минимум, длинные ноги. Позже, направляясь к своей машине под неожиданно начавшимся проливным дождем, Кэмерон заметил певичку в автомобиле Отто, который тут же предложил Кэмерону подвезти его.

3

Запись в дневнике Кэмерона, сделанная им через пару недель, суммирует то, что он узнал об Отто. Последний когда-то жил в Вене, но покинул Австрию после аншлюса, покончившего с ее независимостью. Отто — еврей, или, вернее, еврей с долей немецкой крови. В Александрии и, в частности, в примыкающем к торговому порту районе города его знают многие люди, так или иначе причастные к торговым операциям, проходящим в порту, успех или провал которых зачастую обсуждается в кабаре «Клеопатра». Живет он в просторном, двухэтажном доме своей кузины на длинной набережной Абдулла-паши. Из окон дома открывается вид на залив и то место, где когда-то находился Александрийский маяк. Иногда сквозь открытые окна доносится дребезжание проезжающих по набережной трамваев, но затем они исчезают за поворотом, и на набережной снова становится тихо. Если же из гавани налетает порыв ветра, то стекла в доме звенят и на веранде ощущается запах моря.

Отто возглавляет небольшую торговую компанию. Он поставляет зерно, чай и кофе в Александрию и в Хайфу, расположенную на севере Палестины, с ее большим элеватором и крупной британской морской базой, куда по нефтепроводу поступает нефть из Ирака.

Отто попал в Хайфу в 1938 году. К тому времени в городе уже находилось значительное число еврейских беженцев из Германии. Хайфа ему понравилась, и он купил дом в верхней, расположенной на высоких холмах и заселенной состоятельными людьми части города, раскинувшейся на склонах горы Кармел. Дома на склоне горы Кармел окружены садами, и с балкона дома, принадлежавшего Отто, открывается вид на голубое пространство залива.

Об этом Отто рассказал Кэмерону в один из вечеров в доме на длинной набережной Абдулла-паши.

4

Той зимой в Александрии было и холодно и сыро, а в доме у Отто лениво горел камин. Обычно Отто приносил из буфетной бутылку греческого коньяка и разливал коньяк в оплетенные серебром бокалы Кэмерону и себе. На низком столе, окруженном глубокими креслами, всегда стояли розетки с сушеными фигами и финиками. Отто любит слушать музыку. У него хорошая коллекция пластинок, в основном производства компании «Дойче граммофон». Кэмерон заметил выпущенные совсем недавно пластинки с записями арий и фрагментов из «Эгмонга» и других сочинений Бетховена, исполняемых Берлинским филармоническим оркестром под управлением Фуртвенглера.

Попав в дом во второй раз, Кэмерон спросил Отто о происхождении коллекции. Отто пояснил, что пластинки привезены беженцами из Греции, и, если Кэмерон в них заинтересован, то, говорит Отто, достать можно все что угодно.

Последующие посещения дома на набережной Абдулла-паши привели автора дневника к заключению о том, что коллекция пластинок постоянно пополняется.

5

Через пару недель Кэмерон знакомится с Инге, в доме которой живет Отто. Инге выглядит достаточно молодо и чрезвычайно напоминает Кэмерону его лондонскую подругу Хану Фриш, у Инге мелодичный голос и такие же глаза, но она кажется чуть стройнее, и, в отличие от Ханы, у Инге на плечи падают светлые пряди волос. Кэмерон поражен. Время от времени он не может пересилить бессознательное желание взглянуть на Инге. Вскоре ему приходит на ум, что Инге, скорее всего, сестра Ханы, женщины из Праги, которая теперь живет в Лондоне и с которой он переписывается, ведь когда-то Хана рассказывала ему о своей венской кухне-однолетке.

Инге родилась в Вене, в еврейской семье, входящей в один из тех разветвленных еврейских родов, представители которых оказались гражданами различных государств после крушения Австро-Венгрии в конце Первой мировой войны. Она давно живет в Александрии. Ее муж, уроженец Александрии, занимался торговлей, следуя семейной традиции. В 1938 году он погиб во время автомобильных гонок в Италии.

Разговаривая с Инге, Кэмерон не перестает раздумывать, стоит ли упоминать об Хане, но что-то удерживает его.

Между тем, из разговора с певичкой из кабаре «Клеопатра», заново отделанного в стиле арт-деко, Кэмерон узнает, что Отто был связан с попыткой вывоза еврейских детей из оккупированных стран Европы в Палестину через Румынию. Отто договаривался об условиях фрахта с владельцами судна. Но пароход с детьми, покинувший румынский порт Констанцу, столкнулся с немецкой миной и затонул. Все дети на этом пароходе погибли.

6

Однажды Кэмерон приходит в дом на набережной Абдулла-паши раньше назначенного часа. Отто еще не вернулся домой из конторы. Появляется Инге и предлагает пройти в гостиную. Инге спрашивает Кэмерона по-немецки:

— Не хотите ли чего-нибудь выпить?

— Я хотел бы составить вам компанию, — отвечает Кэмерон.

Инге приносит из буфетной бутылку греческого коньяка и разливает коньяк в два оплетенных серебром бокала. На столике, окруженном глубокими креслами, все те же розетки с сушеными фруктами и пахлавой. Чашечки и джезvu с греческим кофе принесла служанка из кухни. Затем Инге направляется к граммофону и долго перебирает пластинки. Наконец она выбирает пластинку. Чей-то голос поет немецкие комические куплеты в высоком регистре. Кэмерон спрашивает у Инге, верно ли то, что Отто связан с людьми из Еврейского агентства, которое занимается переброской еврейских беженцев из оккупированной нацистами Европы в Палестину?

Тут, наверное, следует пояснить, что помимо выполнения своей рутинной работы, военно-воздушная разведка отслеживала также и суда с беженцами, направлявшиеся к берегам Палестины из оккупированной немцами Европы, в основном из Румынии.

В ответ Инге рассказывает Кэмерону, что сын Отто от первого брака погиб вместе с двоюродными братьями, когда пароход, который должен был увезти детей в Хайфу, затонул вблизи Констанцы. Первая жена Отто попала в Терезиенштадт, там немцы создали концлагерь для евреев. Это все, что она знает. Больше ей ничего не известно.

7

Через несколько недель Кэмерон узнает от Отто о неприятных событиях, — по неизвестной причине возник пожар на одном из складов в порту Хайфы. В огне погибла большая партия продуктов, поставленных Отто. Неподалеку от склада, где хранились грузы, импортированные Отто, находится склад с военным снаряжением. Он хорошо охраняется.

Похоже, что те, кто поджег склад с товарами Отто, надеялись, что огонь перекинется на склад с военным снаряжением. Одни подозревают, что это работа одной из банд «Штерн», подпольной организации палестинских поселенцев, другие, что это работа агентов пронемецки настроенного иерусалимского муфтия.

Отто уезжает в Хайфу.

Через несколько дней Кэмерон получает записку от Инге. Она просит его о встрече. В ответ Кэмерон звонит ей по телефону и поначалу пытается избежать этой встречи, но Инге настаивает и Кэмерон приходит в дом на бульваре Абдулла-паши.

Инге сообщает ему, что у Отто возникли проблемы в Хайфе, и просит Кэмерона помочь Отто в разрешении его проблем с бригаанской администрацией Палестины. Инге утверждает, что Отто арестован, он один, и никто не может ему помочь.

Кэмерону непонятно, неужели люди из Еврейского агентства не собираются помочь Отто?

— Но чем они могут помочь? — спрашивает его Инге. — Неужели вы не видите, что все против нас? Даже беженцы, их проверяют так, как будто они могут оказаться шпионами...

— Но это война, — говорит Кэмерон, — тут трудно ожидать чего-либо иного.

Пока она готовит кофе на кухне, Кэмерон открывает книгу на французском, которую до его прихода читала Инге.

— Просто, чтобы не позабыть французский, — объясняет она.

Книга называется «Красное и черное». Когда-то Кэмерон читал ее. Но все это было так давно. Кэмерон перелистывает книгу. Каждая глава начинается с эпиграфа. Один из них на старофранцузском:

*Amour en latin faict amor;
Or donc provient d'amour la mort,
Et, par avant, soulcy qui mord,
Deuil, plours, pieges, forfaitz, remords.*

Кэмерону кажется, что это звучит знакомо: потом ему приходит в голову, что стихи эти, не что иное, в сущности, как вариация слов Соломоновых: «Сильна, как смерть, любовь...»

По внезапной ассоциации эти строки уводят Кэмерона в далекие от Александрии времена его юности, когда в их доме иногда останавливались приезжавшие из колоний родственники и друзья. Именно в этом месте своего дневника он задумывается о том, не был ли его отцом друг семьи, о внешности которого ему напомнило собственное лицо, увиденное в зеркале, — фрагмент, который позднее

смугил его подчиненного Толбота, обнаружившего тетради с дневниковыми записями в квартире Кэмерона в день гибели последнего...

8

Через несколько дней Кэмерон уезжает по делам службы в Хайфу, где находится штаб Королевских военно-воздушных сил.

Дорога занимает несколько дней. Вначале Кэмерон должен доставить пакет из александрийского штаба в Иерусалим.

Первая остановка в Каире. Египетская столица того времени — огромный, хаотический город с рикшами. Город очень грязен. Из окна служебного автомобиля Кэмерон видит множество уличных кошек. Одна из них, с перебитым позвоночником, жалобно мяучит.

В автомобиле быстро становится жарко, и Кэмерон опускает стекло пониже. В окно немедленно врывается шум огромного города с его духотой, дворцами и минаретами, запахами подгоревшего масла и сваренных вкрутую яиц, и постоянно реющим над пустыней маревом.

Далее следует описание переправы через Нил на пароме и питья кофе, приготовленного с добавлением нан, травы, придающей кофе легкий аромат мяты.

В первые утренние часы путешествия от пустыни еще тянет прохладой, но затем с востока поднимается солнце, и постепенно песок и ветер начинают дышать зноем и пылью. Теперь автомобиль направляется в сторону Газы и Рафиаха.

Еще через несколько часов автомобиль достиг окончания длинного серпантина. Теперь он выезжает на вершину горной гряды, на которой раскинулся, спускаясь в провалы и долины, Иерусалим.

Город сложен из груды белых камней, на которые можно смотреть, только сощурив глаза. Одинокие кипарисы соседствуют с пальмами и рощами оливковых деревьев за серым камнем оград.

В Иерусалиме тепло, почти жарко, и все, о чем мечтает Кэмерон, проезжая город с его монастырями, звонницами, золотым куполом мечети, воздвигнутой над Стеной Плача и развалинами, — это ледяной джин с тоником и ломтиком лимона.

9

В желтом, громоздком здании гостиницы «King David», где размещается штаб британских войск в Палестине, Кэмерон оставляет в одном из отделов документ, содержащий выжимку сведений о военных объектах противника, собранных в процессе разнообразных собеседований, в том числе и сведения, предоставленные тем самым Бруно Аккерманом, что познакомил его с Отто в расположенном в районе порта кабаре «Клеопатра».

Затем он обсуждает с руководителем отдела свои персональные впечатления от информантов, среди них бывают самые разные люди, включая и людей, психика которых в той или иной мере не вынесла пережитого. После этого Кэмерон случайно встречается в коридоре с сослуживцем из Александрии по имени Арчи Холмс. Из беседы с ним Кэмерон узнает, что ситуация вокруг Отто гораздо серьезнее, чем он предполагал.

В конце дня Холмс приглашает Кэмерона прогуляться по городу. Старые стены, старые дома. У Стены Плача как всегда много молящихся, одни застыли в

молчании, другие, медленно раскачиваясь, читают Тору. Вышедшее из-за туч солнце отражается в куполе мечети Омара над Стеной Плача.

Холмс предлагает Кэмерону пройти в Старый город. Они идут мимо торговых рядов, лавок и столов под навесами, раскинувшихся между древних стен, проходят мимо зеленщиков и ювелиров и, наконец, выходят на Via Dolorosa. Холмс указывает Кэмерону на места, связанные с событиями, описанными в Новом Завете. Вот здесь Он шел с крестом, а здесь упал, здесь Ему помогли поднять крест.

Затем разговор переходит на иные темы. Оказывается, Холмс знаком с обстоятельствами, связанными с арестом Отто. Разговаривая, они доходят до гробницы царя Давида и оттуда отправляются в сторону Голгофы. В конце дня они расходятся, Холмс направляется на давно намеченную встречу.

— Ничего особенного, рутина, да и только, — поясняет он и предлагает встретиться попозже. Он советует не появляться в определенных местах в позднее время.

— Здесь, как всегда, беспокойно, — сказал Холмс, — впрочем, все это продолжается уже две с лишним тысячи лет.

Наступает холодный вечер. Кэмерону предстоит провести ночь в гостинице для командированных в штаб офицеров. Передохнув, он направляется в офицерский клуб в том же отеле «King David» и снова беседует с Арчи Холмсом.

— Мы не можем позволить слишком большому числу евреев вернуться сюда, — говорит Арчи, — мы нуждаемся в арабской поддержке. А такие ребята, как ваш Отто, хотя все на свете подорвать... Они нагружают корабли беженцами и направляют их сюда. Отчего? Только оттого, что евреям пришлось несладко при Гитлере? Нагадили в одном месте и теперь спешат в другое? Правительство в тридцать девятом году выпустило «Белую книгу» по этому поводу, где пообещало арабам — не более семидесяти пяти тысяч еврейских иммигрантов до конца сорок пятого года. Ну что ж, несколько кораблей было потоплено, и тут же в мировой прессе начался шум о зверстве англичан. Кампания в Штатах, где у евреев огромное влияние на все, что имеет какое-либо значение, и в особенности на прессу, подрывает наши позиции. Поэтому нам надо действовать тоньше...

Кэмерон понял, о чем говорил Холмс. Как и многие другие сотрудники военно-воздушной разведки, он знал о нескольких случаях, когда суда с еврейскими беженцами были затоплены британским флотом и сотни людей погибли в море, неподалеку от берегов Палестины.

— К тому же, — поясняет Холмс, — никто не знает, что произойдет, когда война закончится. И чего захотят русские... Вы слышали когда-нибудь о Бломкине?

— Пожалуй нет, — отвечает Кэмерон.

— Бломкин был левый эсер, террорист и сотрудник ЧК. Он убил германского посла в Москве графа Мирбаха в 1918 г. Позднее он работал в секретариате Троцкого. Тот направил его учиться на восточное отделение академии генштаба в Москве. Там Бломкин изучил английский, турецкий и арабский. Иврит и идиш он знал с детства. По окончании академии он начал работать в разведке ГПУ. Воевал в Персии против наших союзников, был арестован нашими людьми, но бежал в Индию, побывал в Афганистане, в Монголии и на Тибете. Он приезжал в Палестину в 29 году вскоре после того, как арабы напали на евреев у Стены Плача и здесь начались очередные беспорядки. Я уверен, что «Хагана» нафарширована его людьми. Здесь слишком много «спящих агентов», которые работают на русских.

— И что же стало с Бломкиным? — спрашивает Кэмерон.

— О, обычная история. Он оказался меж двух огней. На обратном пути из Палестины он заехал в Стамбул и там встретился с Троцким по поручению Центра. Когда-то тот спас его от расстрела, но теперь Троцкий его опасался. И Троцкий написал письмо в Москву, своему другу Радеку, которое Блюмкин передал из рук в руки. Радек тут же побежал к Сталину. Блюмкин пытался бежать, но его сдала подруга, агент ГПУ Лиза Розенцвейг, с которой он познакомился в Вене, чрезвычайно интересная и образованная женщина. *Cherchez la femme*, — завершает свой рассказ Холмс.

10

На рассвете автомобиль с Кэмероном покидает Иерусалим с его голыми холмами, лабиринтами узких улочек, одетых в белый камень, и жесткой зеленой кипарисов, и устремляется на север, в Хайфу, минуя контрольно-пропускные пункты, организованные британской военной администрацией. На одном из участков дороги, проходящей мимо песчаного пляжа, Кэмерон видит фрагмент акведука, возведенного когда-то римлянами.

Приближаясь к Хайфе, Кэмерон вспоминает то, о чем рассказал ему Арчи Холмс. Во время последней облавы в районе порта в Хайфе был задержан портовый сторож, исчезнувший в ночь пожара. Его допросил следователь английской контрразведки, капитан Уитчерч. Следователь подозревает, что сторож принял участие в поджоге склада. Находясь под сильным давлением сторож сообщил, что ему известно имя поджигателя и то, что поджигатель — уроженец Александрии. После допроса сторож был направлен в тюрьму в Акко, неподалеку от Хайфы, где находится и Отто. Полиция продолжает поиски поджигателя в Хайфе и в Александрии.

Знакомого Кэмерону еще по Оксфорду бывшего преподавателя немецкого языка, а ныне следователя, капитана Уитчерча, мало интересует вопрос о поджоге склада, хотя он и уделяет ему внимание. Уитчерч подозревает Отто в сотрудничестве с немцами.

Считается, что немцы, не без чьего-то содействия, внедряют в среду беженцев, покидающих Румынию, своих агентов. Английская контрразведка действительно разоблачила двух немецких агентов среди беженцев, переправленных в Палестину. Один из них уже повешен, другой только недавно арестован. Если подозрение следователя превратится в уверенность, то Отто будет повешен.

11

Прибыв в Хайфу, Кэмерон доставляет привезенные им документы в штаб, расположенный на дороге к горе Кармел. Полковник Моррис, плотный мужчина с загорелым лбом, усами цвета спелой ржи и маленькими серыми глазками, одетый в выцветшую форму цвета хаки, принимает документы, расписывается в их получении и, после обмена мнениями о погоде, выдает Кэмерону направление в гостиницу, используемую как офицерское общежитие.

Принадлежит гостиница еврейской семье из Берлина, здесь же офицеры столуются. Пища строго рационирована. Некоторые офицеры добавляют к подаваемой еде консервы из личного пайка. В столовой кто-то говорит о том, что немногие местные женщины устоят перед соблазном обладания банкой тушенки.

Расположившись в комнате с платяным шкафом и голой электрической лампочкой, свисающей на проводе с потолка, Кэмерон переживает жаркие часы, делая записи в дневнике.

12

Вечером Кэмерон и Уигчерч сидят в маленьком ресторане в порту, там неплохо готовят сувлаки и баранину на ребрышках. С моря налетает легкий ветер. Уигчерч жует мясо, запивает его пивом и проклиная все на свете, он никогда не предполагал, что знание немецкого языка приведет его на Ближний Восток, где все неясно, неопределенно и никому нельзя верить.

— Есть у вас что-нибудь серьезное на Отто?

— Пока нет, кроме довольно сбивчивых показаний второго агента, но это в основном его догадки. Ну, ничего, — говорит Уигчерч, медленно пережевывая баранину, — в здешней тюрьме довольно жесткий режим. В любом случае, напоминание о порядке пойдет обоим на пользу, — продолжает Уигчерч, вытирая салфеткой лоснящиеся губы. — До тридцать девятого года немцы вовсе не возражали против еврейской эмиграции в Палестину, — продолжает он, — ситуация изменилась с началом войны. Они пробовали забрасывать парашотистов. Ничего не вышло. Они нуждаются в каком-то прикрытии для того, чтобы попасть в Палестину. И теперь они прибывают сюда вместе с другими беженцами, — говорит Уигчерч, закуривая сигарету.

Говоря о беженцах из Германии и Австрии, обосновавшихся в Хайфе, Уигчерч замечает, что «ментально» они все еще принадлежат «центральноевропейской» культуре, и так же далеки от арабов и британской полиции Палестины, как и от беженцев из других стран Восточной и Западной Европы. Они принадлежат к той части еврейской эмиграции, что почти полностью лишена была сионистских идеалов, к той прослойке, в которой почти каждый второй мужчина средних лет именвал себя «доктором» и никогда не расставался с пиджаком, галстуком и шляпой, в то время как дамы с лицами, покрытыми гримом а la Марлен Дитрих, появлялись в кафе на Хадархакармел в кожаных шляпах с широкими полями.

Уигчерч говорит, что Отто категорически отрицает какое-либо сотрудничество с немцами. Рассказывая о пересечении с властями в Европе, Отто уточнил, что речь идет всего лишь о взятках, связанных с портовыми администрациями в Румынии и других странах на Балканах.

Из беседы с Уигчерчем Кэмерон заключает, что подозрения следователя основаны на сведениях о знакомстве Отто с несколькими беженцами. Это люди того же круга, что и Бруно Аккерман. Они замешаны в спекуляциях на черном рынке и как будто собирались ввозить в Палестину оружие для полувоенных организаций еврейских поселенцев. Оказавшись выброшенными на чужой берег, многие из них, люди средних лет, не имеющие полезных гражданских профессий и не умеющие делать что-либо своими руками, вновь начинают думать о заработке, ибо не представляют, как им удастся прожить завтрашний день. Некоторые из них надеются нагреть руки на менее сообразительных товарищах. Другие обещают устроить все, что только может представиться нужным, при условии получения приличных комиссионных.

Но Отто совсем другой человек, думает Кэмерон.

На следующий день Кэмерон вновь направляется в штаб и проводит там несколько часов. Штаб размещается в строениях монастыря на полпути к вершине горы Кармел. Это сырое здание, с крашенных потолков которого во время дождя беспрестанно падают капли воды.

После совещания Кэмерону удалось проехать по городу и посмотреть на дом, приобретенный Отто. С балкона дома, судя по его положению, должен открываться вид на голубое пространство залива. Но сейчас дом закрыт, закрыты и ставни, защищающие комнаты от яркого света. На воротах цепь и замок. Уезжая из Хайфы, Кэмерон полагает, что ему удалось донести мысль о том, что Отто вовсе не беспринципный авантюрист, до Уигчерча.

По возвращении в Александрию Кэмерон пытается отыскать Аккермана. В конце концов, он встречается его в кабаре «Клеопатра». Он долго говорит с Аккерманом, пытаясь донести до него всю серьезность ситуации, в которой находится Отто.

— В конце концов, — говорит Кэмерон, — это ведь вовсе не мое дело. Но неужели вы не хотите ему помочь?

Аккерман отвечает ему не сразу. Он долго думает и в конце концов говорит:

— Хорошо, м-р Кэмерон. Я знаю, что вы порядочный человек. Но есть и другие люди. Остерегайтесь их. Я думаю, вам придется съездить в Мекс.

Итак, вскоре после возвращения в Александрию из Хайфы, Кэмерон едет в расположенный неподалеку от Александрии курортный городок Мекс. Пальмы высажены посреди обширных клумб с сальвиями и каннами, а белые стены домов утопают в зелени. Здесь обычно отдыхают состоятельные люди из Александрии.

В Мексе Кэмерон находит человека по имени Ронис. Эдди попал в Александрию из Польши в начале тридцатых годов. На вид ему сорок с небольшим. Кэмерон полагает, что Эдди Ронис один из тех, кто занимается финансовыми аспектами деятельности Еврейского агентства. Расчеты с организациями и частными лицами проводятся наличными и через офшорные компании, имеющие счета в банках нескольких нейтральных стран.

Эдди Ронис — блондин очень крупного сложения. Он постоянно вытирает носовым платком пот с низкого и широкого лба, над которым светлые, аккуратно подстриженные кудри. У него крупные руки с толстыми пальцами. Он хозяин небольшого ресторана в Мексе. Он сидит у себя в офисе под большим вентилятором, расстегнув пиджак и распустив галстук, с сигаретой в зубах. Пепельница на столе перед ним полна окурков.

— Кто вы? — спрашивает Ронис, когда Кэмерон подходит к нему и говорит, что хотел бы побеседовать. Кэмерон представляется ему как знакомый Аккермана и Отто.

— Я хотел бы кое-что узнать, — говорит он.

— Почему вы пришли ко мне? — спрашивает Ронис.

— Я думаю, что вы хотите помочь Отто не меньше, чем я, — отвечает Кэмерон. Ронис закуривает сигарету и погружается в раздумья.

Наконец приносят арабский кофе в маленькой медной джезве. Ронис разливает его по чашкам. Потом он начинает говорить. Он говорит медленно, тщательно

подыскивая слова. В ответ на некоторые вопросы Кэмерона, он поводит головой, что, очевидно, означает то, что ему нечего больше добавить к уже сказанному. Иногда он повторяет уже произнесенные фразы. Кэмерон же пытается объяснить, что именно его интересует.

— Мне надо знать, с кем был близок Отто, обычно у каждого человека есть друзья, он связан с женщинами, у делового человека всегда есть партнеры, должники, кредиторы, и я полагаю, что кто-то из них решил посадить его в тюрьму, потому что это отвечает его или ее интересам, так что кто-то из них обязательно будет знать больше, чем следовало бы... Но его или ее надо найти...

— Не так-то просто ответить на ваши вопросы. Я знаю кое-что, но многого не знаю, — говорит Ронис.

— Но вы должны быть в курсе его дел...

— Что вы имеете в виду? — Ронис затягивается сигаретой.

— Насколько я понимаю, нам следует поговорить о беженцах.

— Ну что ж, — говорит Ронис, — я готов вас выслушать...

— У меня есть друзья, еврейская семья из Австрии, они успели бежать из Вены, но они в Италии, и я хотел бы, чтобы им помогли попасть в Палестину. Отто обещал мне помочь. Он единственный человек, которого я знаю и которому доверяю. Конечно, я беру все расходы на себя. Но в настоящий момент мои соотечественники и сослуживцы арестовали его. Как видите, я ничего не скрываю. Я не верю, что Отто виновен в чем-либо серьезном и я хочу помочь ему выйти из тюрьмы. Поверьте мне, это правда. Даю вам слово. Но чтобы помочь Отто, я должен знать, как лучше всего подойти к этому вопросу, с какого конца... Его подозревают в том, что он содействует проникновению немецких агентов в Палестину. Они прибывают туда вместе с настоящими беженцами. Я видел кое-какие бумаги и мне кажется, что Отто попал в тюрьму вместо кого-то другого. Я слышал, что Отто был связан с человеком по имени Псафас, — говорит Кэмерон, — Андреас Псафас. Вам знакомо это имя?

— Да, знакомо, — говорит Ронис, — но вы можете узнать о нем у Инге.

— Но я здесь, и я бы хотел услышать от вас все то, что возможно. Мне нужна ваша помощь...

Ронис начинает говорить, но делает это очень неохотно.

Оказывается, именно Инге познакомила Отто, появившегося в Александрии вскоре после гибели ее мужа в аварии на автогонках, с Псафасом. У Псафаса большие связи в деловом мире, где сам он занимает довольно серьезные позиции, но нет друзей. Вскоре после того как они познакомились, Отто и Псафас стали деловыми партнерами. Позднее, когда одно из судов с беженцами было потоплено англичанами, партнерство распалось, и в последний год они уже не работают вместе. Ходили слухи, что судно это принадлежало Псафасу, хотя и плавало под коста-риканским флагом. Похоже, что у Отто и Псафаса есть еще неразрешенные вопросы финансового свойства, связанные с затонувшим судном. Кэмерон спрашивает у Рониса, может ли оказаться, что за всем, что происходит с Отто, стоит Псафас?

Ронис долго молчит.

— Все может быть, — отвечает он, — но нужны доказательства...

— Возможно ли, что у Псафаса есть свои интересы, связанные с нелегальной переброской беженцев из Европы? Возможно ли, что он поддерживает связи с оккупированной Грецией?

— Этого я пока не знаю, — говорит Ронис.

Кэмерон вспоминает, что однажды он видел Псафаса, выходящего из военной комендатуры.

Мужчина среднего роста, загорелый, с темно-кариими глазами, плотного сложения, с курчавыми завитками черных волос, в светлой шляпе, светлом костюме, темных туфлях, и с массивным золотым перстнем на безымянном пальце правой руки. Псафас быстро окинул взглядом людей, сновавших вверх и вниз, спустился по ступеням, уселся рядом с шофером в поджидавшую его черную «Ланчио», и через несколько секунд его автомобиль исчез в потоке автомобилей, направляющихся в сторону гавани.

Затем голос Рониса возвращает его к реальности.

— По-моему, вам нужно побеседовать с Инге, — говорит он.

От Рониса Кэмерон узнает, что Инге недавно приезжала в Мекс для встречи с Псафасом. Внешне Кэмерон никак не реагирует на слова Рониса. Он допивает кофе, берет предложенную Ронисом сигарету и думает о том, что, скорее всего, ведет себя правильно, стараясь сообщать Инге как можно меньше из того, что ему удастся узнать.

15

Вернувшись в Александрию из Мекса, Кэмерон направляется в дом на длинной набережной Абдулла-паши. Вот слова, с которыми он обратился к Инге:

— Если вы просите меня о помощи, то постарайтесь хотя бы описать ситуацию, в которой мы обретаемся, по возможности, полнее. Вы встречаетесь с Псафасом, с которым вас связывают длительные отношения, но вы ничего не говорите мне...

Инге не отрицает того, что связь с Псафасом когда-то имела место и началась еще до того, как Отто появился в Александрии. На вопрос о том, зачем она встречалась с Псафасом в последний раз, она отвечает, что понимает, что Кэмерону трудно сделать что-либо свыше того, что он уже сделал. Она обратилась к Андреасу, надеясь, что его связи помогут освободить Отто.

— Откуда вы знаете Псафаса? — следует вопрос Кэмерона.

С Псафасом она знакома много лет, он был деловым партнером и другом ее мужа. Именно благодаря поддержке Псафаса она сумела сохранить значительную часть состояния ее мужа, у которого ко времени его гибели накопились большие долги. Псафас спас ее от кредиторов.

— Он говорил, что любит меня, а у меня все больше нарастало ощущение, что я полностью принадлежу ему... Со мной происходило что-то странное, — я была обескровлена смертью мужа, мне нужна была поддержка, но с Андреасом я чувствовала, что теряю самое себя... Я хотела расстаться с ним, но у меня не хватало сил. Так продолжалось до приезда Отто. Я поняла, что начинаю воскресать. Отто попросил меня познакомить его с Псафасом... Они долго беседовали... Несколько вечеров. Не знаю, о чем они договорились. Но я стала возвращаться к жизни... Вскоре я рассталась с Псафасом.

16

Через несколько дней Кэмерон узнает, что венгерская певичка Лола Дарваш подтвердила алиби Отто, после того как арестованный в Александрии поджигатель назвал день и время их встречи.

Кэмерону кажется, что дело против Отто начинает понемногу разваливаться. Однако, вновь прибывший в Александрию Арчи Холмс, чья лысая голова несколько напоминает лошадиную, считает, что подобное алиби недорого стоит. Теперь центр деятельности следствия перемещается в Александрию, куда скоро будет перевезен и Отто.

Кэмерон направляется в дом на набережной Абдулла-паши. Вскользь отмечает он в дневнике наступление весны и ослепительный блеск солнечных лучей, отраженных опахалами пальм.

От Инге Кэмерон узнает, что та ожидала его появления сегодня, в ее день рождения. Она говорит, что предчувствовала и знала, что это произойдет. Кэмерон спрашивает, откуда это могло быть известно Инге. Та отвечает, что носила чашку, из которой Кэмерон пил кофе, к ясновидающей. Инге спрашивает у Кэмерона, по-прежнему ли он уверен в своих познаниях по поводу Псафаса. Кэмерон говорит, что у него пока нет доказательств.

В этот вечер они пьют вино и становятся любовниками.

Наутро Инге встает с постели и направляется к окну.

— Так я привыкла начинать свой день, — говорит она, — с тех пор как я попала в Александрию, я каждое утро подхожу к окну и гляжу в море.

Далее следуют воспоминания Кэмерона о женщинах, с которыми он был близок в разных странах. Он сравнивает их поведение в постели, их отношение к тому, что он называет «love-making», то, как они говорят и ведут себя, как меняется цвет их глаз и тембр голоса.

17

В последующие дни Кэмерон заносит в дневник несколько записей, сравнивающих психологию и поведение Инге и Ханы.

Хана руководствуется в своих поступках своими эмоциями и надеждами. Инге не ожидает от будущего ничего хорошего. Какая-то тревога почти постоянно сопутствует ей. Взгляд ее порой перебегает с предмета на предмет, фиксируясь затем на окне и гавани. Но порой они ведут себя совершенно одинаково, и Кэмерон признается, что грань между ними стирается даже в его сознании.

18

Однажды ночью к Кэмерону приходит человек от Рониса. Невысокого роста, с покрытым ровным загаром пичьим лицом и манерами мелкого клерка, совершенно безукоризненно одетый, он передает Кэмерону пакет с документами. Среди прочего, Кэмерон узнает, что Андреас Псафас учился в немецкой гимназии в Александрии вместе с будущим мужем Инге. Вслед за этим Кэмерона вызывают на допрос.

Следователь полагает, что Инге была в компании Кэмерона перед тем как приняла яд. Во всяком случае, для следователя все выглядит так, будто Инге приняла яд вскоре после его, Кэмерона, ухода.

Те же пластинки разбросаны по полу, финики и сушеный инжир, маленькие белые чашки с остатками кофе и бутылка испанского коньяка «Фундадор» на столике. Постель раскидана. Пепельница, бокалы и чашки свидетельствуют, что Инге была не одна. Тело ее обнаружено на полу. Похоже, что она направлялась в ванную.

— Или к окну? — спрашивает себя Кэмерон.

Ковры в комнате впитали миндальный аромат синильной кислоты. Небольшой хрустальный флакон найден на полу у окна с видом на серый, словно выцветший залив.

Кэмерон подавлен. Он утверждает, что появился в доме на бульваре Абдулла-паши около девяти вечера и ушел оттуда около шести утра. И в самом деле, вернувшись от Инге к себе домой, он уселся за дневник, с тем чтобы описать события последних дней. Он пытается узнать, приходил ли к Инге кто-нибудь после него и не может получить вразумительного ответа. Служанка говорит, что вскоре после его ухода в доме прозвучал телефонный звонок. Инге долго говорила с кем-то по-немецки. Кэмерон пытается узнать у служанки, с кем, помимо Отто, могла Инге говорить по-немецки, но служанка как будто не понимает вопроса. Кэмерона окружает атмосфера страха и нежелания говорить.

19

В тот же день Кэмерон направляется к ясновидящей. Ее зовут мадам Элени, она уроженка Мальты. Она живет в небольшом доме на одной из пыльных окраин Александрии.

Здесь, похоже, уже наступила весна. Невдалеке заброшенный и никем не тронутый берег моря. Кое-где вокруг растут финиковые пальмы и смоковницы. Их плотные, темно-зеленые листья покрыты пылью.

Кэмерон останавливает автомобиль у двухэтажного дома с наружной лестницей, ведущей на балкон второго этажа. Дом побелен, а ставни, выкрашенные в синий цвет, плотно закрыты. Комната, в которую он попадает, увешана коврами.

Мадам Элени предлагает Кэмерону чашку кофе. Она просит Кэмерона выпить кофе и перевернуть чашку от себя на блюдце. Затем она снимает чашку с блюдца, заглядывает внутрь и ставит ее на бумажную салфетку доньшком вверх. Вскоре, убедившись, что кофейные узоры на внутренней поверхности чашки высохли, она начинает говорить. Она говорит по-гречески, но Кэмерон не понимает ее. Затем гадалка неохотно соглашается перейти на английский. Поначалу мадам Элени отказывается рассказать Кэмерону что-либо о его будущем. Кэмерон настаивает. Он ссылается на Псафаса, это благодаря Андреасу он явился к ясновидящей. Он просит ясновидящую рассказать ему, отчего покончила с собой Инге.

Мадам Элени пытается удержать его от непродуманных шагов. Она говорит ему, что Инге осталась бы в живых, если бы последовала ее совету покинуть Александрию.

— Для некоторых людей этот город опасен, — говорит она, не глядя в глаза сидящему против нее мужчине. Кэмерону угрожает смертельная опасность, ему не следует оставаться одному...

— Но каждый из нас — один, — говорит Кэмерон.

20

Вечером Кэмерон направляется в кабаре, где когда-то познакомился с Отто.

Певичка напугана, англичане вызывали ее на допрос, она все еще боится неприятностей из-за ареста Отто. Аккерман уже побывал на допросе, он раздражен и не хочет ни о чем говорить с Кэмероном. Впрочем, он соглашается выпить бокал шампанского.

— Шампанское полезно в моем возрасте, — говорит он по-немецки, — оно разогревает кровь. Хотите, поедем к девушкам? — предлагает он Кэмерону. — Они попали сюда недавно с континента и совсем еще не видели света, — говорит он и сам смеется собственной остроге. Вскоре Аккерман покидает кабаре, признавшись, что от шампанского у него пучит живот. Кэмерон остается один и заказывает себе коньяк. Внезапно он понимает, что ему некуда идти. В ожидании конца представления он выпивает больше, чем следовало бы. Позднее, из обрывка услышанного в туалете разговора, он делает вывод, что за ним следят. Следят свои же коллеги, приговарываясь, что встреча в кабаре, — дело случая. Скорее всего, они что-то извлекли из того, что я переписываюсь не только с Брайгоном, думает Кэмерон, кажется я упоминал имя Инге в письме к Хане, но я не мог этого не сделать.

Наутро Кэмерон анализирует причины того, что ему не доверяют его же коллеги.

Он скомпрометирован дружбой с Отто, который все еще находится под следствием. Он скомпрометирован и отношениями с покончившей с собой Инге. Следовательно говорит ему, что, скорее всего, это было самоубийство, никаких следов насилия на теле Инге не обнаружено. Кэмерон понимает, что он в тупике. Его мучает вопрос, стоит ли предпринимать какие-либо действия или следует пустить все по течению...

Постепенно Кэмерон приходит к заключению, что ему придется встретиться с Псафасом. Он полагает, что Псафас, скорее всего, именно тот человек, что скрывается в тени. Кэмерон звонит Псафасу и наталкивается на его секретаря.

— Да, — говорит тот, — г-н Псафас предупредил меня о вашем звонке. Он готов с вами встретиться там, где вы сочтете это удобным... Вас устроит кафе во внутреннем дворе кабаре «Клеопатра»?

Кэмерон соглашается. Встреча назначена на начало следующей недели, на вторую половину дня понедельника, ибо в настоящий момент, как говорит секретарь, г-н Псафас находится в отъезде.

21

Предпоследняя запись в дневнике рассказывает о том, что за день до встречи с Псафасом Кэмерон внезапно вспомнил сцену из представления «Дон Жуана» в Венской опере, где повеса приглашает на обед Командора. Он пишет о приподнятом состоянии духа и вспоминает, как в перерыве между действиями онпил сухое шампанское и раскурил сигару, пепел которой упал на манжету.

Следующая запись рассказывает о том, что Кэмерон сортирует свой архив и оставляет письмо с указаниями о том, как поступить с письмами, пришедшими и в его адрес, в случае его смерти.

Последняя фраза достаточна тривиальна: «Now everything finally seems to be falling into place».

Следует отметить, что слова эти для осведомленного читателя звучат зловеще... На этом текст, опубликованный Браунли под названием «Африканский дневник», заканчивается. Далее в книге помещено краткое сообщение об обстоятельствах гибели Иена Кэмерона. Из него следует, что на следующий день неизвестный застрелил Кэмерона в кафе, в заднем дворике кабаре «Клеопатра». Толбота, который обычно сопровождал Кэмерона, при этом не было.

Между тем причина отсутствия Толбота объясняется просто.

В тот день в кафе был произведен обыск, и вся контрабандная выпивка была конфискована. Кэмерон, не сумев приобрести выпивки в кафе, попросил Толбота раздобыть где-нибудь спиртное. Толбот отсутствует минут пять-десять. За несколько минут до возвращения Толбота в кафе убийца застрелил Кэмерона и скрылся. Через пару минут после появления Толбота к кафе подъехал автомобиль Псафаса, черная «Lancia». Узнав, что Кэмерон убит, Псафас покинул кафе, оставив свой адрес и телефон военной полиции.

Расследование, проведенное военной прокуратурой, ни к каким результатам не привело.

Комментарии

В своих комментариях Браунли приводит текст заключения следователя военной прокуратуры о дневниках Кэмерона, в котором утверждается, что данный документ не дает какой-либо ценной информации, связанной с исследуемыми вопросами, т.е. с вопросами, возникшими в связи с гибелью Иена Кэмерона.

«Более того, — пишет Браунли, — следствие предпочло, как это видно из рассмотрения заключения по содержанию дневника Кэмерона, пойти по пути сохранения чести мундира и замять все дело, представив Кэмерона завсегдатаем кабаре «Клеопатра» с широким кругом знакомств, офицером, павшим жертвой не преднамеренного убийства, но, скорее, нелепой случайности».

Далее Браунли приступает к рассмотрению вопроса о том, отчего Кэмерон-старший вел свои дневники в служебных тетрадах, и, после исследования ряда гипотез, приходит к заключению о том, что «Африканский дневник» был задуман и написан как материал апологетический, и апология эта записана была в служебные дневники с определенной целью.

Для кого именно предназначалась и писалась апология Браунли совершенно ясно, он полагает, что упоминание Кэмероном того, что за ним следят его собственные коллеги, факт, отнюдь не случайный.

Апология, полагает Браунли, предназначена для будущего читателя, если таковой возникнет.

Именно так, по словам Браунли, представлял себе ситуацию Иен Кэмерон, и именно это обстоятельство и является причиной того, что его последнее послание дошло до нас в виде дневников, оставаясь, по существу, развернутой предсмертной запиской. Предсмертной запиской и попыткой апологии, ибо, согласно Браунли, гибель Иена Кэмерона была отнюдь не случайной.

Как хорошо известно из отчета Толбота, медицинского заключения и протокола патруля военной комендатуры, составленного на месте происшествия, Кэмерон стал жертвой убийцы, который, как полагает Браунли, поджидал его появления в кафе. Мотивы убийства и личность убийцы следствием установлены не были.

Браунли полагает, что гибели Кэмерона предшествовала тщательно продуманная операция, и тем, кто ее готовил, Кэмерон был хорошо известен, известны были, в частности, его манеры и привычки. К этому заключению Браунли приходит, изучая обстоятельства, связанные с фактом конфискации спиртного из кафе во внутреннем дворике кабаре «Клеопатра». Он, как оказалось, предпринял детальное исследование архивов и установил, что, согласно хранящимся в архивах докумен-

там, в тот день подобные мероприятия в Александрии были проведены в ряде портовых увеселительных заведений, как об этом и говорил Толбот. Обыски и изъятия контрабандных напитков проводились военной и портовой комендатурой.

При этом Браунли отказывается верить в случайность и совпадения.

Он полагает, что удаление Толбота со сцены не только упрощало обстоятельства покушения на Кэмерона, но и превращало Толбота в козла отпущения, ибо, последний сопровождал Кэмерона для обеспечения его безопасности.

Из материалов следствия известно, что, по словам Псафаса, предложение Кэмерона о встрече его не удивило. Он слышал о том, что Кэмерон поддерживает приятельские отношения с Отто. Учитывая то обстоятельство, что его бывший компаньон находится под следствием, он не был удивлен звонком Кэмерона и его предложением встретиться.

На вопрос о том, кто конкретно был организатором убийства Кэмерона-старшего, Браунли не дает прямого ответа, лишь заостряя внимание читателей на приведенных материалах и рассуждениях.

Более того, Браунли утверждает, что одни лишь здравый смысл и логика помочь разобраться в этом деле не смогут. Нужны дополнительные сведения, а их нет...

И поскольку, говорит Браунли далее, ему не удалось получить доступ к архивам Управления контрразведки в Палестине, он не может ничего добавить к вопросу о цели и этапах планирования и выполнения операции, в ходе которой был арестован Отто, который позднее был освобожден за недоказанностью обвинений в организации поджогов.

Не удалось Браунли установить и имя того человека, что руководил операцией по борьбе с инфильтрацией немецких агентов в Палестину, и мог таким образом иметь прямое отношение к судьбе Иена Кэмерона.

При этом сам Браунли полагает, что одним из наиболее важных вопросов, возникающих в процессе изучения «Африканского дневника», является вопрос о знакомстве Иена Кэмерона с Отто. Состоялось ли это знакомство так, как это описано в «Африканском дневнике»?

«Рассуждая логически, нельзя исключить того, — пишет Браунли, — что Инге могла узнать о Кэмероне-старшем от своей кузины Ханы Фриш, находившейся в Лондоне. И если сведения о Кэмероне впервые поступили в дом на набережной Абдулла-паши от Ханы, находившейся во время войны в Лондоне, то смерть Кэмерона приобретает еще одно, дополнительное измерение...» — полагает Браунли.

Естественно, что помимо этого остается загадкой, как говорит Браунли, и причина смерти Инге.

Браунли утверждает, что отношения между Инге и Отто, скорее всего, были отнюдь не такими простыми, как это могло показаться. Они вовсе не были братом и сестрой, скорее всего, это лишь метафорическое описание их взаимоотношений после их встречи в Александрии в 1938 году.

Когда Отто приехал в Александрию, Инге представила его Псафасу, с которым у нее был в ту пору роман, как своего брата. Браунли же считает, что Отто и Инге были когда-то близки. В какой-то момент они расстались. Позднее Инге уехала из Вены в Александрию. Прошло время, и вот они снова встретились в Египте.

В подтверждение этого Браунли ссылается на свои беседы с выходцами из довоенной Вены, проживающими в Англии.

Далее Браунли постарался проследить судьбы наиболее важных, по его мнению, персонажей.

Согласно его разысканиям, Отто вышел из тюрьмы вскоре после смерти Инге и гибели Иена Кэмерона. Спустя некоторое время, он покинул Александрию, но всегда оставался на Ближнем Востоке. Поначалу он перебрался в Хайфу, затем в Тель-Авив и со временем в Иерусалим, став одним из руководителей израильской разведки.

Арчи Холмс, вскоре после гибели Кэмерона, переведен был в Иерусалим, где позднее стал жертвой взрыва, организованного в июне 1946 года вооруженно й организацией еврейских поселенцев «Иргун цвай леуми» в отеле «King David», где размещалась британская администрация.

Что же до Псафаса, то основанная им династия судовладельцев до сих пор играет определенную роль в торговом судоходстве на Средиземном море. Сам Псафас, однако, погиб в начале шестидесятых годов в автомобильной катастрофе во время путешествия по Южной Америке.

В пабе The Eagle and Child

После окончания семинара в Сент-Энтони мы с Алистером направились в паб «Орел и дитя», известном как место, где любили бывать К.С. Льюис и Дж.Р.Р. Толкиен. Доклад Браунли не содержал ничего нового, то была очередная попытка разжечь давно уже потухший костер.

Прогулка по тенистой Вудсток Роад привела нас к двухэтажному зданию с выкрашенным в серо-зеленоватый тон фасадом с темными переплетами окон и высокими, с того же размера окнами, мансардами на Сент Джэйлс Стрит. Был теплый день и мы решили посидеть в саду. Вскоре появился официант с заказанными у стойки Fish and Chips и чуть влажными кружками светлого эля.

Как оказалось, Алистер подумывал о написании книги, посвященной биографии Иена Кэмерона, но до сего времени не сумел заинтересовать своим проектом какое-либо известное издательство.

— Для них я — никто, — сказал он, имея в виду издателей, — их не интересует биография, написанная «ученым сухарем» из Сент-Энтони. Но вот если бы у меня были другие книги, уже опубликованные, речь, возможно, пошла бы несколько иначе... Между тем, — добавил он, — мне удалось кое-что выяснить в ходе моей последней поездки в Израиль... В свое время Отто был действительно связан с людьми из Еврейского агентства и занимался вопросами, связанными с транспортировкой еврейских беженцев в Палестину.

— Судя по всему, — продолжал Алистер, — ему поначалу удалось увлечь Псафаса идеей выгодного сотрудничества. Однако в дальнейшем сотрудничество это распалось. Произошло это после того, как судно с беженцами под коста-риканским флагом было затоплено англичанами. Кстати говоря, насколько я понимаю, Кэмерон считал преступлением то, что британские моряки топили невооруженные транспортные суда с беженцами из Европы.

— Конечно, — сказал мой знакомый несколько позднее, — нельзя недооценивать проделанную Браунли работу. Правда, рассуждая о гибели Кэмерона, он пытается попутно, сознательно или бессознательно, очернить деятельность хорошо знакомой ему английской контрразведки. Это неудивительно, вы ведь, наверное,

знаете, — продолжил он с усмешкой, — что Браунли сам долгое время находился под наблюдением контрразведки по подозрению в измене. Считалось, что он что-то утаивает в своих отчетах о поездках в Чехословакию, предпринятых им в качестве туриста. Впрочем, все эти люди одним миром мазаны. Я говорю о людях из контрразведки и о тех, кто им обычно противостоит... В России, насколько я знаю, все это кончается иначе. Блюмкина, например, просто расстреляли в подвале, — добавил Эйди. — В сущности же, Браунли полагает, что контрразведка избавилась от Кэмерона, используя услуги так или иначе заинтересованных в этом лиц... То есть, и это вполне возможно, что он переносит свое видение мира на оценку ситуации с Кэмероном. Ведь, в конце концов, тот указывал в своем дневнике, что за ним следили его коллеги по службе... Хорошо еще, что Браунли не стал подозревать Толбота...

— Естественно, — продолжал д-р Эйди, оглянувшись на погруженных в свои разговоры людей за другими столиками в освещенном солнцем саду, — все это как будто противоречит и здравому смыслу, и нашему ощущению того, что какие-то вещи попросту не могут произойти, но отсюда, из Англии мы часто видим вещи совсем не так, какими они являются нам на Ближнем Востоке.

P.S. Со времени той беседы прошло около двух десятилетий. Алистэр Эйди все еще преподает в Сент-Энтони, черты лица его стали несколько жестче, он почти так же строен как был, но седины в его волосах стало больше. Эйди оставил идею написания биографии Иена Кэмерона, но по-прежнему включает «Африканский дневник» в список рекомендуемых его аспирантам книг. Ну, а Браунли отправился доживать свои годы на один из греческих островов.



Джеймс Кейтс

ГОЛОСА ВЕТХОГО ЗАВЕТА

Перевод Григория Беневича

Джеймс (Джим) Кейтс (J. Kates) 1945 г.р. — известный американский поэт, переводчик и содиректор издательства «Зефир Пресс», специализирующегося на издании переводов современных авторов из России, Восточной Европы и Азии. Им были опубликованы несколько наиболее авторитетных сборников переводов современной русской поэзии. Поэтические переводы с русского и испанского языков Дж. Кейтса неоднократно отмечены в США национальными премиями, в частности, недавно он был удостоен Cliff Becker Book за переводы избранных стихов Михаила Еремина: *Selected Poems of Mikhail Yeryomin* (White Pine Press, 2014). В 2016 г. увидит свет, подготовленная Дж. Кейтсом, книга переводов стихов известного петербургского поэта С. Стратановского. Помимо активной переводческой деятельности, Дж. Кейтс опубликовал три сборника своих стихов: *Marrmonde* (Oyster River Press); *Metes and Bounds* (Accents Publishing) и *The Old Testament* (Cold Hub Press) а также книгу: *The Briar Patch* (Hobblebush Books). *Дж. Кейтс является вице-президентом Американской Ассоциации литературного перевода.*

Пришло время и русскому слогу ответить Дж. Кейтсу взаимностью. Предлагаемая читателю в переводе подборка представляет собой цикл из книги «Ветхий Завет» (*The Old Testament, Cold Hub Press, 2010*). Цикл является опытом поэтического вживания в героев Ветхого Завета и «актуализации» повествования о них, о чем свидетельствуют, в частности, посвящения некоторых стихов близким людям. При этом иногда поэт обращает внимание не на самые известные моменты библейских историй, так что без обращения к Библии (это всегда нелишне) его стихи не понять. Для удобства читателя переводы снабжены ссылками на те или иные места Св. Писания, которые имеет в виду автор.

Г. Беневич

1. Лот

*Ей никогда не нравилось, как я пью
и забочусь о дочерях.
Она все время напоминала:
у родителей было не так —
весело и каждый день вечеринки.
Оргии, — я говорил.
А она мне: ханжа,
все это делают, чем ты лучше?
Не будь город забит содомитами,
они бы и сами тогда там стояли;
вовремя же нас выпихнули*

*когда они голодны, все люди — братья,
и кто посадил меня в ров,*

*и кто меня оттуда извлек.
Если найдется среди них невинный,
пусть обременят его краденным,
и смирят вместе с другими.*

См. Быт. 37-40

4. Аарон

Чину Бамберггеру

*Его рот полон камней,
теснясь, стучаясь сталкиваясь
слова свободы падают из его рта,
как разбитые скорлупки,
установления и заповеди,
как расколотые косточки
фруктов.*

*Он все может сделать руками,
ему достаточно их поднять.
Но его пальцы слишком тонки,
мятежны, порхающие, как язык,
боящийся тронуть то, что легко движется.*

*Он держит посох над головой,
проводя Божью славу,
открывая проход через море,
родники в пустыне.
Я сгибался, поднимая его,
живого, из грязи.*

*Я леплю образы для народа
из сданного золота
и все время говорю.
Я ловчу, чтобы отвлечь толпу,
пока он карабкается один по склону
и возвращается, сияя,
безмолвным.*

См. Исх. 4, 10-14; 7, 9-10; 16; 17, 5-7; 19, 20-24, 31-32.

*Мы — отряд Бога чисел.
Люди, как и сила
умножаются трубою Его гласа
и молчаньем исполненных страха.*

См. Суд. 6;7

7. Самсон

*Я бросался как пустое ведро
в ее постель. Три раза я пытался,
три раза проваливал испытанье —
я не разгадал свою загадку.*

*Мужчина, не знавший сладости
в утробе, заболевает от силы,
от махания сухой костью.*

*Кто ты и зачем пришел
вести меня как мельничного вола,
месить солому голыми ногами,
я знаю, мой мальчик.*

Я не так глуп, как ты думаешь.

*Твои волосы отрастут, и борода загустеет,
и ты найдешь утешение
в объятиях женщин.*

См. Суд. 14-16, в частности, 16, 26.

8. Илий

*Повернувшись спиной к моим детям, я сел
и увидел тетку, напивающую пьяной,
что-то бормочущую при входе в храм.
Она сказала, что молится о чуде,
и я заверил ее, что Бог их насылает.
Позднее, она оставила со мной сына
и ушла, распевая, бездетная как прежде.
Когда б она ни пришла, я ее кляню.
Я посылаю парня с обычными поручениями
по дому, расстроенному негодяями,
где я молюсь лишь о крепком сне.*

См. 1 Цар. 1-4

9. Саул

*Я был на голову выше всего народа,
даже когда выходил на простые задания,
и люди, думающие о царях,
шептали мое имя.*

*Я полагал всех врагов под свою руку.
Теперь левую я поднимаю с трудом,
А правая — барабанит, как пять дураков по столу.*

*Мой сын лукавит,
стреляя из лука,
нарочно промахиваясь.*

*И вот, здесь — пустое место в застолье,
бреши среди товарищей,
боль, дергающая на месте недостающего зуба.
Где молодой герой, который должен быть здесь,
юноша, который бы заносился перед гигантами?
Усох ли я до соринки в его глазу
так, что у меня высохло помазание?*

*Старик может срать, может спать,
его можно пожалеть,
потому что он безвреден —
царь заблудших ослиц.
Он может бросить копьё в дыру
и смотреть, как оно дрожит в грязной стене,*

*но, промахнувшись,
ему недостает музыки,
чтобы убаюкать его утром.*

*Это также песня царя Давида,
дрожащего в объятьях Ависаги*

См. 1 Цар. 9; 18; 20; 24, 4-7, 20; 3 Цар. 1, 3

10. Авессалом

Полу У. Кейтсу

*Отец, я повис здесь,
ожидая меча,
который ты больше непустишь в ход
против одного из нас.*

*Прежде, чем он меня настигнет, скажу:
и у меня есть горница над воротами,
где я со слезами твержу твое имя,
в моем изгнании и в твоём,
все эти годы в одном городе,
где мы ни разу не поговорили.*

*Первый вестник скажет,
что ты победил,
но ты спросишь обо мне
и не получишь ответа.*

*Второй вестник скажет правду.
Пусть все твои враги и восставшие на тебя,
будут как я,
любящими тебя
и свидетельствующими о твоей любви,
хоть я и повис здесь
на длинных волосах.*

См. 2 Цар. 18, особенно 18, 33, см. также стихотворение Г. Лонгфелло «Горница над воротами» («The Chamber over the Gate») о Давиде и Авессаломе и песнопение Томаса Томкинса (XVII в.) «Когда Давид услышал, что Авессалом был зарезан»: <https://www.youtube.com/watch?v=p9jgTBJ9Xbk>

Прилагаю оригиналы:

THE OLD TESTAMENT

J. Kates

*P. O. Box 221
Fitzwilliam, New Hampshire 03447
603-585-3347
jkates@worldpath.net*

OLD TESTAMENT VOICES

1. LOT

*She never liked the way I drank
or looked after the younger girls.
She kept reminding me how life
was different in her father's house:
always the parties, the good times.
Orgies, I said.*

*She called me prude.
Everyone does it. You're no better.
If the city hadn't been full of faggots,
they'd have been on the streets by then,*

*and only just in time the strangers
hustled us all into the country.
They learned to pay attention to me,
thank the Lord, and now they're grateful.
See how they bring me sweet wine
to wash the salt out of my mouth.*

2. JACOB

for Peter Kates

*I crossed the river feeling for sink-holes
with a crooked staff and a blind man crying
"Thief! Thief!" while my brother wept,
the beggar, hungry as a hunter.*

*He is coming to meet me.
The desert trembles, he is still too far away
for me to see his hands.*

*Angels camp at the Jabbok ford.
I have offered him everything I own —
nothing I claim is mine by right,
All I keep is the blessing I stole.*

*Who are you, dressed like my brother Esau,
straining in my smooth arms,
begging me to let you go?*

3. JOSEPH

*Men have been hanged for a loaf of bread
and for dreaming of birds.
Understand this,
and work your way out of any prison.*

*What was my crime? Dreaming that a lord
slept uneasily in his own bed,
putting one word next to another word
and fleeing naked.*

*I recognized the man who held the cup
as one whose dreams I understood:
Hungry enough, all men are brothers —
those who cast me into the pit*

*and those who drew me out of it.
If there is found among them one still innocent,
let him be saddled with stolen goods
and humbled with the others.*

4. AARON

for Chip Bamberger

*He has stones between his teeth.
Lisping, spluttering, stuttering,
the words of freedom fall out of his mouth
like broken nutshells, admonitions
and commandments like the cracked pits
of luscious fruit.*

*He can do anything with his arms,
he has only to lift them --
but his fingers are too subtle,
rebellious, fluttering like his tongue,
afraid to touch what moves suddenly.*

*He has held his staff over his head
conducting God's glory, opening
passage through the water, wells
in the desert; I have bent down
to pluck it writhing out of the dust.*

*From private gold I fashion public images,
talking all the time.
I do tricks to distract the multitudes
while he stumbles up the mountainside alone
and returns shimmering,
speechless.*

5. JAEL

*I waited in the tents when the men went out.
I heard the noise of battle in the distance
while the milk I set aside cooled and curdled.*

*The tidings came back garbled and torn
like the fleeing warriors who flung them to me:
the kind befriended by my husband
had vowed two maids to every man
and been humbled by a woman,
brought low by Deborah.*

I exulted, sister.

*And when he stumbled through the silk and wool,
dusty with our brothers' blood,
pleading for water, I fed him curdled milk
and begged him to lie down.*

*I send you his head, sister, and a tent peg and a mallet:
a gift between two women of Israel.
Let his mother weep for him.*

6. GIDEON

*While I was threshing wheat behind the winepress
and keeping secret, he said to me,
If I can strike fire from the rock
I will make a man of valor out of you.*

*All this was done with words
like a stick against the flesh,
nothing but noises clashed against each other
to let the light shine through.*

*So I went against the dumb thing of Midian
with ten men only like a small stand
of flaming trees, and we cast it down
into its silence.*

*We are a division of the god of number.
As the man is, so is strength
multiplied by the trumpet of his speech
and the silence of the fearful.*

7. SAMSON

*I dropped like an empty bucket
into her bed. Three times I tried,
three times failed the test —
I had not yet guessed my own riddle.*

*A man who has never known sweetness
in his belly grows sick of strength,
of swinging a dry bone.*

*Who you are and why you come
to lead me in my traces like a mill-ox*

*mashing the dull chaff under my bare feet
I know, my boy,*

I am not so stupid as you think.

*Your hair will grow, your beard thicken
and you will find some comfort
in the arms of women.*

8. ELI

*I turned my back on my children and sat down.
I watched an aging woman heavy with drink
mumble obscurities at the doorpost of the temple.
She said she was praying for a miracle
and I warned her that God does inflict them.
Later, she left her son with me
and departed singing, childless as before.
Whenever she returns I curse her with abundance.
I send the boy on the ordinary errands
of a household mismanaged by scoundrels
where I pray for nothing more than a sound sleep.*

9. SAUL

*Once I towered over the best of my tribe.
When I walked out, even on trivial errands,
men who were thinking of kings
whispered my name.*

*The force of my arm drove all enemies down.
Now I lift my left hand only with trouble,
the right drums like five fools on the table.
My sons are treacherous archers
who shoot deliberately to miss the target.*

*There is an empty seat, a gap in the company,
a missing tooth throbbing in my jaw.
Where is the young hero who should be here,
the lad who would swagger out against giants?
Have I withered to a mote in his eye
now that the oil is dried?*

*An old man can shit, can sleep, be pitied
because he is harmless, a king of wandering asses.
An old man can fling a spear at a hole
and watch it quiver in the mud wall*

*but miss the music he needs
to lull him into the morning.*

*And this is also the song King David sang
shivering in the arms of Abishag.*

10. ABSALOM

for Paul W. Kates

*Father, I hang here
waiting for the sword you will not wield
to be turned again
against one of the two of us.*

*Before it comes, just this:
I too have a chamber over a gate
where I cry and cry your name
for my long exile and yours,
for the years together in the same city
never speaking to each other.*

*The first messenger will say
that you have won the field
but you will ask after me
and get no answer.*

*The second messenger will speak the truth.
May all your enemies and those who rise against you
be as I am:
loving you
and a witness to your love
even as I hang here
by my long hair.*



Ромен Гари

ДВА РАССКАЗА

Перевод Эдуарда Шехтмана

Я говорю о героизме

Когда несколько лет назад Французский институт на Гаити пригласил меня сделать литературный доклад по своему выбору, я не колебался ни минуты и решил говорить о героизме. Этот предмет был мне близок: изучая его, я провел долгие часы в своей библиотеке. Опасности, отвага, дух жертвенности не были, можно сказать, для меня тайной, и, прибыв в Порт-о-Пренс, я был по-настоящему готов поделиться с аудиторией лучшим, что у меня было на этот счёт за душой.

Публика в Порт-о-Пренсе одна из самых утончённых и воспитанных, какую только можно пожелать, и, когда я, строго одетый, с академическими пальмами¹ на ленте в петлице, поднялся на эстраду, меня понесло как никогда. К тому же в зале было много красивых женщин, и я не мог не порадоваться, что прошёл недавно курс голодания, в ходе которого мне удалось потерять двадцать килограммов.

Я упомянул Сент-Экзюпери, Мальро² и, признаюсь, сумел довольно ловко, ни слова не говоря о моём летном опыте лишь в качестве пассажира дальних авиалиний, вернуть несколько раз «мы», причем это прозвучало достаточно внушительно, но и сдержанно. Акустика зала была превосходной, свет падал на меня, как нельзя лучше, чуть спереди и сбоку; разъяняя твёрдым голосом, что смерть, получившая решительный отпор, может придать новый смысл жизни, я краем сознания отмечал, что наше посольство тоже здесь, и, сверх того, пытался оценить число хороших женщин в публике.

Но внезапно я почувствовал на лице чей-то давящий взгляд. Он принадлежал сидящему в первом ряду господину, более черному, чем темнота зала, и ни на минуту не сводившему с меня внимательных глаз. Меня порядком раздражала его бесцеремонность, тем более что, мне казалось, я различаю какую-то насмешку в выражении его лица. Однако я не дал себя смутить и завершил доклад констатацией того, что современный герой, противостоящий смертельной опасности, вновь открывает в этот высший миг все забытые нетленные ценности и что пережитое может оплодотворить работу и жизнь.

Когда я сошел с эстрады, господин, который слушал с таким вниманием, был первым, кто поздравил меня. Он представился:

— Доктор Бонбон, — и добавил, — прекрасный доклад. Чувствуется большой личный опыт по его теме. Кстати... кое-кто из ваших читателей попросил меня сделать пребывание ваше на Гаити приятным. Я подумал, что вас позабавит, может быть, охота на акул у рифа Ирокезов. Несомненно, сильные ощущения — в вашем вкусе...

¹ Знак отличия за заслуги в области литературы или искусства.

² А. Мальро – писатель, в 1936 г. руководил зарубежными лётчиками на стороне республиканской Испании.

Идея, и в самом деле, была в моем вкусе. Любому литератору важно иметь легенду о себе. Охота на акул в Карибском море могла представить в этом смысле определённый интерес для будущих биографов. И я сразу принял предложение, сделанное с таким простосердечием этим любезным доктором. Я уже видел себя привязанным к сиденью и борющимся из последних сил с гигантской рыбой, беснующейся на заглоченном крючке... Я должен был повторить свой доклад в Кап-Аитьене завтра после полудня, и поэтому мы решили встретиться утром пораньше. В назначенный час мы поднялись на катер доктора и понеслись по воде, которую никакой страх перед избитым выражением не помешает мне назвать изумрудной. Доктор покурил короткую трубочку и с невозмутимостью смотрел на меня.

— Кстати, — спросил он, — может быть, попробуете действовать как ваш Жак Кусто?

— Это... как же?

— Вы возьмете с собой акваланг, — объяснил доктор, — опуститесь на коралловый риф примерно в пяти метрах от борта, и баллоны с кислородом обеспечат вам, по крайней мере, двадцать минут автономного плавания. А сейчас, если позволите, — кратко об устройстве ружья для подводной охоты. Это очень просто.

Вдруг он посмотрел на меня с большим вниманием.

— Послушайте... что-то не так? — мягко осведомился он.

Я должен был сесть. В течение нескольких секунд я ещё пытался бороться против очевидности. Но моряки уже снаряжали акваланг, а доктор — ружьё в руке — в очень любезной манере давал мне технические пояснения. Больше не было никаких сомнений: и речи не могло быть о рыбной ловле с удочкой. Эти люди замыслили принудить меня опуститься в Карибское море, кишашее акулами, и оставить меня одного, правда, с ружьём посреди этих мерзких созданий! Я открыл было рот, чтобы протестовать...

— Вы знаете, — заговорил доктор с отвратительной сладостью в голосе, — я не могу вам передать, как мы все оценили ваш волнующий доклад. Всё Гаити только и говорит о нём...

Мы посмотрели в глаза друг другу. Я ничего не сказал, выдержав его взгляд. Бывают в жизни моменты, когда надо уметь отстоять то, что кормит тебя. Если моя репутация докладчика требовала отдать себя на растерзание акулам, то я был готов. Мне примерили маску, она была в самый раз. Я угрюмо уставился на зелёные волны. Кончат так глупо свои дни...

— Наденьте теперь свинцовый пояс. Он позволит вам легче погрузиться...

Внезапно мне показалось, что в облике доктора, несмотря на всё его добродушие, промелькнуло нечто дьявольское.

—... эти парни спустятся вместе с вами, — добавил он, указывая на четверку чернокожих молодцов, суетившихся вокруг меня.

«Уф, — подумал я с облегчением, — хоть будут телохранители». Мне стало лучше.

— Это как бы загонщики, — продолжил доктор, — они поплывут вперёд, чтобы погнать акул на вас. Вам же останется только стрелять в них.

У меня не хватило духу даже возмутиться. К тому же внезапно мне стало всё безразлично. Мне помогли надеть огромные ласты, пояс, маску, сунули в руки ружьё и вежливо проводили до борта.

Я прыгнул — «Плюф!»

Затем в течение нескольких первых минут волчком крутился вокруг себя самого, сиюсь защищаться сразу со всех сторон. Я достиг, мне кажется, прямо-таки рекордной скорости вращения. Но быстро выдохся и вынужден был упасть на песок, в зелёный туман, в котором несколько мгновений не видел ничего. Потом заметил справа от себя коралловый риф и по-крабьи двинулся в его сторону с целью защититься хотя бы свои тылы. В то же мгновение я увидел длинную тонкую рыбу, выплывшую из отверстия в скале и застывшую в нескольких сантиметрах от моего носа. Я вскрикнул, но это была не акула.

Это была барракуда.

Я никогда в жизни не видел барракуды, но всё равно узнал её тотчас же. Есть признаки, которые не обманывают, и они все были передо мной. Я почти не припоминаю секунд, которые пронеслись, но могу утверждать, вопреки сказанному в моем докладе о миге смертельной опасности, что герой отнюдь не открывает тут для себя все непреходящие ценности жизни. Совсем не это он делает, вот всё, что я могу сказать. Когда я разлепил глаза, барракуда уже исчезла. Я остался один.

Я сделал усилие, чтобы подняться на поверхность и мне это почти удалось, когда внезапно увидел черную тушу чудовищных размеров, которая неслась в моём направлении повыше меня. Я издал вопль, поднял ружье, зажмурился и нажал курок.

Ружьё вырвалось с такой силой, что чуть не оторвало с собой и руки.

В две секунды я был на поверхности, отчаянно жестикулируя. Катер был совсем близко, он направился ко мне с удручающе малой скоростью. Я же пока старался держать колени вплотную к подбородку. Судно подплыло, и с удивительной для человека моего возраста ловкостью я одним махом оказался на палубе.

— А ваше ружьё?

Я снова начал дышать. И смог объяснить доктору, что со мной приключилось. Я рассказал про акулу, в которую попал и которая, натянув шнур, вырвала ружье из моих рук. К катеру подплыли чернокожие моряки. Один из них, державший мое ружьё, сказал по-креольски несколько слов доктору. Тот весело взглянул на меня:

— Наверно, ваш гарпун вонзился в киль катера.

Этот наглый тип вообразил, очевидно, что, находясь в смятении, я принял его посудину, проходившую над моей головой, за акулу. «Ладно, — подумал я, — ты это ещё должен доказать».

— Я ясно видел акулу, плывшую между моей головой и судном, — объявил я. — Ну не попал в неё, это бывает. Надеюсь, в ближайший раз мне повезёт больше.

Вечером, в Кап-Аитъене, я небрежно заметил директору Французского института, что сегодня утром охотился на акул у рифа Ирокезов.

— Ирокезов? — переспросил он. — Но на памяти человека там никогда не было акул. Они не пересекают рифов.

Когда я поднялся на трибуну, то, к своему удивлению — мы были в часе лёта от Порт-о-Пренса — увидел доктора Бонбона, спокойно сидящего в первом ряду. Он должен был воспользоваться — и срочно — самолетом, чтобы ещё раз послушать мой доклад о героизме. Мы с ним переглянулись. Но если этот ученик дьявола думал, что выбьет меня из колеи и лишит самообладания, то плохо же он меня знал. Есть качество, которое никто не сможет отрицать — это моральный дух, и доктор может меня иронически рассматривать, сколько ему заблагорассудится: я решил подняться раз и навсегда на высоту предмета, о котором толкую.

— Дамы и господа, — начал я, — когда в полном одиночестве современный герой оказывается лицом к лицу со смертельной опасностью, первое, что он открывает в этом положении...

Доктор Бонбон взирал на меня с явным восхищением.

На Килиманджаро — полный порядок

Небольшая деревня Тушаг находится в десяти километрах от Марселя, по дороге на Экс. Посреди центральной площади стоит бронзовая статуя мужчины с гордо откинутой головой, одна рука упёрта в бедро, другая держит походный посох, нога выдвинута вперёд шагом завоевателя. С первого же взгляда вы догадались бы, что этот человек только что пересёк пустыню, слывшую непроходимой, и теперь готов померяться силами с какой-нибудь неприступной вершиной. На пластине было написано: «Альберу Мезигу, знаменитому пионеру географии, покорившему неисследованные земли (1860-18...) от его сограждан из Тушага».

В деревне не было музея, но в мэрии выделили специальный зал для реликвий исследователя. Именно здесь находилось более тысячи почтовых карточек, отправленных Альбером Мезигом своим землякам со всех концов света. К этим карточкам совершенно обычного вида, напечатанным в конце века фирмой «Братья Сюлим» и посвящённым «Чудесам мира», бывший ученик парикмахера из Тушага питал, похоже, особенное пристрастие и всегда брал их собой в путешествия. Но если карточки были обычными и даже без марок — их сняли коллекционеры, — то вот сами послания, изобиловавшие иностранными названиями и наслех нацарапанные в чрезвычайных обстоятельствах, вызывали острый интерес:

«Цезарю Бируэтту, вина, сыры, площадь Пти-Постийон, привет. На Килиманджаро — полный порядок. Куда ни глянь — вечные снега. Выражаю мои искренние чувства. Альбер Мезиг».

Или же:

«Жозефу Тантильону, домовладельцу, дом Тантильона, проезд Тантильона. 80° северной широты. Мы попали в ужасный буран. Будем беречь силы или нас постигнет трагическая судьба Лаперуза и его спутников. Со благоволите принять уверения в моей полной преданности. Альбер Мезиг».

Одна из этих карточек была даже адресована заклятому врагу исследователя, гнусному сопернику, притязавшему вместе с ним на сердце одной из барышень Тушага, Мариусу Пишардону, парикмахеру, улица Оливковых деревьев:

«С искренними чувствами из Конго. Здесь кишмя кишат гигантские удавы, и я думаю о вас».

Однако было бы только справедливым заметить, что именно парикмахер Пишардон настоял однажды перед муниципальными советниками Тушага на том, чтобы воздвигнуть статую их знаменитого земляка. А это доказывает, что истинное величие осеняет, в конце концов, даже посредственные души.

Но большая часть карточек имела адрес «Мадемуазель Писсон, бакалейная лавка Писсон, проезд Мимоз». Для туристов, которых интересуют любовные истории — особенно, когда они с грустинкой, — чтение этих карточек представляло собой просто лакомое блюдо.

«Аделина, я только что нацарапал твоё имя на троне далай-ламы (он вроде живого бога у тибетских народов, исповедующих буддизм). Свидетельствую своё уважение твоей дорогой мамушке, надеюсь, ревматизм уже не так её донимает. Твой Альбер».

А на другой карточке, датированной двумя годами позже:

«Шлю горячие поцелуи с озера Чад (большое озеро на пути к заболочиванию в сердце Черной Африки). Крокодилы, негритянки в кольцах. Охота на слонов, антилоп, диких кабанов. Главные культуры: таковых нет. Здешние туземцы весьма рекомендуют против ревматизма масло маниоки. Скажи об этом твоей дорогой мамушке».

Он никогда не забывал о ревматизме мамушки Аделины, даже в самых драматических обстоятельствах:

«Мы заблудились в Аравийской пустыне. Я пишу имя твоё на песке. Я люблю пустыню: здесь столько места, чтобы писать твоё имя! Мы страдаем от жажды, но наш дух твёрд: спасение всегда приходит в последний момент, в этом сходятся все путешественники. Я надеюсь, что твоей дорогой мамушке сырая погода не доставляет слишком много страданий».

Ещё карточка:

«В джунглях Амазонки гудят москиты. Я только что назвал твоим именем реку и бабочку. Пишардон наверняка должен пытаться похитить мою клиентуру».

И ещё:

«На море. Аделина, ты обещала мне стать моею на всю жизнь, когда я буду знаменитым. С высоты этих беснующихся волн я говорю тебе: до скорого!»

Все карточки были давно собраны воедино и опубликованы под заглавием «Путешествия и приключения Альбера Мезига»; они числятся, и по справедливости, среди жемчужин прованской литературы.

Но вот, однако, менее известны истинная жизнь и странный конец знаменитого гражданина Тушага. Твёрдо знали, что он покинул двадцать лет назад родную деревню из-за любви к молодой девушке, которая мечтала выйти замуж за великого исследователя. Но, похоже, что никто и нигде больше его не встречал. Его имя не значится в списках членов какого-нибудь географического общества. Газеты того времени также не упоминают его. Он никогда более не возвращался в родную деревню, где напрасно его дождалась его же статуя. Матросы в Марселе утверждали, правда, что некий господин, похожий по описаниям на «пионера географии», часто разговаривал с ними о путях их плавания. Он угощал матросов анисовым ликёром и просил, передавая какую-нибудь почтовую карточку: «Пожалуйста, не могли бы вы отправить ее из Мехико?»

Но не по матросским же рассказам пишут историю великого человека. Его враги — а все львы имеют блох — любят посудачить над, и в самом деле довольно загадочными, словами из почтовой карточки, посланной Мезигом мадемуазель Писсон семь лет спустя после того, как он пустился в свои невероятные приключения:

«Значит, они мне поставили монумент. Всё пропало, я никогда больше не смогу вернуться. Аделина, я осуществил твою мечту о славе, но какую ценой?»

Фактом остается однако то, что долго никто не мог сказать, что случилось с тем, кто благодаря качествам своей описательной прозы удостоился звания «прованский бард». Люди из Тушага утверждают, что его настигла смерть из-за нехватки кислорода во время восхождения на Эверест, и этого же мнения придерживается также профессор Корню в предисловии к первому изданию «Путешествий и приключений».

Но в 1913 году публикация комиссара Пижоля в «Записках старого Марселя» пролила новый свет на прованского барда и его жестокую судьбу: «20 июня 1910 г., четверг. Заметка полицейского. Сегодня умер от сердечного приступа Альбер, парикмахер из Старого порта, который ухаживал за моей бородой и усами в течение двадцати лет. Я обнаружил беднягу в его мансарде, окна которой выходят на пристань. В руке он сжимал письмо, смысл которого, должен признаться, от меня ускользает. Вот его текст:

«Дорогой мсье Альбер Мезиг, я получила вашу последнюю карточку из Рио-де-Жайнеро (Бразилия), за что спасибо. Продолжайте, пожалуйста, писать, но я уже двадцать лет как мадам Пишардон, потому что связана законным браком с господином Мариусом Пишардоном, хорошо известным в округе парикмахером и отцом семерых моих детей. Следовательно, я имею честь рассматривать вашу просьбу о нашей женитьбе от 2 июня 1885 г., сделанную в присутствии свидетелей, как аннулированную и недействительную. Хотела информировать вас об этом гораздо раньше письмом до востребования, как обычно, но господин Пишардон каждый раз говорил "нет", потому что, во-первых, он полюбил ваши карточки — их чтение так его развлекает, а во-вторых, у него теперь большая коллекция марок, благодаря вашим заботам. Мне неприятно, но вынуждена сообщить вам, что у него не хватает розовой марки Мадагаскара за 50 сантимов, о чём он всё время горько жалеет, делая тем самым нелёгкой и мою жизнь. Я уверена, что вы не прислали этой марки не затем, чтобы его позлить, как думает он сам, а что это простая забывчивость с вашей стороны. В связи с вышесказанным, прошу предпринять необходимые действия сразу же».

Она подписалась: «Вечно ваша Аделина Пишардон», сведя тем самым вечность к её истинным размерам.



Илья Корман

ИМЕНЕМ РОЗЫ

Рассказ «Сельский врач», написанный Кафкой в январе-феврале 1917 года, был опубликован в 1919 году в составе *одноимённого* сборника: писатель считал рассказ своей удачей. Написанный как бы на одном дыхании, от первого лица, в оригинале без разбивки на абзацы (исключение составляют две песенные вставки), рассказ действительно производит сильное — «но загадочное!» — впечатление. Загадочное — и потому нуждается в истолковании.

В 2007 году вышел в свет анимационный фильм японского режиссёра Коджи Ямамура (см. [1]) — очень близкая к тексту экранизация, и в то же время интересная интерпретация рассказа.

В 2009 году появилась (см. [2]) статья Зои Копельман — серьёзная попытка истолкования. И всё же она не может нас устроить: во-первых, аргументация и выводы исследовательницы, хотя и интересные, не кажутся нам достаточно убедительными; во-вторых, многие вопросы остаются без ответа (и даже не поставлены): почему лошади появляются из свинарника и почему появляются вообще? почему мальчик просит врача позволить ему умереть? какова роль пинцета и полотенца? — и т.д. и т.п.

Мы хотим предложить читателю другой подход, другое толкование.

«Нездешние кони»

«Таковы люди в моем краю... Прежнюю веру они потеряли, священник сидит дома, раздвигает на нитки одну ризу за другой...».

Прежнюю, христианскую веру, жители потеряли, и потому оживают древние языческие верования и обряды. Читаем в [3]: «...в религии конь представлял собой заупокойное животное». И далее: «Известно, что коней хоронили вместе с воинами. ЁУбивали лошадей и рабов с тем намерением, чтобы эти существа, погребенные вместе с умершим, служили ему в могиле, как служили при жизни», — так говорит Фюстель де Куланж». Примерно то же говорится в [4]: «В похоронных обрядах и вообще обрядах, связанных со смертью, кони играли особую роль. Конь в народных поверьях связывался с «тем светом», загробным миром, и нередко воспринимался как проводник в мир мертвых».

Всё началось с того, что лошадь врача пала — *отравилась на тот свет*. И появление необычных, «нездешних» коней — следует рассматривать как ответный визит, как реакцию того света на прибытие туда лошади врача. Но надо, конечно, иметь в виду, что в рассказе Кафки действует своеобразная логика, логика сновидения. В языческих обрядах конь и слуги умерщвлялись *после* смерти хозяина. У Кафки же *сначала* умирает лошадь, а *затем* с того света прибывают кони и конюхи, чтобы забрать на тот свет служанку и, если получится, мальчика с доктором.

Любопытно, что и сам врач «богохульствует», а проще говоря — мыслит языческими представлениями: «Да, — богохульствую я про себя, вот в таких случаях и помогают *боги*, и ниспосылают отсутствующую лошадь, и добавляют к ней для быстроты еще одну, и одаривают, излишествуя, еще и конюхом...». Да, в рассказе господствует политеистическая, языческая стихия, и нам кажется, что игно-

рирующий это обстоятельство упрощённо-иудаистический подход Зои Копельман и не мог сработать.

Свинарник и чулан

Где содержалась лошадь врача, пока не пала? В конюшне? в каком-нибудь загоне? под навесом?

Нет, никакого строения — типа конюшни или навеса — мы в хозяйстве врача не обнаруживаем. И никакого загона, то есть огороженного, *но широкого, просторного* пространства — тоже нет. А есть свинарник, к тому же заброшенный (то есть, даже и для свиней неподходящий). Свинарник *ниже* конюшни, вот в чём дело. Он, так сказать, *ближе к земле*. Он *тесен*. А внутри свинарника — *низкий* чулан, и в нём — *скорчившийся* человек. Он скорчился потому, что ему не хватает места — но также и потому, что он только что *вылез из-под земли*. Также и лошади — распрямляются «на своих длинных ногах» лишь выбравшись из свинарника. И конюх, и «могучие крутобокие» лошади — вышли из-под земли. Заброшенный, промёрзший свинарник нужен лишь для того, чтобы послужить прикрытием для подземного хода из того мира — в этот.

Приключения фонаря

«Девушка появилась в воротах одна, покачала фонарём (*schwenkte die Laterne*); естественно, кто сейчас одолжит свою лошадь для такой поездки?». Стало быть, фонарь — у служанки в руках, и она им покачивает.

А что происходит с фонарём потом? куда он девается? Когда «послушная девушка спешит подать конюху постромки повозки» — где в это время фонарь? Когда она запирается в доме и «гасит все огни, ... перебега из комнаты в комнату, — чтобы ее невозможно было отыскать» — где фонарь?

Это с одной стороны. А с другой, в это самое время в свинарнике «покачивался на веревке тусклый переносной фонарь (*Eine trübe Stallaterne schwankte drin an einem Seil*)». Это, очевидно, тот же самый фонарь; только в руках служанки он покачивался «отрицательно» — мол, нет лошадей — ну, а в свинарнике «положительно»: есть лошади!

Отметим, однако, что фонарь стал тусклым — под стать заброшенному свинарнику.

Даритель имён

«Брат» и «Сестра» («Hollah, Bruder, hollah, Schwester!») — так зовёт лошадей конюх. И эти лошади доставляют врача к дому, где как раз и живут брат и сестра. Странная логика сновидения!

Сходная, но ещё более усложнённая логика, действует в отношении имени служанки. Это имя — Роза (*Rosa*) — впервые произносит тот же конюх: «... я с вами вообще не еду, я остаюсь с Розой.

— Нет, — кричит Роза и в верном предчувствии неотвратимости своей судьбы убегает в дом».

Как только конюх произносит имя *Роза*, сразу же это имя подхватывает врач: «Нет, — кричит Роза». А ведь до этого он использовал другие слова: «служанка» (дважды), «девушка» (дважды), «она» (дважды). Похоже, что врач и не знал, что девушку зовут *Роза*.

Можно выразиться и по-другому: у служанки вообще не было имени, её одарил именем — конюх. Предварительно «одарив», *отметив* её — поцелуем-укусом: вампирическим поцелуем.

Слово *Rosa* встречается в рассказе восемь раз, из них семь — в качестве имени служанки, и один — в качестве прилагательного *розовый*, относящегося к ране мальчика. Поцелуй-укус, через имя *Rosa* и совпадающее с ним прилагательное — *превращается в рану*. Почему и когда это происходит, мы покажем ниже.

Сказано — сделано

Была у доктора лошадь. Одна. Ему хватало одной, она возила его по всей округе, и конюх ему был без надобности. Но вот лошадь пала, и «боги» посылают ему *двух* лошадей взамен, и конюха в придачу.

Зачем такая избыточность?

А затем, что она продиктована самим доктором. Присмотримся к первой фразе рассказа. Почти до самого конца она написана вполне «кафковским» сухим, «канцелярским», объективно-безоценочным стилем. После первых вводных слов следует двоеточие — «Я был в большом замешательстве». Затем следуют (в исходном немецком тексте) шесть периодов, вернее — шесть самостоятельных предложений, пять точек с запятой отделяют их друг от друга. Каждое предложение содержит подлежащее, сказуемое и т.д. Первые три предложения не содержат внутри себя знаков препинания, последние три — содержат запятые. Рассказчик «гонит вперёд», шесть предложений и предшествующий им вводный фрагмент образуют фразу-монстр; если так пойдёт дальше, рассказ скоро закончится, и ни единой нотки волнения нам не встретится.

Впрочем, нет: одна уже встретилась. Последнее, шестое предложение выглядит так: «aber das Pferd fehlte, das Pferd — «но лошади не было, лошади». Это — эмоциональный всплеск. Слово «лошади» произнесено *дважды* — и потому из свинарника выходят *две* лошади. В сновидении (вернее, в словесном описании сновидения) дистанция между словом и делом — минимальна (другой пример такой минимальности был рассмотрен выше: «Брат» и «Сестра»).

Ну, а поскольку лошадей теперь две, а врач умеет запрягать лишь одну, то надо дать ещё и конюха. Это — обычная, «правильная» логика, которая в описании сновидения присутствует наряду со специфически-сновидческой.

Пáрные герои — двоичность

В данном случае существует объяснение наличию именно *пары* лошадей. Но вообще-то у Кафки есть явная тенденция вводить *пáрных* героев — безотносительно к тому, удастся или нет подобрать соответствующее объяснение. Больше того, эта тенденция есть лишь часть более общей тенденции к двоичности.

Назовём некоторые пары (людей, предметов и т.д.), не претендуя на полную списка.

«Америка»: Робинсон и Деламарш.

«Процесс»:

1. Два дня рождения Йозефа К. (исполняется 30 лет и 31 год).
2. В первый день рождения двое арестовывают Йозефа К.
3. Во второй день рождения двое других — убивают.
4. Существуют две судебные системы: официальная (Дворец правосудия) и неофициальная (в кладовых банка, в жилых комнатах и на чердаках).
5. Многие персонажи романа выполняют двойные функции: художник Титорелли фактически — работник суда; священник в соборе — тюремный капеллан ... и т.д.

«Замок».

1. Всё романное пространство делят между собой Замок и Деревня.
 2. Два помощника землемера К.
 3. Из предоставленной землемеру каморки на постоялом дворе — выселяют двух служанок.
 4. К. и Фриде предоставляются в качестве жилья два класса.
 5. В гостинице два служителя распределяют документы по комнатам постояльцев — чиновников Замка.
- И т.д и т.п.

Читатель может в качестве упражнения исследовать на двоичность рассказ «Блумфельд, старый холостяк».

(Интересно, что это стремление к двоичности уловил Ямамура: в его фильме рядом с врачом то и дело появляются не то две змеи, не то два растущих из земли каната с человеческими головами — мысли доктора).

Легче камень поднять, чем имя твое повторить! (О. Мандельштам)

Итак, семь имён *Роза*. Первое — *произносит* конюх. Шесть последующих никем *вслух не произносятся*, но они присутствуют в мыслях врача, например: «некоторое время мне приходится прибегать к разным ухищрениям, чтобы как-то уложить это в голову и не наброситься на эту семью, которая, при всем желании, ведь не сможет вернуть мне *Розу*».

Но был один случай, когда врачу следовало бы произнести это имя вслух. «— Ты поедешь со мной, — говорю я конюху, — или я откажусь от этой поездки, хоть она и неоглозна. Я не собираюсь отдавать тебе *девушку* в ушлату за эту поездку». А ведь произнеси он явно, вслух имя *Роза* — кто знает! может быть, и убедил бы конюха ехать, а не оставаться.

Малые вины

То, что врач «почти не обращал внимания» на «*Розу*, эту уже не один год живущую в моем доме милую девушку» — это он признаёт сам. Но есть много такого, чего он не признаёт, но что следует из текста. Например, чрезмерная склон-

ность к комфорту. «Я замечаю, что на такой хорошей паре ещё никогда не ездил, и весело сажусь в повозку». Говоря конюху: «Ты поедешь со мной, ... или я откажусь от этой поездки» — он продолжает сидеть, чем как бы дезавуирует смысл своих слов. Прибыв к дому больного, он опять-таки продолжает сидеть, и его «чуть ли не на руках выносят из повозки».

Надо сказать, что конюх оказывается хорошим психологом. Запрягая лошадей, он всего лишь один раз взглядывает на врача — и понимает, что отослать того, чтобы самому «остаться с Розой», будет несложно. И действительно, врач охотно и «весело» садится в повозку; ну, а дальнейшее — дело техники.

В доме мёртвых

Если сравнить речи (реплики) персонажей в первой части рассказа (до отбегия на «нездешних конях» к больному) и во второй, то обнаружится важное отличие.

Речи/реплики служанки, конюха, врача — до отбегия произносятся вполне членораздельно и чётко, и приводятся *дословно*. Не то во второй части: «... я ничего не понимаю в их путаных речах». Если в дальнейшем сестра, мать и отец что-то говорят («сестра говорит это матери, мать — отцу, отец — нескольким гостям»), то содержание этих речей известно лишь в самом общем виде, а никак не дословно. Когда же сестра и родители общаются с врачом, все четверо вообще обходятся без речей, общаясь одними позами, движениями и жестами: «родители стоят молча, наклонясь вперед», «сестра принесла стул для моего саквояжа», «сестра, решив, что мне стало дурно от жары, снимает с меня шубу», «Мне налил стакан рома, старик хлопает меня по плечу ... Я отрицательно качаю головой ... Мать стоит у кровати и манит меня», «И я киваю головой семье», «Но когда я закрываю свой саквояж и киваю, чтобы мне подали шубу (вся семья стоит рядом: отец, сопя над стаканом рома, который он держит в руке, мать ... кусающая губы, с глазами, полными слез, и сестра, теребящая в руках полотенце, пропитанное кровью) ...», «И они подходят, эта семья и старейшины деревни, и раздевают меня ... они берут меня за голову и за ноги и несут в кровать».

И всё это означает, что родители и сестра (а также их гости — жители деревни) могут говорить и понимать речь — только между собой. Врач — пришелец, человек другого мира, и с ним речевое общение невозможно.

Но оно невозможно и с мальчиком. Мать, стоя у кровати сына, не разговаривает с ним. С мальчиком вообще не разговаривает никто, кроме врача. Но к их разговору никто не прислушивается, о чём они говорят — никого не интересует, да и языка их никто не понимает. Дом, куда нездешние лошади доставили врача — дом мёртвых; родители и сестра — обитатели мира мёртвых (того света).

Лошади и тепло

Это подтверждается следующим соображением. Читаем: «из хлева пахло теплом и словно бы лошадиным запахом». И сразу же из свинарника выходят лошади — посланцы того света.

1) тепло и 2) лошади — наличие этих двух элементов означает близость того света. Но почти то же самое мы видим и в доме «больного»:

- 1) там топится печь, «в комнате больного почти невозможно дышать»;
- 2) там присутствуют лошади, распахнувшие окна снаружи и разглядывающие мальчика (которого, быть может, им придётся везти на тот свет).

Три осмотра

Врач осматривает больного — трижды. Первый раз — ещё не сняв шубу: «Худой юноша лежит без рубашки... лихорадки нет — ни озноба, ни жара, — глаза пустые; он... шепчет мне в ухо:

— Доктор, позволь мне умереть».

Второй раз — по приглашению матери: «Мать стоит у кровати и манит меня, я подчиняюсь и кладу голову... на грудь юноши ... Подтверждается то, что мне известно: юноша здоров... и лучше всего было бы пинком выкинуть его из постели».

Но интереснее всего третий осмотр, в ходе которого врач обнаруживает, что юноша всё-таки болен, да ещё и как болен! — «зияющая рана величиной с ладонь», и в ране копошатся черви «длинной и толщиной с мой мизинец».

На первый взгляд, поведение врача совершенно непрофессионально. Как мог он не обнаружить рану при первом же осмотре! Зачем доставал «какой-то пинцет», который ему так и не понадобился? — чтобы произвести впечатление?

Но не будем спешить.

Зачем вызван врач?

Сестра и родители мальчика, а также некоторые (а может быть, и все) жители деревни — обитатели мира мёртвых. Проще говоря — мертвецы. Мальчик же и доктор — живые. Мальчик и его семейство принадлежат разным мирам, но хотят воссоединиться. Хотят, чтобы мальчик перешёл в мир мёртвых. Вот почему мальчик шепчет: «Доктор, позволь мне умереть». Доктор нужен не для того, чтобы лечить, а наоборот: чтобы *умертвить*. Причём смерть должна, во-первых, казаться со стороны естественной кончиной от болезни или ранения, а во-вторых, быть, по возможности, безболезненной.

Кроме того (и это, может быть, главное), врач вызван для того, чтобы — будучи принесённым в жертву — *служить мальчику на том свете*.

Как это делается

Посмотрим, как происходит умерщвление. Следует иметь в виду, что врач не сразу понимает, чего от него хотят, многие вещи он толкует неправильно.

1. После первого осмотра врач решает уехать: «Я сейчас поеду назад, думаю я». Но сестра и отец угадав это намерение, ему противодействуют. «Сестра, решив, что мне стало дурно от жары, снимает с меня шубу». В этом предложении смешаны факт — и его оценка (или, если угодно, толкование). То, что сестра снимает с доктора шубу, это факт, и с ним не поспоришь. Но врач даёт поступку сестры ошибочное (или, по меньшей мере, неполное) объяснение: «решив, что мне стало дурно от жары». На деле же сестра хочет удержать доктора от отъезда; хочет, чтобы он ещё раз осмотрел брата, и чтобы «признал», что тот болен. И, конечно, ей (и всему семейству) хочется, чтобы её поступок выглядел всего лишь естественной заботой о докторе, страдающем от жары — и доктор так это и воспринимает (ошибочно).

2. Отец предлагает доктору стакан рома. Вроде бы нормальный, естественный поступок — правила гостеприимства и всё такое прочее — и никакого «второго плана» за этим поступком нет. Но отец — обитатель мира мёртвых, предлага-

емый им напиток — напиток мёртвых; если бы врач отведал этого напитка, он общился бы к миру мёртвых. Поэтому отказ врача от рома — это на самом деле отказ (бессознательный) присоединиться к миру мёртвых, это стихийное желание жить, которое окажется сильнее стремления к смерти (о чём ниже).

3. Мать присоединяется к усилиям сестры и отца: «Мать стоит у кровати и манит меня». Следует второй осмотр, но врач всё равно не признаёт мальчика больным.

4. Казалось бы: мальчик признан здоровым, рецепты выписаны — чего ещё желать? Но семейству не нужен здоровый мальчик. Семейство недоволено: отец сопит над стаканом рома, мать кусает губы, её глаза полны слёз.

5. Больше того: когда врач просит, чтобы ему подали шубу («киваю, чтобы мне подали шубу»), шубу ему не подают. Это уже открытое противодействие.

6. И ещё того хуже: сестра теребит в руках «полотенце, пропитанное кровью». Это уже *угроза* (но и подсказка — см. п.9).

7. И врач уступает: «я как-то готов при известных обстоятельствах признать, что юноша, возможно, всё-таки болен. Я подхожу к нему, он улыбается мне так, словно я несу ему какой-то накрепчайший бульон».

8. Почему мальчик улыбается? Потому что уверен: теперь-то уж доктор отыщет у него какую-нибудь болезнь и «позволит ему умереть» — как того хотел мальчик, как хотело всё семейство.

9. Интересно, какую же болезнь изобретёт доктор? А вот какую: поскольку мать *кусает* губы, то, по ассоциации с кровавым *укусом* коноха (см. выше, в разделе **Даритель имён**) болезнь будет не органической, не внутренней — вроде, например, чахотки — а ранением, нанесённым извне. Подтверждение такому толкованию мы находим в статье Анны Глазовой (см. [5]), посвящённой творчеству Пауля Целана. В одном из стихотворений поэта она усматривает ссылку на «Сельского врача» Кафки, и пишет: «По ходу действия (рассказа — *И.К.*), девушка по имени Роза превращается в огромную розовую рану на теле больного мальчика и символизирует чувство вины врача».

10. Причём рана будет без кровотечения, *потому что кровь уже впиталась в полотенце*.

11. И ещё: раз уж доктор доставал и разглядывал пинцет, то пусть это будет недаром. Пусть в ране извиваются черви, *которых можно извлекать пинцетом*.

Наведение порчи

Как видим, «болезнь» изобретается, конструируется по законам сновидения, когда прежние элементы сновидения (имя девушки, полученный ею укус, появление пинцета и т.д.) «вспоминаются» — и им даётся новое истолкование и, тем самым, новая жизнь. Пинцет, которым можно брать червей, в червей и превращается.

Важно отметить, что болезнь конструируется *подсознанием* врача, «сам» же врач — его сознание — об этом ничего не знает. Врач стоит перед семейством, которое — он это чувствует — им недоволено. Шубу ему не возвращают, и, похоже, его самого не собираются выпускать из комнаты; а пропитанное кровью полотенце грозит большими неприятностями.

И сознание врача, и его подсознание ищут выхода из опасной ситуации. И находят. Сознание, капитулировавшее перед грозным семейством, решает, что мальчик, может быть, и вправду болен, и надо бы его ещё раз осмотреть. А подсознание успевает к началу осмотра сконструировать болезнь (рану) и *навести* её на мальчика, *как наводят порчу* — врачу (его сознанию) остаётся лишь *обнаружить* рану. Которая, дескать, и раньше существовала — и была причиной болезни, а врач её не обнаружил (что, конечно, не делает ему чести, ну да уж ладно).

Но «на самом-то деле»: при первых двух осмотрах рана не была обнаружена, *потому что её не было*. Врач (его услужливое подсознание) навёл рану на мальчика — перед самым началом третьего осмотра. Что опять-таки не делает ему чести — но теперь уже в куда большей степени. И если раньше речь шла о «малых винах» (простительных — или непростительных — слабостях), то теперь идёт (вернее, могла бы идти) — о настоящей, большой вине, о преступлении, об убийстве.

Стремление к смерти

Могла бы идти, но не идёт. Чувство вины и стремление к смерти возникают у доктора только из-за судьбы служанки — быть может, потому, что мальчик сам стремится к смерти. «Только о Розе я должен ещё позаботиться, а потом — юноша, может быть, прав — я тоже хочу умереть». Доктор даже готов (вернее, ему кажется, что он готов) быть принесённым в жертву (которую он именуется, в переводе Г. Ноткина: *святые нужды*): «если вы используете меня для святы́х нужд, я приму и это, да и не может быть ничего лучше для меня, старого сельского врача, у которого отняли его служанку! И они подходят, эта семья и старейшины деревни, и раздевают меня ... они берут меня за голову и за ноги и несут в кровать. Они кладут меня у стены, с той стороны, где рана». И хор школьников (сниженное подобие античного хора) поёт *песню-призыв*:

*Раздеть его, тогда излечит,
Не вылечит, тогда убить!
Он только врач, он только врач.*

Но что это за логика: *раздеть — тогда излечит*? Разве голый врач способен лечить?

Нет, не способен; стало быть, больной умрёт; стало быть, врач будет «убит» — то есть, принесён в жертву. Врача кладут в постель к больному, потому что им обоим предстоит дорога на тот свет.

Семейное счастье

Выше мы видели смешение факта с его трактовкой. Но бывают и более сложные случаи; вот один из них.

«Бедный юноша, тебе нельзя помочь. Я отыскал твою глубокую рану, ты погибнешь от этого цветка в твоём боку. Семья счастлива, она видит, что я что-то делаю...». Здесь присутствуют как минимум три элемента. Первый элемент — это первые два предложения: мысли доктора. Затем следует второй элемент — факт: «Семья счастлива». Будем считать это фактом, хотя это ещё и *трактовка* состоя-

ния семьи. И, наконец, третий элемент — объяснение, трактовка факта: «она видит, что я что-то делаю».

Но это объяснение — ложное. Не потому семья счастлива, что врач что-то делает: то есть, лечит. Всё с точностью до наоборот: семья счастлива потому, что мальчик наконец-то болен — неоспоримо и серьёзно. И теперь задача семьи — прервать лечение, чтобы мальчик мог умереть. Вот почему «они подходят ... и раздевают меня».

Отбросим ложное объяснение и рассмотрим два оставшихся первых элемента. Стоило врачу подумать, что юноше нельзя помочь и он погибнет, как семья оказалась счастливой. Обычная, «дневная» логика подобные рассуждения бракует: «*После* этого — не значит *вследствие* этого». Но ночная, сновидческая логика расказа не видит тут ошибки, для неё-то как раз «*после* — значит *вследствие*».

Теперь посмотрим на «семейное счастье» глазами мальчика. Он хотел умереть — и получил страшную рану, «пагубный цветок». Мальчик потрясён этой раной; не такой он представлял смерть, когда хотел умереть; теперь он «шепчет, всхлипывая»: «Ты спасёшь меня?» Но доктор уже знает, что спасти мальчика нельзя, да ему и не дают спасать, а раздевают и кладут в постель к больному. Врачу остаётся только успокаивать мальчика, «заговаривать ему зубы»: «— Мой юный друг, — говорю я, — у тебя отсутствует кругозор, перспектива, вот в чем твоя ошибка ... твоя рана совсем не так плоха. Это просто два удара топором, нанесенные под острым углом. Многие подставляют свои бока, почти не слыша даже того, что по лесу гуляет топор, не говоря уже о том, что он к ним приближается».

И этих путаных объяснений оказывается достаточно: мальчик успокаивается; и успокоенный — умирает.

Попавшие в междумирие

Доктор же умирать не хочет: его стихийное желание жить оказывается сильнее стремления к смерти, продиктованного чувством вины.

Он через окно выбирается из дома мёртвых, голый садится на лошадь — пародийный Дон Кихот на Росинанте. Но лошади не торопятся домой: «медленно, как старые клячи, тащимся мы сквозь снежную пустыню ... Голый, выброшенный в стужу этой самой злосчастной из эпох, со здешней повозкой и нездешними конями, блуждаю я, уже старый человек, по этим дорогам».

Лошади не доставят врача на *тот свет*, откуда они вышли; но не доставят и домой: они будут скитаться в снежной пустыне — *в междумирии*.

Скитание в междумирии присутствует ещё в двух произведениях Кафки, написанных в тот же период, что и «Сельский врач» — зимой 1916-1917 годов. Оно подробно описано в «Егере Гракке» («Мой смертный челн сбился с курса: неверный поворот руля, мгновение невнимательности капитана ... не знаю, что это было, знаю только, что я остался на земле и что мой челн с тех пор плавает по земным водам ... я, всегда мечтавший жить только в своих горах, после смерти путешествую по всем странам земли ... Мой челн — без руля, он шывет под ветром, дующим в самых нижних пределах смерти»)(см. [6]).

Во «Всаднике на ведре» оно лишь намечено последней фразой: «И с этими словами я возношусь в края ледяных гор и исчезаю навсегда». Здесь, как и в «Сельском враче», междумирие оказывается царством холода.

Источники:

1. Фильм «Сельский врач», 2007, режиссёр Коджи Ямамура, Япония Адреса в Интернете:
<http://vk.com/video-2483212-82513225>
http://tushkan.net/news/selskij_vrach_2007_smotret_multifilm_onlajn/2014-05-26-18028
2. Зоя Копельман. Еврейский Кафка: рассказ «Сельский врач»
Адрес в Интернете: **<http://www.lechai.m.ru/ARHIV/201/kopelman.htm>**
3. В.Я. Пропп. Исторические корни волшебной сказки, М., изд. Лабиринт, 2005 г.
4. Наталья Шапарова. Краткая энциклопедия славянской мифологии. М., Издательство Аст, 2001
5. Анна Глазова. Каждому своё — Сена для Целана. Адрес в Интернете:
<http://www.vavilon.ru/textonly/issue6/glazova.htm>
6. Франц Кафка. Сельский врач, Всадник на ведре, Егерь Гракх. В: Мастер пост-арта, Санкт-Петербург, изд. «Азбука-классика», 2005.



Юрий Моор-Мурадов

АПОЛОГИЯ ДЕТЕКТИВА

У нас в стране (в Израиле) с недавних пор действует закон, по которому купленную в магазине вещь можно вернуть в течение двух недель, если она вам не понравилась.

На днях мне довелось воспользоваться этим законом: я принес в магазин то, что купил там пару дней назад.

Но не тут-то было! Продавец — милая интеллигентная девушка в очках — отказывается возвращать мне деньги: «Этот закон к нашему случаю не подходит!»

— Но почему? — не согласился я. — Двух недель еще не прошло, купленная у вас вещь никоим образом не пострадала, я возвращаю ее в той упаковке, в которой купил... — стала я цитировать параграфы нового закона.

— Книгу вот так вернуть только потому, что она не понравилась, нельзя! — возмущенно парировала девушка. — Вы знали, что покупали.

Тут уже возмутился я.

— А вот это и неправда! Я не знал, что покупаю! Я хотел детективный роман, а оказалось, что это совсем не детектив. Верните мне мои пятьдесят кровных.

— Почему не детектив? — удивилась милая продавщица. — Вот же, написано: «"Убийство на темной улице", детективный роман». Что вам еще нужно? Небось, прочли, а теперь хотите денежки обратно.

— Клянусь, не прочел! Дошел до двадцатой страницы, понял, что меня надули — и бегом к вам. Это не детектив.

— Вы просто нетерпеливый читатель. Читайте дальше. Там будет и убийство, и расследование, и счастливый конец.

— Нет. Я как раз читатель тертый, детективы — мое любимое чтение, я вижу, что это не детектив.

— Ладно, может, не детектив, — согласилась девушка. — Но все равно это хороший роман. Мы уже продали сто экземпляров.

— Может быть он и хороший, но я хочу за свои деньги *детектив*!

Так, теперь пора признаться, что весь этот диалог выдуманный, ради полсотни шекелей я не поехал в магазин на другой конец города, просто выбросил негодный товар и сел писать эту вот статью о детективном жанре.

Некоторое время назад, отвечая на вопрос товарища, я сказал, что пишу «костюмный» детектив, то есть, на историческую тему. Про некую девушку, живущую в городе Самарканде в эпоху эмира Тимура, обладающую способностью раскрывать преступления. Убит (или погиб во время несчастного случая) зодчий, строящий великолепное медресе. Возлюбленный этой моей героини — один из подозреваемых, его схватили и бросили в зиндан, если вина будет доказана — его бросят в клетку к тиграм. И моей героине приходится засучить рукава и самой браться за расследование дела.

Мой товарищ сразу отреагировал: «А, идешь по пути Акунина».

Я, конечно, слышал об Акунине, но ничего его не читал. Понятное дело — заинтересовался, товарищ одолжил мне его книгу «Пелагия и красный петух».

Да, многое перекликается с моей идеей; героиня — молодая женщина (монашка), обладает, по замыслу автора, даром расследования, действие происходит в старые времена... Я читал и нахваливал Акунина. Но чем дальше погружаешься в глубь романа — тем больше разочарований. Все хорошо, мило, забавно, увлекательно — но это не детектив! В нем нет главного! Прочел добросовестно первый том, а второй даже не раскрыл, отдал книги обратно.

Чего же мне не хватало в этом знаменитом романе знаменитого писателя?

Там не было расследования, не было разгадывания загадки по маленьким, незаметным взгляду рядового человека мелочам, не было эвристики.

Акунин пишет про свою Пелагию: «Она — особа острого разума». А вот этого самого острого разума мы и не видим в романах. «Пелагия — истинный дока по части разгадки неявного и ложноочевидного» (Акунин). Но как она это делает? Какие приемы использует? Что ей помогает, кроме того, что она всюду сует свой нос, всюду присутствует? Ведь главное, чем занимается Пелагия — подслушивает, подглядывает, случайно становится свидетельницей разговора, не рассчитанного для чужих ушей, свидетельницей каких-то расправ, угроз, заговоров. Может, в жизни все так и бывает, но мы же не жизнь отображаем, а детектив сочиняем. Акунин просто не знает, как пишутся детективы! В его книгах полно ужасов, хруста ломаемых костей, льется кровь, там много любопытных исторических деталей (выдуманных или невыдуманных — это не имеет никакого значения). Это все могло бы послужить отличным антуражем для детектива, но если нет котлеты, то и гарнир ни к чему.

Материал, на котором строятся его книги (стилизация под старину) имеет право на существование, тем более что 70 лет при советской власти описывали «царский прижим» предвзято. Можно бы поспорить с тем, насколько правомерен сдвиг в сознании его героев, одетых по-старинному и вооруженных лексикой второй половины 19 века, а рассуждающих как люди, читавшие от корки до корки «Литературную газету» в 1970-х-1980-х годах. Но об этом пусть пишет кто-то другой, мне лень. Будь эти книги детективами, я многое Акунину простил бы.

В магазинах, в Интернете есть масса текстов, опубликованных под грифом «Детектив», в которых нет ничего детективного, это то, что называется авантюрные, приключенческие остросюжетные романы. Есть километры «детективных» кинофильмов и телесериалов. Все это — профанация и дискредитация жанра. Эта продукция отпугивает людей, воспитывает дурной вкус.

А еще есть произведения, вводящие в заблуждение. Там среди персонажей — следователь или частный детектив; налицо преступление, есть подозреваемый. Может ли считаться детективом книга, в которой рассказывается о преступлении и его раскрытии? Отнюдь. Есть другие более важные правила, без выполнения которых книгу нельзя отнести к этому жанру.

Давайте поговорим не спеша о том, чем отличается детективное произведение от рассказа об убийстве (ограблении) и поимке убийцы (грабителя).

Самое главное отличие: в детективной повести, романе, рассказе *всегда* есть некий прием, некий ход, трюк, то, что я для себя называю «гимик», на котором, вокруг которого и строится все произведение. Есть такие «гимики» у отца-основателя жанра Эдгара По, у Артура Конан-Дойля, у Жоржа Сименона, у Агаты Кристи... Есть они во всех хороших детективных фильмах и сериалах: «Коломбо», «Расследования на флоте», «Монк», «Убийства в Мидсомере», «Мак-Брайд», «Ниро Вульф», «Закон и порядок», пятисерийный фильм «Донован», «The Closer»,

«Body Of Proof» (я перевожу уже много лет все эти фильмы и сериалы, они «сидят у меня в печенках»).

Чтобы вы меня поняли, приведу «гимик» из американского сериала «Расследование на флоте». Погиб, свалившись во время учений, офицер ВМФ США. Он спускался с горы на канате, замок-карабин на его поясе, удерживающий канат, раскололся, десантник упал и разбился насмерть. Первичная проверка показала, что кто-то подменил надежный стальной карабин на непрочный алюминиевый, который заведомо не мог выдержать веса погибшего десантника.

Ищут злоумышленника. Перебирают все версии. Как и водится в хорошем детективе, заходят в тупик. У всех возможных недругов либо есть алиби, либо подозреваемый в принципе не мог изготовить эрзац-карабин.

Тогда одна из следовательниц решает повторить весь путь погибшего с вершины горы до момента падения. Надевает оснастку, на вершине горы надевает на себя пояс с карабином, прикрепляет канат, начинает спускаться и вдруг кричит: «Эврика!» Спустившись на землю, поясняет: «Я десятки раз брала в руки тот сломавшийся алюминиевый замок. Этот заводской, из стали, намного тяжелее того, поддельного. Погибший не мог не заметить разницы!» Вот он — «гимик»! Выросший из факта, что удельный вес алюминия намного ниже удельного веса стали.

Логичный вывод: погибший сам покончил с собой, сам изготовил замок из хрупкого алюминия и подстроил все так, будто произошел несчастный случай. Теперь расследование пошло по совершенно иному пути, надавили на безутешную вдову, она указала на причину, по которой ее муж мог покончить с собой, желая выставить это как убийство, все получило подтверждение, дело раскрыто.

Это — детектив. При всех своих недостатках. (Об одном из них скажу ниже).

Знакомый всем «гимик» в фильме «Место встречи изменить нельзя»: Жеглов вешает на дверь кладовки фотографию любимой девушки Шарапова. И Шарапов понимает, что за дверь его ждет спасение.

Другой пример «гимика». В интернете можно найти мой рассказ, написанный еще в конце 1980-х годов. Называется он «Реванш доктора Ватсона». Он шуточный, но в нем есть все признаки детектива. Еще в детстве я прочел у Конан-Дойля самоуверенное заявление его Шерлока Холмса о бесполезности астрономии для земных расследований. И тогда же подумал, что великий сыщик неправ. Много лет спустя я и написал этот рассказ, придумав ситуацию, в которой только знание астрономии и могло помочь раскрыть преступление. И вставил шпильку своему великому учителю. Таким образом, фраза Холмса и явилась в данном случае «гимиком».

Другой гимик. Я много езжу по Израилю. Слышу разные запахи, доносящиеся с обочины трасс. Мне в голову пришла мысль — можно ли по запахам проследить маршрут? И уже начинает работать воображение, пущена в ход «привычка милая», остальное дело техники. Чтобы появилась необходимость искать дорогу по запахам, нужен герой, который не видит. Слепой? Не нравится. Повязка на глазах? Заложник? Намного лучше. Есть экшн, есть уже преступление. И поскольку следствие у меня ведет мужчина, то жертвой должна быть женщина. Лучше — молодая. И разумеется — красивая. Девушку захватили арабские террористы, завязали глаза, привезли в свою деревню, ей удалось связаться по телефону со своим женихом. Где она — понятия не имеет, по какой дороге везли — тоже. Единственное, что может рассказать — запахи, которые она слышала на всем пути следования от места похищения до этой деревни. Все, детективный рассказ готов (Я назвал его «Палестинская пленница» и включил в сборник «Дебют частного детектива»).

Ну, и так далее. Остановимся на этом, а то я вам всю кухню раскрываю, скоро столько успешных конкурентов расплодится...

«Гимик» можно позаимствовать из реального расследования (если у вас есть доступ к обычно засекреченным материалам, тем, что публикуют под грифом ДСП); «гимик» можно придумать самому (высосать из пальца), можно подсмотреть в жизни. Недавно мы летели в Лондон. В аэропорту отвечающий за безопасность полетов агент заметил что-то у одного пассажира, его проверили особенно тщательно. Потом я спросил у туриста, что не понравилось службе безопасности. Он рассказал. Тревога оказалась ложной, турист злоумышленником не был. Но я придумал, что подозрение было обоснованным, построил на этом «гимик», который использовал в повести «Убийство депутата Гринблата» (опубликован в сборнике «Приглашение к ограблению»).

О секрете «гимика» знают почти все западные авторы детективов. Им владеют сценаристы Голливуда.

Если вам не нравится слово «гимик», придумайте другой термин, это не имеет значения. Назовите это парусом, который наполнится ветром и поведет корабль вашего повествования в плавание по бурному морю. А без паруса ваше сочинение никуда не тронется.

Вернемся к Пелагии. «Не-е», — сказал я тому товарищу при следующей встрече, — «Акунин может отдыхать. Моя девушка действует совсем иначе. Она умеет раскрывать преступления».

Прежде чем сесть писать, я придумал «гимики» для этой повести. Средние века — и дактилоскопии, разумеется, не будет, то же самое — анализа на ДНК или на ворсики. Какие у моей героини будут методы? Дело происходит на Востоке — значит, у ее методов должен быть своеобразный ориентальный колорит. И камертоном тут для меня служит старинная восточная притча.

Люди ищут пропавшего верблюда. Они встречают человека, спрашивают, не видел ли он их сбегавшее животное.

— Ваш верблюд слеп на левый глаз, хром на правую заднюю ногу, такой-то и такой-то масти?

— Да!

— Нет, не видел.

— Как не видел, если так подробно описал?!

Хватают человека и ведут к кадию. Там он объясняет: «Я не видел верблюда, но видел следы, по которым определил, чтопо этому перулку недавно прошел верблюд без хозяина, поскольку он подолгу стоял у кустов и без помех обгладывал их. Он хромает на правую ногу. Причем ветки были обглоданы только с правой стороны узкой улочки, хотя слева ветки были еще более сочные и висели ниже. Я предположил, что верблюд был слеп на левый глаз.

— Но как ты узнал, какой он масти?!

— Поскольку он слепна левыйглаз, он шелслишком близко к заборам на левой стороне улицы, на нем остались клочки его шерсти, так я узнал, какой он масти».

«Гимиком» может быть не только метод раскрытия, но и метод совершения преступления, который и выдаст преступника. Или метод разоблачения. Иногда такие «гимики» содержат в себе логическую ошибку, но читатель-зритель не всегда ее улавливает, послушно играет по правилам, предложенным автором.

«Гимики» могут быть блистательными, изящными, крепкими, а могут быть слабенькими, бледными.

На слабенький гвоздик можно повесить небольшую картинку—рассказ. (Великолепным мастером короткого детективного рассказа был Карел Чапек. Найдите его «Рассказы из одного кармана» и «Рассказы из другого кармана».) На гвозде покрепче удержится целая повесть. На крупный гвоздь или на несколько небольших смело вешайте огромное полотно романа.

Примером слабого и неубедительного (для меня, по крайней мере) является «гимик», использованный в одном фильме о Коломбо. Инспектор Коломбо в самом начале замечает, что персонаж кладет очки на стол стеклом вниз. А согласно условиям данного детектива убийца не мог быть очкариком. И этого наблюдения инспектору хватает, чтобы заподозрить обман (настоящий очкарик НИКОГДА не положит очки на стол стеклом вниз — стекла поцарапаются! Значит, герой притворяется, что он очкарик, ему есть что скрывать). И в конце концов Коломбо выводит преступника на чистую воду. (Почему мне этот «гимик» не понравился: правило совершенно надуманное, моя жена давно носит очки, и я не раз замечал, что она кладет их на стол стеклом вниз. С недавних пор и я стал надевать очки, читая детективы, напечатанные мелким шрифтом, и ловлю себя на том, что беспечно кладу очки стеклом вниз). Но не будем придираться; все фильмы про Коломбо — прекрасные и для того времени (середина 1970-х), и сейчас их еще можно смотреть.

Есть авторы, которые на довольно слабый гвоздик-«гимик» могут повесить огромный детективный роман. А бывают такие, что в одной повести разбазаривают несколько прочных «гимиков». Это дело вкуса, плодovitости по части «гимиков». Правила тут нет. Один из детективов про Коломбо (полтора часа!) повешен на такой слабенький «гимик». Преступник обеспечил себе алиби: в момент убийства его машина мчалась с огромной скоростью по трассе очень далеко от места преступления. Камеры дорожного контроля зафиксировали нарушение, герою прислали штраф, снабдив его фотоснимком. На снимке видно, что за рулем сидит наш подозреваемый. Мудрый Коломбо обращает внимание на что-то необычное на фотографии и догадывается, что машину вел кто-то другой, который повесил перед своим лицом плакат с фотографией подозреваемого. Вот ловкачи, а! Но Коломбо не проведешь. Он находит того, кто проехал на машине подозреваемого по той трассе, вынуждает его признаться, алиби отвергнуто, на убийцу надевают наручники.

Недавно перевел фильм с таким вот «гимиком». Журналистку подозревают в убийстве. Но у нее прочное алиби: в момент убийства она была в другом месте, фотографировала кинозвезду. Фотография опубликована в ее журнале. Над головой звезды — часы, на них — то самое время, когда кто-то совершал расследуемое убийство в другом конце города. Но наш следователь — «особа острого разума», «кистинный дока по части разгадки неявного и ложноочевидного». Он обращает внимание на то, что обручальное кольцо у кинозвезды — не на той руке. Вывод — негатив перевернули, и часы над головой звезды показывают на самом деле совершенно другое время! (Если не поняли, в чем трюк, посмотрите на свои настенные часы, а потом на них же в зеркало). Все, журналистка лишилась алиби и раскололась.

В романе Дарьи Донцовой «Надувная женщина для Казановы» раскрыть преступление помогает платок с вензелем, найденный на месте убийства. Такой прием уже во времена Шекспира и Отелло считался затасканным до дыр, но Шекспиру простили — он писал не детектив, а трагедию чувств.

Могут ли величайшие достижения криминологии служить такими «гимиками»? Да. Но только один раз. Они потом могут присутствовать в детективах, создавать фон, поддерживать обвинение или исключать версии. Но служить главным раскрывающим приемом не могут. Таким выдающимся открытием криминологии в 19 веке была дактилоскопия. В первый раз можно поразить воображение читателя тем, что, оказывается, вор оставляет отпечатки пальцев, они у каждого человека уникальные, и по ним можно отыскать преступника.

В середине 20 века открыли, что мельчайшие ворсинки из твоей одежды остаются на одежде того, к кому ты хотя бы ненадолго прислонился. Подозреваемый утверждает, что в глаза не видел убитую, а на его пиджаке — ворсинки от свитера погибшей. Не отвергнется. То же самое — анализ на ДНК. Когда-то это был революционный, поражающий воображение читателя «гимик». А сейчас нельзя построить детектив на том, что у всех подозреваемых провели анализ на ДНК, и у кого-то те же гены, что нашли в сперме, оставленной во влагалище у изнасилованной и убитой девушки.

Или — последнее достижение: можно проследить за передвижениями человека по его мобильнику. Я написал одну повесть («Роковое ухаживание» в сборнике «Приглашение к ограблению») с использованием этого «гимика» — и все. Хватит. Вам его использовать в качестве главного гимика не рекомендую. Уже все про это читали. Ничего необычного для нас уже не будет. Мойте золото на другом участке. (Хотя локализацию подозреваемого по его мобильнику можно использовать, как я уже отметил выше, для ложной версии, для лишнего подтверждения верной).

Появление компьютеров вроде бы пошло на пользу писательскому ремеслу. Но для детектива это изобретение оказалось губительным. Все больше и больше читаешь книг (смотришь фильмы), в которых все раскрывает некий волшебный хакер, который залез в компьютер и вытащил оттуда любую информацию. Обычно сам автор никакими компьютерными талантами не обладает, слышал только звон, ничего популярно или непопулярно объяснить не может, верьте ему на слово и все. И так делают уже многие. И теряют зрителя. Это сродни *сверхъестественным* способностям сыщика. В детективном жанре сверхъестественное не годится.

Многие авторы, не зная о необходимости «гимика», делают ошибку. Самая распространенная: детектив у них просто незаметно следит за подозреваемым, видит, как он с кем-то встречается, что-то где-то прячет и так далее, и таким образом раскрывает преступление. Это могло сойти за «гимик» в веке XV до нашей эры. С тех пор литература продвинулась очень далеко, и читателя на мякине не проведешь. Желая быть добросовестным, я не ограничился одним произведением Акунина, нашел в Интернете и стал читать его роман «Пелагия и бульдог». Но когда дошел до «гимика» — «захлопнул» компьютер и еще больше утвердился в своем мнении: Акунин детективщик никакой. Его героиня узнает, кто же убивал любимых почтенной владелицей имения бульдогов, следующим образом: идет к месту, где нашли трупик последней жертвы, находит там следы от женской обуви, по размеру они могут принадлежать только одной из подозреваемых. Думаю, за такой детектив могли голову снести разочарованные читатели еще во времена Гомера.

Может ли быть детективом изложение настоящего расследования? В свое время я прочел десятки таких отчетов, сопровождаемых комментариями криминологов-теоретиков. Увлекательное чтение, но это не детективы. Некоторые из них могут служить материалом для детектива. В некоторых есть даже готовый «гимик». Но его нужно художественно обработать, обставить.

Наличие такого «гимика» в вашем произведении — главное, основное правило, но не единственное. Чтобы быть *хорошим* детективом, ваша книга должна следовать и второстепенным правилам. Что же такое *хороший* детектив?

Сразу оговорюсь — таких правил масса, они общие для многих жанров, я остановлюсь на нескольких. И считайте эту мою статью «Введением в детективоведение».

У вас есть удачный «гимик», вы уже придумали конструкцию рассказа. Но есть общие законы искусства, нельзя их безнаказанно нарушать, нельзя ими пренебрегать.

Конец 1980-х, я отдыхаю в писательском доме Коктебель на берегу Черного моря. Там же пребывает маститый ташкентский автор. Я отдыхаю — он пребывает, уже несколько месяцев. Пишет новый роман. Детективный. «Хочешь почитать?» — спрашивает. Вежливо отвечаю: «Да». И получаю толстенную рукопись.

Одна страница, вторая, десятая, пятидесятая... Сочный, подробный, любопытный рассказ о богатой восточной свадьбе. Но когда же начнется детектив? Может, прояви я терпение и читай дальше, где-то на сотой странице произойдет убийство и завяжется, наконец, сюжет. Но для чего мне мучиться? Не хочу я читать про свадьбу. Хочу детектив. Наутро задал автору несколько наводящих вопросов. Тот стал горячо убеждать: «Это детектив! Ты до какой страницы прочел? До пятидесятой? Читай дальше, там есть все — убийство, да не одно, мафия, разборки, коррупция властей...»

— Нет, — сказала я твердо, — дальше читать не буду.

И доступно изложил ему одно из правил такого рода книг. Преступление должно произойти в самом начале. «Соверши убийство на второй странице, зацепи читателя, заинтригуй его, а потом на пятидесяти страницах опишь вай восточную свадьбу или европейский развод. Читатель терпеливо будет ждать, когда произойдет следующий сдвиг в сюжете», — сказал я.

Тот писатель был человеком неглупым. Он не стал обижаться на то, что его смеет поучать человек моложе него на 10 лет. Он забрал рукопись и через два дня принес ее снова — с переписанными первыми страницами. Он сделал все так, как я ему посоветовал. Убил одного из героев на второй странице, а потом все его описания свадьбы стали особенно зловещими, заиграли какими-то отсутствовавшими в первоначальном варианте красками, намеками...

Иллюстрируя свою мысль, я тогда привел тому писателю пример. Кино. Герой лезет по отвесной скале вверх. Изю всех сил. Оператор показывает нам подробнейшим образом, как он ищет опору для руки, для ноги, для второй руки, для второй ноги, вот нога срывается, он чуть не падает. Нам не скучно, поскольку мы знаем: внизу его ждут враги, и если он не сумеет подняться наверх — ему конец. Вопрос жизни смерти. Но этого режиссеру мало. Наш герой преодолел уже половину пути. И тут вдруг нам показывают, что и наверху его ждут враги! То есть, все его старания в принципе напрасны! И напряжение вырастает еще больше...

Сходная история произошла несколько месяцев назад. Израильский драматург пригласил меня на чтение его пьесы в одном из главных тель-авивских театров. Минут через 15 после начала читки директор театра (она же — художественный руководитель, от которого зависит все) раздраженным голосом перебила: «Я ничего не понимаю! О чем это? Чего хочет автор? Почему я, зритель, должна все это слушать?» В смущении были все — и драматург, и завлит театра, который го-

рячо рекомендовал эту остросюжетную комедию. Читку прекратили. Реакция директрисы была непонятной: первые сцены были полны юмора, автор создал замечательные образы. И только я сразу понял, в чем причина. Назавтра драматург напросился ко мне в гости, прислав заранее по мэйлу свою пьесу. Она действительно была замечательной. И имела только один недостаток: фраза, служившая завязкой, звучала на далекой 20-й странице. Я объяснил автору (который на этот раз был намного моложе меня), в чем его ошибка. Зрители не будут полчаса терпеливо ждать, пока им объяснят, из-за чего весь сыр-бор. Автор со мной не согласился. Мы разошлись, не придя к единому мнению. Через полгода он пригласил меня на премьеру спектакля по этой же пьесе в тот же театр. И что же я вижу? Та ключевая фраза, служащая завязкой, звучит в первой же сцене, на третьей минуте! Режиссер понял, как спасти пьесу? Сам автор, придя домой, согласился со мной? Это уже неважно.

Классик кино-детективов Артур Хичкок почти полвека назад ввел ключевое понятие этого жанра «саспенс» — напряжение. Он пишет (цитирую по памяти): «Сидят герои в кафе, беседуют, пьют, смотрят праздно по сторонам. Скучно. Но если заблаговременно поставить зрителя в известность о том, что под столом установлена бомба, которая может взорваться в любую минуту — вся эта сцена будет восприниматься совершенно иначе».

Короче — нужно дать завязку в самом начале! (В романе Акунина «Пелагия и белый бульдог» это правило выполнено, митрополит излагает суть преступления в самом начале романа. Но повторяю, там нет главного).

На днях мне прислали по Интернету огромный роман, назвали его «детективным» и попросили моего мнения. Я стал читать. Долгое и нудное описание буровых процессов. Научные выкладки. Телефонные разговоры. Диалоги... А при чем тут детектив? Если бы все это было хотя бы высокохудожественно... Но и тогда я еще подумал бы. Просто интересные книги мне сейчас читать некогда. Меня подкупили, пообещав детектив. Может, убийство произойдет на пятидесятой странице? Но меня они уже потеряли. Я не верю, что это будет интересный детектив, если автор не чувствует читателя, не знает элементарных законов жанра. Я уничтожил файл и даже не ответил тем, кто прислал мне это произведение. Пусть тешат себя мыслью, что сочинили шедевр.

Другое важное правило. Не забывайте о *ретардации*. Для неопитов — что это такое. Если коротко — искусственная задержка развития сюжета, оттягивание развязки. У вас есть схема совершения и раскрытия преступления. Вы вчерне набросали сюжет. В самом начале рассказали о преступлении, нагрузили задачей своего следователя (и читателя). Но не спешите раскрывать преступление! Отвлечитесь ненадолго. Много лет назад, уже закончив свой первый детектив, я прочел в журнале «Новый мир» (номер 1, 1978 года) любопытную статью Абрама Вулиса «Поэтика детектива». Цитирую оттуда (это уже не по памяти): «Интуитивное ощущение сюжетного времени становится неизменной составной частью авторского таланта, а само время — эстетической категорией. Вот почему редакторы, сокращающие детектив за счет, казалось бы, пустых диалогов и бессмысленных перекуров, совершают тяжкий профессиональный грех. Вместе с водой они выплескивают ребенка. Фигурально выражаясь, курить в детективе не всегда вредно!»

Да, курить в детективе не всегда вредно.

Заполняйте пространство между сдвигами в сюжете чем-нибудь интересным. Сухая ложка горло дерет. Смажьте колеса телеги своего повествования. Но

опять же — не забудьте сначала «зацепить» читателя. Неопытные авторы видят в классических произведениях затянутые сцены, не улавливают, что они даны после того, как зритель заинтригован, «мешкают» без подготовки — и получается скукоптица. Мхатовские паузы должны появляться только после того, как зритель к ним уже подготовлен, созрел для них. В этих паузах читатель (зритель) сам пытается разгадать загадку. А если паузами вы начинаете роман, то читатель, не имея пищи для размышлений, зеваает, не понимает, чего от него хотят, откладывает вашу книгу в сторону.

Но и здесь есть свои секреты. Переводя детективные сериалы, я вижу, как малоталантливые авторы, оттягивая развязку, заполняют сюжет совершенно лишней, необязательной чепухой.

То герои спорят друг с другом чёрт знает о чем, то идут рассуждения, совершенно не связанные с сюжетом, то какие-то романтические рассусоливания. (Этим грешит, к примеру, сериал про следственный отдел Морфлота США, канал «Холмарк»). Особенно я терпеть не могу долгие описания застолий с обильной выпивкой. Можно поесть — но в меру. И выпить там бокал вина или бутылку пива. А то некоторые авторы не знают, чем заполнить время, и их персонажи едят бутерброды, пьют кофе, курят, и снова пьют кофе, и снова едят блинчики, и снова кофе... Из-за обилия кофе у жанра уже сердечная недостаточность наступила. А в России цена на этот продукт взлетела до небес.

И совет про курение примите как образ — не нужно пропагандировать эту вредную привычку.

Наиболее «детективный» способ затянуть развитие сюжета — это начать подробно разрабатывать ложные версии.

Самый лучший детективный сериал в этом смысле — «Монк». Великолепный. В нем всегда есть детективный «гимик». А балансное наполнение просто гениально. Характер персонажа очень киношный (киногеничный): детектив Монк помешан на чистоте, боится заразиться, не прикасается ни к чему, от всего страдает; любит, чтобы все лежало на своем месте, висело ровно и так далее. За ним забавно наблюдать. Актеру есть что играть перед камерой, он не ходит с многозначительным и скучным лицом (Бедный Штирлиц! Он был настолько выхолощенным, что ничего на экране не делал, только ходил с умным и красивым лицом. То есть актер Тихонов ходил). И самое главное — эти черты характера Монка либо помогают раскрыть преступление, либо как-то связаны с раскрытием. Вот пример. Подозреваемого в хищении ценного алмаза привели в полицейский участок на допрос, ничего от него не добились, отпустили, предварительно обыскав (его задержали на месте преступления сразу после исчезновения алмаза). За находку алмаза обещана ценная награда. Между делом у Монка конфликт с уборщицей полицейского участка — он убеждает всех, что она плохо убирает кабинеты, среди прочего не вытирает столешницы снизу, и там накапливается пыль. Идет расследование, разрабатываются ложные версии. Тем временем в участок то и дело приходит молодая женщина, заявляет, что хочет признаться в преступлении, ее заводят в комнату для допросов, но никакого признания она не делает, мямлит что-то и уходит. Так повторяется на протяжении получасового фильма три раза.

В конце концов Монк выясняет, что эта девушка — подруга того подозреваемого, складывает два и два и вдруг его осеняет: девушке зачем-то нужно окатиться в комнате для допросов! А для чего? Значит, алмаз там! Допрошенный утром подозреваемый смог как-то спрятать его в той комнате.

Он мчится в комнату для допросов, чтобы поискать алмаз — а там уборщица наводит чистоту, видит приближающегося Монка, своего давнего врага, и чтобы удовлетворить его, со злобой переворачивает стол, чтобы вытереть столешницу снизу, и обнаруживает приклеенный жвачкой алмаз! И ей достается награда. Особенность характера Монка: требовать абсолютной чистоты и тщательной уборки, помогла отыскать пропажу. Эта его особенность не повисла в воздухе, она аукнулась в сюжете, сыграла свою роль.

Второй пример. Монк избран присяжным заседателем. Процесс завершен, присяжных запирают в специальной комнате, оттуда они не выйдут, пока не вынесут вердикт. И никто не может к ним войти. Среди присяжных — подруга подсудимого (она убила ту, которую выбрал компьютер, и воспользовалась ее паспортом), она вооружена, повязала всех присяжных заседателей и готовит похищение своего подельника. Как и водится в этом сериале, «гимик» тесно связан с характером главного героя. Помощница Монка проходит мимо дома, в котором на четвертом этаже находится комната с присяжными, поднимает глаза, видит, что жалюзи на окне висят криво. Она-то знает, что Монк ни в коем случае не оставил бы это без внимания! Он не сделал бы ничего, пока не добился бы, чтобы жалюзи висели, как следует. Значит, — совершенно резонно заключает помощница, — с Монком что-то случилось! Она бьет тревогу, полиция врывается в комнату заседающих и спасает Монка и остальных присяжных, ловит пособницу преступника и предотвращает его бегство.

Вот почему я твержу, что «Монк» лучший из нынешних детективных сериалов.

Вчера смотрел очередную часть из детективного сериала “The Closer” (в российском прокате — «Ищейка») с неподражаемой Кирой Сэнджвик в главной роли. В качестве «балансного наполнения» — детали из ее личной жизни: она ненароком услышала сообщение, оставленное незнакомой ей женщиной на автоответчик для спутника ее жизни. И вот ведя сложнейшее расследование, Бренда Ли Джонсон параллельно терзается муками ревности. Перед финалом это нечаянно подслушанное сообщение помогает ей раскрыть преступление: убила жена убитого, которая вот так же подслушала сообщение, оставленное на автоответчик жертвы.

Есть и другие правила, может, не такие строгие.

Существенное замечание: мы здесь говорим только о ремесле, не касаемся того, что называют Божьим даром, талантом, не касаемся вещей, которые не поддаются разумному анализу. Талант — от Бога. Как писал Марк Твен, талант что деньги — есть, есть, нет, нет. И здесь ничего не поделаешь. У талантливого писателя детективный сюжет засверкает всеми красками, станет объемным, полным запахами и звуков. Образы у него выйдут выпуклыми, сама эпоха отразится в его романах. Более неожиданными будут повороты сюжета, более сложными — перипетии. Тоньше перо, изящнее стиль. Глубже — проникновение в психологию персонажей. Все это только улучшает детектив, но прежде всего должны быть выполнены основные правила, на которых я здесь и остановился.

Разумеется, в отличие от жизни, раскрываемость в детективах должна быть стопроцентной.

В упомянутой выше статье А. Вулис приводит девять заповедей детектива, предложенные английским писателем Рональдом Ноксом, активно писавшим детективы в первой половине 20 века. Вот они:

1. *Преступник должен появляться в первых эпизодах, причем эта роль не может быть отдана герою, с чьими мыслями читатель познакомился;*
2. *Сверхъестественные и противоестественные силы в детективе недопустимы;*
3. *Не более одной потайной комнаты (коридора) на роман;*
4. *Излишни в детективе неизвестные человечеству яды (которые невозможно выявить при лабораторном анализе — Ю.М.) и приспособления, требующие в финале долгого научного комментария;*
5. *Не следует спекулировать на национальной принадлежности героя;*
6. *Ни случай, ни сверхъестественная интуиция не должны работать на сыщика;*
7. *Преступником не должен оказаться сам сыщик;*
8. *Глуповатый друг детектива Уотсон не должен скрывать своих мыслей;*
9. *Близнецы или двойники не вправе объявляться в детективе без предварительного уведомления.*

Прочтем еще раз вместе.

1. *Преступник должен появляться в первых эпизодах.*

Неплохое правило, прислушайтесь к нему. Преступник должен засветиться где-то в самом начале. Он не может быть выхвачен из толпы на последней странице.

Причем эта роль не может быть отдана герою, с чьими мыслями читатель познакомился.

Не знаю, о чем тут. Я могу себе представить детектив, в котором читатели ознакомлены с мыслями преступника заранее. (Уже после того, как написал это, прочел детектив Агаты Кристи, в котором убийцей оказывается тот, от чьего лица ведется рассказ! Название романа помню; не привожу — чтобы не испортить удовольствие тем, кто еще не читал).

2. *Сверхъестественные и противоестественные силы в детективе недопустимы.*

Тоже хорошее правило. Я только однажды его нарушил — в повести «В замкнутом круге» (см. сборник «Приглашение к ограблению»). Больше нарушать это правило не буду и вам не советую. В принципе недопустим детектив, в котором среди возможных версий рассматривается и такой, что недоступен здравому смыслу, нематериален, потусторонен, где исполнителем преступления могут быть какие-то неземные силы. Почему же свой «Замкнутый круг» я отношу к детективу? Потому что там разрабатывается несколько конвенциональных версий, выдвинутая *потусторонняя* версия высмеивается и отбрасывается в самом начале, одна из нормальных версий благополучно оказывается верной, преступление раскрыто. И просто в самом последнем абзаце бросается как бы мельком фраза, опровергающая версию, которая только что получила название верной, и выдвигающая на первый план именно ту, потустороннюю... Думаю, такие кульбиты возможны очень редко, и никогда больше ничего подобного я писать не буду. Либо ты пишешь детектив, либо — научную (и ненаучную — никогда не понимал разницы между ними) фантастику.

3. Не более одной потайной комнаты (коридора) на роман.

Намотайте себе это на ус. Это не только о комнатах.

4. Излишни в детективе неизвестные человечеству яды и приспособления, требующие в финале долгого научного комментария.

Примите к сведению. Долго объясняя механизм преступления, вы потеряете читателя. Нокс не знал компьютеров — но это замечание и о компьютерных «раскрытиях».

5. Не следует спекулировать на национальной принадлежности героя.

Это очень важное замечание. Естественно, нельзя использовать в детективе расистские мотивы, например, нельзя обосновывать совершение преступления национальными или расовыми особенностями персонажа (Я знаю, кто убил! Вон тот, из племени мумбо-юмбо! Они очень воинственны!) И не следует делать из детектива политическую прокламацию. Спрячьте свои политические пристрастия подальше. Того, кто использует детективный сюжет для продвижения каких-то своих идей, я смело сравню с человеком, который приглашает в гости, чтобы протолкнуть свой товар. От такого уходишь с очень неприятным осадком на душе, чувствуешь себя обманутым — даже если стол был накрыт щедро, а главное блюдо было вкусным.

6. Ни случай, ни сверхъестественная интуиция не должны работать на сыщика.

А вот это и запоминать не стоит. Всякий нормальный сыщик от рождения наделен автором сверхъестественной интуицией. И случай ему вполне может помочь. Сыщик отличается от простого смертного тем, что второй пройдет мимо случая, оставит его без внимания, а сыщик его заметит и сделает надлежащий вывод.

7. Преступником не должен оказаться сам сыщик.

Почему? Я перевел с десятков неплохих фильмов, в которых виновником оказывался сам сыщик. То ли он убивал в протрации, то ли умело скрывал все от своих коллег.

8. Глуповатый друг детектива Уотсон не должен скрывать своих мыслей.

И пусть не скрывает. Надо же заполнить чем-то страницы романа до неминуемой развязки.

9. Близнецы или двойники не вправе объявляться в детективе без предварительного уведомления.

Хмм... Тут мне нечего сказать. Как хотите, так и поступайте.

Шекспировский «Гамлет» — детектив? Если да, то очень плохой. На первый взгляд есть все составляющие. Гамлет расследует, как погиб его отец — и находит убийцу.

Но почему это не детектив? Нарушен еще один главный принцип, настолько очевидный, что никогда не приходит и в голову предупредить: в самом начале Гамлет узнает из самого достоверного источника, что произошло — дух его отца ему рассказывает правду. И все, никакого детективного напряжения больше нет. Топтание на месте, самокопание, любовные коллизии, политические интриги, глупые монологи (самый глупый из них «Быть или не быть?») — но об этом в другой книге «Драма — великая обманщица»).

Сомнения, колебания, терзания, выбор, — все это хорошо в другом жанре, это уже не детектив. Поскольку первоначальная версия ни разу не была даже в

шутку опровергнута на всем протяжении этой длиннющей и скучнейшей трагедии, то и детектива не получилось. В древних греческих трагедиях в прологе рассказывался вкратце весь сюжет, потому что тогда считалось, что главное не сюжет (они были всем известны), а то, как на этот раз автор трактует древний миф, кого выгораживает, кого осуждает и т.п. Не ставилась задача держать зрителей в напряженном ожидании.

Детектив — иной жанр, он посвящен именно интриге, процессу раскрытия преступления.

Вот недавний пример из израильской реальности. В Иерусалимский музей востоковедения вернулась ценная коллекция редких старинных часов (более ста «единиц хранения»), похищенных оттуда 30 лет назад. Были там и часы фирмы «Брегет» французской королевы Марии-Антуанетты, казненной в конце XVIII века. (А что такое брегет — не мне вам объяснять. Вспомните только Пушкина: «Желудок — верный наш "Брегет"», то есть, слово «брегет» во времена великого поэта было синонимом слова «часы»).

Израильская полиция долго и безуспешно искала пропавшую, так и не смогла раскрыть преступление, сдалась, положила дело на полку. И сотрудники музея не чаяли уже увидеть снова эту коллекцию, стоимость которой оценивается в десятки миллионов долларов.

И вдруг месяц назад в музей позвонила женщина из Нью-Йорка, говорит, что знает, где находятся те часы, и готова за определенное вознаграждение указать место.

Короче, коллекция возвращена. Простая проверка показала, что звонившая — вдова человека по фамилии Дилер, который жил и процветал в Иерусалиме. Он известен полиции Израиля как дерзкий взломщик. И был даже однажды допрошен по этому делу. Но он предьявил алиби: «В тот день, когда похитили часы, я был в Голландии, вот мой паспорт со штампом». Сейчас выясняется, что Дилер все-таки грабнул музей, тот штамп в загранпаспорте был поддельным.

Имеем ли мы детектив? Нет. Ни один из следователей не смог раскрыть его — даже приблизившись вплотную к разгадке (Дилер был допрошен). Никто не догадался отправить на экспертизу штамп в его загранпаспорте. Разгадку им принесли на тарелочке.

Но можно ли на этом построить детектив? Безусловно. Вывести вместо следователей-лопухов умного, вдумчивого детектива, «особу острого разума, истинного доку по части разгадки неявного и ложноочевидного», который по каким-то незаметным обычному глазу деталям, по чьей-то оговорке, по перемене в поведении подозреваемого, по каким-то другим признакам сможет распутать это дело. (Мой знакомый перед репатриацией в Израиль «купил» в России водительские права. Здесь его тут же вывели на чистую воду и чуть не посадили. Корочки были настоящими, печать тоже. Но эксперт заметил, что подпись на правах поставлена ПОВЕРХ печати. А во всем мире печать принято ставить НА подпись облученного правом подписи лица. Великолепный «природный» гимик).

Другой свежий пример. Злоумышленник подложил самодельное взрывное устройство под днище автомобиля человека, с которым хотел свести счеты. В качестве детонатора использовал свой мобильный телефон: позвонишь на него — и бум! Произошла накладка, бомба взорвалась, но слабенько так, телефон-детонатор почти не повредился. Полицейские следователи установили номер этого телефона и его владельца. Им оказался некто В., житель Бат-Яма. Онарестован, все отрицает,

но его никто не хочет слушать. Дело скоро передадут в суд. Такой «гимик» из реальной жизни может лечь в основу детективного рассказа. Но лучше его усложнит — пусть выяснится, что телефон у него украл тот, кто подложил бомбу, и незаслуженно обвиненного в результате отпускают на свободу.

Нередко к авторам детективов выдвигают требования, не имеющие обоснования ни в биологии читателя, ни в особенностях жанра. Например, требуют дать в тексте какие-то подсказки читателю, чтобы тот имел шанс и сам разгадать загадку. Чепуха. Детектив — это не игра в шахматы с читателем, это увлекательное чтение для него; играть в шахматы может следователь с преступником. Например, все фильмы о Коломбо построены так, что зритель с самого начала знает, кто совершил преступление и как он его совершил, и следователю нужно только вывести преступника на чистую воду. Как и для чего тут давать зрителю подсказки? А такие подсказки напоминают мне старый анекдот: опоздавший к началу сеанса зритель не дал на чай проводившей его к месту билетерше, и та мстительно шепчет ему: «Убийца — вон тот в сером плаще и шляпе». Нет такого правила — подбрасывать читателю-зрителю намеки. Отстаньте. Не придумывайте правила на ходу, лучше возьмите хороший детектив и почитайте его. И скажите спасибо автору, что поработал для вас, поразвлек вас, помог отвлечься от вашей ипотечной ссуды, от поднимающего голову международного террора, от сезонного повышения цен на овощи и фрукты.

...Друзья сделали подянку — подбросили несколько книг Марининой, сказав, что это детективы. Я доверчиво взял одну из них и стал читать с некоторой опаской. И вдруг на первых же страницах наткнулся на фрагмент, который заставил меня испытать приступ белой зависти. Автор вскользь упоминает об одном раскрытом героиней случае: сравнив частоту мелких краж в одном районе Москвы с таким же показателем в другом районе, она приходит к безошибочному выводу, что там завелся гомосексуалист, который снабжает девочек наркотиками, не беря с них плату секс-услугами, и тем приходится совершать мелкие кражи. Это помогло ей выйти на крупного наркодилера. Вот он, истинный детективный «гимик»! И не затасканный. И научно обоснованный. И легко объяснимый. Я обрадовался — меня ждет прекрасное времяпрепровождение за чтением замечательных, профессионально написанных детективов, в которых будут то и дело попадаться такие перлы.

Но дальнейшее чтение повергло меня в глубокое уныние. Все остальное в той книге никакого отношения к настоящему детективу как жанру не имело! Тот стат-анализ оказался случайным бриллиантом в куче мусора. Маринина нечаянно взяла в руки инструмент, которым она и должна была бы работать на протяжении всего романа, повертела его в руке, показала мне, читателю, подразнила — и отложила в сторону. Она не знает, чего ждет от нее истинный ценитель детективов! Книга полна «балласта», рассказа о привычках, симпатиях и антипатиях героини, перипетиях ее личной жизни, там множество акций, описаний образов и всевозможных историй. Она долго оттягивает развязку. Было бы хорошо, если бы отсутствовала сама структура детектива. В книге масса действующих лиц, ты уже забываешь, кто за что там ответственен, кто кому кем приходится, кто что сделал. Гарнир, гарнир, гарнир. А где же котлета? Я добросовестно дочитал этот роман до конца, понял, что белая зависть была преждевременной. Взял другую ее книгу, стал читать — то же самое. Отбросил, не дочитывая. Это что угодно, только не детектив. И мой роман с романами Марининой закончился навсегда. Я полностью солидарен с Фридрихом Незнанским, написавшим: «Получился так называемый женский детектив, а это такая ужасная вещь». Впрочем, книги самого Незнанского я тоже не считаю детективами.

В ресторане мне подают мясное блюдо, хотя я заказывал рыбу на гриле. Я не хочу рассуждать о том, как это мясо приготовлено, много или мало в нем специй, каковы там пропорции составляющих, каков стиль или сюжет. Где моя форель?! Уберите вы от меня подальше этот бифштекс окровавленный! Может, это вкусно и полезно и питательно для кого-то, но я этого не заказывал, я этого не хочу. И не твердите мне, что шеф-повар — лауреат всемирных конкурсов. (Например, я терпеть не могу фильмов-ужасов, но никогда не буду ругать их или призывать к их запрету. Не мой жанр и все). Иногда у меня лежит душа к хорошему антрекоту (простите, к боевику), вот тогда я найду такую книгу и почиताю, выберу соответствующий фильм в Синема-сити. Но если я прошу рыбу, то будьте добры подать мне то, что я заказал. Или честно признайтесь: «Детективов не держим-с». И я пойду в соседний кабак.

Не профанируйте жанр. Не прикидываетесь. По мне плохонько написанный (с художественной точки зрения) настоящий детектив лучше самого распрекрасного со стилистической точки зрения боевика или фильма ужасов, или фантастики, или любовного романа, или городской или крестьянской саги. Вы хотите отобразить бурную жизнь новой России? Пожалуйста! Но при чем тут детектив? Это бурная жизнь сама по себе очень заманчивое чтение — если вы в ней разбираетесь, если вы честны, владеете материалом — фактическим или психологическим, если у вас есть дар писательский. Ты хочешь бытописать — бытопиши! Если это талантливое отражение эпохи — будет эпос, станешь Львом Толстым. Но когда неуверенный в своих талантах писатель пытается привлечь к своей книге внимание, снабжая подзаголовком «Детектив» — тогда не получается ни детектив, ни эпос, и идет профанация идеи и дискредитация жанра. Не детективный сюжет обслуживает бытописание, а бытописание призвано обслужить детективный сюжет — если ты пишешь детективы.

И не пытайтесь обмануть меня, взяв в главные герои работников милиции-полиции, или частных детективов. Мы, конечно, хотим что-то узнать об истинной работе правоохранительных органов. Это не будет детективом в классическом смысле, но такая книга станет бестселлером. Другой жанр, очень необходимый, возможно — даже больше, чем детективы. Но и здесь есть одно непременное условие: нужен честный рассказ об их работе. А подделки под это — вообще никому не нужны.



Игорь Ефимов
ЗАКАТ АМЕРИКИ
САРКОМА БЛАГИХ НАМЕРЕНИЙ

(продолжение. Начало в №1/2015 и сл.)

7. В БАНКЕ

Врачи одного вынули из гроба,
Чтобы понять людей небывалую убыль.
В прогрызанной душе, золотопалым микробом
Вился рубль.

Владимир Маяковский

В первые годы нашей жизни в Америке местные банки вызывали у меня только благодарное удивление. Вот так, без долгих разговоров и проверок, взять и одолжить нам, только что приехавшим иммигрантам, 10 тысяч долларов на покупку нового автомобиля! А два года спустя — ещё десять тысяч на покупку наборной машины фирмы Ай-Би-Эм! Откуда они знали, что мы будем исправно выплачивать эти займы со всеми положенными процентами?

Тем не менее, с нами банки не прогадали: наличие автомобиля и наборной машины дало нам возможность поставить на ноги небольшое издательство по выпуску книг на русском языке и со временем вернуть одолженное с лихвой. Следующим шагом сделалась покупка дома под Нью-Йорком. Тут всё пошло труднее. Дом продавался за 100 тысяч, и банк был готов одолжить нам 80 тысяч, но требовал внести 20 тысяч наличными в виде аванса.

Где их взять?

В России мы привыкли одалживать только у друзей и родственников. Займ у банка — о таком никто и не слыхал. Нас спасло то, что дом мы покупали у русских друзей, эмигрировавших из СССР в том же году, что и мы. И эти золотые люди (фамилия — Подгурские) просто объявили банку, что требуемые 20 тысяч ими от нас получены. Сделка состоялась, мы переехали из Мичигана в Нью-Джерси, вселились в новый дом. Издательство, оказавшись вблизи от большого города, стало быстро расти. Мы исправно выплачивали банку ежемесячно оговоренную сумму, а цена нашего дома на рынке недвижимости тем временем неуклонно повышалась. Через два года она поднялась настолько, что мы смогли перезаложить дом на более высокую сумму, что позволило нам высвободить те самые 20 тысяч и вернуть их друзьям.

Постепенно осваивая премудрости американских финансовых операций, я имел основания ослабить свои первоначальные восторги. Оказалось, что процесс выплаты долга при покупке в кредит организован таким образом, что банк практически ничем не рискует. Для тех российских читателей, которым ещё не довелось

иметь дело с понятиями мортгедж (закладная, ипотека), интерес (проценты), коллэтерал (дополнительное обеспечение) и прочими премудростями, позволю себе проиллюстрировать их на примере.

При заключении договора с банком на заём, скажем, в 100 тысяч долларов на 30 лет, под 10% годовых, ты обязуешься вернуть ему в конце срока в общей сложности 400 тысяч. Это означает, что каждый месяц ты будешь выплачивать ему $400,000 : 360 = 1,111$ долларов. Трюк, однако, заключается в том, что первые годы только ничтожная часть этой суммы идёт в счёт погашения твоего изначального долга. Главная же доля этих 1111 долларов засчитывается как уплата процентов. То есть после, скажем, десяти лет исправных ежемесячных выплат, дом ещё остаётся в значительной мере собственностью банка. Если ты потеряешь работу, разоришься, умрёшь, банк уже успеет получить с тебя около ста тысяч, плюс он остаётся собственником дома, который за десять лет только вырос в цене.

Точно также организована выплата кредита на покупку автомобиля, моторной лодки, участка земли, холодильника, наборной машины и любого другого полезного предмета. Предмет, оставаясь долгое время собственностью банка, является гарантией его беспроигрышного положения, он-то и называется «коллэтерал». Немудрено, что слово «банкир» в сознании многих людей ассоциируется со словами «жадный», «ненасытный», «грабитель».

Спрашивается: почему же люди продолжают хранить свои деньги в банке, охотно пользуются кредитом и всеми другими формами финансового обслуживания? Разве не могут они потерять все свои сбережения, если банк вдруг разорится и объявит себя банкротом? В 1907 году, например, в правление президента Теодора Рузвельта, разорение нескольких банков подряд вызвало такую панику, что миллионы людей кинулись снимать свои деньги со счетов, пытаясь превратить их в наличные. Понятно, что сейфы банков стремительно опустели, сотни банкротств парализовали финансовое кровообращение страны.

Чтобы усилить доверие граждан к финансовой системе, американские законодатели в 1914 году создали учреждение, которое назвали Федеральным резерв. Это, по сути, государственная страховая контора для банков, которая собирает с них взносы и гарантирует, что в случае краха кого-нибудь из них всем индивидуальным вкладчикам будут возвращены их деньги, в сумме не превышающей 100 тысяч. Подобная мера необычайно расширила приток частных сбережений в банковскую систему, сделала крупных финансистов такими же могущественными фигурами, какими раньше были промышленные магнаты.

Казалось бы, всё стало на правильные рельсы, началось процветание 1920-х годов. И вдруг, без всякой видимой причины, в 1929 году случается новый крах на финансовой бирже, который, как многие считают, и положил начало Великой депрессии, охватившей весь мир и длившейся вплоть до Второй мировой войны.

Исследователи и аналитики до сих пор спорят о том, что явилось причиной краха. Одни обвиняют стихию и непредсказуемость свободного рынка, жадность банков и финансовых воротил. Другие, наоборот, считают, что всему виной попытки государства вмешаться в нормальный рыночный процесс, попытки регулировать то, что прекрасно исправилось бы само собой. Сторонники государственного регулирования ссылаются на пример политики Нового договора, проводившейся президентом Франклином Рузвельтом, которая, якобы, спасла экономику Америки в 1930-е. Их противники утверждают, что Новый договор, наоборот, искусственно продлил депрессию. Первые ссылаются на авторитет знаменитого эконо-

номиста Джона Мейнарда Кейнса (1883-1946), вторые — на труды Фридриха Хайека (1899-1992), получившего Нобелевскую премию по экономике в 1974 году.

Конкретные цифры о Великой депрессии приводит Томас Суэлл в своей книге «Интеллектуалы и общество». Восемь месяцев спустя после краха биржи, летом 1930 года, безработица в Америке всё ещё оценивалась скромной цифрой 6%. Но в июне президент Герберт Гувер, не считаясь с решительными протестами сотен экономистов, подписал подготовленный Конгрессом закон о резком повышении тарифов на многие экспортируемые товары, включая сельскохозяйственную продукцию. Естественно, страны-импортёры уменьшили закупки и ответили таким же повышением торговых пошлин. Товарообмен замедлился, что и породило подскок безработицы уже в следующем 1931 году до 20%. Именно вмешательство правительства в рыночные отношения породило Депрессию, считает Суэлл, а не стихия рынка.¹

Эти споры не остаются в сфере абстрактных умствований историков, а являются предметом горячей, постоянно текущей политической борьбы. В упрощённом виде вопрос сводится к следующему: если крупный банк или промышленный гигант оказываются на грани разорения, должно ли государство в лице Федерального резерва или Министерства финансов (казначейства) прийти ему на помощь и снабдить деньгами, полученными от налогоплательщиков? Злободневность вопроса усугубляется тем, что в последние три десятилетия бури финансового океана сотрясают страну всё чаще и чаще.

Уже в 1980 году правительство должно было прийти на помощь автомобильному концерну «Крайслер», оказавшемуся на грани разорения. Потом пришлось спасать огромную сеть банков «Сэйвингс энд Лоунс». В 1998 году деньги налогоплательщиков были использованы для извлечения из долговой ямы компании «Лонг Терм Капитал Мэнеджмент». Но роковое изменение в мире финансовых операций было осуществлено администрацией президента Клинтона в 1999 году.

До этого момента в стране действовал закон, принятый в 1933 году, при Франклин Рузвельте, запрещавший банкам играть одновременно две роли: быть и коммерческим, и инвестиционным банком. Актом Конгресса, подписанным Клинтонем на исходе 20-го века, это ограничение было снято, и банки получили право пускать деньги своих вкладчиков в рискованные операции на Уолл-Стрите. Чтобы улучшить свои показатели и выглядеть доходными, они могли «занимать» сами у себя и демонстрировать всегда положительное сальдо. На бумаге это выглядело вполне оптимистично, но в реальности грозило серьёзными провалами.

Директорам компаний было разрешено покупать акции банков, находящихся в их подчинении, за фиксированную цену и потом продавать их на рынке, если цена повышалась. Считалось, что это должно было стимулировать активность и изобретательность директоров. На деле это только толкало их любыми путями вздуть репутацию банка, чтобы его акции росли в цене.

У меня нет сомнений в том, что кризис 2008 года был главным образом порождён правительственной кампанией за «жильё для бедных по средствам», описанной выше, в Главе 4. Участие Федерального резерва заключалось в том, что он выдавал банкам кредиты под искусственно заниженный процент. Именно это стимулировало безответственность финансистов, выдававших займы на покупку домов людям, явно не имевшим возможности расплатиться с долгом в оговоренные сроки. Кроме того, число потенциальных покупателей росло так быстро, что строительные компании не успевали удовлетворять спрос, и цены на дома стремительно росли.

Был и ещё один момент, ускоривший надувание мыльного финансового пузыря. Мортгеджи, полученные от индивидуальных покупателей, банкам было разрешено продавать двум финансовым гигантам: Фэнни-Мэй и Фреди-Мэк. Эти искусственные полу-рыночные, полугосударственные учреждения имели право объединять полученные договоры в некие пакеты и продавать их на международных и домашних биржах как реальные ценности (джанк-бондс). При этом цена финансового документа определялась не стоимостью купленного дома, допустим 100 тысяч, а полной суммой выплат, которые покупатель обещал произвести в течение тридцати лет, то есть 400 тысяч. Банки же, получив плату от Фэнни и Фреди, могли снова пускать их в оборот, то есть кредитовать всё новые и новые ненадёжные покупки домов. Торговля реальными ценностями подменялась *торговлей обещаниями*.

Первые тревожные звонки начали раздаваться в 2007 году. Крупнейшие биржи мира начали догадываться, что рынок наводнён финансовыми обязательствами, реальная стоимость которых намного ниже указанной цены. Акции крупнейших банков Америки стали быстро падать. Один за другим на грани банкротства оказывались такие гиганты, как «Бернстем», «Лиман Бразерс», «Мерилл Линч», «Банк оф Америка», «Голдман Сакс», «Морган Стенли».

Известный журналист Андре Соркин в своей книге «Слишком велики для провала»² очень красочно описал индивидуальные драмы участников этой гигантской катастрофы. Позднее за ней укрепилось название «финансовое одиннадцатое сентября». Воротилы Уолл-Стрита, привыкшие жить в роскоши, упиваться властью и могуществом, вдруг оказывались в ситуации, когда они не знали, что принесёт им завтрашний день, какой новый оскал покажет непредсказуемый дракон по имени Биржа. Многолетние дружеские и родственные связи рвались, ибо каждый должен был думать, прежде всего, о собственном спасении. Десятки тысяч сотрудников в отделениях банков по всему миру теряли работу. Журналисты с теле- и фотокамерами толпились у подъездов домов главных заправил, устраивали засады в вестибюлях Министерства финансов и Федерального резерва. Спасаясь от них, участникам противостояния приходилось устраивать тайные встречи и собрания, использовать условный язык в телефонных переговорах. Вся драма убедительно воссоздана в фильме 2011 года «Предел риска» (*Margin Call*), с Джереми Айронсом и Кевином Стэйси.

Между тем приближались выборы 2008 года. Чтобы поднять шансы республиканских кандидатов по всей стране, администрация Буша-младшего в октябре провела беспрецедентную меру: создала спасательный фонд TARP (Troubled Assets Relief Program). Голоса критиков этой меры громко раздавались с самого начала действия программы. Республиканский конгрессмен из Техаса, Рон Пол, писал:

«Выкупая из долговой ямы провалившиеся компании, вы конфискуете деньги у продуктивных участников экономики и передаёте их неспособным. Сохраняя на плаву фирмы с устаревшими или неэффективными методами работы, правительство предотвращает их ликвидацию и перетекание их фондов к более успешным организациям. Ключевой элемент свободного здорового рынка — он должен одинаково допускать и победы, и поражения. Но устраивая выкуп разорившихся, вы поворачиваете систему с ног на голову: вознаграждение за победу передаётся не тем, кто его заслужил, а провалившимся. Не представляю, как это может помочь нашей экономике. Выкуп не работает».³

Тем не менее, правительство провело в жизнь эту спасательную операцию. Многим она представлялась, по сути, национализацией значительного сектора финансовой системы. Андре Соркин красочно описывает, как казначейство и Федеральный резерв внезапно призвали в Министерство финансов директоров девяти крупнейших банков и предъявили им ультиматум: принять подготовленную программу или объявить о полном банкротстве. Один из присутствовавших испуганно произнёс: «Но ведь это социализм». Недолго поколебавшись, все девять покорились неизбежному.

В общей сложности на выкуп обесценившихся бумаг финансовым гигантам было выделено 700 миллиардов долларов. Погоня за этим спасительным финансовым кислородом растянулась на многие месяцы. Но в ноябре 2008 году американский избиратель не оценил щедрости правительства республиканцев и избрал на пост президента демократа Обаму.

Как это всегда бывает, к образовавшейся денежной реке стали стекаться новоявленные золотоискатели. А там, где протекает ловля в мутной воде, необходимо учредить новую охрану, этакое подразделение «финансовых рейнджеров». Специальный прокурор, возглавивший их, докладывал Конгрессу о том, что практически невозможно проследить, как и на что расходуют деньги банки, получившие помощь по программе TARP. К октябрю 2011 года этот прокурор вёл уже 150 расследований, 19 виновных в нарушениях получили тюремные сроки, число вчинённых гражданских исков перевалило за пятьдесят.⁴

Конечно, жульнические операции в банковском бизнесе имели место и раньше. Они изобиловали во время краха 1929 года. В 1981 году были разоблачены руководители сети сберегательных банков «Сейвингс энд Лоунс», которые присваивали себе крупные суммы, на которые строили роскошные дома, покупали яхты и дорогие автомобили. За махинации с секретной банковской информацией угодили в тюрьму богатейшие финансисты Айвен Баесски и Майкл Милкен. Но в этот раз огромные суммы присваивались директорами разорившихся фирм под видом якобы законных бонусов. Банк «Голдман Сакс» признался, что из полученных 10 миллиардов долларов сотни банковских сотрудников получили многомиллионные бонусы на общую сумму 4,2 миллиарда. Банк «Морган Стэнли» тоже получил 10 миллиардов, из них 4,475 миллиарда пошло на уплату бонусов, в том числе по миллиону и по два на сотрудника.⁵

Всё же принятые меры помогли предотвратить полную экономическую катастрофу в общенациональном масштабе. Половина американцев, возможно, и не знала, как близки они были к потере всех своих сбережений, к увольнению, к потере медицинской страховки. Но кризис не прошёл бесследно. Если набрать в Гугле слова «Национальный долг США», можно получить все цифры и наглядный график, на котором видно, как резко задолженность страны подскочила в 2008-2009 году и достигла сегодня 17 триллионов.⁶

Подобные скачки случались и раньше, но все они приходились на годы больших войн: Гражданской в 1861-1865, Первой мировой в 1916-1918, Второй мировой в 1941-1945. Заметным ростом национального долга отмечены годы правления президента Клинтона. Конгресс имеет право устанавливать предельный потолок для задолженности, и казначейство обязано подчиняться ему. В начале 2000-х годов в обеих палатах шла постоянная борьба: республиканцы отказывались утверждать бюджет, который требовал превышения установленного потолка. В 2013 году дело дошло до того, что бюджет не был утверждён, и многие государственные учреждения были вынуждены закрыться на несколько недель.

Авторитетное нью-йоркское агентство «Стандард энд Пур», оценивающее кредитоспособность фирм и государств, впервые в истории снизило рейтинг Америки с максимального AAA до AA+.⁷ Конечно, это всё ещё намного выше, например, рейтинга Португалии (одно A), Италии (Baa2) или Греции (джанк).⁸ Однако рост государственного долга продолжается, и никто не осмеливается предложить радикальные меры по его сокращению.

Чтобы исключить фактор инфляции, размер государственного долга принято соотносить с размером производимого в стране продукта (GDP — Gross Domestic Product). В процентном отношении эта цифра достигала пика в 1945 году: 113%. Но летом 2014, уже после вывода американских войск из Ирака, долг составил 103%. В абсолютном исчислении на первом месте среди кредиторов оказался Китай, которому Америка должна 1.3 триллиона, на втором — Япония (1,2). И согласно мрачному прогнозу Бюджетной комиссии Конгресса, размер долга будет только расти.

Чтобы охарактеризовать психологическое состояние банкиров, политиков и государственных чиновников, описанных в книге Соркина «Слишком велики для провала», достаточно будет двух слов: растерянность и отчаяние. В своих переговорах они прибегают к мольбам, заклинаниям, угрозам, обвинениям, нередко срываются на мат. Похоже, никто из них не понимает, как они могли свалиться в такую яму и что нужно сделать, чтобы это не повторилось. Возвращаясь к метафоре государственного корабля в океане истории, использованной во вступлении к этой книге, можно сказать, что дозорные на мачтах оказались в густом тумане. Они слышат грохот волн, разбивающихся о неприступные скалы, но не могут понять, откуда он исходит и как следует изменить направление корабля.

В вечном противоборстве прозорливых с близорукими возникла такая ситуация, при которой прозорливые не имеют шансов победить на выборах. В массе своей американский избиратель не может разглядеть серьёзность нависшей угрозы. Ни республиканцы, ни демократы, пришедшие в ноябре 2014 года в Конгресс, не смеют вслух предложить ничего, наносящего ущерб «здесь и сейчас» ради улучшения «там и потом». И те, и другие говорят лишь об отсрочках неизбежного платежа и гонят нарастающий ком государственного долга всё дальше и дальше, в густой туман грядущих лет, в надежде, что расхлёбывать эту кашу достанется не им, а детям и внукам.

После двадцати лет жизни под Нью-Йорком обстоятельства вынудили нас с женой переезжать в Пенсильванию. Продажа нашего дома в Нью-Джерси затягивалась, нависла угроза упустить тот дом на берегу озера, в получасе езды от нашей дочери, который так полюбился нам. Американец в этой ситуации, скорее всего, пошёл бы снова стучаться в двери банков и терпеливо ждал бы, не откроется ли какая-нибудь для него. Но мы — мы решили вернуться к той системе финансирования, которой пользовались в СССР. Мы воззвали к друзьям и дочерям, и через неделю к нам слетелся десяток чеков на требуемую сумму: 150 тысяч долларов.

Видимо, наш «кредитный рейтинг» стоял ещё достаточно высоко.

Новый дом был куплен, а старый через месяц, наконец, продан. И какое это было счастье: устроить в новом пристанище пир для наших замечательных кредиторов и вернуть им одолженное.

Что же касается сегодняшней Америки и её кредитоспособности, возникшую ситуацию можно уподобить тому, как Иосиф Бродский описал закат Древнего Рима:

Империя похожа на трирему
в канале, для триремы слишком узком.
Гребцы колотят веслами по суше,
и камни сильно обдирают борт.
Нет, не сказать, чтоб мы совсем застряли!
Движенье есть, движенье происходит.
Мы все-таки плывем. И нас никто
не обгоняет. Но, увы, как мало
похоже это на былую скорость!
И как тут не вздохнешь о временах,
когда все шло довольно гладко.
Гладко.

(продолжение следует)

Примечания:

1. Sowell, Thomas. *Intellectuals and Society* (New York: Basic Books, 2009), pp. 70-72.
2. Sorkin, Andrew Ross. *Too Big to Fail* (New York: Viking Press, 2009).
3. <http://en.wikipedia.org/wiki/bailout>, p. 5.
4. <http://en.wikipedia.org/wiki/TARP>, p. 13.
5. Internet, wikipedia. Investment Banking, Financial Crisis of 2008.
6. http://en.wikipedia.org/wiki/national_debt_of_the_United_States, p. 3
7. Internet, wikipedia. USA Credit Rating.
8. Там же.



Журнал «Семь искусств» № 7 (64) /2015 — Ганновер:
Семь искусств. 2015. — 350 с., 21,4 а.л.

© Евгений Беркович (составление и редактирование)
Компьютерная верстка: Марина Жукова



Семь искусств
Ганновер 2015

Семь свободных искусств - основа воспитания, которое надлежит давать не для практической пользы, но потому, что оно достойно свободнорожденного человека и само по себе прекрасно.

Аристотель. "Политика"

